

НОВЫЙ  
МИР

НОВЫЙ МИР

1972

1

---

1972

# ИЗВЕСТИЯ И МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVIII

№ 1

Январь, 1972 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВАСИЛЬ БЫКОВ — <b>Обелиск</b> , повесть. Перевела с белорусского Галина Куренева	3
РИММА КАЗАКОВА — <b>Предчувствия</b> , стихи	45
ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ — <b>Озеро</b> , рассказ	48
МАРИЭТТА ШАГИНЯН — <b>Человек и время</b> , воспоминания. Часть вторая	71
ГЕБРИХ БЕЛЬ — <b>Стихи</b> . Перевел с немецкого Лев Копелев	127
ЛЕОНИД ЛИХОДЕЕВ — <b>Я и мой автомобиль</b> , роман-фельетон	131
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
ВАСИЛИЙ РОСЛЯКОВ — <b>Первая встреча</b>	185
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
А. ПАСТЕРНАК — <b>Лето 1903 года</b>	203
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
М. ЧУДАКОВА — <b>Заметки о языке современной прозы</b>	212
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	246
<b>Анна Караваева.</b> Замыслы и свершения Александра Фадеева.— <b>Н. Коржавин.</b> Проверка детством.— <b>В. Камянов.</b> Мера обобщения.— <b>М. Рудницкий.</b> Встреча с Рильке.	
<i>Политика и наука</i>	263
<b>Т. Хажилова.</b> Огонь, а не пепел.— <b>П. Черкасов.</b> Солдат-коммунист о «странной войне».— <b>Г. Щетинина.</b> К проблемам абсолютизма.— <b>Ю. Суровцев.</b> От эмпирии подниматься к общему.— <b>Ф. Бреус.</b> «Наведение мостов» и правда современности.	

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ — Ф. Левин. — Михаил Пархомов. Глоток воздуха. ♦ К. Бродер. — Трумэн Кэпот. Голоса травы. ♦ Б. Брайнинга. — Встречи с прошлым. ♦ Г. Павлова. — А. Февральский. Первая советская пьеса. «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского. А. Февральский. Встречи с Маяковским. ♦ С. Сивоконь. — Борис Бегак. Дети смеются. ♦ В. Соловей. — А. Глухов. Из глубины веков. ♦ Е. Дмитриева. — Квалификационный справочник должностей служащих	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

---

---

ВАСИЛЬ БЫКОВ

★

## ОБЕЛИСК

*Повесть*

**З**а два долгих года я так и не выбрал времени съездить в ту не очень и далекую от города сельскую школу. Сколько раз думал об этом, но все откладывал: зимой — пока ослабнут морозы или утихнет метель, весной — пока подсохнет да потеплеет; летом же, когда было и сухо и тепло, все мысли занимал отпуск и связанные с ним хлопоты ради какого-то месяца на тесном, жарком, перенаселенном юге. Кроме того, думал: подъеду, когда станет свободней с работой, с разными домашними заботами. И, как это бывает в жизни, дооткладывался до того, что стало поздно собираться в гости — пришло время ехать на похороны.

Узнал об этом также не вовремя: возвращаясь из командировки, встретил на улице знакомого, давнишнего товарища по работе. Немного поговорив о том, о сем и обменявшись несколькими шутивными фразами, уже распрощались, как вдруг, будто вспомнив что-то, товарищ остановился.

— Слышал, Миклашевич умер? Тот, что в Сельце учителем был.

— Как — умер?

— Так, обыкновенно. Позавчера умер. Кажется, сегодня хоронить будут.

Товарищ сказал и пошел, смерть Миклашевича для него, наверно, мало что значила, а я стоял и растерянно смотрел через улицу. На мгновение я перестал ощущать себя, забыл обо всех своих неотложных делах — какая-то еще не осознанная виноватость внезапным ударом оглушила меня и приковала к этому кусочку асфальта. Конечно, я понимал, что в безвременной смерти молодого сельского учителя никакой моей вины не было, да и сам учитель не был мне ни родней, ни даже близким знакомым, но сердце мое остро защемило от жалости к нему и сознания своей непоправимой вины — ведь я не сделал того, что теперь уже никогда не смогу сделать. Наверно, цепляясь за последнюю возможность оправдаться перед собой, ощутил быстро созревшую решимость поехать туда сейчас же, немедленно.

Время с той минуты, как я принял это решение, помчалось для меня по какому-то особому отсчету, вернее — исчезло ощущение времени. Изо всех сил я стал торопиться, хотя удавалось это мне плохо. Дома никого из своих не застал, но даже не написал записки, чтобы предупредить их о моем отъезде, — побежал на автобусную станцию. Вспомнив о делах на службе, пытался дозвониться туда из автомата, который, будто назло мне, исправно глотал медяки и молчал как заклятый. Бросился искать другой и нашел его только у нового здания «Гастронома», но там в терпеливом ожидании стояла очередь. Ждал несколько ми-

нут, выслушивая длинные и мелочные разговоры в синей, с разбитым стеклом будке, поспорил с каким-то парнем, которого принял сначала за девушку — штаны клеш и льняные локоны до воротника вельветовой курточки. Пока наконец дозвонился да объяснил в чем дело, упустил последний автобус на Сельцо, другого же транспорта в ту сторону сегодня не предвиделось. С полчаса потратил на тщетные попытки захватить такси на стоянке, но к каждой подходившей машине бросалась толпа более проворных, а главное, более нахальных, чем я. В конце концов пришлось выбираться на шоссе за городом и прибегнуть к старому, испытанному в таких случаях способу — голосовать. Действительно, седьмая или десятая машина из города, доверху нагруженная рулонами толя, остановилась на обочине и взяла нас — меня и парнишку в кедах, с сумкой, набитой буханками городского хлеба.

В пути стало немного спокойнее, только порой казалось, что машина идет слишком медленно, и я ловил себя на том, что мысленно ругаю шофера, хотя на более трезвый взгляд ехали мы обычно, как и все тут ездят. Шоссе было гладким, асфальтированным и почти прямым, лишь плавно покачивало на пологих взгорках — то вверх, то вниз. День клонился к вечеру, стояла середина бабьего лета со спокойной прозрачностью далей, поредевшими, тронутыми первой желтизной перелесками, вольным простором уже опустевших полей. Поодаль, у леса, паслось колхозное стадо — несколько сот подтелков, все одного возраста, роста, одинаковой буро-красной масти. На огромном поле по другую сторону дороги тархтел неутомимый колхозный трактор — пахал под зябь. Навстречу нам шли машины, громоздко нагруженные льнотрестой. В придорожной деревне Будиловичи ярко пламенели в палисадниках поздние георгины, на огородах в распаханных бороздах с сухой, полегшей ботвой копались деревенские тетки — выбирали картофель. Природа наполнилась мирным покоем погожей осени; тихая человеческая удовлетворенность просвечивала в размеренном ритме извечных крестьянских хлопот, когда урожай уже выращен, собран, большинство связанных с ним забот — позади, оставалось его обработать, подготовить к зиме и до следующей весны — прощай многотрудное и многозаботное поле.

Но меня эта умиротворяющая благодать природы, однако, никак не успокаивала, а только угнетала и злила. Я опаздывал, чувствовал это, переживал и клял себя за мою застаревшую лень, душевную черствость. Никакие мои прежние причины не казались теперь уважительными, да и вообще были ли какие-нибудь причины? С такой медвежьей неповоротливостью недолго было до конца прожить отпущенные тебе годы, ничего не сделав из того, что, может, только и могло составить смысл твоего существования на этой грешной земле. Так пропади она пропадом, тщетная муравьиная суета ради призрачного ненасытного благополучия, если из-за него остается в стороне нечто куда более важное. Ведь тем самым опустошается и выхолащивается вся твоя жизнь, которая только кажется тебе автономной, обособленной от других человеческих жизней, направленной по твоему, сугубо индивидуальному житейскому руслу. На самом же деле, как это не сегодня замечено, если она и наполняется чем-то значительным, так это прежде всего разумной человеческой добротой и заботою о других — близких или даже далеких тебе людях, которые нуждаются в этой твоей заботе.

Наверно, лучше других это понимал Миклашевич.

И кажется, не было у него особой на то причины, исключительной образованности или утонченного воспитания, которые выделяли бы его из круга других людей. Был он обыкновенным сельским учителем, наверно, не лучше и не хуже тысяч других городских и сельских учителей. Правда, я слышал, что он пережил трагедию во время

войны и чудом спасся от смерти. И еще — что он очень болен. Каждому, кто впервые встречался с ним, было очевидно, как изводила его эта болезнь. Но я никогда не слышал, чтобы он пожаловался на нее или дал бы кому-либо понять, как ему трудно. Вспомнилось, как мы с ним познакомились во время перерыва на очередной учительской конференции. С кем-то беседуя, он стоял тогда у окна в шумном вестибюле городского Дома культуры, и вся его очень худая, остроплечая фигура с выпирающими под пиджаком лопатками и худой длинной шеей показалась мне сзади удивительно хрупкой, почти мальчишечьей. Но стоило ему тут же обернуться ко мне своим увядшим, в густых морщинах лицом, как впечатление сразу менялось — думалось, что это довольно побитый жизнью, почти пожилой человек. В действительности же, и я это знал точно, в то время ему шел только тридцать четвертый год.

— Слышал о вас и давно хотел обратиться с одним запутанным делом, — сказал тогда Миклашевич каким-то глухим голосом.

Он курил, стряхивая пепел в пустой коробок из-под спичек, который держал в пальцах, и я, помнится, невольно ужаснулся, увидев эти его нервно дрожащие пальцы, обтянутые желтой сморщенной кожей. С недобрый предчувствием я поспешил перевести взгляд на его лицо — усталое, оно было, однако, удивительно спокойным и ясным.

— Печать — великая сила, — шутливо и со значением процитировал он, и сквозь сетку морщин на его лице проглянула добрая, со страдальческой грустью усмешка.

Я знал, что он ищет что-то в истории партизанской войны на Гродненщине, что сам еще подростком принимал участие в партизанских делах, что его друзья-школьники расстреляны немцами в сорок втором и что хлопотами Миклашевича в их честь поставлен небольшой памятник в Сельце. Но вот, оказывается, было у него и еще какое-то дело, в котором он рассчитывал на меня. Что ж, я был готов. Я обещал приехать, поговорить и по возможности разобраться, если дело действительно запутанное, — в то время я еще не потерял охоту к разного рода запутанным, сложным делам.

И вот — опоздал.

В небольшом придорожном леске с высоко вознесшимися над дорогой шапками сосен шоссе начинало плавное широкое закругление, за которым показалось наконец и Сельцо. Когда-то это была помещицья усадьба с пышно разросшимися за много десятков лет суковатыми кронами старых вязов и лип, скрывавшими в своих недрах старосветский особняк — школу. Машина неторопливо приближалась к повороту в усадьбу, и это приближение новой волной печали и горечи охватило меня — я подъезжал. На миг появилось сомнение: зачем? Зачем я еду сюда на эти печальные похороны, надо было приехать раньше, а теперь кому я могу быть тут нужен, да и что тут может понадобиться мне? Но, по-видимому, рассуждать таким образом уже не имело смысла, машина стала замедлять ход. Я крикнул парнишке-попутчику, который, судя по его спокойному виду, ехал дальше, чтобы тот постучал шоферу, а сам по шершавым рулонам толя подобрался к борту, готовясь спрыгнуть на обочину.

Ну, вот и приехал. Машина, сердито стрельнув из выхлопной трубы, покатила дальше, а я, разминая затекшие ноги, немного прошел по обочине. Знакомая, не раз виденная из окна автобуса, эта развилка встретила меня со сдержанной похоронной печалью. Возле мостика через канаву торчал столбик со знаком автобусной остановки, за ним был виден знакомый обелиск с пятью юношескими именами на черной табличке. В сотне шагов от шоссе вдоль дороги к школе начиналась старая узковатая аллея из широкоствольных, развалившихся в разные стороны вязов. В дальнем конце ее на школьном дворе ждали кого-то «газик» и

черная, видимо райкомовская, «Волга», но людей там не было видно. «Наверно, люди теперь в другом месте», — подумал я. Но я даже толком не знал, где здесь находится кладбище, чтобы пойти туда, если еще имело какой-то смысл туда идти.

Так, не очень решительно, я вошел в аллею под многоярусные кроны деревьев. Когда-то, лет пять назад, я уже бывал тут, но тогда этот старый помещичий дом, да и эта аллея не показались мне такими подчеркнута молчаливыми: школьный двор тогда наполнился голосами детей — как раз была перемена. Теперь же вокруг стояла недобрая, погребальная тишина — даже не шелестела, затаившись в предвечернем покое, пордевшая, желтеющая листва старых вязов. Укатанная гравийная дорожка вскоре вывела на школьный двор — впереди высился некогда пышный, в два этажа, но уже обветшалый и запущенный, с треснувшей по фасаду стеной старосветский дворец: фигурная балюстрада веранды, беленые колонны по обе стороны парадного входа, высокие венецианские окна. Мне следовало спросить у кого-нибудь, где хоронят Миклашевича, но спросить было не у кого. Не зная куда деваться, я растерянно потоптался возле машин и уже хотел войти в школу, как из той же парадной аллеи, едва не наехав на меня, выскочил еще один запыленный «газик». Он тут же лихо затормозил, и из его брезентового нутра вывалился знакомый мне человек в измятой зеленой «болонье». Это был зоотехник из областного управления сельского хозяйства, который теперь, как я слышал, работал где-то в районе. Лет пять мы не виделись с ним, да и вообще наше знакомство было шапочным, но сейчас я искренне обрадовался его появлению.

— Здорово, друг, — приветствовал меня зоотехник с таким оживлением на упитанном самодовольном лице, словно мы явились сюда на свадьбу, а не на похороны. — Тоже, да?

— Тоже, — сдержанно ответил я.

— Они там, в учительском доме, — сразу приняв мой сдержанный тон, тише сказал приехавший. — А ну, давай пособи.

Ухвативши за угол, он выволок из машины ящик со сверкающими рядами бутылок «московской», за которой, видно, и ездил в сельпо или в город. Я подхватил ношу с другой стороны, и мы, минувя школу, пошли по тропке меж садовых зарослей куда-то в сторону недалекого флигеля с квартирами учителей.

— Как же это случилось? — спросил я, все еще не в состоянии свыкнуться с этой преждевременной смертью.

— А так! Как все случается. Трах, бах — и готово. Был человек — и нет.

— Хоть болел перед тем или как?

— Болел! Он всю жизнь болел. Но работал. И доработался до ручки. Пойдем вот да выпьем, пока есть такая возможность.

В старом, довольно обветшалом, с облупившейся штукатуркой флигеле за поредевшими кустами сирени, среди которых свежо и сочно рдела осыпанная гроздьями рябина, слышался приглушенный говор многих людей, по которому можно было судить, что самое важное и последнее тут уже окончено. Шли поминки. Низкие окна приземистого флигеля были настежь раскрыты, между раздвинутых занавесок виднелась чья-то спина в белой нейлоновой сорочке и рядом льняная копна высокой женской прически. У крыльца стояли и курили двое небритых, в рабочей одежде мужчин. Они скупно переговаривались о чем-то, потом умолкли, перехватили у нас ящик и понесли его в дом. По узкому коридорчику мы пошли за ними.

В небольшой комнате, из которой теперь было вынесено все, что можно вынести, стояли сдвинутые впритык столы с остатками питья и закусок. Десятка два сидевших за ними людей были заняты разговорами

и куревом — сигаретный дым витыми космами тянулся к окнам. Заметно угасший темп поминок свидетельствовал, что идут они не первый уже час, и я понял, что мое запоздалое появление хуже отсутствия и легко могло быть истолковано не в мою пользу. Но не братья же за шапку, коль уж приехал.

— Садитесь, вот и местечко есть,— скорбным голосом пригласила к столу пожилая женщина в темной косынке, не спрашивая, кто я и зачем пришел: наверно, такое появление тут было делом обычным.

Я послушно сел на низковатую за высоким столом табуретку, стараясь не привлекать к себе внимания этих людей. Но рядом кто-то уже поворачивал ко мне свое отечное немолодое, мокрое от пота лицо.

— Опоздал? — просто сказал человек.— Ну что ж... Нет больше нашего Павлика. И уже не будет. Выпьем, товарищ.

Он сунул мне в руки явно не допитый кем-то, со следами чужих пальцев стакан водки, сам взял со стола другой.

— Давай, брат. Земля ему пухом.

— Что ж, пусть будет пухом.

Мы выпили. Чьей-то вилкой я подцепил с тарелки кружок огурца, сосед непослушными пальцами принялся вылуцивать из помятой пачки «примы», наверно, последнюю там сигарету. В это время женщина в темном платье поставила на стол несколько новых бутылок «московской», и мужские руки стали разливать ее по стаканам.

— Тише! Товарищи, прошу тише! — сквозь шум голосов раздался откуда-то из переднего угла громкий, не очень трезвый голос.— Тут хотят сказать.

— Ксендзов, заведующий районо,— густо дохнув сигаретным дымом, прогудел над ухом сосед.— Что он может сказать? Что он знает?

В дальнем конце стола поднялся с места молодой еще человек с привычной начальственной уверенностью на жестком волевом лице, поднял стакан с водкой.

— Тут уже говорили о нашем дорогом Павле Ивановиче. Хороший был коммунист, передовой учитель. Активный общественник. И вообще... Одним словом, жить бы ему да жить...

— Жил бы, если бы не война,— вставил быстрый женский голос, должно быть учительницы в добротной бежевой кофточке, сидевшей рядом с Ксендзовым.

Заврайоно запнулся, словно сбитый с толку этой репликой, поправил на груди галстук. Говорить ему, судя по всему, было трудно, непривычно на такую тему, он с натугой подбирал слова — может, не было у него нужных на такой случай слов.

— Да, если б не война,— наконец согласился оратор.— Если б не развязанная немецким фашизмом война, которая принесла нашему народу неисчислимые беды. Теперь, спустя двадцать лет после того, как залечены раны войны, восстановлено разрушенное войной хозяйство и советский народ добился выдающихся успехов во всех отраслях экономики, а также культуры, науки и образования и особенно больших успехов в области...

— При чем тут успехи! — вдруг грохнуло над моим ухом, и пустая бутылка на столе, подскочив, покатила между тарелок.— При чем тут успехи? Мы похоронили человека!

Заврайоно недобро умолк на полуслове, а все сидевшие за столом настороженно, почти с испугом начали озираться на моего соседа. Немолодые уже глаза того на покрасневшем, болезненно потном лице явно наливались гневом, большой, перевитый набрякшими венами кулак угрожающе лежал на скатерти. Заведующий районо многозначительно помолчал с минуту и спокойно, с достоинством заметил, словно нарушившему порядок школьнику:



— Товарищ Ткачук, ведите себя пристойно.

— Тише, тише. Ну что вы! — озабоченно склонилась к моему соседу сидевшая рядом с ним женщина.

Но Ткачук, по-видимому, вовсе не хотел сидеть тихо, он медленно поднимался за столом, неуклюже распрямляя свое грузное немолодое тело.

— Это вам надо пристойно. Что вы тут несете про какие-то успехи? Почему вы не вспомните про Мороза?

Похоже, назревал скандал, и я чувствовал себя не очень удобно в таком соседстве. Но я тут был человек посторонний и не считал себя вправе вмешиваться: кого-то успокаивать или за кого-то вступаться. Заведующему району, однако, нельзя было отказать в надлежащей на такой случай выдержке.

— Мороз тут ни при чем, — со спокойной твердостью остановил он выпад моего соседа. — Мы не Мороза хороним.

— Очень даже при чем! — почти крикнул сосед. — Это Мороза надо благодарить за Миклашевича!

— Миклашевич — другое дело, — согласился заврайоно и поднял до половины налитый стакан. — Выпьем, товарищи, за его память. Пусть его жизнь послужит для нас примером.

За столом началось обычное после тоста оживление, все выпили. Один только помрачневший Ткачук демонстративно отодвинулся от стола и откинулся к спинке стула.

— Мне с него брать пример поздно. Это он с меня брал пример, если хотите знать, — зло бросил он, ни к кому не обращаясь, и ему никто не ответил.

Заведующий району старался больше не замечать спорщика, а остальные были поглощены закуской. Тогда Ткачук повернулся ко мне.

— Скажи ты про Мороза. Пусть знают...

— Про какого Мороза? — не понял я.

— Что, и ты не знаешь Мороза? Дожили! Сидим, пьем в Сельце, и никто не вспомнит Мороза! Которого здесь должен знать каждый... Что вы так на меня смотрите? — совсем уже разозлился он, поймав на себе чей-то укоризненный взгляд. — Я знаю, что говорю. Мороз — вот кто пример для всех нас. Как для Миклашевича был.

За столом притихли. Тут происходило что-то такое, чего я не понимал, но что, должно быть, отлично понимали другие. После минутного замешательства все тот же заведующий району произнес с завидной начальственной твердостью в голосе:

— Прежде чем говорить, следует подумать, товарищ Ткачук.

— Я думаю, что говорю.

— Вот именно.

— Ну, хватит! Тимофей Титович! Хватит вам, — с настойчивой кротостью начала успокаивать его молодая соседка. — Лучше съеште колбаски. Это домашняя. В городе небось такой нет. А то вы совсем не закусываете...

Но Ткачук, видно, не хотел закусывать и, выдавив желваки на морщинистых щеках, только скрежетал зубами. Потом взял недопитый стакан с водкой и залпом выпил его до дна. На какую-то минуту мутные, покрасневшие глаза его страдальчески упрятались под бровями.

За столами стало тише, все молча закусывали, некоторые курили. Я повернулся к соседу справа — молодому парню в зеленом свитере, с виду учителю или какому-то специалисту из колхоза — и кивнул в сторону Ткачука:

— Не знаете, кто это?

— Тимофей Титович. Бывший здешний учитель.

— А теперь?

— Теперь на пенсии. В городе живет.

Я сел ровнее и внимательнее присмотрелся к гневному моему соседу. Нет, в городе я, кажется, его не встречал, может, он недавно переехал откуда. На вид он уже стал безразличен ко всему тут и отчужденно примолк, с мрачной сосредоточенностью уставясь на клетчатый край скатерти.

— Из города? — вдруг спросил он, вероятно заметив мой к нему интерес.

— Из города.

— Чем приехал?

— Попутной.

— Своей не имеешь?

— Пока нет.

— Ну, пейте, поминайте, я поехал.

— А вы чем поедете?

— Чем-нибудь. Не первый раз.

— Тогда и я с вами, — вдруг решил я. Остаться тут, кажется, не имело смысла.

Сейчас мне трудно объяснить, почему я пошел за этим человеком, почему, с трудом добравшись до Сельца, так скоро и охотно расставался с усадьбой и школой. Конечно, прежде всего я опоздал. Того, ради которого я направлялся сюда, уже не было на свете, а люди за этими столами меня занимали мало. Но и мой новый попутчик в то время совсем не казался мне ни интересным, ни чем-нибудь привлекательным. Скорее напротив. Я видел возле себя изрядно подвыпившего, привередливого пенсионера; от его слов о своем превосходстве над покойным несло обычной стариковской похвальбой, всегда не слишком приятной. Даже если он и говорил правду.

Тем не менее с неясным еще чувством облегчения я встал из-за стола и вышел из комнаты. Ткачук оказался грузноватым, кряжистым человеком, в ботинках и сером поношенном костюме с двумя орденскими планками на груди. Похоже, что он крепко выпил, хотя в этом не было ничего удивительного — пережил на похоронах, немного понервничал в споре, причина которого так и осталась для меня непонятной. Но, видно по всему, он не на шутку разозлился и теперь шел впереди по тропинке, подчеркивая свое нерасположение к какому бы то ни было общению.

Так молча мы миновали усадьбу и прошли в аллею. Не доходя шоссе, пропустили на нем грузовик, кажется, порожний и шедший в направлении города. Можно было бы крикнуть и немного пробежать, но мой спутник не прибавил шагу, и я тоже не проявил особого беспокойства. У столбика со знаком автобусной остановки никого не было, шоссе в обе стороны лежало пустое, до блеска наглянцованное за день.

Мы дошли до развилки и остановились. Ткачук поглядел в одну сторону дороги, в другую и сел где стоял, опустив ноги в неглубокую сухую канаву. Разговаривать со мной он не хотел, это было очевидным, и, чтобы не докучать ему, я отошел в сторонку, непуская из виду дорогу. Из-за лесного поворота показалась легковушка, частный «Москвич» с горбатым, навьюченным багажом верхом — обдав нас бензиновым запахом, он покатил дальше. В той же стороне шоссе, которая теперь больше всего интересовала нас, было совершенно пусто. Низко над дорогой заходило за тучку вечернее солнце. Его пологие лучи слепили глаза, но всматриваться туда, кажется, не имело большого смысла — машин там не было. Теряя интерес к дороге, я по-над канавой прошел к памятнику.

Это был приземистый бетонный обелиск в оградке из штакетника, просто и без лишней затейливости сооруженный руками каких-то мест-

ных умельцев. Выглядел он более чем скромно, если не сказать бедно, теперь даже в селах устанавливают куда более роскошные памятники. Правда, при всей его незатейливости, не было в нем и следа заброшенности или небрежения: сколько я помнил, всегда он был тщательно рассмотрен и прибран, с чисто подметенной и посыпанной свежим песком площадкой, с небольшой, обложенной кирпичными уголками клумбой, на которой теперь пестрело что-то из поздней цветочной мелочи. Этот чуть выше человеческого роста обелиск за каких-нибудь десять лет, что я его помнил, несколько раз менял свою окраску: был то белоснежный, беленный перед праздниками извешкой, то зеленый, под цвет солдатского обмундирования; однажды проездом по этому шоссе я видел его блестяще-серебристым, как крыло реактивного лайнера. Теперь же он был серым, и, пожалуй, из всех прочих цветов этот наиболее соответствовал его облику.

Обелиск часто менял свой вид, неизменной оставалась лишь черная металлическая табличка с пятью именами школьников, совершивших известный в нашей местности подвиг в годы войны. Я уже не вчитывался в них, я их знал на память. Но теперь удивился, увидев, что тут появилось новое имя — Мороз А. И., которое было не очень умело выведено над остальными белой масляной краской.

На дороге со стороны города вновь показалась машина, на этот раз самосвал, он промчал по пустынному шоссе мимо. Поднятая им пыль заставила моего спутника встать с его не слишком подходящего для отдыха места. Ткачук вышел на асфальт и озабоченно посмотрел на дорогу.

— Черт их дождется! Давай потопаем. Нагонит какая, так сядем.

Что ж, я согласился, тем более что погода под вечер стала еще лучше: было тепло и безветренно, ни один листочек на вязах не шелхнулся, а глянцевиная лента пустынного шоссе так и манила дать волю ногам. Я перепрыгнул канаву, и мы с давно не испытанным наслаждением пошагали по гладкому асфальту, изредка оглядываясь назад.

— Давно вы знали Миклашевича? — спросил я просто для того, чтобы нарушить наше затянувшееся молчание, которое начинало уже угнетать.

— Знал? всю жизнь. На моих глазах вырос.

— А я совсем его мало знал, — признался я. — Так, встречались несколько раз. Слышал: неплохой был учитель, детей хорошо учил...

— Учил! Учили и другие не хуже. А вот он настоящим человеком был. Ребята за ним табуном ходили.

— Да, теперь это редкость.

— Теперь редкость, а прежде часто бывало. И он тоже в табуне за Морозом ходил. Когда пацаном был.

— Кстати, а кто этот Мороз? Ей-богу, я ничего о нем не слышал.

— Мороз — учитель. Когда-то вместе тут начинали. Я ведь сюда в ноябре тридцать девятого приехал. А он в октябре эту школу открыл. На четыре класса всего.

— Погиб?

— Да, погиб, — сказал Ткачук, неторопливо, вразвалку шагая рядом.

Пиджак его был растегнут на все пуговицы, узел галстука небрежно сполз набок, под уголок воротника. По тяжелому, не слишком тщательно выбритому лицу промелькнула тень горечи.

— Мороз был нашей болячкой. На совести у обоих. У меня и у него. Ну да я что... Я сдался. А он нет. И вот — победил. Добился своего. Жаль, сам не выдержал.

Кажется, я что-то начинал понимать, о чем-то догадываться. Какая-то история со времен войны. Но Ткачук объяснял так отрывисто и

скупо, что многое оставалось неясным. Наверно, надо было бы распросить понастойчивей, но я не хотел показаться назойливым и только для поддержания разговора вставлял свои банальные фразы.

— Так уж заведено. За все хорошее надо платить. И порой дорогой ценой.

— Да уж куда дороже... Главное, прекрасная была преемственность.. Теперь же столько разговоров о преемственности, о традициях отцов... Правда, Мороз не был ему отцом, но преемственность была. Просто на диво! Бывало, смотрю и не могу нарадоваться: ну словно он брат Морозу Алесю Ивановичу. Всем: и характером, и добротой, и принципиальностью. А теперь... Хотя— не может быть, что-то там от него останется. Не может не остаться. Такое не пропадает. Прорастет. Через год, пять, десять, а что-то проклюнется. Увидишь.

— Это возможно.

— Не возможно, а точно. Не может быть, чтобы работа этих людей пропала зря. Тем более после таких смертей. Смерть, она, брат, свой смысл имеет. Великий, я тебе скажу, смысл. Смерть— это абсолютное доказательство. Самый неопровержимый аргумент. Помнишь, как у Некрасова: «Иди в огонь за честь отчизны, за убеждение, за любовь, иди и гини безупречно, умрешь не даром: дело вечно, когда под ним струится кровь». Вот! А тут крови пролилось ого сколько. Не может быть, чтобы зря. Да и Мороз доказал это самым красноречивым образом. Хотя ты ведь не знаешь...

— Не знаю,— честно признался я.— Когда-то Миклашевич собирался рассказать...

— Знаю. Он говорил. Он тогда к кому только не обращался. И к тебе хотел. Да вот... не успел.

Слова эти отозвались во мне болезненным укором. Недаром чувствовало мое сердце, что, сам того не желая, я все же допустил здесь ошибку. Но кто знал! Кто мог предполагать, что все это обернется таким печальным образом.

— Ты же из редакции?— искоса глянул на меня Ткачук.— Знаю. Фельетончики пишешь и так далее. За правду-матку воюешь. Вот он тогда и задумал подключить тебя к этому делу— вступить за Мороза. Да нет, Мороз не осужденный, не пугайся. И не какой-то там прислужник немецкий. Тут дело другое...

— Интересен,— сказал я, когда Ткачук ненадолго смолк.— Знал бы я раньше...

— Теперь уже все сделано, нашлись где надо и заступники. Теперь можно и рассказывать. И написать можно. И нужно бы. Миклашевич добился правды. Только вот сам... У тебя закурить найдется?— спросил он, похлопывая себя по пустым карманам.

Я дал ему сигарету, мы оба закурили, посторонились, пропуская черную, блеснувшую никелем «Волгу», которая шустро проскочила мимо. Наверно, «Волга» шла в город, но теперь ни он, ни я не сделали никакой попытки остановить ее— я предчувствовал, что Ткачук продолжит рассказ, а он как-то сосредоточенно ушел в себя, провожая рассеянным взглядом машину.

— Может, взяла бы? А, шут с ней. Пусть едет. Пойдем потихоньку. Тебе сколько лет? Сорок, говоришь? Ну, молодой еще век, многое впереди. Не все, конечно, но многое еще осталось. Если, конечно, здоровье в норме. У меня вот здоровье не сказать чтоб плохое, иной раз еще и чарку могу взять. Но уже не то, что раньше. Раньше я, брат, этого автобуса редко когда и дожидался. А уж в те давнишние времена так и автобусов никаких не было. Надо в город— берешь палку и айда. Двадцать километров за три с половиной часа— и в городе. Теперь, наверно, больше потребуется, давно не ходил. Ноги еще ничего. Хуже вот—

нервы сдают. Знаешь, не могу смотреть кино, если жалостливое какое или особенно про войну. Как увижу то горе наше, хоть и давно уже все пережито и помалу забывается, а, знаешь, что-то сжимает в горле. Да еще музыка. Не всякая, конечно, не джазы какие, а песни, которые тогда пели. Как услышу, ну просто нервы пилой пилит.

— Подлечиться надо. Теперь ведь нервы неплохо лечат.

— Нет, мой уже не вылечат. Шестьдесят два года, что ты хочешь! Жизнь вдрызг истрепала, веревки вила из моих нервов. А ученые говорят — нервные клетки не восстанавливаются... Да. А когда-то тоже был молодой, неженатый, здоровый, что твой Жаботинский. В тридцать девятом после воссоединения Наркомат просвещения направил в Западную организовать школы. Организовывал школы, колхозы, крутился, мотался, сам в школах работал. Вот и в этом самом Сельце после войны семь лет отгрохал...

— Время идет.

— Не идет, а мчится. Когда-то все думал: ну, год-два поработаю, а потом в Минск подамся, в пединституте учиться хотел. Я ведь до войны только учительский двухгодичный окончил. Ну, а жизнь иначе закомандовала. Война началась, никакого педа не вышло, и вот тут и прикипел на всю жизнь. Раньше райком не отпускал, школа, квартира, а теперь вот, когда можно катиться на все стороны, никуда уже и не тянет. Так, видно, и придется остаться в этой земле вместе с Морозом. Разве что с некоторым опозданием.

Он замолчал. Я докурил сигарету и тоже молчал. Мы уже миновали лесок, дорога бежала в выемке, по обе стороны которой высились песчаные откосы с соснами. Тут уже заметно сгустились вечерние сумерки, и даже вершины елей стояли в тени, только безоблачное небо в вышине еще светилось прощальным отсветом зашедшего солнца.

— Сегодня какое число? Четырнадцатое? Как раз в эту пору первый раз приехал в Сельцо. Теперь уже привычное дело все эти стежки-дорожки, а тогда все было новое, интересное. Усадьба эта, где школа, тогда не была такой запущенной, дом стоял ухоженный, раскрашенный, как игрушка. Пан Габрус в сентябре дал драпака, бросил все, подался, говорили, к румынам, и тут Мороз школу открыл. На школьном дворе перед парадным высились два раскидистых дерева с какой-то серебристой листвой. Не деревья, а прямо-таки гиганты вроде американских секвой. Теперь такие кое-где еще по бывшим усадьбам остались, доживают век. А тогда их было во множестве. У каждого пана, считай.

В тот первый год я работал в районе заведующим. Школы почти все новые, маленькие, то в осадничьих, а то и просто в деревенских хатах. Учебников, инвентаря не хватало, да и с учителями туго было до крайности. В этом Сельце вместе с Морозом работала Подгайская, пани Ядя, как мы ее звали. Пожилая такая женщина, жила тут и при Габрусе в том самом флигеле. Тонная была пани, старая дева. Русским языком почти не владела, белорусский немного понимала, зато что касается остального — ого! Воспитания была самого тонкого.

И вот как-то под вечер сижу я в своем кутке в районе, зарылся в бумаги — отчеты, планы, ведомости: ездил по району, неделю не был на месте, все запустил — жуть! Не сразу и услышал, как кто-то скребется в дверь — заходит эта самая пани Ядя. Маленькая, такая щупленькая, но с лисой на шее и в шикарнейшей шляпке. «Прощу извинить, пан шеф, я, прошу пана, по педагогическому вопросу». «Что же, садитесь, пожалуйста, слушаю».

Садится на краешек кресла, поправляет свою великолепную шляпку и начинает сыпать почти сплошь по-польски — едва разбираю. Все манеры изысканно воспитанной паненки, а самой лет за пятьдесят, такое сморщенное, хитренькое личико. Что же оказывается? Оказывается,

имеет конфликт со своим шефом в Сельце, коллегой Морозом. Оказывается, этот Мороз не поддерживает дисциплины, как равный ведет себя с учениками, учит без необходимой строгости, не выполняет программ наркомата и самое главное — говорит ученикам, что не надо ходить в костел, пусть туда ходят бабушки.

Ну, насчет костела я, естественно, не слишком обеспокоился, подумал: правильно делает Мороз, если так советует. А вот что касается панибратства, дисциплины, игнорирования наркоматовских программ, это меня встревожило. Но кто этот самый Мороз, понятия не имею, в Сельце ни разу еще не был. Ладно, думаю, при первой же возможности махну, посмотрю, что у него там за порядки.

Случай для этого подвернулся, однако, не скоро, но все же недели через две как-то вырвался, взял у хозяина, у которого квартировал, его велосипед, ровар по-здешнему, и рванул по этому вот шоссе. Шоссе, конечно, было не то что нынче — булыжник. Ехать по нему на подводе или на роваре — все равно кишки вытрясешь. Но — поехал. Поднажал как следует на педали и через час прикатил в ту самую аллею под вязами. Хотел попасть на урок, но опоздал — занятия уже закончились. Еще издали вижу — на дворе полно детворы, думаю, игра какая, но нет, не игра, — оказывается, идет работа. Заготавливают дрова. Бурей повалило то самое заморское дерево во дворе, вот теперь его пилят, колют и сносят в сарайчик. Мне это понравилось. Дров тогда не хватало, каждый день жалобы из школ насчет топлива, а транспорта в районе никакого — где взять, откуда привезти? А эти, вишь, сообразили и не ждут, когда там в районе надумают обеспечить их топливом, — сами о себе заботятся.

Слез я с велосипеда, все на меня смотрят, я на них: где же заведующий? «Я заведующий», — говорит один, которого я не сразу и заметил, потому что стоял он за толстенным комлем — пилил его с парнишкой, должно быть переростком, ладным таким мальцом лет пятнадцати. Ну, бросает пилу, подходит. И сразу замечаю: хромает. Одна нога как-то вывернута в сторону и вроде не разгибается, поэтому он здорово на нее припадает и кажется как бы ниже ростом. А так ничего парень — плечистый, лицо открытое, взгляд смелый, уверенный. Наверно, догадывается, кто перед ним, но никакой там растерянности или замешательства. Представляется: Мороз Алесь Иванович. Руку пожимает так, что сразу понимаешь: силен. Ладонь шершавая, твердая, должно быть, такая работа ему не впервой. А напарник его стоит там же и пробует водить пилой. Но пила ни с места — попала на сук, а толщина в комле больше метра. Мороз извинился, вернулся, чтобы закончить зарез, но и вдвоем, гляжу, не очень управятся — пилу чем дальше, тем сильнее зажимает в распиле. Понятное дело: надо что-нибудь подложить. Чтобы подложить, надо сперва приподнять. Мороз бросил пилу, стал приподнимать комель, да в одиночку разве поднимешь. Тут ребяташки, кто постарше, тоже облепили бревно, а оно ни с места. Короче говоря, положил на траву я свой ровар и тоже за тот комель взялся. Силились, силились, кажется, приподняли, еще бы на сантиметр — и можно палку подсунуть, да этот последний сантиметр, как всегда, самый трудный. И тут, как на грех, из-за угла выплывает та самая пани Ядя. Увидела ровар, меня возле комля да так и остолбенела.

Потом, когда я говорил с ней, понять ничего не могла, все поминала матку боску и недоумевала: что за учителя у Советов, имеют ли они хоть малейшее понятие о педагогическом такте и авторитете старших? Не беда, говорю, пани Ядя, авторитета от того не убавится, а дрова в школе будут. В тепле работать будете. Но это потом. А тогда все же распилили мы эту чертову колоду, и я почти уже забыл зачем приехал, скинул свой единственный пиджачок и пилил на пару с Морозом, потом кололи. По-

потел вволю. Дети перенесли дрова в сарайчик, и Мороз отпустил всех по домам.

Ночевать пришлось там же, в школе. Мороз жил в боковушке при классе, спал на роскошной, в стиле барокко, панской кушетке с выгнутыми наподобие львиных лап ножками. Накрывался пальто, одеяла, конечно, не было. На ту ночь кушетка досталась мне, укрылся я своим пиджачком. Перед тем как лечь, поели бульбочки, мать одного ученика ради такого случая принесла с хутора кусок колбасы и крынку простокваши. Ужинали и знакомились. Хотя пока пилили дрова, мне казалось, что знаю его всю жизнь. Родом он был с Могилевщины, уже пять лет учительствовал после окончания педтехникума. Нога такая с детства, долго болела да так и осталась. Я осторожноенько завел речь о наших обычных делах: программах, успеваемости, дисциплине. И тогда услышал от него такое, что сначала вызвало во мне несогласие. А потом я стал допускать, что, возможно, он в чем-то и прав. Как теперь погляжу с высоты моего пенсионного возраста, так был он абсолютно прав.

Да, он был прав, так как смотрел шире и, возможно, дальше, чем это принято смотреть, ограничивая свой кругозор профессиональными нормами. Нормы, они, брат, хорошая вещь, если не заостенели, не засохли от времени, не пришли в противоречие с жизнью. Словом, применять их, как и всякие нормы, надо с умом, смотря по обстоятельствам. А у нас как бывает? Теперь к каждой науке приставлен специалист-предметник, и каждый добывается наилучших знаний по своей специальности. И потому, скажем, математичке какой-либо бином Ньютона в сто раз дороже всей поэтики Пушкина или человековедения Толстого. А для языковеда умение обособлять деепричастные обороты—мерило всех достоинств школьника. За эти свои запятые он готов ребенка на второй год оставить и в институт не дать ходу. Математичка тоже. И никто не подумает, что этот бином, может,— и наверняка — никогда в жизни ему не понадобится, да и без запятых прожить можно. А вот как прожить без Толстого? Можно ли в наше время быть образованным человеком, не читая Толстого? Да и вообще можно ли быть человеком?

Теперь, правда, уже присмотрелись к Толстому и ко многому прочему, приобвыкли, утратили свежесть восприятия. А тогда все выглядело внове, значительнее, и Мороз, очевидно, отреагировал на это острее, чем я. Хотя я и был старше его лет на пять, членом партии и заведовал всем районом. И он мне сказал той ночью, когда мы лежали рядом — я на его кушетке, а он на столе,— примерно следующее: «С программами в школе действительно не все в порядке, успеваемость не блестящая. Ребята учились в польской школе, многие, особенно католики, плохо справляются с белорусской грамматикой, их начальные знания не соответствуют нашим программам. Но вовсе не это главное. Главное, чтобы ребята теперь поняли, что они — люди, не быдло, не какие-то там вахлаки, какими паны привыкли считать их отцов, а самые полноправные граждане. Как все. И они, и их учителя, и их родители, и все руководители в районе — все равные в своей стране, ни перед кем не надо унижаться, надо только учиться, постигать то самое главное, что приобщает людей к вершинам национальной и общечеловеческой культуры». В этом он видел свою наипервейшую педагогическую обязанность. И он делал из них не отличников учебы, не послушных зубрил, а прежде всего — людей. Сказать такое, конечно, легко, труднее это понять, а еще труднее — добиться. Такое в программах и методиках не очень-то разработано, часы на это не предусмотрены. И Мороз сказал, что достичь этого можно только личным примером в процессе взаимоотношений учителя с учениками.

Наверно, мы все-таки плохо знаем и мало изучаем, чем было наше учительство для народа на протяжении его истории. Духовенство — это известно, здесь еще есть более или менее достоверная картина. Роль

попа, ксендза на каждом историческом этапе прослежена. А вот что такое сельское учительство в наших школах, что оно значило для нашего некогда темного крестьянского края во времена царизма, Речи Посполитой, в войну, наконец, до и после войны? Это сейчас спроси любого огольца, кем он станет, как вырастет,— скажет: врачом, летчиком, а то и космонавтом. Да, теперь есть такая возможность. И в действительности так и бывает, до космонавта включительно. А прежде? Если рос, бывало, смысленый парнишка, хорошо учился, что о нем говорили взрослые? Вырастет — учителем будет. И это было высшей похвалой. Конечно, не всем достойным удавалось достигнуть учительской судьбы, но к ней стремились. Это был предел жизненной мечты. И правильно. И не потому, что почетно или легко. Или заработок хороший — не дай бог учительского хлеба, да еще на деревне. Да в те давние времена. Нужда, бедность, чужие углы, деревенская глушь и в конце — преждевременная могила от чахотки... И тем не менее, скажу тебе, не было ничего более важного и нужного, чем та ежедневная, скромная, неприметная работа тысяч безвестных сеятелей на этой духовной ниве. Я так думаю: в том, что мы сейчас есть как нация и граждане, главная заслуга сельских учителей. Пусть, может, я и ошибаюсь, но так считаю.

И тут, как это часто бывает, не обходится без своих энтузиастов. Мороз был именно одним из тех, кто сделал для людей многое, подчас на свой страх и риск, невзирая на трудности и неудачи. А неудач и разных конфликтов у него хватало.

Помню, как-то поехал в Сельцо инспектор из области — через день возвращается разгневанный и возмущенный. Оказывается, очередной скандал. Не успел товарищ инспектор войти в Габрусеву усадьбу, как в аллее его атаковали собаки. Одна черная, на трех лапах, а вторая — злая такая, маленькая и вертлявая (полицай потом в войну их постреляли). Да. Ну, пока инспектор опомнился, собаки и располосовали ему штанину. Морозу, конечно, пришлось извиняться, а пани Ядя зашивала пану инспектору брюки, пока тот сидел в пустом классе в своих не слишком, наверно, свежих подштанниках. Оказывается, собаки были школьные. Именно так. Не сельские, не откуда-то с хутора и даже не лично учителя, а общие, школьные. Ребята где-то подобрали эту непотребщину, родители наказали утопить, но перед тем в классе читали тургеневскую «Муму», и вот Алесь Иванович решил: поселить щенков в школе и по очереди их досматривать. Так в Сельце завелись школьные собаки.

А потом появился и школьный скворец. Осенью отстал от своей стаи, поймали его на лугу, мокрого доходягу, и Мороз тоже поселил его в школе. Сначала летал по классу, а потом смастерили клетку — больше для того, чтобы не съел кот. Ну, конечно, был там и кот, жалкое такое слепое создание, ничего не видит, а только мяукает — есть просит.

Тем временем быстро темнело. Серая лента дороги, выгибаясь на пригорках, пропадала в сумеречной дали. Горизонт вокруг тоже утонул в сумерках, вечерней дымкой покрылись поля, а лес вдаль казался тусклой глухой полосой. Небо над дорогой совсем померкло, только закатный краешек его за нашими спинами еще сочился далеким отсветом зашедшего солнца. Машины по шоссе шли с включенными фарами, но, как назло, все из города, нам навстречу. После никелированной «Волги» нас не обогнала ни одна машина. Слушая Ткачука, я время от времени оглядывался и еще издали заметил две светлые точки быстро приближающихся автомобильных фар.

— Идет какая-то.

Ткачук замолчал, остановился и взгляделся тоже; его хмурый массивный профиль четко обозначился на светлом фоне закатного неба.

— Автобус,— сказал он с уверенностью.



Должно быть, мой спутник был дальнотормозим, я на таком расстоянии не мог отличить легковушки от грузовой. И правда, вскоре мы уже оба увидели на шоссе большой серый автобус, который быстро нагонял нас. Вот он ненадолго исчез в невидимой отсюда ложбинке, чтобы затем еще отчетливее появиться из-за пригорка; ярче засверкали колючие огоньки его фар, и даже стал виден тусклый ответ салона. Автобус, однако, замедлил ход, мигнул одной фарой и остановился, чуть съехав к обочине. Он не дошел до нас каких-нибудь метров триста, и мы, вдруг обнадёженные возможностью подъехать, бросились ему навстречу. Я несколько поспешно сорвался с места, Ткачук тоже попытался бежать, но тут же отстал, и я подумал, что надо хоть мне успеть, чтобы на минуту задержать автобус.

Бежать было легко, под уклон, подошвы гулко стучали по асфальту. Все время казалось, автобус вот-вот тронется, но он терпеливо стоял на дороге. Из него даже вышел кто-то, должно быть водитель, оставив открытой дверцу, обошел машину и чем-то раза два стукнул. Я уже был совсем близко и еще больше напряг силы, казалось — добегу, но тут резко хлопнула дверца, и автобус сорвался с места.

Все еще не теряя надежды, я остановился на асфальте и отчаянно замахал рукой: дескать, стой же, возьми! Мне даже показалось, что автобус притормозил, и тогда я снова бросился к нему чуть ли не под самые колеса. Но на ходу открылась дверца кабины, и сквозь взметенную автобусом пыль на дорогу вылетело:

— Нету, нету остановки. Чеши дальше...

Я остался один посреди гладкой полосы асфальта. Вдали, затихая, гудел мотор комфортабельного «Икаруса», на взгорке смутно маячила одинокая фигура Ткачука.

— Чтоб ты провалился, гад! — вырвалось у меня: надо же так обмануть!

Было обидно, хотя я и понимал, что не такое уж это большое несчастье — действительно, разве здесь была остановка? А раз не было, так какая нужда междугородному скоростному экспрессу подбирать разных ночных бродяг — для этого есть автобусы местных линий.

И все-таки вид у меня был, наверно, довольно убитый, когда я добрал до Ткачука. Терпеливо дождавшись меня, тот спокойно заметил:

— Не взял? И не возьмет. Они такие. Раньше бы всех подобрал, чтобы на бутылку сшибить. А теперь нельзя — контроль, ну и жмет. Назло себе и другим.

— Говорит, остановки нет.

— Но ведь останавливался. Мог бы... Да что там. Я уж в таких случаях предпочитаю помалкивать: себе дешевле обойдется.

Может, он и был прав: не надо было надеяться — не было бы и разочарования. Значит, придется помаленьку топтать дальше. Правда, ноги уже порядком устали, но раз мой попутчик молчал, то и мне, пожалуй, следовало вести себя сдержаннее.

— Да, так значит, про Мороза,— начал Ткачук, возвращаясь к прерванному рассказу.— Второй раз наведалься я в Сельцо зимой. Холода стояли лютые, помнишь же, наверно, зиму сорокового—сорок первого года: сады вымерзли. Мне-то еще повезло, подъехал с каким-то дядькой в санях, ноги зарыл в сено и то замерзли, думал, отморозил совсем. До школы едва добежал, было поздно, вечер, но в окошке горит свет, постучал. Вижу, будто кто-то глядит сквозь намерзшее стекло, а не открывает. Что, думаю, за напасть, уж не завел ли тут мой Алесь Иванович какие-нибудь шуры-муры. «Открой, говорю. Это я, Ткачук, из районо». Наконец открывается дверь, где-то лает собака, вхожу. Передо мной парниш-

ка с лампой в руках. «Ты что тут делаешь?» — спрашиваю. «Ничего, говорит. Чистописание пишу». — «А почему домой не идешь? Или, может, Алесь Иванович после уроков оставил?» Молчит. «А где сам учитель?» — «Повел Ленку Удодову с Ольгой». — «Куда повел?» — «Домой». Ничего не понимаю: какая нужда учителю учеников по домам разводить? «А что, он всех домой провожает?» — спрашиваю, а сам уже злюсь за такую встречу. «Нет, говорит, не всех. А этих потому, что маленькие, а через лес идти надо».

Ну, что ж, думаю, ладно. Разделся, начал отогреваться, настроение пошло на улучшение. Но вот минул час, а Мороза все нет. «Так сколько до того села будет?» — спрашиваю. Говорит: «Версты три будет». Ладно, что ж делать, сидим, ждем. Парнишка в теградке пишет. «А тебя он, наверное, оставил печку топить?» — спрашиваю. — Ты где живешь?» — «Тут и живу, отвечает. Меня Алесь Иванович к себе взял, а то мой татка дерется». Э, вот оно, оказывается, в чем дело. Как бы оно не обернулось новыми неприятностями. И скажу тебе, забегая вперед, так и вышло. Как я предчувствовал, так и получилось.

Часа через три возвращается Мороз. Ни стука, ни шагов, ничего, кажется, не было слышно, только парнишка тот Павлик... Да, да, ты угадал. Именно Павлик, Павел Иванович, будущий товарищ Миклашевич... Тогда был таким черноглазым, шустрым мальчонкой. Так вот Павлик срывается, бежит через класс и открывает дверь. Вваливается Мороз весь заиндевелый, заснеженный, ставит в угол свою палочку с ручкой наподобие козлиной головы. Поздоровались. Объясняет, почему задержался. Оказывается, довел он этих девчушек домой, а там неприятность: что-то случилось с коровой, не могла растелиться, вот и задержался учитель. помогал матери. А девчушки? Ну, это простая история. Наступили холода, мать забрала их из школы: дескать, обувка плохая и ходить далеко. В ту пору все это было делом обычным, но девчушки, славные такие близнята, хорошо учились, и Мороз понимал, что это означало для матери-вдовы (отец в тридцать девятом погиб под Гдыней). И он уломал бабу, купил девочкам по паре ботинок — стали учиться. Только когда прибыло ночи, забоялись одни ходить через лес, надо было проводить кому-то. Обычно это делал переросток Коля Бородич, тот, что некогда с учителем пилил колоду. А в тот день Бородич почему-то не пришел в школу, дома понадобился, вот и довелось учителю идти в провожатые.

Рассказал это он, я молчу. Черт знает, что ему сказать, педагогично это или нет, тут все наши педпостулаты запутались. Мороз вообще был мастер путать постулаты, и я уже стал привыкать к этой его особенности. А про его квартиранта мы тогда не очень-то и говорили. Он сказал только, что парнишка побудет пока в школе, дома, мол, нелады. Ну что ж, думаю, пусть. Тем более такие холода стоят.

И вот спустя каких-нибудь две недели вызывают меня к прокурору. Что, думаю, за напасть, не любил я этих законников, от них всегда жди неприятностей. Прихожу, а там сидит незнакомый дядька в кожухе, и прокурор района товарищ Сивак строго так наказывает мне ехать в Сельцо и забрать у гражданина Мороза сына этого вот гражданина Миклашевича. Я попытался было возразить, но не тут-то было. Прокурор в таких случаях, как дубинкой, бил одним аргументом: закон! Ладно, думаю, закон так закон. Сели в милицейский возок и с участковым да с Миклашевичем покатали в Сельцо.

Приехали, помню, к концу занятий, вызвали Мороза, стали объяснять, в чем дело: постановление прокурора, на стороне гражданина Миклашевича закон, надо вернуть парнишку. Мороз выслушал все молча, позвал Павла. Тот как увидел отца — съежился, будто зверек, близ-

ко не подходит. А тут вся детвора за дверьми, оделись, а по домам не расходятся, ждут, что будет дальше. Мороз и говорит Павлику: так, мол, и так, поедешь домой, так надо. А тот ни с места. «Не пойду, говорит. Я у вас хочу жить». Ну, Мороз неубедительно так, конечно, неискренне объясняет, что жить у него больше нельзя, что по закону сын должен жить с отцом и, в данном случае, с мачехой (мать недавно умерла, отец женился на другой, ну и пошли нелады с мальчишкой — известное дело). Едва уговорил парня. Тот, правда, заплакал, но надел свой пиджачок, собрался в дорогу.

И вот картина! Как сейчас, все перед глазами, хоть минуло уже... Сколько же это? Должно быть, лет тридцать. Мы стоим на веранде, дети толпятся во дворе, а Миклашевич-старший в длинном красном кожаном пальто ведет к шоссе Павлика. Атмосфера напряженная, детвора на нас не смотрит, милиционер молчит, Мороз просто оцепенел. Те двое далековато уже отошли по аллею и тут, видим, останавливаются, отец тормозит сына за руку, тот начинает вырываться, да куда там, не вырвешься. Потом Миклашевич одной рукой снимает с кожаного ремня и начинает бить сына. Не дождавшись, пока уйдут с чужих глаз. Павлик вырывается, плачет, детвора во дворе шумит, некоторые поворачиваются в нашу сторону с упреком в глазах — чего-то ждут от своего учителя. И что ты думаешь? Мороз вдруг срывается с веранды и, хромя, через двор — туда. «Стойте, кричит, прекратите избиение!»

Миклашевич и впрямь остановился, перестал бить, сопит, зверем смотрит на учителя, а тот подходит, вырывает Павлову руку из отцовской и говорит прерывающимся от волнения голосом: «Вы у меня его не получите! Понятно?» Миклашевич, разъяренный, — к учителю, но и Мороз, не глядя что калека, тоже грудью вперед и готов в драку. Ну, тут уж мы подросли, разняли, не дали подраться.

Разнять-то разняли, а что дальше? Павлик убежал в школу, отец ругается и грозит, я молчу. Милиционер ждет — он что, он исполнитель. Кое-как утихомирили обоих. Миклашевич пошел на шоссе, а мы строем остались — что делать? Тем более что Мороз сразу же объявил с присущей ему категоричностью: такому отцу парня не отдам.

Вернулись с милиционером в район ни с чем, наказ прокурорский не выполнили. Передали все дело на исполком, назначили комиссию, а отец тем временем подал в суд. Да, было хлопот и неприятностей и ему и мне — хватило обоим. Но Мороз все-таки своего добился: комиссия решила передать парня в детдом. Правда, с выполнением этого соломонова решения Мороз не спешил, и, наверное, правильно делал.

Тут еще надо вспомнить одно обстоятельство. Дело в том, что, как я уже говорил, школы создавались заново, почти всего не хватало. Каждый день в район приезжали из деревень учителя, жаловались на условия, просили то парты, то доски, то дрова, то керосин, то бумагу — и, уж конечно, учебники. Учебников не хватало, мало было библиотек. А читали здорово, читали все: школьники, учителя, молодежь. Книги добывали где только было возможно. Мороз, когда приезжал в местечко, наседали на меня чаще всего с одной просьбой: дайте книг. Кое-что я, конечно, ему давал, но, понятно, не много. К тому же, признаться, думал: школа маленькая, зачем ему там большая библиотека? Тогда он взялся добывать книги сам.

Километрах в трех от райцентра, может, знаешь, есть село Княжево. Село как село, ничего там княжеского нет, но когда-то неподалеку от него была панская усадьба, — в войну при немцах сгорела. А при поляках там жил какой-то богатый пан, после него осталась всякая всячина и, понятно, библиотека. Я там был как-то, поглядел, — казалось, ничего подходящего. Книг много, новые и старые, но все на польском да на

французском. Мороз выпросил разрешение съездить туда, отобрать кое-что для школы.

И знаешь, ему повезло. Где-то, на чердаке, кажется, откопал сундук с русскими книгами, и среди всего не слишком стоящего — разных там годовых комплектов «Нивы», «Мира божьего», «Огонька» — оказалось полное собрание сочинений Толстого. Мне он об этом ничего не сказал, а в первый же выходной взял в Сельце фурманку, ученика того, переростка, и — в Княжево. Но дело было к весне, дорога раскисла, как на беду, снесло мост, близко к усадьбе никак не подъехать. Тогда он начал носить книги через реку по льду. Все шло хорошо, но в самом конце, уже в потемках, провалился у берега. Правда, ничего страшного не случилось, но ноги промочил до колен, простудился и слег. Да слег основательно, на месяц. Воспаление легких.

Мне сказал об этом приезжий дядька из Сельца, и вот я ломаю голову: как быть? Учитель болеет, школу хоть закрывай. Пани Ядя, помнится, тогда уже не работала, выехала куда-то, замены ему никакой нет, ребятам раздолье. Знаю, надо бы съездить, да времени нет — мотаюсь по району: открываем школы, организуем колхозы. И все же как-то проездом завернул в ту аллею. Дай, думаю, проведу Мороза, как он там, жив ли?

Захожу в коридор — на вешалке полно одежды, ну, думаю, слава богу, значит, поправился, наверно, идут занятия. Открываю дверь в класс: стоит штук шесть парт и — пусто. Что, думаю, за лихо, где же дети? Прислушался: как будто разговор где-то, тихий такой, складный, словно молится кто-то. Еще прислушался: совсем чудно — слышу монолог князя Андрея под Аустерлицем. Помнишь: «Где оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидел нынче... И страдания этого я не знал также... Да, я ничего этого не знал до сих пор. Но где я?..»

Мне тоже почудилось: где я? Такого я не слышал уже лет десять, а когда-то, студентом, этот отрывок сам декламировал на литературном вечере.

Тихонько открываю дверь — в Морозовой боковушке полно детей, расселись кто где: на столе, на скамейках, на подоконнике и на полу. Сам Мороз лежит на своей кушетке укрытый кожушкой и читает. Читает Толстого. И такая тишина и внимание, что муха не слышна. На меня никто не оглянулся — не замечают. И я стою, не знаю что делать. Первое побуждение: просто закрыть дверь и уехать.

Но все-таки вспомнил, что я начальство, заведующий районо и ответственный за педпроцесс в районе. Это хорошо — читать Толстого, но, наверно, и программу выполнять надо. А уж если ты можешь читать «Войну и мир», так, должно быть, и учить можешь? А то зачем же ученикам брести за столько километров в это Сельцо?

Примерно так я и сказал Морозу, когда мы отправили учеников и остались одни. А он говорит в ответ, что все те программы, весь тот материал, что он пропустил за месяц болезни, не стоят двух страничек Толстого. Я позволил себе не согласиться, и мы поспорили.

В ту весну Мороз усиленно изучал Толстого, сам перечитал всего, многое прочитал ребятам. То была наука! Это теперь любой студент или старшекласник, только заведи с ним разговор о Толстом или Достоевском, перво-наперво начнет тебе толковать об их недостатках и заблуждениях. В чем состоит величие этих гениев, надо еще допытываться, а вот их недостатки у каждого наперечет. Вряд ли кто помнит, на какой горе лежал раненный под Аустерлицем князь Андрей, а вот по части ошибочности непротивления злу насилем с уверенностью судит каждый. А Мороз не ворошил толстовские заблуждения — он просто читал ученикам и сам вбирал в себя все дочиста, душой вбирал. Чуткая душа, она прекрасно сама разберется, где хорошее, а где так себе. Хорошее войдет в

нее как свое, а прочее быстро забудется. Ответится, как на ветру зерно от половы. Теперь я это понял отлично, а тогда что ж... Был молод, да еще начальник.

Обычно в мальчишеской компании находится кто-то постарше или посообразительнее, который своим характером или авторитетом подчиняет себе остальных. В той школе в Сельце, как мне потом говорил Миклашевич, таким заводилой стал Коля Бородич. Если ты помнишь, его фамилия стояла первой на памятнике, а теперь вторая, после Мороза. И это правильно. Во всей этой истории с мостом именно Коля сыграл первую скрипку...

Я видел его несколько раз, всегда он был рядом с Морозом. Плечистый такой, приметный парень, упрямого, молчаливого характера. Судя по всему, очень любил учителя. Просто был предан ему безгранично. Правда, никогда я не слышал от него ни единого слова — всегда он поглядывает исподлобья и молчит, словно сердится за что-то. Было ему в ту пору шестнадцать лет. При панах, понятно, не очень учился, у Мороза ходил в четвертый класс. Да, еще один факт: в сороковом закончил четвертый, надо было подаваться в НСШ за шесть километров, в Будиловичи. Так он не пошел. Знаешь, попросился у Мороза ходить второй год в четвертый. Лишь бы в Сельце.

Мороз, кроме того, что учил по программе и устраивал читку книг вне программы, занимался еще и самодеятельностью. Ставили, помню, «Павлинку», какие-то пьески, декламировали, пели, как обычно. Ну и, конечно, были в их репертуаре антирелигиозные номера, всякие там басни про попа и ксендза. И вот об этих-то номерах прослышал ксендз из Скрылева, который во время службы в очередной праздник пренебрежительно отозвался об учителе из сельцовской школы. Как выяснилось потом, довольно подло оскорбил его за хромоту, словно тот был в этом виновен. Кстате, об этом узнали позже. А сперва случилось вот что.

Как-то встречает меня в столовке все тот же наш прокурор Сивак, говорит: зайди в прокуратуру. Я уже говорил, что страх как не любил этих визитов, но что поделаешь, не откажешься — надо идти. И вот, оказывается, в прокуратуру поступила жалоба от скрылевского ксендза на злоумышленника, который влез в святой храм и осквернил алтарь или как там у них, католиков, называется эта штукавина. Что-то написал там. Служки, однако, поймали осквернителя, им оказался сельцовский школьник Микола Бородич. Теперь ксендз и группа прихожан ходатайствуют перед властями о наказании школьника, а заодно и его учителя.

Что тут делать — опять разбираться? Через неделю в Сельце выезжают следователь, участковый, какое-то духовное начальство из Гродно. Бородич не отрицается: да, хотел отомстить ксендзу. Но за кого и за что — не говорит. Ему втолковывают: не признаешься честно — засудят, не посмотрят, что малолеток. «Ну и пусть, говорит, засудят».

И что же ты думаешь, чем это кончилось? Мороз всю вину взял на себя, доложил начальству, будто все это — результат его не совсем продуманного воспитания. Хлопотал, ездил куда-то в центр — и парня оставили в покое. Надо ли тебе говорить, что после этого не только школьники в Сельце, но и крестьяне со всей округи стали смотреть на Мороза как на какого-то своего заступника. Что у кого было трудного или хлопотного, со всем шли к нему в школу. Настоящий консультационный пункт открыл по различным вопросам. И не только разъяснял или давал советы, но еще и самому забот невпроворот было. Каждую свободную минуту — то в район, то в Гродно. Вот по этой самой дороге — на фурманках или попутных, не частых тогда, машинах, а то и пешком. И это хромой человек с палочкой! И не за деньги, не по обязанности — просто так. По призванию сельского учителя.

По-видимому, мы протопали по шоссе час, если не больше. Стемнело, земля целиком погрузилась во мрак, туман затянул низины. Хвойный лес невдалеке от дороги зачернел неровным зубчатым гребнем на светловатом закрайке неба, в котором одна за другой зажигались звезды. Было тихо, не холодно, скорее свежо и очень привольно на опустевшей осенней земле. В воздухе тянуло ароматом свежей пашни, от дороги пахло асфальтом и пылью. Я слушал Ткачука и подсознательно впитывал в себя торжественное величие ночи, неба, где над сонной землей начиналась своя, необъяснимая и недостижимая ночная жизнь звезд. Крупно и ярко горело в стороне от дороги созвездие Большой Медведицы, над нею мигал ковшик Малой с Полярной в хвосте, а впереди, как раз в том направлении, куда уходила дорога, тоненько и остро поблескивала звездочка Ригеля, словно серебряный штемпель на уголке звездного конвертика Ориона. И мне подумалось, как все же выпрени и неестественны в своей высокопарной красноречивости древние мифы, хотя бы вот и об этом красавце Орионе, возлюбленном богини Эос, которого из ревности убила Артемида, как будто не было в их мифической жизни других, более страшных бед и более важных забот. Тем не менее эта красивая выдумка древних подкупает и очаровывает человечество куда больше, чем самые захватывающие факты его истории. Может, даже и в наше время многие согласились бы на такую легендарную смерть и особенно последующее за ней космическое бессмертие в виде этого туманного созвездия на краю звездного ночного неба. К сожалению или к счастью, но это не дано никому. Мифические трагедии не повторяются, а земля полнится собственными, подобными той, что некогда случилась в Сельце и о которой сейчас, переживая все заново, рассказывал мне Ткачук.

— И тут — война.

Сколько мы к ней ни готовились, как ни укрепляли оборону, сколько ни читали и ни думали о ней, а обрушилась она неожиданно-негаданно, как гром среди ясного дня. Через три дня от начала, как раз в среду, здесь уже были немцы. Которые местные, здешние крестьяне, те уже, знаешь, привыкли на своем веку к частым переменам: как-никак при жизни одного поколения — третья смена власти. Привыкли, словно так и должно быть. А мы — восточники. Это было такое несчастье — разве думали мы когда, что на третий день окажемся под немцем. Помню, пришел приказ организовать истребительный отряд, чтобы вылавливать немецких диверсантов и парашютистов. Я бросился собирать учителей, объездил шесть школ, в обед на роваре прикатил в райком, а там пусто. Говорят, райкомовцы только что погрузили в полторку свои пожитки и покатали на Минск, шоссе, мол, уже перерезано немцами. Я поначалу опешил: не может быть. Если — немцы, так должны же где-то отступать наши. А то с начала войны тут ни одного нашего солдата никто не видел и вдруг — немцы. Но те, что говорили так, не обманывали — под вечер в местечко и впрямь вкатило штук шесть вездеходов на гусеничном ходу, и в них полно самых настоящих фрицев.

Я да еще трое хлопцев — два учителя и инструктор райкома — огородами прошмыгнули в жито, через него в лес и подались на восток. Три дня шли — без дорог, через приеманские болота, несколько раз попадали в такие переделки, что врагу не пожелаешь, думали: каюк. Учителя одного, Сашу Крупеню, ранило в живот. А где фронт — черт его знает, не догонишь, наверно. Поговаривают, что уже и Минск под немцем. Видим, до фронта не дойдем, погибнем. Что делать? Оставаться — а где? У чужих людей не очень удобно, да и как попросишься? Решили возвращаться назад, все же в своем районе хоть люди знакомые. За полтора года по селам да хуторам перезнакомились со всякими.

И тут, понимаешь, оказалось, что все-таки плохо мы знали наших

людей. Сколько было встреч, бесед, за чаркой иной раз сидели, казалось, все добрые, хорошие, честные. А на деле обернулось совсем иначе. Приволоклись мы в Старый Двор — хутор такой близ леса, в стороне от дорог, немцев там будто еще и не было. Ну, думаю, самое подходящее место пересидеть здесь каких пару недель, пока наши погонят немцев. На большее тогда не рассчитывали — что ты! Если бы кто сказал, что война на четыре года затянется, его провокатором или паникером посчитали бы. Крупеня тем временем уже доходит, идти дальше нельзя. И я вспомнил, что в Старом Дворе есть у меня знакомец, активист, грамотный человек Усолец Василь. Как-то ночевал у него после собрания, поговорили от души, понравился человек: умный, хозяйственный. И жена — молодежь такая женщина, гостеприимная, чистюля, не в пример другим. Грибками солеными угощала. В хате цветов полно — все подоконники ими заставлены. Вот мы поздно ночью и заявились к этому Усолцу. Так и так, мол, надо помочь, раненый и так далее. И что, думаешь, наш знакомец? Выслушал и на порог не пустил. «Кончилась тут, говорит, ваша власть!» И так грохнул дверь, что аж с подстрешья посыпалось.

Приютила нас простая, никому не знакомая тетка — трое малых детей, старший глухонемой, муж в армии. Как прослышала, что раненый (мы перед этим к другой семье в крайнюю хату зашли), как узнала кто такие, всех перетащила к себе. Бедолагу Крупеню обмыла, накормила куриным бульончиком и спрятала под снопами в пухляке. И все, помню, охала: может, и мой бедненький где так мучается! Значит, любила своего бедненького, а это, брат, всегда что-то да значит. Ну, а Крупеня через неделю помер, не помог и куриный бульончик: пошло заражение. Втихую закопали ночью на краю кладбища. И что же дальше? Посидели еще неделю у тетки Ядвиги, и я взялся нащупывать каких-нибудь партизан. Думаю, должны же быть где-нибудь наши. Не все же на восток поудирали. Без партизан ни одна война у нас не обходилась — сколько об этом книг написано да фильмов поставлено — было на что надеяться.

И знаешь, напал-таки на группу окруженцев, человек тридцать бывших бойцов. Командовал ими майор Селезнев, из кавалеристов, решительный такой мужик, родом с Кубани, мастер ругаться в семь этажей, накричать, даже пристрелить под горячую руку мог. А вообще-то справедливый. И что интересно: никогда не угадаешь, как он к тебе отнесется. Только что грозил пустить пулю в лоб за ржавый затвор, а через час уже объявляет тебе благодарность за то, что на переходе первым заметил хутор, в котором оказалась возможность отдохнуть и подкрепиться. А про затвор он уже и забыл. Такой был человек. Поначалу он меня удивлял, потом ничего, привык к этому его кавалерийскому норову. В сорок втором под Дятловом шел первым по тропке, за ним адъютант Сема Цариков и остальные. И надо же — какой-то паршивый полицей с перепугу пальнул от моста и прямо командиру в сердце. Вот тебе и судьба. В скольких страшных боях участвовал, и ничего. А тут за всю ночь одна пуля и — в командира.

Да, Селезнев был мужик особенный, крутой, своенравный, но, знаешь, голову на плечах имел, на рожон не лез, как некоторые. Заядлый на словах больше, а так — умел думать. Первые несколько месяцев просидели в лесу на Волчьих ямах — урочище так называется за Ефимовским кордоном. Потом уже, в сорок третьем, там обосновалась Кировская бригада, мы перебрались в пущу. А поначалу мы эти ямы обжидали. Отличное, скажу тебе, место: болото, бугры, ямы да увалы — сам черт ногу сломает. Ну, погрелись мы малость в землянках, попривыкли к волчьей жизни в лесу. Не знаю, подсказал кто или майор сам понял, что война не на несколько месяцев, может, побольше протянется и что

без местных ему не обойтись. Поэтому-то и принял в свое кадровое войско меня и еще некоторых: начальника милиции из Пружан, студента одного, председателя сельсовета с секретарем. А на Октябрьские праздники и прокурор наш, товарищ Сивак, заявляется, тоже до фронта не дошел, вернулся. Сначала рядовым был, а потом начальником Особого отдела поставили. Но это потом уже, как Селезнева не стало. А в то время решили, что, пока спокойно, надо оглядеться да наладить кое-какие связи с селами, возобновить знакомства с надежными людьми, пощупать на хуторах окруженцев, которые из частей разбежались да к молодежи пристроились. Перво-наперво разослал майор всех местных, здешних, а таких тогда уже человек двенадцать набралось, кого куда. Меня с прокурором, понятно, в наш бывший район. Риску, конечно, тут было побольше, чем в другом месте,— все-таки многие нас тут помнили, могли опознать. Но зато и мы знали больше и немного ориентировались, кому довериться, а кому нет. Да и вид у нас был не прежний, не сразу узнаешь — обросли бородами, обносились. Прокурор в черной железно-дорожной шинели, я в армяке и сапогах. У обоих торбы за спинами. Как нищие какие.

Поначалу решили зайти в Сельцо.

Не на усадьбу, конечно, а в село,— ты, может, знаешь, это через выгон от школы. В селе у прокурора был знакомый один, бывший сельский активист, вот к нему мы и направились. Но сперва из предосторожности зашли в одну хату на Гриневских хуторах — ту самую, что после войны завмаг из Рандулич купил и возле сельмага поставил. Хозяйка в Польшу выехала, года три хата стояла пустая, вот завмаг и откупил. А в войну в ней жили три девки при матери, невестка — сынова женка (сын в польско-германскую войну пропал, потом аж у Андерса объявился). Вот пока мы портянки сушили, девки нам все и рассказали. И про новости в Сельце тоже. Оказывается, хорошо сделали, что сначала зашли к этим полячкам, а то бы не миновать беды. Дело в том, что этот прокурорский знакомый ходит уже с белой связкой на рукаве — стал полицаем. Покряхтел прокурор от такой новости, а я, признаться, порадовался: было бы, наверно, хуже, если бы сразу сунулись полицаяу в лапы. Однако скоро пришла и моя очередь удивиться и озадачиться — это когда я спросил про Мороза. Невестка и говорит: «Мороз все в школе работает». — «Как работает?» — «Детей, говорит, учит». Оказывается, тех самых своих пацанов собрал по селам, немцы дали разрешение открыть школу, вот он и учит. Правда, уже не в Габрусевой усадьбе — там теперь полицейский участок, — а в одной хате в Сельце.

Вот так метаморфоза! От кого-кого, а от Мороза такого не ждал. А тут прокурор высказывается в том смысле, что в свое время, мол, надо было этого Мороза репрессировать — не наш человек. Я молчу. Думаю, думаю, и никак в голове не укладывается, что Мороз — немецкий учитель. Сидим возле печки, глядим в огонь и молчим. Наладили, называется, связи. Один — полицай, другой — немецкий прихвостень, ничего себе кадры подготовили в районе за два предвоенных года.

И знаешь, думал я, думал и надумал сходить все-таки ночью к Морозу. Неужели, думаю, он меня продаст? Да я его, если что, гранатой взорву. Винтовки не было, а граната имелась в кармане. Селезнев запретил брать с собой оружие, но гранату я все-таки прихватил на всякий непредвиденный случай.

Прокурор отговаривал меня от этой затеи, но я не поддался. Характер уж такой с детства: чем больше меня убеждают в чем-то, с чем я не согласен, тем больше мне хочется сделать по-своему. Не очень-то это помогает в жизни, да что поделаешь. Правда, прокурор тут ни при чем. Просто боялся за меня, думал, как бы одному не пришлось возвращаться в лагерь.



Девки рассказали, как в деревне найти Мороза. Третья хата от колдца, со двора крыльцо. Живет у бабки-бобылки. Через улицу в другой хате теперь его школа.

Стемнело — пошли. Дождик моросит, грязюка, ветер. Начало ноября, а холодина собачья. Договорились с напарником, что я зайду один, а он меня подождет в загуменье за кустиками. Ждать будет час, не приду — значит, дело плохо, что-то стряслось. Все же, думаю, за час управлюсь. Уж я разгадаю душу этого Мороза.

Прокурор остался за пунькой, а я вдоль межи — к хате. Темно. Тихо. Только дождь усиливается и шуршит в соломе на стрехах. За изгородью на ощупь добрел до калитки во двор, а она проволокой закручена. Я и так, и этак — ничего не получается. Надо перелезть через изгородь, а изгородь высоковатая, жерди мокрые, скользкие. Наступил сапогом да как поскользнусь — грудью об жердь, та хрясть пополам, а я носом в грязь. И тут — собака. Так зашлась в лае, что я лежу в грязи, боюсь пошевелиться и не знаю что лучше: удирать или звать кого-либо на помощь.

И вот, слышу, кто-то выходит на крыльцо, скрипнул дверями, прислушивается. Потом спрашивает вполголоса: «Кто тут?» И собаке: «Гулька, пошла! Пошла! Гулька!» Ну, ясно, это же школьная собачонка, трехлапая, зато когда-то инспектора укусила. А человек на крыльце — Мороз, голос знакомый. Но как отозваться? Лежу и молчу. А собака опять в лай. Тогда он сходит с крыльца хромая (слышно по грязи: чу-чвяк, чу-чвяк), топает к забору.

Встаю и говорю напрямик: «Алесь Иванович, это я. Твой бывший заведующий». Молчит. И я молчу. Ну что тут делать: назвался, так надо вылезать. Встаю, перелезаю забор. Мороз тихо так: «Тут левой держите, а то корыто лежит». Успокаивает собаку и ведет меня в хату. В хате горит коптилка, окно занавешено, на табуретке — раскрытая книга. Алесь Иванович пододвигает табурет ближе к печке. «Садитесь. Пальто снимите, пусть сохнет». — «Ничего, говорю, пальто мое еще высохнет». — «Есть хотите? Картошка найдется». — «Не голодный, ел уже». Отвечаю вроде спокойно, а у самого нервы напряжены — к кому попал? А он как ни в чем не бывало, спокоен, будто мы с ним вчера только расстались: никаких вопросов, никакого замешательства. Разве только излишняя озабоченность в голосе. И взгляд не такой открытый, как прежде. Вижу, небрит, должно быть, дней пять — русая борода пробилась.

Сижу мокрый, не снимая армяка, и он наконец присел на лавку. Коптилку поставил на табурет. «Как живем?» — спрашиваю. «Известно как. Плохо». — «А что такое?» — «Все то же. Война». — «Однако, слышал, на тебе-то война не очень отразилась. Все учишь?» Он кисло, одной стороной лица усмехнулся, уставился вниз, на коптилку. «Надо учить». — «А по каким программам, интересно? По советским или немецким?» — «Ах, вот вы о чем!» — говорит он и встает. Начинает расхаживать по хате, а я исподтишка внимательно так наблюдаю за ним. Молчим оба. Потом он остановился, зло глянул на меня и говорит: «Мне когда-то казалось, что вы умный человек». — «Возможно, и был умным». — «Так не задавайте глупых вопросов».

Сказал как отрезал — и смолк. И знаешь, стало мне малость не по себе. Почувствовал, что, наверно, дал маху, сморозил глупость. Действительно, как я мог сомневаться в нем! Зная, как он тут жил и кем был прежде, как можно было подумать, что он за три месяца переродился. И знаешь, почувствовал я без слов, без заверений, без божбы, что он наш — честный, хороший человек.

Но ведь — школа! И с разрешения немецких властей...

«Если вы имеете в виду мое теперешнее учительство, то оставьте ваши сомнения. Плохому я не научу. А школа необходима. Не будем

учить мы — будут оболванивать они. А я не затем два года очеловечивал этих ребят, чтоб их теперь расчеловечили. Я за них еще побояюсь. Сколько смогу, разумеется».

Вот так он говорит, шаркая по хате, и не смотрит на меня. А я сижу, греюсь и думаю: а что, если он прав? Немцы ведь тоже не дремлют, свою отраву в миллионах листовок и газет сеют по городам и селам, сам видел, читал кое-что. Так складно пишут, так заманчиво врут. И даже партию свою как назвали: национал-социалистская рабочая партия. И будто эта партия борется за интересы германской нации против капиталистов, плутократов, евреев и большевистских комиссаров. А молодежь и есть молодежь. Она, брат, как малышня на дифтерит, заразительна на всякие малопонятные штучки. Люди постарше, те уже понимают такие хитрости, всякого насмотрелись в жизни, мужика-белоруса на мякине не проведешь. А молодые?

«Теперь все хватаются за оружие,— говорит Мороз, расхаживая по хате.— Потребность в оружии в войну всегда больше, чем потребность в науке. И это понятно: мир борется. Но одному винтовка нужна, чтобы стрелять в немцев, а другому — чтобы перед своими выпендриваться. Ведь перед своими форсить оружием куда безопасней, да и применить его можно вполне безнаказанно, вот и находятся такие, что идут в полицию. Думаете, все понимают, что это значит? Да-леко не все. Не задумываются, что будет дальше. Как дальше жить. Им бы только получить винтовку. Вон в районе уже набирают полицию. И из Сельца двое туда подались. Что из них выйдет, нетрудно себе представить». И это правда, думаю. Но все-таки Мороз этот добровольно работает под немецкой властью. Как же тут быть?

И внезапно, хорошо помню, подумалось как-то само собой: ну и пусть! Пусть работает. Не важно где — важно как. Хоть и под немецким контролем, но наверняка не на немцев. На нас работает. Если не на наше нынешнее, так на будущее. Ведь будет же и у нас будущее. Должно быть. Иначе для чего же тогда и жить? Разом в омут головой — и конец.

Но, оказывается, Мороз этот работал не только для будущего. Делал кое-что и для настоящего.

Час, должно быть, уже прошел, я побоялся за прокурора, вышел позвать его. Тот сначала упирался, не хотел идти, но холод донял, побрел следом. Поздоровался с Морозом сдержанно, не сразу включился в разговор. Но исподволь осмелел. Еще поговорили, потом разделись, стали сушиться. Морозова бабка что-то на стол собрала, даже бутылочка, мутной, правда, нашлась.

Так посидели мы тогда, поговорили откровенно обо всем. И надо сказать, именно тогда впервые открылось мне, что Мороз этот не нам ровня, умнее нас обоих. Ведь случается так, что все работают вместе, по одним правилам, кажется, и по уму все равны. А когда жизнь разбрасывает в разные стороны, развевет по своим стежкам-дорожкам и кто-то вдруг неожиданно выдвинется, мы удивляемся: смотри-ка, а был ведь как все. Кажется, и не умнее других. А как выскочил!

Вот тогда я и почувствовал, что Мороз своим умом обошел нас и берет шире и глубже. Пока мы по лесам шастали да заботились о самом будничном — подкрепиться, перепрятаться, вооружиться да какого-нибудь немца подстрелить,— он думал, осмысливал эту войну. Он и на оккупацию смотрел как бы изнутри и видел то, чего мы не замечали. И главное, он ее больше морально ощущал, с духовной, так сказать, стороны. И знаешь, даже мой прокурор это понял. Когда мы уже вдоволь наговорились, совсем сблизились, я и сказал Морозу: «А может, бросай всю эту шарманку да айда с нами в лес. Партизанить будем». Помню, Мороз насупился, сморщил лоб, а прокурор тогда и

говорит: «Нет, не стоит. Да и какой из него, хромого, партизан! Он здесь нам будет нужнее». И Мороз с ним согласился: «Сейчас, наверно, я тут больше к месту. Все меня знают, помогают. Вот уж когда нельзя будет...»

Ну и я согласился. Действительно, зачем ему в лес? Да еще с такой ногой. Наверно, и нам будет выгодней иметь своего человека в Сельце.

Вот так мы тогда погостили у него и со спокойной душой распрощались. И скажу тебе, этот Мороз стал для нас самым драгоценным помощником среди всех наших деревенских помощников. Главное, как потом выяснилось, приемник достал. Не сам, конечно,— мужики передали. Так его уважали, так с ним считались,— что, как и раньше, не к попу или ксендзу, а к нему шли и с плохим и с хорошим. И когда отыскался где-то этот приемничек, так первым делом передали его своему учителю Алесю Ивановичу. И тот потихонечку стал его покрывать в овине. Вечером, бывало, забросит антенну на грушу и слушает. А после запишет, что услышал. Главное — сводки Совинформбюро, на них самый большой спрос был. У нас в отряде ничего не имели, а он вот разжился. Селезнев, правда, когда дознался, хотел тот приемничек для себя забрать, но передумал. У нас бы те новости человек тридцать пять слушало, а так вся округа ими пользовалась. Тогда сделали так: Мороз два раза в неделю передавал сводки в отряд — у лесной сторожки висела дуплянка на сосне, туда пацаны их клали, а ночью мы забирали. Помню, сидели мы той зимой по своим ямам, как волки, все сплошь замело снегом, холодина, глухомань, со жратвой туго, и только радости что эта Морозова почта. Особенно когда немцев из-под Москвы шибанули, каждый день бегали к дуплянке... Поймай, кажется, едет кто-то...

Из ночной темени сквозь легкие порывы свежего ветра донесся знакомый перестук конских копыт, звякнула уздечка. Колес, правда, не было слышно на гладком, подметенном автомобильным вихрем асфальте. Впереди, куда бежало шоссе, разрозненно сверкали огни недалекой придорожной деревни Будиловичи. Из-за пригорка от нее резво стригли в небе яркие лучи фар.

Мы остановились, немного подождали, пока из темноты, негромко постукивая подковами, появился тихий коник с одиноким седоком на возу, который лениво пошевеливал вожжами. Увидев нас на обочине, возчик насторожился, но молчал, видимо намереваясь проехать мимо.

— Вот кто нас подвезет,— без всякого приветствия сказал Ткачук.— Наверно, порожний, ага?

— Порожний. Мешки отвозил,— глуховато послышалось с воза.— А вам далеке?

— Да в город. Но хотя бы до Будиловичей довез.

— Это можно. Как раз в Будиловичи еду. А там на автобус сядете. В девять автобус. Гродненский. Теперь который?

— Без десяти восемь,— сказал я, кое-как разглядев стрелки на своих часах.

Повозка остановилась. Ткачук, кряхтя, взлез на нее, я примостился сзади. Сидеть было не слишком удобно, жестковато на голых, с остатками мусора досках, но я уже не хотел отставать от моего спутника, который устало вздохнул и свесил с повозки ноги.

— А все-таки, знаешь, уморился. Что значит годы. Эх, годы-годы...

— Издалека идете? — спросил возница. Судя по его глуховатому голосу, был он тоже немолод, держался степенно и как бы чего от нас ждал.

— Из Сельца.

— А-а, так с похорон, значит?

— С похорон,— коротко подтвердил Ткачук.

Возница встряхнул вожжами, конь прибавил шагу — дорога пошла вниз. Навстречу по ту сторону мрачной, без единого огонька широкой низины все стригли в небе расходящиеся лучи автомобильных фар.

— А ведь молодой еще человек был учитель этот. Знал я его хорошо. В позапрошлом году в больнице вместе лежали.

— С Миклашевичем?

— Ну. В одной палате. Еще он какую-то толстую книжку читал. Больше про себя, а когда и вслух. Вот забыл того писателя... Помню, говорилось там, что если нет бога, так нет и черта, а значит, нет ни рая, ни пекла, значит, все можно. И убить и помиловать. Вот как. Хотя он говорил, что это смотря как понимать.

— Достоевский,— бросил Ткачук и обратился к вознице: — Ну, а ты, например, как понимаешь?

— Я-то что! Я человек темный, три класса образования. Но я так понимаю, что надо, чтобы в человеке что-то было. Стопор какой. А то без стопора дрянь дело. Вон в городе набросились на парня с девчиной трое, чуть беды не наделали. Витька наш, хлопец из Будиловичей, вмешался, так сам теперь третью неделю в больнице лежит.

— Побили?

— Не сказать чтоб побили — один раз кастетом по виску ударили. И того хватило. Правда, и от него кому-то досталось. Поймали — известный бандюга оказался.

— Это хорошо,— оживился Ткачук.— Смотри, не испугался. Один против троих. Когда такое было в ваших Будиловичах?

— Ну, в Будиловичах, может, и не было..

— Не было, не было. Знаю я ваши Будиловичи — бедное село, выселки. Теперь что, теперь другое дело: под шифер да под гонт убрались, а давно ли на стрехах мох зеленел! Такое село на большаке, и что меня удивляло — ни одного деревца. Как в Сахаре какой. Правда, земля — один песок. Помню, как-то зашел — рассказали историю. Одного будиловчанина голодуха по весне прищемила, дошел на крапиве, ну и надумал на большаке разжиться. Ночью подстерег прохожего да и стукнул обушком по голове. Вон и теперь еще на околице возле камня крест стоит. Оказался — нищий с пустой торбой. А этот каторгу получил, так из Сибири и не вернулся. А теперь гляди ты — какой кавалер нашелся в Будиловичах. Рыцарь.

— Ну.

— А куда в школу ходил? Не в Сельцо?

— До пятого класса в Сельцо.

— Ну, видишь! — искренне обрадовался Ткачук.— У Миклашевича, значит, учился. Я так и знал. Миклашевич умел учить. Еще та кваска, сразу видать.

Машины быстро летели навстречу и еще издали ослепили нас сверкающим потоком лучей. Возчик заботливо свернул на обочину, лошадь замедлила шаг, и машины с ревом промчались мимо, стегнув по возу щербом из-под колес. Стало совсем темно, и с полминуты мы ехали в этой тьме, не видя дороги и доверяясь коню. Сзади по шоссе быстро отдалялся-стихал могучий нутряной гул дизелей.

— Кстати, вы недосказали. Как оно тогда обошлось с Морозом,— напомнил я Ткачуку.

— О, если бы обошлось. Тут еще долгая история. Ты, дед, Мороза не знал? Ну, учителя из Сельца? — обратился Ткачук к вознице.

— Того, что в войну?.. А как же! Еще и моего племяша разом загубили.

— Это кого же?

— А Бородича. Это же племяш мой. Родной сестры сын. Как не знать, знаю...

— Так я вот товарищу эту историю рассказываю. Значит, ты знаешь. А то можешь дослушать, если не все слышал. В лесу небось не был? В партизанку?

— А как же! Был! — обидчиво отозвался человек. — У товарища Куруты. Вozил раненых. Санитаром работал.

— У Куруты? Комбрига Куруты?

— Ну. От весеннего Николы в сорок третьем и до конца. Как наши пришли. Считай, больше года.

— Ну, Курута не нашей зоны.

— Мало что. Нашей не нашей, а был. Медаль имею и документ, — уже совсем разобиделся старик.

Ткачук поспешил смягчить разговор.

— Так я ничего, я так. Имеешь — носи на здоровье. Мы тут про другое... Мы про Мороза.

— Так вот, у Мороза первое время, в общем, все шло хорошо. Немцы и полицаи пока не привязывались, наверно, следили издали. Единственное, что камнем висело на его совести, так это судьба двух девочек. Тех самых, что когда-то домой отводил. Летом сорок первого, как раз перед войной, отправил их в пионерский лагерь под Новогрудку — организовывали тогда впервые межрайонные пионерские лагеря. Мать не хотела пускать, — боялась, известное дело, деревенская баба, сама дальше местечка нигде не бывала, а он уговорил, думал сделать девчущкам хорошее. Только поехали, а тут война. Прошло уже столько месяцев, а о них ни слуху ни духу. Мать, конечно, убивается, да и Морозу из-за всего этого тоже не сладко, как-никак, а все же и его тут вина. Мучит совесть, а что поделаешь? Так и пропали девчонки.

Теперь надо тебе сказать про тех двух полицаев из Сельца. Одного ты уже знаешь, это бывший знакомый прокурора — Лавченя Владимир. Оказывается, был он не тем, за кого мы его поначалу приняли. Правда, в полицию пошел — сам или принудили, теперь уже не дознаться, — но зимой в сорок третьем немцы расстреляли его в Новогрудке. Дядька, в общем, оказался хороший, много добра нам сделал и в этой истории с хлопцами сыграл довольно пристойную роль. Лавченя был молодец, хоть и полицай. А вот второй оказался последним гадом. Не помню уже фамилии, но по селам его звали Каин. И вправду был Каин, много бед принес людям. До войны жил с отцом на хуторе, был молодой, неженатый — парень как парень. Вроде никто про него, довоенного, плохого слова сказать не мог, а пришли немцы — переродился человек. Вот что значат условия. Наверно, в одних условиях раскрывается одна часть характера, а в других — другая. Поэтому у каждого времени свои герои. Вот и в этом Каине до войны сидело себе потихоньку что-то подлое, и если бы не эта передрыга, может, и не вылезло бы наружу. А тут вот поперло. С усердием служил немцам, ничего не скажешь. Его руками тут много чего наделано. Осенью раненых командиров расстрелял. С лета скрывались в лесу четверо раненых, из местных кое-кто знал, да помалкивал. А этот выследил, отыскал в ельнике земляночку и с дружками перебил всех ночью. Усадьбу нашего связанного Криштофовича спалил. Сам Криштофович успел скрыться, а остальных — стариков родителей, жену с детьми — всех расстреляли. Над евреями в местечке издевался, облавы устраивал. Да мало чего! Летом сорок четвертого куда-то исчез. Может, где получил пулю, а может, и сейчас где-либо роскошествует на Западе. Такие и в огне не горят и в воде не тонут.

Так вот этот Каин все-таки что-то заподозрил вокруг Морозовой школы. Каким ни был Мороз осторожным, но что-то вылезло, как шило из мешка. Должно быть, дошло и до ушей полиции.

Однажды перед весной (снег уже таять начал) и нагрянула эта полиция в школу. Там как раз шли занятия — человек двадцать детворы в одной комнатенке за двумя длинными столами. И вдруг врывается Каин, с ним еще двое и немец — офицер из комендатуры. Учинили обыск, перетрясли ученические сумки, проверили книжки. Ну, ясное дело, ничего не нашли — что можно найти у детишек в школе? Никого и не забрали. Только учителю допрос устроили, часа два по разным вопросам гоняли. Но обошлось.

И тогда ребяташки, что учились у Мороза, и тот переросток Бородич что-то задумали. В общем-то, они были откровенны с учителем, а тут затаились даже от него. Однажды, правда, этот Бородич будто между прочим намекнул, что неплохо бы пристукнуть Каина. Есть, мол, такая возможность. Но Мороз категорически запретил это делать. Сказал, что если потребуется, пристукнут без них. Самовольничать в войну не годится. Бородич не стал возражать, вроде бы согласился. Но такой уж был этот хлопец, что если втемяшится что в голову, то не скоро расставался он с этой мыслью. А мысли у него всегда были одна отчаяннее другой.

Дальше мне уже рассказывал сам Миклашевич, так что можно считать, что все тут чистая правда.

Случилось так, что к весне сорок второго вокруг Мороза в Сельце сложилась небольшая, но преданная ему группа ребят, которая буквально во всем была заодно с учителем. Ребята эти теперь все известны, на памятник их имена в полном составе, кроме Миклашевича, конечно. Павлу Миклашевичу шел тогда пятнадцатый год. Коля Бородич был самым старшим, ему подбиралось уже к восемнадцати. Еще были братья Кожаны — Тимка и Остап, однофамильцы Смурный Николай и Смурный Андрей, всего, таким образом, шестеро. Самому младшему из них, Смурному Николаю, было лет тринадцать. Всегда во всех делах они держались вместе. И вот эти ребята, когда увидели, что на их школу и на их Алеся Ивановича наслел этот Каин с немцами, решили тоже не оставаться в долгу. Сказалось Морозово воспитание. Но ведь ребятня, детишки, без оружия, почти с голыми руками. Дурости и смелости у них хоть отбавляй, а вот сноровки и ума, конечно, было в обрез.

Ну, и кончилось это, понятное дело, тем, чем и должно было кончиться.

Миклашевич рассказывал, что после того, как Мороз запретил трогать этого Каина, они посидели малость да и взялись за свою затею втихомолку, тайно от учителя. Долго прикидывали, присматривались и наконец разработали такой план.

Я вроде говорил уже, что этот Каин жил на отцовском хуторе, через поле от Сельца. Почти все время отирался в местечке, но иногда приезжал домой — попить да позабавиться с девками. Один приезжал редко, больше с такими, как сам, изменниками, а то и с немецким начальством. Тогда в здешних местах было еще тихо. Это потом уже, с лета сорок второго, загремело, и немцы не очень-то показывали нос в села. А в первую зиму держали себя нахально, отчаянно, ничего не боялись. В ту пору, случалось, что Каин и на ночь оставался на хуторе, переночует, а на завтра утречком катит себе в район. Верхом, на саях, а то и на машине. Если с начальством. И вот ребята однажды подобрали момент.

Все случилось нежданно-негаданно, как следует не организовано.

Ребятишки ведь — неопытные. Да и откуда взяться опыту? Одна жажда мести.

Помню, была весна. С полей сошел снег, только в лесу да по рвам и ямам лежал еще грязными пятнами. В оврагах и на пашне было сыро и топко. Бежали ручьи, полные, мутные. Но дороги уже подсыхали, под утро порой жал небольшой морозец. Отряд наш малость увеличился, набралось человек полста: военные и местные пополам. Меня поставили комиссаром. То был рядовым, а то вдруг — начальство, забот прибавилось не дай бог. Но молодой был, энергии хватало, старался, спал по четыре часа в сутки. В то время мы уже знали, предвидели — весной загремит, а вот оружия было маловато, на всех не хватало. Где могли, всюду добывали, выискивали оружие. Посылали за ним, помню, аж за сто километров, на государственную границу. Однажды кто-то сказал, будто на переправе через Щару прошлым летом наши, отступая, затопили два грузовика с боеприпасами. И вот Селезнев загорелся, решил вытащить. Организовал команду в пятнадцать человек, снарядил пару фурманок, руководить взялся сам — надоело сидеть в лагере. А меня оставил за главного. Первый раз оказался над всеми начальником, ночь напролет не спал, два раза посты проверял — на просеке и дальний, у кладок. Утром, только задремал в землянке, будят. Еле поднялся со своего хвойного ложа, гляжу, Витюня, наш партизан, долговязый такой саратовец, что-то толкует, а я спросонья никак не могу понять в чем дело. Наконец понял: часовые задержали чужого. «Кто такой?» — спрашиваю. Отвечает: «А черт его знает, вас спрашивает. Хромой какой-то».

Услышав такое, я, признаться, встревожился. Сразу почувствовал: Мороз, значит, что-то стряслось. Сперва почему-то подумал о селезневской группе — показалось: с ней что-то недоброе, потому и прибежал Мороз. Но почему сам Мороз? Почему не прислал кого из ребят? Хотя, если б на свежую голову, так какое отношение имел Мороз к группе командира? Она даже не в ту сторону и выехала.

Встал, натянул сапоги, говорю: «Ведите сюда». И точно: вводят Мороза. В кожанке, теплой шапке, но на ногах туфли чуть не на босу ногу и мокрые до колен штаны. Не соображу никак, что случилось, а что — плохое, это уж точно чувствую: весь взъерошенный вид Мороза красноречиво о том свидетельствует. Да и его неожиданное появление в лагере, где он никогда еще не был. Шутка ли, километров двенадцать отмахать по такой дороге. Вернее, без всякой дороги.

Мороз постоял малость, присел на нары, посматривает на Витюню: мол, не лишний ли. Я делаю знак, парень закрывает дверь с той стороны, и Мороз говорит таким голосом, словно похоронил родную мамашу: «Хлопцев забрали». Я не понял сначала: «Каких хлопцев?» — «Моих, говорит. Сегодня ночью схватили, сам едва вырвался. Один полицей предупредил».

Признаться, тогда я ждал худшего. Я думал, что случилось что-то куда более страшное. А то — хлопцев! Ну: что они могли сделать, эти его хлопцы? Может, сказали что? Или обругали кого? Ну, дадут по десятку палок и отпустят. Такое уже бывало. В то время я еще не предвидел всего, что произойдет в связи с этим арестом морозовских хлопцев.

А Мороз немного успокоился, отдышался, закурил самосаду (раньше не курил вроде) и мало-помалу начал рассказывать.

Вырисовывается такая картина.

Бородич все-таки добился своего: ребята подстерегли Каина. Несколько дней назад полицей этот на немецкой машине с немцем-фельдфебелем, солдатом и двумя полицейскими прикатил на отцовский хутор. Как было уже не однажды, на хуторе заночевали. Перед этим заеха-

ли в Сельцо, забрали свиней у Федора Боровского и глухого Денисчика, похватали по хатам с десяток кур — на завтра собирались везти в местечко. Ну, ребята все высмотрели, разведали и, как стемнело, огородами — на дорогу. А на дороге этой, если помнишь, недалеко от того места, где она пересекает шоссе, небольшой мосток через овражек. Мосток-то небольшой, но высокий, до воды метра два, хоть и воды той по колено, не глубже. К мостку крутоватый спуск, а потом подъем, поэтому машина или подвода вынуждена брать разгон, иначе на подъем не выберешься. О, эти сорванцы учли все, тут они были мастера. Тут у них все тонко было сработано.

Так вот, как стемнело, все шестеро с топорами и пилами — к этому мостку. Видно, попотели, но все же подпилили столбы, не совсем, а так, наполовину, чтоб человек или конь могли перейти, а машина нет. Машина переехать этот мосток уже не могла. Сделали все удачно, никто не помешал, не застучал; радостные, выбрались из овражка. Но как же всем спать в такое время, когда будет лететь вверх колесами немецкая машина. Вот двое и остались ради такого момента — Бородич и Смурный Николай. Выбрали местечко поодаль в кустах и засели ждать. Остальных отправили по домам.

В общем, все шло, как и было задумано, кроме небольшой мелочи. Но, как видно, эта-то мелочь их и погубила. Во-первых, Каин в тот день запозднился, проспал после пьянки. Рассвело, в деревне повставали люди, началась обычная суета по хозяйству. Миклашевич потом говорил, что они дома за всю ночь глаз не сомкнули и чем дальше, тем все больше тревожились: почему не прибегают дозорные? А дозорные терпеливо ждали машину, которой все не было. Вместо нее на дороге утречком вдруг появляется фурманка. Дядька Евмен, ничего не подозревая, катит себе по дрова. Пришлось Бородичу вылезать из своей засады и встречать дядьку. Говорит: «Не едьте, под мостом мина». Евмен перепугался, не стал очень интересоваться той миной и повернул в объезд.

Наконец часов, может, в десять на дороге показалась машина. Как на грех, дорога была плохая, в лужах и выбоинах, скорости не было никакой, и машина тихо ползла, переваливаясь с боку на бок. Не было и разгона перед овражком. Помалу сползла под уклон, на мостке шофер стал переключать скорость, и тогда одна поперечина подломилась. Машина накренилась и боком полетела под мост. Как потом выяснилось, седоки и свиньи с курами просто съехали в воду и тут же благополучно повскакивали. Не повезло одному только немцу, который сидел возле кабины, — как раз угодил под борт и его придавило кузовом. Вытащили из-под машины уже мертвого.

А хлопцы как увидели, чего добились, ошалели от счастья и рванули по кустам в деревню. На радостях небось показалось, что всем фрицам и полициям капут, машине тоже. И невдомек было им, что Каин и остальные тут же вскочили, стали поднимать машину, и кто-то тогда заметил, как в кустах мелькнула фигура. Фигура ребенка, пацана — больше ничего не удалось заметить. Но и этого оказалось достаточно.

В селе каждый слух облетает подворья молнией, через какой-то час все уже знали, что случилось на дороге у овражка. Каин прибежал за подвойкой везти труп немца в местечко. Мороз как услышал об этом, сразу бросился в школу, послал за Бородичом, но того не оказалось дома. Зато Миклашевич Павлик, видя, как встревожился их учитель, не выдержал и рассказал ему обо всем.

Мороз не находил себе места, но занятий в школе не отменил, начал только с небольшим опозданием. Ребята, что учились, все поприходили. Не было одного Бородича, хотя Бородич в то время уже не



учился в школе, но бывал в ней часто. Мороз все поглядывал в окно, говорил после — все уроки провел у окна, чтобы увидеть, если кто чужой появится на улице. Но в тот день никто не появился. После занятий учитель во второй раз послал за Бородичом, а сам стал ждать. Как он сам мне потом признавался, положение его было нелепым до дикости. Понятно, ребята более-менее позаботились обо всем, что касалось самой диверсии, но как быть дальше, если диверсия удастся, они просто не думали. И учитель тоже не знал, что придумать. Он понимал, конечно, что немцы это так не оставят, начнется заваруха. Возможно, заподозрят и ребят и его самого. Но в деревне три десятка мужчин, думалось, не так-то просто найти именно того, кого нужно. Если б он загодя знал, что готовят эти сорванцы, так наверняка что-либо придумал. А теперь все обрушилось на него так внезапно, что он просто не знал, что предпринять. Да и какая угрожает опасность, тоже было неведомо. И кому она угрожает в первую очередь? Наверно, прежде всего надо повидать Бородича, все же он постарше, поумнее. Опять же, из соседнего села, может, был смысл до поры до времени припрятать у него ребят. Или, наоборот, прежде его самого где-нибудь спрятать.

Пока он сидел в ту ночь у своей бабки и ждал посланца с Бородичом, передумал всякое. И вот где-то около полуночи слышит стук в дверь. Но стук не детской руки — это он сообразил сразу. Открыл и остолбенел: на пороге стоял полицейский, тот самый Лавченя, про которого я уже говорил. Но почему-то один. Не успел Мороз сообразить что-то, как тот ему и выпалил: «Удирай, учитель, хлопцев забрали, за тобой идут». И назад не попрощавшись. Мороз рассказывал, что сначала ему подумалось — провокация. Но нет. И вид и тон Лавчени не оставляли сомнений: сказал правду. Тогда Мороз за шапку, кожушок, за свою палку — и огородами в лесок за выгоном. Ночь просидел под елкой, а под утро не выдержал, постучал к одному дядьке, которому верил, чтобы узнать, что все-таки случилось. А дядька как увидел учителя, аж затрясся. Говорит: «Утикай, Алесь Иванович, перетрясли все село, тебя ищут». — «А ребята?» — «Забрали, заперли в амбаре у старосты, один ты остался».

Теперь-то уж точно известно, как все случилось. Оказывается, Бородич давно был на подозрении у этого Каина, к тому же кто-то из полицейских увидел его в овражке. Не опознал, но увидел, что побежал подросток, пацан, не мужчина. Ну, наверно, поговорили там, в районе, вспомнили Бородича и порешили взять. Ночью подкатывают к его хате, а тот дурень как раз обувает чуни. Целый день шатался по лесу, к ночи притомился, оголодал, ну и вернулся к батьке. Сначала у кого-то спросил на улице, сказали: все, мол, тихо, спокойно. Умный был парень, решительный, а осторожности ни на грош. Наверно, подумал: все шито-крыто, никто ничего не знает, его не ищут. А вечером как раз прибегает Смурный, так и так, вызывает Алесь Иванович. Только ребята стали собираться, а тут машина. Так и схватили обоих.

А схватив двух, нетрудно было забрать и остальных. Порой вот думается только: как это следователь нашел виновного, если никто ничего не видел, ничего не знает? Может, это и в самом деле не просто, если придерживаться каких-то там правил юриспруденции. Только немцы в таких случаях чихали на юриспруденцию. Каин и остальные рассуждали иначе. Если где обнаруживался вред немцам, они прикидывали по вероятности: кто мог его сделать? Выходило: тот или этот. Тогда и хватали того и этого вместе с их свояками и приятелями. Мол, одна шайка. И знаешь, редко ошибались, гады. Так и было. А если и ошибались, то не переиначивали, назад не отпускали. Карали всех скопом — и виноватых и невинных.

До сих пор неизвестно в точности, как это Лавчене удалось предупредить Мороза. Наверно, они там сперва не планировали хватать учителя, а сделали это импровизированно, по ходу дела. Наверно, Кайн допетрил, что где ребята, там и учитель. И вот Лавченя, которого мы считали подлюгой, улучил момент, буквально каких-то десять минут, и забежал, предупредил. Спас Мороза.

Вот как оно получилось.

А в лагерь на другой день приехал Селезнев. Привезли пару ящиков отсыревших гранат. Удача небольшая, хлопцы устали, командир злой. Я рассказал про Мороза: так и так, что будем делать? Надо, наверно, забирать учителя в отряд, не пропадать же человеку. Говорю так, а Селезнев молчит. Конечно, боец из учителя не очень завидный, но ничего не поделаешь. Подумал майор и приказал выдать Морозу винтовку с черным прикладом, без мушки (никто ее брать не хотел, бракованную) и зачислить его во взвод Прокопенко бойцом. Сказали об этом Морозу, тот выслушал без всякого энтузиазма, но винтовку взял. А сам — словно в воду опущенный. И винтовка никак не действовала. Бывало, вручаешь кому оружие, так столько радости, почти детского восторга. Особенно у молодых хлопцев, для которых вручение оружия — самый большой в жизни праздник. А тут ничего подобного. Два дня проходил с этой винтовкой и даже ремешка не привязал, все носил в руках. Как палку какую.

Так прошло еще два или три дня. Помню, хлопцы копали третью землянку на краю нашего стойбища, под ельничком. Народу по весне прибавилось, в двух стало тесновато. Я сижу себе над ямой, беседуем. И тут прибегает партизан, который был дневальным по лагерю, говорит: «Командир зовет». — «А что такое?» — спрашиваю. Говорит: «Ульяна пришла». А Ульяна эта — связная наша с лесного кордона. Хорошая была девка, смелая, боевая, язычок — не дай бог, что бритва. Сколько хлопцы к ней ни подкатывались — никому никакой поблажки, любого отбреет, только держись. Потом, летом сорок второго, с Марией Козухиной чуть комендатуру в местечке не подорвали, уже и заряд подложили, да какая-то подлюга заметила, донесла. Заряд тут же обезвредили, а ее догнали верхами, схватили и расстреляли. А Козухина как-то спаслась, в блокаду ранена была, да пересидела в болоте. Теперь в Гродно работает. Недавно свадьбу справляла, сына женила. И я был приглашен, а как же...

Так вот, прибежала, значит, Ульяна. Я как услышал об этом, сразу сообразил: дело плохо. Плохо, потому что Ульяне было категорически запрещено появляться в лагере. Что надо было, передавала через связных раза два на неделе. А самой разрешалось прибежать только в самом крайнем случае. Так вот, наверно, это и был тот самый крайний случай. Иначе бы не пришла.

Я, значит, к командирской землянке и уже на ступеньках слышу — разговор серьезный. Точнее, громкий разговор. Селезнев кроет матом, Ульяна тоже не отстает. «Мне сказали, а я что, молчать буду?» — «Во вторник передала бы». — «Ага, до вторника им всем головы пооткручивают». — «А я что сделаю? Я им головы поприставляю?» — «Думай, ты командир». — «Я командир, но не бог. А ты вот мне лагерь демаскируешь. Теперь назад тебя не пушу». — «И не пускай, черт с тобой. Мне тут хуже не будет».

Захожу, оба смолкают. Сидят, друг на друга не смотрят. Спрашиваю как можно ласковее: «Что случилось, Ульянка?» — «А что случилось — требуют Мороза. Иначе, сказали, ребят повесят. Мороз им нужен». — «Ты слышишь? — кричит командир. — И она с этим примчалась в лагерь. Так им Мороз и побежит. Нашли дурака!» Ульяна

молчит. Она уже накричалась и, наверно, больше не хочет. Сидит, направляет белый платок под подбородком. Я стою ошеломленный. Бедный Мороз! Помню как сейчас, именно так подумал. Еще один камень на его душу. Вернее, шесть камней — будет от чего почернеть. Конечно, никто из нас тогда и в мыслях не имел посылать Мороза в село. Сдурели мы, что ли. Ясно, они и мальцов не отпустят, и его кокнут. Знаем мы эти штучки. Слава богу, девятый месяц под немцем живем. Насмотрелись.

А Ульяна рассказывает: «Я разве железная? Прибегают ночью тетка Татьяна и тетка Груша — волосы на себе рвут. Еще бы, матери. Просят Христом-богом: «Ульяночка, родненькая, помоги. Ты знаешь как». Я им толкую: «Ничего я не знаю: куда я пойду?» А они: «Сходи, ты знаешь, где Алесь Иванович, пусть спасает мальцов. Он же умный, он их учитель». Я свое твержу: «Откуда мне знать, где тот Алесь Иванович. Может, удрал куда, где я его искать буду?» — «Нет, золотко, не отказывайся, ты с партизанами знаешься. А то завтра уведут в местечко, и мы их больше не увидим». Ну что мне оставалось делать?»

Да. Вот такая вызрела ситуация. Невеселая, прямо скажу, ситуация. А Селезнев погорячился, накричал и молчит. И я молчу. А что сделаешь? Пропали, видно, хлопцы. Это так. Но каково матерям? Им ведь еще жить надо. И Морозу тоже. Мы молчим что пни, а Ульяна встает: «Решайте как хотите, а я пошла. И пусть проведит кто-либо. А то возле кладок чуть не застрелил какой-то ваш дурень».

Конечно, надо проводить. Ульяна выходит, я следом. Вылезаю из землянки и тут же нос к носу — с Морозом. Стоит у входа, держит свою винтовку без мушки, а на самом лица нету. Глянул на него и сразу понял: все слышал. «Зайди, говорю, к командиру, дело есть». Он полез в землянку, а я повел Ульяну. Пока нашел, кого ей определить в провожатые, пока ставил ему задачу, пока прощался, прошло минут двадцать, не больше. Возвращаюсь в землянку, там командир, как тигр, бегаёт из угла в угол, гимнастерка расстегнута, глаза горят. Кричит на Мороза: «Ты с ума сошел, ты дурак, псих, идиот!» А Мороз стоит у дверей и понуро так смотрит в землю. Кажется, он даже и не слышит командирского крика.

Я сажусь на нары, жду, пока они мне объяснят в чем дело. А они на меня ноль внимания. Селезнев все ярится, грозит Мороза к елке поставить. Ну, думаю, если уж до елки дошло, то дело серьезное.

А дело и впрямь такое, что дальше некуда. Командир выкричал свое и ко мне: «Слышал, хочет в село идти?» — «Зачем?» — «А это ты у него спроси». Смотрю на Мороза, а тот только вздыхает. Тут уже и я начал злиться. Надо быть круглым идиотом, чтобы поверить немцам, будто они выпустят хлопцев. Значит, идти туда — самое безрассудное самоубийство. Так и сказал Морозу. Как думал. Тот выслушал и вдруг очень спокойно так отвечает: «Это верно. И все-таки надо идти».

Тут мы оба взъярились: что за сумасбродство? Командир говорит: «Если так, я тебя посажу в землянку. Под стражу». Я тоже говорю: «Ты подумай сперва, что говоришь». А Мороз молчит. Сидит, опустив голову, и не шевелится. Видим, такое дело, надо, наверно, нам вдвоем с командиром посоветоваться, что с ним делать. И тогда Селезнев устало так говорит: «Ладно, иди, подумай. Через час продолжим разговор».

Ну, Мороз встает и, прихрамывая, выходит из землянки. Мы остались вдвоем. Селезнев сидит в углу злой, вижу, на меня зуб имеет: мол, твой кадр. Кадр действительно мой, но, чувствую, я тут ни при чем. Тут у него свои какие-то принципы, у этого Мороза. Хотя я и комиссар, а он меня не глупее. Что я могу с ним сделать?

Посидели так, Селезнев и говорит со строгостью в голосе, к которой я все еще не смог до конца привыкнуть: «Потолкуй с ним. Чтоб он эту блажь из головы выбросил. А нет, погоню на Щару. Поплюхаются в ледяной воде, авось поумнеет».

Думаю, ладно. Надо как-то поговорить с ним, уломать отказаться от этой глупой затеи. Конечно, я понимал: жаль хлопцев, жаль матерей. Но мы помочь не могли. Отряд еще не набрал силы, оружия было мало, с боеприпасами дело совсем аховое, а вокруг в каждом селе гарнизон — немцы и полиция. Попробуй сунься.

Да, я честно собирался поговорить с ним и убедить его бросить и помышлять о явке в Сельцо. Но вот — не поговорил. Промедлил. Может, устал или просто не собрался с духом сделать это сразу же после разговора в землянке. А потом случилось такое, что стало не до Мороза.

Сидим, молчим, думаем и вдруг слышим голоса неподалеку, возле первой землянки. Кто-то пробежал мимо нашего оконца. Прислушался — голос Броневица. А Броневиц только утром отправился на один хутор с сержантом Пекушевым — было задание насчет связи с местечком. Пошли туда на три дня, и вот вечером они уже тут.

Первым, учуяв недоброе, выскочил командир, я следом. И что же мы видим? Сидит перед землянкой Броневиц, а рядом на земле лежит Пекушев. Глянул и сразу понял: мертвый. А Броневиц, истерзанный весь, потный, мокрый по пояс, с окровавленными руками, заикаясь, рассказывает. Оказывается, дрянь дело. Возле одного хутора нарвались на полицаев, те обстреляли и вот убили сержанта. А славный был парень этот Пекушев, из пограничников. Хорошо еще Броневиц как-то выкрутился и приволок тело. У самого телогрейка на плече прострелена.

Помню, это была наша первая потеря в лагере. Переживали не приведи бог. Просто в уныние впали все. И кадровые и местные. И правда, хороший был парень: тихий, смелый, старательный. Все довоенные письма от матери перечитывал — где-то под Москвой жила. А он у нее единственный сын. И вот надо же...

Что поделаешь, начали готовиться к похоронам. Недалеко от лагеря, над обрывом возле ручья, выкопали могилу. Под сосной, в песочке. Гроба, правда, не было, могилку выстлали лапником. Пока хлопцы там управлялись, я потел над речью. Это ведь была моя первая речь перед войском. Назавтра построили отряд, шестьдесят два человека. У могилы положили Пекушева. Обрядили его в чью-то новую гимнастерку, синие брюки. Даже треугольнички на петлицы собрали, по три на каждую, чтобы все как положено в армии. Затем выступили. Я, командир, кто-то из его друзей-пограничников. Некоторые прослезились даже. Словом, это были первые и, пожалуй, последние трогательные такие похороны. Потом хоронили чаще, и даже не по одному. Бывало, по десять в одну яму закапывали. А то и без ямы — листвой да иглицей присыплешь, и ладно. В блокаду, например. Да и самого командира похоронили просто — яму по колено выкопали, и все. Не переживали и десятой доли того, что по этому Пекушеву. Привыкли.

Так, значит, похоронили Пекушева. Речь моя удалась, с этой стороны я был доволен. Даже Селезнев как-то по-дружески, без своей вечной строгости поговорил, пока шли рядом к нашей землянке. Наме-рились уже спуститься туда, как подлетает Прокопенко: так и так, нет Мороза. С ночи нет. «Как с ночи? — взвился Селезнев. — Почему не доложили сразу?» А Прокопенко только пожимает плечами: мол, думали, отыщется. Думали, к комиссару пошел. Или на ручей. Все возле ручья последнее время любил сидеть. В одиночестве.

Тут уж, знаешь, нам дурно стало.

Селезнев накинулся на Прокопенко, честил его как только умел. А он-то умел. А потом выверился на меня. Обозвал последними словами. Я молчал. Что ж, наверно, заслужил. Спустились в землянку, Селезнев приказал позвать начальника штаба — был такой тихий, исполнительный лейтенант Кузнецов, из кадровых, — и командиров взводов. Все собрались, уже знают в чем дело и молчат, ждут, что скажет майор. А майор думал, думал и говорит: «Менять лагерь. А то прижмут этого хромого идиота, сам того не желая, выдаст всех. Перестреляют, как куропаток».

Вижу, хлопцы носы повесили. Никому не хочется менять лагерь, очень уж подходящее место: тихое, в стороне от дорог. И счастливое. За всю зиму ни одной неожиданности на этот счет. А тут из-за какого-то хромого идиота... Оно и понятно, им-то кто этот Мороз? После всего, что случилось, — разумеется, хромой идиот, не больше. Но ведь я-то, как никто тут, знаю этого хромого. Себя погубит, это уж точно, но никого не предаст. Не может выдать он лагерь. Не знаю, как доказать это, но чувствую твердо: не выдаст. И когда уже все готовы были согласиться с майором, я и говорю: «Не надо менять лагерь». Селезнев на меня как на второго идиота накинулся: «Как это не надо? Где гарантия?» — «Есть, говорю, гарантия. Не надо».

Стало тихо, все молчат, один Селезнев сопит да на меня из-под широких бровей поглядывает. А что я могу им сказать? Разве что начать рассказывать с самого начала, кто этот хромой учитель? Чувствую, не могу сейчас много говорить, да и не надо этого. Я только уперся на своем: лагерь менять не следует.

Не знаю, что подумали тогда Селезнев и остальные, поверили в мое голословное заверение или очень уж не хотелось срывать невесть куда с насиженного места, а только намерились рискнуть, выждать с неделю. Решили, правда, выставить два дополнительных дозора — со стороны деревни и возле просеки в логу. И еще послали в Сельцо Гусака, у которого там проживал свояк, надежный, наш человек, чтобы проследить, как оно будет дальше.

Вот от этого-то Гусака и от наших людей из местечка, а потом уже и от Павлика Миклашевича и стало известно, как развивались дальнейшие события в Сельце.

Начинались Будиловичи. Возле крайней хаты за тыном горел электрический фонарь, который освещал калитку, скамейку рядом, голые кусты в палисаднике. Где-то в темноте за сараями яркой рубиновой каплей сверкал костерок, и ветер нес запах дыма — должно быть, жгли листья. Наш возница свернул с дороги, явно намереваясь въехать во двор, конь, словно поняв его, сам по себе остановился. Ткачук недоуменно прервал рассказ.

— Что, приехали?

— Ага, приехали. Я тут распрягу, а вы пройдите немного, у почты остановка.

— Знаю. Не первый раз, — сказал Ткачук, слезая с воза. Я тоже соскочил на выщербленный край асфальта. — Ну, спасибо, дед, за подвоз.

— Не за что. Конь колхозный, так что...

Повозка свернула во двор, а мы, медленно ступая после неудобного сидения на возу, потащились по сельской улице. Тусклый свет фонаря на столбе не достигал следующего, светлые отрезки улицы чередовались с широкими полосами тени, и мы шли, попадая то в свет, то в потемки. Я ждал продолжения рассказа о Сельце, но Ткачук молча топал, прихрамывая, и я не решался торопить его. Где-то впе-

реди затарахтел двигатель, мы посторонились, пропуская трактор на резиновых колесах, который лихо прокатил мимо; свет его единственной фары едва достигал дороги. За трактором впереди стало видно ярко освещенное крыльцо белого кирпичного домика с вывеской сельской чайной. Из ее застекленных дверей неторопливо вышли двое и, закуривая, остановились возле приткнутого к самой обочине «ЗИЛа». Ткачук с какой-то новой мыслью посмотрел в ту сторону.

— Может, зайдём, а?

— Давайте, что ж, — покорно согласился я.

Мы обошли «ЗИЛ» и свернули на небольшой, посыпанный гравием дворик.

— Была когда-то задрипанная забегаловка, а теперь вон какой домище отгрохали. Ей-бо, в этой не был еще, — словно бы извиняясь, объяснил он, пока мы шагали по бетонным ступенькам.

Я смолчал — к чему оправдываться: все мы грешны в этом малопочтенном деле.

Небольшое помещение чайной было почти пустым, если не считать углового столика у печки, за которым непринужденно восседали трое мужчин. Остальные полдюжины легких городских столиков и таких же кресел при них были не заняты. Женщина в синей нейлоновой куртке тихо переговаривалась через стойку с буфетчицей.

— Ты садись. Я сейчас, — кивнул мне на ходу Ткачук.

— Нет, вы садитесь. Я помоложе.

Он не заставил себя уговаривать, сел на первое попавшееся место за ближним столом, напомнив, однако:

— Два по сто, и хватит. И может, пива еще? Если есть.

Пива, к сожалению, тут не оказалось, водки тоже. Было только «міцне», и я взял бутылку. На закуску буфетчица предложила котлеты — сказала, свежие, только недавно привезенные.

Я подумал, что Ткачуку такое угощение вряд ли понравится. И действительно, не успел я все это донести до стола, как мой спутник неодобрительно сморщился.

— А беленькой не нашлось? Терпеть не могу этих чернил.

— Ничего не поделаешь, берем что дают.

— Да уж так...

Мы молча выпили по стакану «чернил». Немного еще осталось в бутылке. Закусывать Ткачук не стал, вместо этого закурил из моей мятой пачки.

— Беленькая, она, конечно, подлая, но вкус имеет. «Столичная», скажем. Или, знаешь, еще лучше самодельная. Хлебная. Из хороших рук если. Эх, умели когда-то ее делать! Вкуснота, не то что эта химия. И градус, я тебе доложу, имела, ого!

— А вы что... уважали?

— Было дело! — вскинул он на меня покрасневшие глаза. — Когда помоложе был.

Расспрашивать его насчет того «дела» я не решился — я с нетерпением ожидал продолжения рассказа о давних событиях в Сельце. Но он как будто потерял уже всякий интерес к ним, курил и сквозь дым косо поглядывал в угол, где хорошо подвыпившие мужчины горланили на всю чайную. Они ссорились. Один из них, в ватнике, так двинул столом, что с него едва не слетела посуда.

— Набрались. Того, лысоватого, немного знаю. Бухгалтер со спиртзавода. В партизанку был взводным у Бутримовича. И неплохим взводным. А теперь вот полюбуйся.

— Бывает.

— Бывает, конечно. В войну три ордена отхватил, голова и закружилась. От гордости! Ну и догордился. Трояк уже отсидел, а все не

унижается. А некоторые другие потихоньку, помаленьку, орденов не хватало — брали хитростью. И обошли. Обскакали. Вот так. Ну что? Досказать про хлопцев? Почему не спрашиваешь? Эх, хлопцы, хлопцы!.. Знаешь, чем старше становлюсь, тем все милее мне эти хлопчики. И отчего бы это, не знаешь?

Он грузно облокотился на наш шаткий столик, глубоко затянулся сигаретой. Лицо его стало печально-задумчивым, взгляд ушел куда-то в себя. Ткачук умолк, должно быть, как гармонист, настроиваясь на свою невеселую мелодию, что нынче звучала в его душе.

— Сколько у нас героев? Скажешь, странный вопрос? Правильно, странный. Кто их считал. Но посмотри газеты: как они любят писать об одних и тех же. Особенно если этот герой войны и сегодня на видном месте. А если погиб? Ни биографии, ни фотографии. И сведения куцые, как заячий хвост. И непроверенные. А то и путаные, противоречивые. Тут уж осторожненько, боком-боком — и подальше от греха. Не так ли ваш брат-корреспондент?.. Вот мне, например, непонятно, почему героев, живых или погибших, должны искать пионеры? Пусть бы и те, и другие, и пионеры тоже — это другое дело. А так получается, что розыском героев должны заниматься пионеры. Неужели ребяташки лучше всех разбираются в войне? Или настырности у них побольше — легче к важным дядям достучаться? Я вот не понимаю. Почему это взрослые дяди не заботятся, чтобы не было этих самых — безвестных? Почему они умыли руки? Где военкоматы? Архивы? Почему такое важное дело передоверено ребяташкам?..

— Да. А в Сельце дела стали плохи. Ребят заперли в амбар старосты Бохана. Был там такой мужик, возле сухой вербы хата стояла, теперь уже нету. Хитрый, скажу тебе, мужичок: и на немцев работал, и с нашими звался. Ну, а такое, знаешь же, чем обычно кончается. Что-то заприметили немцы, вызвали в район и назад уже не вернули. Говорят, в лагерь отправили, где-то и загнулся старик. Так вот, сидят ребята в амбаре, немцы таскают в избу на допросы, бьют, истязают. И ждут Мороза. По селу распустили слух, что вот-де как поступают Советы: чужими руками воюют, детей на закланье обрекают. Матери голосят, все лезут во двор к старосте, просят, унижаются, а полицаи их гонят. Николая Смурного мать, как самую горластую, тоже забрали за то, что на немца плюнула. Другим угрожают тем же, правда, ребята держатся твердо, стоят на своем: ничего не знаем, ничего не делали. Да разве у этих палачей долго продержишься? Стали бить, и первым не стерпел Бородич, говорит: «Я подпиливал. Чтобы душить вас, гадов. Теперь расстреливайте меня, не боюсь вас».

Он взял все на себя, наверно, думал, что теперь от остальных отвяжутся. Но и эти холуи не круглые идиоты — скумекали, что куда один, туда и остальные. Мол, все заодно. Начали бить еще, вытягивать новые данные и про Мороза. Про Мороза особенно старались: Но что ребята могли сказать про Мороза?

И вот в эту самую пору, в самый разгар пыток является сам Мороз.

Произошло это, как потом рассказывали, раненько утром, село еще спало. На выгоне легонький туманчик стлался, было не холодно, только мокровато от росы. Подошел Алесь Иванович, видать, огородами, потому как на улице, у крайней избы, сидела засада, а его не заметила. Должно быть, перелез через изгородь и — во двор к старосте. Там, конечно, охрана, полицаи как крикнет: «Стой, назад!» — да за винтовку. А Мороз уже ничего не боится, идет прямо на часового, прихрамывает только, и спокойно так говорит: «Доложите начальству: я — Мороз».

Ну, тут сбежалась полицейская свора, немцы скрутили Морозу руки, содрали кожушок. Как привели в старостову хату, старик Бохан улучил момент и говорит так тихонько, чтоб полиция не услышала: «Не надо было, учитель». А тот одно только слово в ответ: «Надо». И ничего больше.

Вот тут-то и появилась на свет та шарада, которая внесла столько путаницы в эпилог этой трагедии. Я так думаю, что именно из-за нее столько лет мариновали Мороза и столько сил стоило все это Миклашевичу. Дело в том, что когда в сорок четвертом турнули наконец немчуру, в местечке и в Гродно остались кое-какие бумаги: документы полиции, гестапо, СД. Бумаги эти, разумеется, были кем следует разработаны, приведены в порядок. И вот среди разных там протоколов, приказов оказалась одна бумажка касательно Алеся Ивановича Мороза. Сам видел: обыкновенный листок из школьной тетрадки в клетку, написанный по-белорусски, — рапорт старшего полицейского Гагуна Федора, того самого Каина, своему начальству. Мол, такого-то апреля сорок второго года команда полицейских под его началом захватила во время карательной акции главаря местной партизанской банды Алеся Мороза. Все это сплошная липа. Но Каину она была нужна, да и его начальству, наверно, тоже. Взяли ребят, а через три дня поймали и главаря банды — было чем похвалиться старшему полицаяу. И ни у кого никакого сомнения насчет правдивости рапорта.

Как ни странно, но случилось так, что и мы неумышленно подтвердили эту бесстыжую ложь Каина. Уже летом сорок второго, когда настали для нас горячие денечки и набралось немало убитых и раненых, потребовали как-то в бригаду данные о потерях за весну и зиму. Кузнецов составил список, принес нам с Селезневым на подпись и спрашивает: «Как будем показывать Мороза? Может, лучше совсем не показывать? Подумаешь, всего два дня в партизанах побыл». Тут, естественно, я возразил: «Как это не показывать? Что же он тогда, сидя на печке, умер?» Селезнев, помню, нахмурился — он не любил вспоминать эту историю с Морозом. Подумал и говорит Кузнецову: «А что крутить! Так и напиши: попал в плен. А дальше не наше дело». Так и написали. Признаться, я промолчал. Да и что я тогда мог сказать? Что он сам сдался? Кто бы это понял? Так к немецкому прибавился еще и наш документ. И попробуй потом опровергнуть эти две бумажки. Спасибо вот Миклашевичу. Он все-таки докопался до истины.

Да. А что же в Сельце? «Бандиты» оказались все в сборе, главарь налицо, можно было отправлять в полицейский участок. Под вечер вывели всех семерых из амбара, все кое-как держались на ногах, кроме Бородича. Тот был избит до бесчувствия, и два полицая взяли его под руки. Остальных построили по два и под конвоем погнали к шоссе. Вот тут уже близок финал, и что и как было дальше, рассказал сам Миклашевич.

Хлопцы еще в амбаре упали духом, когда услышали за дверьми голос Алеся Ивановича. Решили — схватили и его. Кстати, до самого конца никто из них иначе и не думал — считали, не уберется учитель, ненароком попался к немцам. И он им ничего о себе не сказал. Только подбадривал. И сам старался быть бодрым, насколько, конечно, это ему удавалось. Говорил, что жизнь человеческая очень несоразмерна с вечностью и пятнадцать лет или шестьдесят — все не более чем мгновение перед лицом вечности. Еще говорил, что тысячи людей в том же Сельце рождались, жили, отошли в небытие, и никто их не знает и не помнит никаких следов их существования. А вот их будут помнить, и уже это должно быть для них высшей наградой — самой высокой из всех возможных в мире наград.



Наверно, это все-таки мало их утешало. Но тот факт, что рядом был их учитель, их всегдашний Алесь Иванович, как-то облегчал их незавидную судьбу. Хотя, конечно, они бы многое, наверно, дали, чтобы он спасся.

Рассказывали, что когда вывели их на улицу, сбежалась вся деревня. Полицаи стали разгонять людей. И тогда старший брат этих близнецов Кожанов, Иван, пробрался вперед и говорит какому-то немцу: «Как же так? Вы же говорили, что когда явится Мороз, то отпустите хлопцев. Так отпустите теперь». Немец ему парабеллумом в зубы, а Иван ему ногой в живот. Ну, тот и выстрелил. Иван так и скорчился в грязи. Что тогда началось: крик, слезы, проклятья. Ну да им что — повели хлопцев.

Вели по той самой дороге, через мосток. Мосток подправили немного, пешком можно было пройти, а фурманки еще не ездили. Вели, как я уже говорил, парами: впереди Мороз с Павликом, за ними близнята Кожаны — Остап и Тимка, потом однофамильцы — Смурный Коля и Смурный Андрей. Позади два полица яволокли Бородича. Полицаяев, рассказывали, было человек семь и четыре немца.

Шли молча, разговаривать никому не давали. Да и не хотелось, должно быть, им разговаривать. Знали ведь, что ведут на смерть, — что же еще могло ожидать их в местечке? Руки у всех были связаны сзади. А вокруг — поля, знакомые с детства места. Природа уже дружно пошла к весне, на деревьях растрескались почки. Вербы стояли пушистые, увешанные желтой бахромой. Говорил Миклашевич, такая тоска на него напала, хоть в голос кричи. Оно и понятно. Хоть бы успели малость пожить, а то по четырнадцать — шестнадцать лет хлопцам. Что они видели в этой жизни?

Так подошли к леску с тем мостком. Мороз все молчал, а тут тихонько так спрашивает у Павлика: «Бежать можешь?» Тот сначала не понял, посмотрел на учителя: о чем он? А Мороз снова: «Бежать можешь? Как крикну, бросайся в кусты». Павел догадался. Вообще-то бегать он был мастак, но именно — был. За три дня в амбаре без еды, в муках и пытках умение его, конечно, поубавилось. Но все-таки слова Алеся Ивановича вселили надежду. Павлик заволновался, говорил, аж ноги задрожали. Показалось тогда, что Мороз что-то знает. Если так говорит, то, наверно, можно спастись. И хлопец стал ждать.

А лесок вот он уже — рядом. За дорогой сразу же кустики, сосенки, ельник. Правда, лесок-то не очень густой, но все-таки укрыться можно. Павлик тут знал каждый кустик, каждую тропку, поворот, каждый пенек. Таксе волнение охватило парня, что, говорил, вот-вот сердце разорвется от напряжения. До ближнего кустика оставалось шагов двадцать, потом десять, пять. Вот уже и лесок — ольшаник, елочки. Справа открылась низинка, тут вроде полегче бежать. Павлик смекнул, что, наверно, именно эту низинку и имел на примете Мороз. Дорога узенькая, на фурманку, не больше, два полица идут впереди, двое по сторонам. В поле они держались чуток подальше, за канавой, а тут идут рядом, рукой дотронуться можно. И конечно, все слышат. Наверно, поэтому Мороз и не сказал больше ни слова. Молчал, молчал, да как крикнет: «Вот он, вот — смотрите!» И сам влево от дороги смотрит, плечом и головой показывает, словно кого-то увидел там. Уловка не бог весть какая, но так естественно это у него получилось, что даже Павлик туда же глянул. Но только раз глянул, да как прыгнет, словно бы заяц, в противоположную сторону, в кусты, к низинке, через пенки, сквозь чащобу — в лес.

Несколько секунд он все-таки для себя вырвал, полицаи прозевали тот самый первый, самый решающий момент, и парень оказался в

чаще. Но спустя три секунды кто-то ударил из винтовки, потом еще. Двое бросились по кустам вдогонку, поднялась стрельба.

Бедный, несчастный Павлик! Он-то не сразу и сообразил, что в него попали. Он только удивился, что это так ударило его сзади промеж лопаток. И отчего так не вовремя подкосились ноги. Это его больше всего и удивило, подумал: может, споткнулся. Но встать он уже не смог, так и вытянулся на колючей траве в прошлогоднем ма-линнике.

Что было потом, рассказывали люди,— слышали, должно быть, от полицаев, потому что больше никто ничего не видел, а те, кому пришлось видеть, уже не расскажут. Полицай приволокли хлопчика на доро-гу. Рубашка на его груди вся пропиталась кровью, голова обвисла, Павлик не шевелился и выглядел совсем мертвым. Приволокли, броси-ли в грязь и взялись за Мороза. Избили так, что и Алесь Иванович уже не поднялся. Но до смерти забить не решились — учителя надо было доставить живым,— и двое взялись тащить его до местечка. Когда снова построились на дороге, Каин подошел к Павлику, сапогом пере-вернул его лицом кверху, видит — мертвец. Для уверенности ударил еще прикладом по голове и спихнул в канаву с водой.

Там его и подобрали ночью. Говорят, сделала это та самая бабка, у которой квартировал Мороз. И что ей там, старой, понадобилось? В по-темках нашла мальчишку, выволокла на сухое, думала, неживой, и даже руки на груди сложила, чтобы все как полагается, по-христиански. Но слышит, сердце вроде стучит. Тихонько так, еле-еле. Ну, бабка в село, к соседу Антону Одноглазому, тот ни слова не говоря запряг лошадь и — к батьке Павлика. И тут, скажу тебе, отец молодцом оказался, не смотри что ремнем когда-то стегал. Привез из города доктора, лечил, прятал, сам натерпелся, а сына вынянчил. Спас парня от гибели — ничего не ска-жешь.

А тех шестерых довели до местечка и подержали там еще пять дней. Отделали всех — не узнать. В воскресенье, как раз на первый день пасхи, вешали. На телефонном столбе у почты укрепили перекла-дину — толстый такой брус, получилось подобие креста, и по три с каж-дого конца. Сначала Мороза и Бородича, потом остальных, то с одной, то с другой стороны. Для равновесия. Так и стояло это коромысло не-сколько дней. Когда сняли, закопали в карьере за кирпичным заводом. Потом уже, как бы не в сорок шестом, когда война кончилась, наши пер-рехоронили поближе к Сельцу.

Из семерых чудом уцелел один Миклашевич. Но здоровья так и не набрал. Молодой был — болел, стал постарше — болел. Мало того что грудь прострелена навывлет, так еще сколько времени в талой воде про-лежать. Начался туберкулез. Почти каждый год в больницах лечился, все курорты объездил. Но что курорты! Если своего здоровья нет, так никто уже не даст. В последнее время стало ему лучше, казалось, не-плохо себя чувствовал. И вот вдруг стукнуло. С той стороны, откуда не ждал. Сердце! Пока лечил легкие, сдало сердце. Как ни берегся от про-клятой, а через двадцать лет все-таки доконала. Настигла нашего Пав-ла Ивановича.

Вот такая, браток, история.

— Да, невеселая история,— сказал я.

— Невеселая что! Героическая история! Так я понимаю.

— Возможно.

— Не возможно, а точно. Или ты не согласен? — уставился на меня Ткачук.

Он заговорил громко, раскрасневшееся его лицо стало гневным, как там, за столом в Сельце. Буфетчица с беспокойной подозрительностью

поглядела на нас через головы двух подростков с транзистором, запасавшихся сигаретами. Те тоже оглянулись. Заметив чужое внимание к себе, Ткачук нахмурился.

— Ладно, пошли отсюда.

Мы вышли на крыльцо. Ночь еще потемнела, или это так показалось со свету. Рыжая лопухая собачонка пытливым взглядом обвела наши лица и осторожно принюхалась к штиблетам Ткачука. Тот остановился и с неожиданной добротой в голосе заговорил с собакой:

— Что, есть хочешь? Нет ничего. Ничего, брат. Поищи еще где-нибудь.

И по тому, как мой спутник шатко и грузно сошел с крыльца, я понял, что, наверно, он все-таки переоценил некоторые свои возможности. Не надо было нам заходить в эту чайную. Тем более по такому времени. Теперь уже была половина десятого, автобус, наверно, давно прошел, на чем добираться до города, оставалось неизвестным. Но дорожные заботы лишь скользнули по краю моего сознания, едва затронув его,— мыслями же своими я целиком находился в давнем, довоенном Сельце, к которому так неожиданно приобщился сегодня.

А мой спутник, казалось, снова обиделся на меня, замкнулся, шел, как и там, по аллее в Сельце, впереди, а я молча тащился следом. Мы миновали освещенное место у чайной и шли по черному гладкому асфальту улицы. Я не знал, где здесь находится автобусная остановка и можно ли еще надеяться на какой-либо автобус. Впрочем, теперь это мне не казалось важным. Посчастливится — подъедем, а нет, будем топтать до города. Осталось уже немного.

Но мы не прошли, пожалуй, и половины улицы, как сзади появилась машина. Широкая спина Ткачука ярко осветилась в потемках от далекого еще света фар. Вскоре обе наши голенастые тени стремительно побежали вдаль по посветлевшему асфальту. Машина быстро приближалась, повертывая эти тени в сторону и причудливо выгибая их на заборах, в канаве, на стенах, шиферных и жестяных кровлях домов.

— Проголосуем? — предложил я, сходя на обочину улицы.

Ткачук оглянулся, и я увидел его недовольное, почти расстроенное лицо, на котором коротко сверкнуло что-то в яркости электрических лучей. Правда, он тут же спохватился, вытер рукой глаза, и меня пронзило впервые появившееся за этот вечер новое чувство к нему. А я-то, дурак, думал, что дело только в «червоном міцном».

В какой-то момент я растерялся и не поднял руки, машина с ветром проскочила мимо, и нас снова объяла темень. На фоне бегущего снопа света, который она выбрасывала перед собой, стало видно, что это «газик». Вдруг он замедлил ход и остановился, свернув к краю дороги; какое-то предчувствие подсказало,— это для нас.

И действительно, впереди послышался обращенный к Ткачуку голос:

— Тимох Титович!

Ткачук проворчал что-то, не убыстря шага, а я сорвался с места, боясь упустить эту неожиданную возможность подъехать. Какой-то человек вылез из кабины и, придерживая открытой дверцу, сказал:

— Пролезайте вовнутрь. Там свободно.

Я, однако, помедлил, поджидая Ткачука, который неторопливо, вразвалку подходил к машине.

— Что же это вы так задержались? — обратился к нему хозяин «газика», и я только теперь узнал в нем заведующего районо Ксендзова.— А я думал, вы давно уже в городе.

— Успеется в город,— пробурчал Ткачук.

— Ну, залезайте, я подвезу. А то автобус уже прошел, сегодня больше не будет.

Я сунулся в темное, пропахшее бензином нутро «газика», нащупал лавку и сел за бесстрастно-неподвижной спиной шофера. Казалось, Ткачук не сразу решил последовать за мной, но наконец, неуклюже хватаясь за спинки сидений, втиснулся и он. Заведующий районо звучно хлопнул дверцу.

— Поехали.

Из-за шоферского плеча было удобно и приятно смотреть на пустынную ленту шоссе, по обе стороны которого проносились навстречу заборы, деревья, хаты, столбы. Посторонились, пропуская нас, парень и девушка. Она заслонила ладонью глаза, а он смело и прямо смотрел в яркий свет фар. Село кончалось, шоссе выходило на полевой простор, который сузился в ночи до неширокой ленты дороги, ограниченной с боков двумя белесыми от пыли канавами.

Заведующий районо повернулся вполоборота и сказал, обращаясь к Ткачуку:

— Зря вы там, за столом, насчет Мороза этого. Непродуманно.

— Что непродуманно? — сразу недобро напрягся на сиденье Ткачук, и я подумал, что не стоит опять начинать этот, возможно, нелегкий для обоих разговор.

Ксендзов, однако, повернулся еще больше — казалось, у него был какой-то свой на это расчет.

— Поймите меня правильно. Я ничего не имею против Мороза. Тем более теперь, когда его имя, так сказать, реабилитировано...

— А его и не репрессировали. Его просто забыли.

— Ну, пусть забыли. Забыли, потому что были другие дела. А главное, были побольше, чем он, герои. Ну в самом деле, — оживился Ксендзов, — что он такое совершил? Убил ли он хоть одного немца?

— Ни одного.

— Вот видите! И это его не совсем уместное заступничество. Я бы даже сказал — безрассудное...

— Не безрассудное! — обрезал его Ткачук, по нервному прерывающемуся голосу которого я еще острее почувствовал, что сейчас говорить им не надо.

Но, как видно, у Ксендзова тоже что-то накопело за вечер, и теперь он хотел воспользоваться случаем и доказать свое.

— Абсолютно безрассудное. Ну что, защитил он кого? О Миклашевиче говорить не будем — Миклашевич случайно остался в живых, он не в счет. Я сам когда-то занимался этим делом и, знаете, особого подвига за этим Морозом не вижу.

— Жаль, что не видите! — чужим, резким голосом отрезал Ткачук. — Потому что близорукий, наверно! Душевно близорукий!

— Гм... Ну, допустим, близорукий, — снисходительно согласился заведующий районо. — Но ведь не я один так думаю. Есть и другие...

— Слепые? Безусловно! И глухие. Невзирая на посты и ранги. От природы слепые. Вот так! Но ведь... Вот вы скажите, сколько вам лет?

— Ну, тридцать восемь, допустим.

— Допустим. Значит, войну вы знаете по газетам да по кино. Так? А я ее своими руками делал. Миклашевич в ее когтях побывал да так и не вырвался. Так почему же вы не спросите нас? Мы ведь в некотором роде специалисты. А теперь же сплошь и во всем специализация. Так мы — инженеры войны. И про Мороза прежде всего нас спросить надо бы...

— А что спрашивать? Вы же сами тот документ подписали. Про плен Мороза, — загорячился и Ксендзов.

— Подписал. Потому что дураком был, — бросил Ткачук.

— Вот видите,— обрадовался заведующий районо. Он совсем уже не интересовался дорогой и сидел, повернувшись назад лицом, жар спора захватывал его все больше.— Вот видите. Сами и написали. И правильно сделали, потому что... Вот теперь вы скажите: что было бы, если бы каждый партизан поступил так, как Мороз?

— Как?

— В плен сдался.

— Дурак! — зло выпалил Ткачук.— Безмозглый дурак! Слышишь? Останови машину! — закричал он шоферу.— Я не хочу с вами ехать!

— Могу и остановить,— вдруг многообещающе объявил хозяин «газика».— Если не можете без личных выпадов.

Шофер, похоже, и впрямь притормаживал. Ткачук попытался встать — ухватился за спинку сиденья. Я испугался за моего спутника и крепко сжал его локоть.

— Тимох Титович, подождите. Зачем же так...

— Действительно,— сказал Ксендзов и отвернулся.— Теперь не время об этом. Поговорим в другом месте.

— Что в другом! Я не хочу с вами об этом говорить! Вы слышите? Никогда! Вы — глухарь! Вот он — человек. Он понимает,— кивнул Ткачук в мою сторону.— Потому что умеет слушать. Он хочет разобраться. А для вас все загодя ясно. Раз и навсегда. Да разве так можно? Жизнь — это миллионы ситуаций, миллионы характеров. И миллионы судеб. А вы все хотите втиснуть в две-три расхожие схемы, чтоб попроще! И поменьше хлопот. Убил немца или не убил?.. Он сделал больше, чем если бы убил сто. Он жизнь положил на плаху. Сам. Добровольно. Вы понимаете, какой это аргумент? И в чью пользу...

Что-то в Ткачуке надорвалось. Захлебываясь, словно боясь не успеть, он старался выложить все наблевшее и, должно быть, теперь для него самое главное.

— Мороза нет. Не стало и Миклашевича — он понимал прекрасно. Но я-то еще есть! Так что же вы думаете, я смолчу? Черта с два! Пока живой, я не перестану доказывать, что такое Мороз! Вдолблю в самые глухие уши. Подождите! Вот он поможет; и другие... Есть еще люди! Я докажу! Думаете, старый! Не-ет, ошибаетесь...

Он еще говорил и говорил что-то — не слишком вразумительное и, наверно, не совсем бесспорное. Это был неподконтрольный взрыв чувства, быть может, вопреки желанию. Но, не встретив на этот раз возражений, Ткачук скоро выдохся и притих в своем углу на заднем сиденье. Ксендзов, пожалуй, не ждал такого запала и тоже умолк, сосредоточенно уставившись на дорогу. Я также молчал. Ровно и сильно урчал мотор, шофер развил хорошую скорость на пустынной ночной дороге. Асфальт бешено летел под колеса машины, с вихрем и шелестом рвался из-под них назад, фары легко и ярко резали темень. По сторонам мелькали белые в лучах света столбы, дорожные знаки, вербы с побеленными стволами...

Мы подъезжали к городу.

*Перевела с белорусского Галина Куренева.*



---

---

РИММА КАЗАКОВА

★

## ПРЕДЧУВСТВИЯ

...И когда наступает пора осознать непричастность,  
умираю в глаголе — протяжном, как жизнь: «распроститься».  
Потому что прощаюсь еще до того, как прощаюсь,—  
ничего нет больней и печальней таких репетиций.  
Мы в плену у предчувствий. что все же — увы! — не обманы.  
Телепаты, предтечи потомственных телепророков...  
Ухожу от тебя, как ребенок уходит от мамы,  
от родного порога — к речным норовистым порогам.  
Знала: больно родить, а теперь знаю: больно рождаться.  
Только трижды больней оттого, что в рождественской муке  
расстаюсь до того, как и вправду пришлось бы расстаться,  
потому что разлука и есть это чувство разлуки.  
Расстаюсь, неизбежность конца проживая заране,  
от безумного горя — лишь яростней и бесшабашней.  
А потом это будет — как просто на белом экране  
кадры жизни чужой, прошлогодней ли, позавчерашней.  
Но одно меня греет, как греет в землянке печурка,  
и тогда я иду — конькобежкой — кругом почета:  
может быть, ты поймешь, к ритму сердца прислушавшись чутко,  
что везде, где я буду,— лишь мы, неизбежно и четко.  
Ты пойми меня ту, оперенную, полную силы,  
без школярской покорности — о, да простит мой наставник! —  
все, что в сердце носила, и все, что под сердцем носила,  
обретет свою плоть, наконец-то настанет, настанет!  
Ощути этот мир как твое и мое государство...  
Как торопятся мысли, как трудно проследивать путь их!  
И еще не простившись, готова сказать тебе: — Здравствуй! —  
Все, как было, хотя все, как не было. все так, как будет.  
Но... собравшись в комок перед страшным прыжком  
в непричастность,  
замирает душа, зная трезво, что ждет ее вскоре.  
Не простившись с тобой, я горюю, с тобою прощаюсь,  
потому что предчувствие горя и есть это горе...

\*.\*.\*

Когда все врозь и только взгляды —  
еще ничем не смущены —  
на чем-то, что вдали иль рядом,  
впервые вдруг совмещены,—

что возвратит предмет бесстрастный  
глазам, прикованным к нему,  
что сообщит двум взглядам разным,  
двум непохожим «почему»?

Что там слилось — на том заборе,  
на ветке, шпиле или пне?  
Две радости — или два горя,  
себя осуществив вдвойне?

Что там во взгляде взгляд пленило,  
что вместе там пленило их?  
Или спокойно и лениво  
втекут назад, в глаза двоих?

Два взгляда вместе — что за малость! —  
не напролом, не напрямик...  
Так мало надо, чтоб сломалось  
единство, втиснутое в миг.

Но если все ж оно застрянет  
в тебе и если вдруг поймешь,  
что ветка, шпиль, скамейка ранят,  
что ранит добрый летний дождь,

что в безобидности предмета  
живет щемящая печаль,—  
беги! И не ищи ответа.  
И ни на что не отвечай.

\*.\*.\*

Быть женщиной — что это значит?  
Какою тайною владеть?  
Вот женщина. Но ты незрячий.  
Тебе ее не разглядеть.  
Вот женщина. Но ты незрячий.  
Ни в чем не виноват, незряч!  
А женщина себя назначит,  
как хворому лекарство — врач.  
И если женщина приходит,  
себе единственно верна,  
она приходит — как проходит  
чума, блокада и война.  
И если женщина приходит  
и о себе заводит речь,  
она, как провод, ток проводит,  
чтоб над тобою свет зажечь.  
И если женщина приходит,  
чтоб оторвать тебя от дел,  
она тебя к тебе приводит.  
О, как ты этого хотел!  
Но если женщина уходит,  
побито голову неся,  
то все равно с собой уводит  
бесповоротно все и вся.

И ты, тот, истинный, тот, лучший,  
ты тоже — там, в том далеке,  
зажат, как бесполезный ключик  
в ее печальном кулачке.  
Она в улыбку слезы спрячет,  
переиначит правду в ложь...  
Как счастлив ты, что ты незрячий  
и что потери не поймешь.

\* \* \*

Как на нелепо близкой сцене,  
я вдруг увидела во сне  
страну, где долго и бесцельно  
еще брести придется мне.  
Там девочка опустит плечи  
под небом, от дождя рябым.  
«Как хочешь, милый», — пролепечет  
на мертвом языке рабынь.  
«Как хочешь, милый, как захочешь...  
Покорность мне не тяжела.  
Полет шмеля во мне закончен,  
но отчего-то я жива...»  
Ах, девочка, пусть снова слово  
упрямства искажает рот!  
Ах, милый, захоти, чтоб снова —  
наперекор, наоборот!  
Еще не здесь, еще б могли мы  
уйти, избегнуть, обойти.  
Еще мы так неумолимы.  
Еще «прощай», а не «прости»...  
Но девочка уже не плачет,  
и все мгновенья ей легки,  
и первой каплею горячей  
стекает дождь с ее щеки.





---

---

ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ

★

## ОЗЕРО

*Рассказ*

Оно очень велико, на веслах и в день не переплыть. Глядишь с обрыва в ясную погоду, и кажется, что в мире даже как-то тесно от этого простора. Плавно поднимающаяся к горизонту стена озера упирается в небо, запрокидывает его и отодвигает от берега; дальние соймы с темными углстыми парусами не движутся, как бы прикнопленные к светлomu пространству.

Раньше, когда Сашка был маленький, думалось, что люди, уплывшие в такую даль, делаются другими, ведут себя особенно — не так, как на берегу. Никто не ругается, никуда не спешит. Но чем ближе к причалу, тем рыхлее вода, прихотливей ее окраска; ветер бороздит и разваливает волнистую гладь, лодки становятся шаткими, суетливыми, и люди на них громко бранятся, словно недовольные своим возвращением на землю.

С началом зимы волны разглаживаются, забиваются под плотную зеленовато-сизую корку льда — засыпают. Дует метель, озеро покрывается белизной, четкость его очертаний растушевывается. Успокоенная ширь принимает оползающее небо, и взгляд проваливается в вязком, незамкнутом просторе. Соймы, вкованные в лед, костлявые и постаревшие, жмутся одна к другой, и только чуть наклоненные мачты прислушиваются к чему-то.

На том берегу — большой древний город. О нем рассказывают на уроках истории, открытки с его белостенными, златошлемыми соборами продаются в сельпо. Тамошние жители работают не в озере, а на заводах. Отец давно собирается туда. Дед обещал свозить Сашку, как подрастет, в Новгород на моторке — яблоками торговать. Но три зимы подряд — как раз те зимы, когда Сашка подрастал — стояли ужасные морозы, многие деревья в саду погибли, яблок почти не было. И сам дед очень ослаб, далеко не ездит теперь — только ставными сетками ловит мелочь. Ему и это дается с натугой. Вечером, развесив по забору сети, огрузившие от набившихся ракушек, дед молча курит возле печки. Согнувшись в дугу, с мокрым клокотаньем кашляет в кулак, мешая слушать телевизор. А бабушка наутро разбирает мережи, очищает их от сохлого ила, острых раковок и зеленых рес, длинных и прочных, как сплетенные веревки.

— Надоело мне! — ворчит бабушка, терпеливо распутывая «соскй», образованные бьющейся в ячеях рыбой. — Старая я, а все одна: и печку, и огород, и скотину. Никто не пособит. В Елшине-то дородней жилось...

Вовсе она не одна: главную работу мать делает. А в Елшине жить — со скуки помрешь.

\* \* \*

До Ёлшина неполных четыре километра, за полчаса добежишь. Но совсем другое село: все иначе. Нету большой воды — только сонная, приболоченная речушка. И рыбаков нет. Здесь, в Водне, дома рослые, в два этажа; ограды обвешаны сетями, воздух пахнет мокрой солью, рыбой. В Ёлшине скучно пованивает пересошим навозом, пылью, крапивой. В Водне хоть и людно, а все равно деревня кажется просторной, потому что каждый двор отделен от соседнего широким воздухом; строения поставлены вольно, тремя рядами восходят они по прибрежному склону, перемигиваются с солнышком светлым шифером крыш. А в Ёлшине избы притиснулись друг к дружке, приросли к земле; зады пятаются, оползают в низину. Небо исключено часто натыканными столбами, кровлями, деревьями. И в любой день, при самом хорошем ветре в каждом дворе увидишь мужика: кто возится с грядками, кто ладит лавочку или просто так толчется у селпо.

Особенно тесно становится на душе, когда ступишь на плиты церковного двора: бабушка всегда затаскивает Сашку показать родные могилки. Тоскливо гукают голуби в кирпичном шатерке колокольни. На старых могилах стоят каменные и деревянные кресты, известняковые надгробья исклеваны дождями. Новые окружены продолговатыми цементными овалами, крашенными в серебро, — точь-в-точь оцинкованные корыта, полные красной глинистой землей.

Бабушке нравится Ёлшино: родина. Тут бы и прожила весь век, тут бы и схоронили рядом с родными вон под той рябиною, в самом укромном уголке погоста. Но в шестнадцатом вышла за рыбака, бросила землю, стала промышлять в озере наравне с мужиками. На озере жить, конечно, вольнее: и рыба, и народ веселый, и с землей возиться не надо. Всегда у озерных судачок — и, значит, рублик лишний. Инспектора, правда, с каждым годом все злее глядят, да ведь и они люди, кормиться-то надо... А долго не могла привыкнуть, все домой, в Ёлшино, тянуло. Да уже не вернешься: озеро как заберет к себе — не отпустит.

\* \* \*

Сегодня новая серия приключенческого фильма. Дед загодя устроился в самом теплом углу, чтоб спина грелась от печки. Бабушка тоже приготовилась. В мутно-прозрачном пузыре линзы отражается огонек лампы, словно участвуя в фильме; мелькают лица, бегут люди; зарево, стрельба; кто-то падает.

— Ох, родной! Убили! — горестно восклицает бабка.

— Бабушка, он притворяется! — объясняет маленький Игоряшка. Весь он встрепанный, все в нем топорщится: и белые вихры, и острые коленки, торчащие из заскоружлых порток, и даже глаза — острые, бедовые... Вчера прислонил к калитке весло и ждет. Сашка отворил калитку — весло бахнуло прямо по голове. Кинулся лупить брата, а тут мать; разбираться не стала, надала старшему. Он схватил тарелку с жареной чехонью — и под стол; мать туда не полезет, толстая она.

А бабка все сокрушается, голос ее дрожит. Ничего она не понимает, только жалеет, если кого убили или ранили. Сколько ни объясняй — все спутает, позабудет.

Да и он уже многое забыл из того, что слышал от бабки.

\* \* \*

«...Егорка, средний, царствие небесное, уже в мирное время помер. В войну-то уцелел, судьба сохранила.

...Ночью приехали с повозкой собирать теплые вещи для германской армии. У кого чесанки, у кого тулуп или шапку. С Егора валенки сняли, сорок четвертый размер, Петины, которого на фронте убили...

Они с братом Колькой ночью прокрались да ту повозку подожгли. Кольке ничего — маленький был, — а Егора взяли. Ему шестнадцатый шел. Побегла в комендатуру, упала, молитву их начала. Немец велит: «Вставай, русская матка! Какую хочешь наказанию для своего сына?» Заплакала, опять упала: «Какую сами назначите, только не смерть. Лучше уж меня казните!» «Дать, говорит, двадцать пять плеток!» Глянула — царица небесная! Во такая проволока, железом перевитая, и еще кольцо на ней! Забьют Егорушку... Домой добиралась как пьяная, у каждого прясла останавливалась. Возле своего повалилась. Сколько пролежала, один бог знает. Вдруг слышится — ползет кто-то. Глядь — Егор по земле пластается. «Тише, мама, я живой, все хорошо. Я от самого Заднего поля так. Патруль-то человек оказался! Хоть немец, а человек! Выломал прут и меня двадцать пять разов. И научил ползком домой ползти». Задрал рубашку, а у него, бедного, вся спиночка, вся задница в синих рубцах да в волдырях.

А потом погнали в Германию. Егорка сбежал, скрывался в лесах с партизанами. Дед-то ваш на фронте воевал — взяли, хоть и в годах уже был; на финскую не взяли, а сейчас взяли...»

Бабка плачет, глядя на мигающий экран, бестолково оплакивает каждого убитого. А все равно любит про войну.

\* \* \*

Отец уместился на полу: дурачится, задирает мамку.

— Отстань, нечистая сила! — В голосе матери радость. Отец последнее время был хмурый, неразговорчивый. Он снова тянется к ней, хватая табуретку и дергает к себе. Мать вскрикивает и падает вместе с табуреткой на пол...

— Ну, озорничать-то, — улыбается бабка.

— Ох и паразит! Весь бок из-за тебя отшибла! — громко сетует мать. — Гляди, синячище-то!

— Чего... Тебе не с синячищем жить. Тебе со мной жить... Мам, дай опохмелиться.

— Не дам! И не проси — не дам! Опять потянешься. Целый год в Новгороде в больнице лежал! Мало тебе?

— Ну только сто грамм. Сотенку, — клянчит отец, подсаживаясь к бабке.

Сейчас начнется представление...

— А мы с мамочкой похожие, а? — спрашивает он у жены. — Скажи, Зой, похожие?

— Как две капельки, — отвечает та, растирая ладонью ушибленный бок.

Желтое и съезженное, как осенний листок, лицо бабки наливается радостной, застенчивой улыбкой. Темные глаза тянутся к сыну.

— Дай сотенку, мать. — Он обнимает старуху, целует ее высокий холодный лоб.

Бабка поднимается и, проворно шлепая валенками, уходит в клеть. Слышно, как она шебуршит там бумажными мешками с сушеными травами, вязанками вяленой чехони; внизу, в первом этаже, на разные голоса закатываются спугнутые наседки, то вроде бы хохочут, то заходятся протяжным кудахтаньем, похожим на рыданье.

Бабушка приносит бутылку с бурой жидкостью; льет, метко отмеряя ровно полстакана. Сын глотает, щурится, мотает кудлатой головой.

— Хар-рашо. Но мало. Мамочка, еще влей!

— Будет, — строго заявляет старуха и затыкает бутылку.

Дед косится из своего угла, обиженно пыхает папироской. Все время его обижают: то мамка накричит, что носков на него не напасешься, не насушишься башмаков, то бабушка ругается из-за раковок: нудно их

выбирать, да и ячейки капроновые рвутся. Дед рад бы уйти поглубже, где рыбы много, но его уже не берут на сойму с плавными сетями: стар, слаб. И сам понимает: «Парус силы требует, не разопру его, руки-то не прежние».

Он сидит, сгорбившись, у печки и вспоминает.

Отец его работающий был, трезвый; в школу отдал. Ползими и учился всего — отец помер. Стал работать, матери, сестрам помогать... Только в возраст вошел, избу срубил новую — первая германская. В пятнадцатом забили, послали в Белоруссию. Близ озера Нарочь мокли в окопах. Молодой был, восемнадцать годов... Воевать так воевать — охота взяла врага подбить. Что толку-то в ямах сидеть. Винтовка была ловкая, глаз острый. На заре высунулся из окопа, глянул — немец на бугор вылез, на пеньке под солнышком из котелка ест. И заря так его всего осветила — как на ладошке. В летах уже, солидный мужчина. Прицелился, стрельнул — немец и покатился с горки, как полено. И вдруг жалко стало: «Что сделал, дурак! Человека убил. Я-то молодой, холостой, а у его, может, детишек полон дом». Долго это рассуждение покою не давало... Перелетовали в окопах, а поздней осенью — братание. Немцы кидали гранаты с листовками — прямо с ружья, со ствола. Офицеры вперед двинулись, нижние чины следом. Обнимались с немцами, табаком менялись, сухарями. Германский офицер с фотографией подошел, установил аппарат и снял его и двух немцев, рядовых, в обнимку. «Приходи через неделю, карточку получишь», — сказал. Чудно. Сроду ни у кого не было в их деревне фотографической карточки. Катке-то привезти — для смеху... Всю неделю ждал. А тут снегом понесло, завалило все. Из окопа выкарабкался, а идти боязно: вдруг ненароком на другой секрет наткнешься. Да проволока, да выстрелы кой-где хлопают. Так без карточки и остался. Тут опять бои начались, опять стрелять-убивать... Ранили, вернулся на родину. К Катерине завылся. Уже в семнадцатом...

С детства любил читать-писать; буквы получались круглые, ровные, как бусинки. И арифметика давалась. А тут сельчане устроили кредитное товарищество, ревизором выбрали. Ездил по всей волости. И обнаружил обман: кое-кто из кредитных заправил пользовался крестьянской темнотой, подворовывал. Дадут мужику тридцать рублей, велят: «Распишись, вот тут руку приложи». Тот поставит крестик, а ему вместо тридцатки в ведомости пятьдесят запишут. Разоблачал, доказывал правду. И тогда мазурики заманили — было это в сочельник, — угостили, подольстили: ты, дескать, умный, смысленый, тебе учиться надо, в Новгород пошлем, курсы пройдешь. Выпил, взыграло: «Учиться! Вот ведь как...» Напалился, одно сказать, до забвения. «Ну, теперь домой поедем». И повезли, сонного, распахнутого, за сорок верст на тощей лошади, в лютый мороз. Потом вспоминалось только, как снег мельтешил, снежинки волчком крутились, вздымались столбом — словно искры из самоварной трубы... Дома сразу свалился: жар, озноб. В себя две недели не приходил. Не помер вот, но здоровье пошатилось. Не до учебы стало.

Озеро все залечило. Пойдешь на веслах, как в малолетстве с отцом, — качает, будто в колыбели, уключины поют, вода журчит, трется, бока лодке чешет. Чем дальше от берега, тем веселей лодка. Рыбы много, день на воде долгий — конца нет. И небо всегда светлее, больше его, чем на суше... Планы в колхозе были не те, что нынче; рыбу позволяли брать для дома сколько пожелаешь.

В тридцать восьмом выдал дочку за Виктора, звеньевого. Хороший парень, умный. «Руби, Вить, избу, я помогу, пока сила есть». — «Не, пап, не буду». — «Чего так?» — «Война скоро». И правда война! Сперва началась финская. На фронт не взяли как ветерана германской, империалистической. Да и здоровье еще не полностью поправилось. Но

уполномочили: отвечай за подготовку лошадей, подвод. А потом и людей готовил. Поздно, в темноте, бывало, подъедешь к деревне, шофера километра за два остановишь, к сельсовету пешком бежишь: «Председатель, давай шесть подвод. И мужчин пятерых. Для переподготовки». Потом, когда был распространителем по займу, в соседнем селе иной раз какая-нибудь баба так избранит — только ноги уноси: «Что ж ты обманул тогда? «Пере-под-го-то-вка». Мой-то на фронте пропал».

И не знаешь, что и отвечать.

В сорок первом призвали. Недолго был: контузило в голову из миномета. Каску сплющило: на правой скуле ямка выдавилась. Крови не вышло, зато как рога стали расти: две шишки на затылке образовались. Сашка любил, маленький, щупать.

Вернулся. Семья в разброде, деревня спалена. Настя мужа потеряла, горе свое мыкает, вот-вот с ума стронется. Только через три года опаматовалась — и в Елшино замуж вышла. Потом уехала в город, это уж недавно... Колька подросток, во флот учиться укатил. В самом конце войны. Егор без вести... Надо Настю и жену кормить. Вспомнил, как в армии в пекарне работал. А муки-то нет. Из желудей, из коры толченой делал хлеб, клевер-сеянку добавлял, чуточку ржи. Замесить, посадить на лопату — и в печь. Под запахни и два часа жди. Если хлеб рук не обжигает — готов. И еще по стуку: нижняя корочка гремит — значит, хорош. Хлеб получался пышный, душистый...

Он вздохнул и вынул изо рта папиросу, чтобы явственней ощутить запах и вкус того, военного хлеба.

...Настышка любила: дашь корочку румяную — как девочка, засветится, горе свое на миг позабудет. Как она теперь там? Давно не была. Время-то летит, боже ты мой. Зовут к себе, в город. И то — перебраться, что ль? Письмо отправить...

Дед поднялся, побрел на терраску. Сашка незаметно шмыгнул за ним. Дед начал шарить на столе, заваленном бабкиными лоскутками, нашел карандаш.

— Саха, очини,— робко приказал он, протягивая тупой огрызок.

Сашка слетал в комнату и вернулся с большим выщербленным ножом.

Дед уважительно покатал в толстых пальцах оструганный огрызок карандаша, расстелил газету и, усевшись поудобней, стал писать на скудном газетном поле. Сашка, скосившись, следил, как выкатываются из-под медлительной сморщенной руки крупные округлые буквы с тщательными нажимами и заострениями.

— Деда, ладно получается.

Тот хмыкнул довольно и несколько заносчиво.

— А что пишешь-то, деда?

— Так. Пальцы развиваю — отвыкли. Могу песню написать. Хочешь?

И вывел три куплета старой песни. Сашка знал ее, но сейчас, на бумаге, она казалась новой.

Дед Вася писал без запятых, но и без ошибок; строчки шли подряд, постепенно тесня друг дружку: «В одном красивом месте на берегу реки стоял высокий домик там жили рыбаки. Старик жил со старушкой рыбацкого труда у них было три сына красавцы хоть куда. Один любил соседку другой любил княжну а третий молодую охотника жену».

Дед отложил карандаш, устало расправил пальцы.

— А дальше?

— Потом. Сам чего-нибудь сочини,— усмехнулся дед. Но все же снова потянулся к карандашу. И опять принялся за писанье. На этот раз он просто рисовал буквы, выводил отдельные слова, не связанные меж собой смыслом,— баловался. Сашка поглядел-поглядел, зевнул и пошел в комнату.

\* \* \*

Николай осоловел после вина. Он смотрел на экран, с натугой разлепляя тяжелые веки, но видел не кино, а что-то совсем другое.

...С утра засынивает третий день подряд, как в осень. А только июль. Прежде-то День рыбака — самая жарница всегда стояла. Что-то с климатом произошло... Вчера как дурак новую рубашку надел, нейлоновую, пиджак, желтые полуботинки. В клуб пошел. Год не работал, целый год в озеро не выходил. То больница, то просто охоты нет. А тут, в клубе, парторг Севалкин с докладом. Передовиков хвалит, фамилии с трибуны называет. А кого хвалил? Паху Рыма. Смех! У того еще отец прославился: выйдет в праздник на улицу, пузо вперед: «Эй, вы-ы! Папа рымский идет!» Так и пошло: отец, сын, теперь у Пашки малец — все Рымы. Вся порода пустяковая. Гудят как балалайки, а какой толк? Паха всего пять лет рыбачит; по стройкам мотался, деньгу зашибал. А ты двадцать... какое двадцать — все двадцать пять! Год не поработал — и все. «Си-му-лянт!» Это Рым-то Паха говорит! А сам из звена в звено бегаёт — сколько раз из-за него двойка проставала! Однажды били даже, прямо на берегу. Еще заступился за него. Он только теперь начал в озеро регулярно ходить. И — премия, пожалуйста. И на тебе: встречается на улице — скалится, подначивает: «Ко-ля, говорит, Ко-лю-чий»...

Николай хмуро прикурил от иссосанного, дотлевающего окурка новую папиросину. Сипло сказал:

— Зойк, слышь? Иду вчера из клуба — Паха. «Ко-лю-чий! — говорит. — Привет, Колючий!» И скалится — хоть в морду бей. Еле удержался. «Эх ты, ударник! Какой же ты, ёшь твои палки, ударник? Праздник, а ты вместо «здравствуй» — «Ко-лю-чий»...»

— Ты уж рассказывал, — гулко зевнув, заметила Зоя. — Когда на работу-то? Уж я все жилы надорвала. Нынче Севалкин в четыре поднял: «Вставайте, родненькие! Клеверок косить айдайте! Заодно после праздничка разомнетесь!»

Она очень похоже передразнила бабий голос соседа. Саша и Иго-ряшка рассмеялись, бабка, улыбаясь, притворила дверь.

Николай нахмурился. Буркнул:

— Отдых организму требуется? Язва. Врачи не велели.

— Чего — врачи! Как вино жрать — так можно. И сучок, и бормотуха, и одеколон — все ничего. А работать так язва! А я с пяти до девяти бегай! И печку, и корову, и огород...

— Уж и запела, запела! — заверещала бабка. — Уж так тебе никто и не помогает! А я-то с утра до ночи что?

Зоя насупилась. Уставилась на экран... Ловкий парень этот польский разведчик. То по-немецкому одет, то по-партизанскому. Бегаёт туда-сюда, и не поймешь, чего хочет... На настоящей-то войне проще было. Все знали кто с кем: кто с партизанами связь держал, кто в полицаи завербовался. Передовая по деревне проходила. Все избы до гребла сожженные, люди жили в блиндажах, в траншеях. Мама в амбарушке стряпала, оладьи пекла из сена, отец рядом возился, помогал. на культе своей прыгал. Она, дуручка, выскочи наверх, мать за ней. Как визгнет рядом! Осколком два пальца матери сорвало. И Зое под коленку: пробил бы сквозь, если б мама ненароком не наклонилась и не прикрыла. Шесть недель маялась: осколок острый. Пробыл поджилок и внутри засел.

Потом весна, сырость, дожди. И тиф. Мама заболела. Отец кое-как избушку срубил вроде баньки. «Не хворай, мать! Живи — тепло теперь!» А мама им жить приказала...

Схоронили ее уже при немцах... Коленка нагноилась, болела нестерпимо. Отец набрал яиц, надергал луку зеленого — и в немецкий госпиталь. Объяснил, что дочка опасно ранена. Еду взяли, разрешили

привезти. А на чем повезешь? Взвалил на плечи и понес, как бревнышко. Рану так и разрывало. Заорала! Отец спустил на травку, побежал в больницу. Упросил ихнего врача — тот пришел. Тут же, в лесу, щипцами выдрал осколок прямо с мясом.

Вот и сейчас мозжит — видно, к погоде. Разболится — как по дому-то бегать? Свекровь больная, муж спит допоздна. Работа не страшна, работой не напугаешь. В колхозе-то после войны лопатами пахали. Три бабы рядом станут, вместе на заступ нажмут — как плугом, землю отваливали. По пять соток в день вспахивали. А то всемером возьмутся и плуг тащат, прицепивши спереди жердину. Но тогда иное дело: молодая была, девчонка.

Домой вернешься. Сестренка Наташка из школы прибежит, отец сидит, огня не зажегши. «Пап, ты ел чего?» — «Нет, без вас, дочки, скучно». Очень скучал по матери и по ним сердце надрывал, что растут худые, радости не видят. А жениться не захотел. Начнет про службы свои военные да крестьянские рассказывать — как по лесенке годы раскладывает. Под старость, когда уже с харчами полечало, стал озоровать: придет в чайную, со всех столов хлеб соберет — и в тарелку к себе, в щи. Смеялись над ним, а он газеткой прикроется и ест, торопится, будто отнимут. Когда на лесозаготовку отправили, помогать все хотел. Приехал зимою. Метель поднялась. Он вел лошадь за оглобли. Над обрывом кобыла тронулась с кручи, и отец вторую ногу сломал, грудь попортил.

Помирал в той избушке, где и мать померла.

Время переменялось: теперь уж думать не приходится, как бы перебиться, чтобы с голоду не помереть. И заработать можно: в осенние месяцы хороший рыбак по пятьсот — шестьсот рублей приносит. Да мужики другие стали. Колька вот — совсем отбился. Тарелка щей на столе, мать сотенку вошьет, ему и довольно... Сама бы в озеро пошла; ходила, бывало, со свекром, по трое суток болтались, когда муж в больнице лежал. Да где сил-то набрать?

\* \* \*

Пустынно. Только несколько женщин возле треугольных клеток для кур суют в дырочки старой капроновой сетки корм. Небо серое, плотное, оно непрерывно хмурится, комкается — и тотчас расправляется, светлеет. Ветер так и прохватывает — злой, цепкий мокрик; не уляжется, пока трое суток не отдует. Самая ловля сейчас.

Но после праздников рыбаки никак не могут раскататься. И все меньше народу ходит в озеро. Раньше в деревне было тридцать три двойки, а нынче осталось всего одиннадцать.

Сашка лишь однажды ходил в озеро, в позапрошлом году. Укачало мучительно, даже рвало желтым. Лежа в кубрике, плакал от отчаянья и злости: салажонок, а не рыбак! Почти ничего и не увидел. А как ждал, просился, канючил... В кубрике отвратительно воняло рыбьим жиром и табачным дымом; с монотонным упорством он переваливался с боку на бок, снизу вверх, как порожний ящик на телеге. И устало, гадливо думалось, что никогда уж не потянет впредь так вот бултыхаться по воде, маяться, мечтая о берегу, о доме.

Но прошло короткое время — и вспомнилось это первое в жизни притонение с неожиданной радостью. И опять стал мечтать об озере, снова приставал к отцу. Отец сначала обещал, потом отнекивался, хворал... А теперь вообще говорит: «Надоела такая работа, поеду в Новгород, а то в Ленинград или куда на стройку. А вы живите с мамкой, рыбачьте сами, коли нравится...» Сколько времени рыбачил человек, как рассказывал о всяких приключениях на воде! Руки у него темные, коричневые, как еловая цапля руля, въевшиеся в кожу чешуинки поблескивают круглыми серебряными крапинками... Конечно, можно бы по-

проситься к чужим: любой рыбак возьмет пацана к себе в сойму. Много ли места нужно мальчишке в кубрике-шалашке? Ватник на пол — и спи себе, только не блюй: ползи, если приспичит, на корму, и травы в воду сколько душа пожелает. Но с отцом-то лучше, веселее; озеро с ним кажется своим, обжитым.

Проходя мимо клуба, Сашка в сотый раз остановился перед плакатом, прибитым к столбу: угольно-черным контуром нарисован ослабевший детина с рыжими бачками и бородкой; детина в тельняшке, курит длинную трубку и держит перед грудью неведомую рыбину, намалеванную белилами. Внизу крупные буквы: «Рыба — ценнейший продукт питания».

Надо мотать отсюда: мать побежит с луга домой, заметит, заругается: почему до сей поры не съездил на велосипеде в Клюквино, не продал чешинку? Обещала по пятаку с килограмма — глядишь, рубль и накапал бы. Но больно неохота торговать.

А ноги уже сами разбирали забитую осотом и ромашкой стежку, несли к луговой низине, где двое мастеров ладили новые и чинили изношенные лодки.

\* \* \*

Готовая сойма стоит отдельно на высоких тесовых козлах, напоминая чем-то самолет, ждущий выхода в небо. Извиваясь, расходятся по сторонам тонкие доски носового обвода. Светлые и гибкие, благоухающие смолой, они похожи на расчесанные на прямой пробор пряди. Стонут молодые еловые доски, укрепляемые по бортам жесткими руками сорокалетнего плотника Бориса. Он завершает уже вторую лодку. Вот он кончил крепить носовой обвод, и дядя Миша, пожилой и молчаливый мужик с легким, подсушенным личиком, подтаскивает ведро, пузырящееся глянцево-белым варом, чтобы смолить бархот — кромку бортовой обшивки. Минута — и черный бархатистый пояс ловко обтянет мускулисто подобравшееся тело соймы.

— Дядь Миш, дай помогу чего-нибудь.

— Ступай щели ластить.

Сашка щиплет клоки пакли и пихает в щели между шпангоутами; Борис накладывает снаружи деревянные пластинки — ластки и приколачивает их острыми прямоугольными скобками. Потом смазывает варом: теперь ни капли воды не просочится!

Сашка работает, а сам искоса любуется, как ловко орудует топором и молотком дядя Миша. Дни напролет готов следить, как зачинается и растет рыбацкая сойма. Целый корабль, двенадцать метров в длину! На сойме шалашка — двухместный кубрик с печкою, шкафчиком и двумя топчанами, — две мачты и мощный руль, цапля которого потягнется с доброй оглоблиной. И уйма всяческих мелочей, деревянных и железных: впорки для парусов, киль, кнехт, кички... Вон ждет на взгорке остов будущей лодки, неуклюже и обиженно вскинув пыж-нос, тесанный из цельного комля елки. Необструганный, телесно-светлый, сочащийся крупными смоляными слезами, он выглядит задорно и беспомощно. Но понизу на подмогу ему тянется прочная широкая дощичка — матица, соединяющая кормовой пыж с передним. Она словно бы утихомиривает своей надежной прямизной буйство шпангоутов, круто распирающих бока новорожденного суденышка.

По соседству — лодка-подросток, уже одетая в тесную робу тщательно отфугованных досок, затянута в тугой ворот бархотов. Мелкие смоляные капли на ее боках напоминают уже не слезы, а дробную росу рабочего пота.

— Как папка? — небрежно роняет Борис. — Все хворый?



— Да так. Не горазд,— отвечает Сашка, не глядя в серые, с йодистой прожельтью глаза плотника.

Борис несколько лет кряду ходил с отцом в озеро, они из одного звена. На все руки мастак: и рыбак, и плотник, и по садовому делу мастер.

Дядя Миша медленно идет к ящику циркульной пилы. Острые, кругло загнутые вбок зубцы очень похожи на петуший гребень.

— Дядя Миша! — орет Борис и втыкает топор в неошкуренное бревно.— Сходил бы в магазин. Поправиться с праздничка.

Пожилой мастер кивает и не тротя слов подымается на гору, где голубеет сельпо.

Серое, плотное, словно из брезента небо, натягиваясь, рвется туда, в хмурый водный простор. И Сашке кажется, что небо — огромный парус, что земля, увлекаемая им, вот-вот колыхнется и умчится неведомо куда...

— А вы чего не рыбалите? — спрашивает он.

— Ноги. Ревматизма. Но завтра пойду! Уже сговорился. Замену себе нашел. Из Ёлшина плотник.

Борис смахивает носком сапога кучку стружек — они падают в траву, светлея на ней, как пятна внезапного солнца.

Сашка, вздохнув, осторожно ссыпает на чистую доску пригоршню оставшихся ластксов и отправляется восвояси.

\* \* \*

Возле рыбозавода — большого сарая, сложенного из ракушечника, — сладковато пахло сушеным снетком. В мутном стекле, за подоконником, заваленным солью, сонно плавали две женщины в белых халатах. Сашка перевел взгляд на озеро. Желто-бурая громада резко кренилась то в одну, то в другую сторону, словно кто-то мощным плечом приподымал и опускал загустевшее озеро. Даль прорастала треугольниками и квадратами парусов. Сойма за соймой отрывались от причала, отчаянно виляя кургузыми задами, и, удаляясь, вплывали в простор. Приближаясь к горизонту, они успокаивались, становились степеннее — словно одумавшись, соображали всю дерзость своего замысла с размахом раздраженной стихии.

Сашка сбежал вниз, к причалу. Среди пустых консервных банок и папиросных пачек лежал старый ржавый якорь. Казалось, он силится сползти к озеру, к пене, пузырящейся у самых его лап, и не может... Лодочка деда покачивалась меж кольев, уютно постукиваясь латаными боками о воду. Он вскочил в нее, отвязал канат и приподнял весла.

— Саха! Миленький, подвези на тот берег! — крикнула запыхавшаяся женщина в телогрейке и резиновых сапогах.— Пастух-то все опохмеляется, коров не приводит, хоть подоить-то...

— Меня тоже,— запросилась чернявая старушка.— Скотина-то не гулямши, пьяница сатанинска-а...

Последние слова относились опять же к пастуху, старому беспутнику дяде Феде.

Сашка быстренько погреб к бабам, уперся веслом в дно; лодка, едва не черпнув накренившимся бортом, приняла напросившихся пассажиров.

— Что отец-то? — спросила старуха.

Дался им всем его отец! Сашка притворился, что не расслышал.

Речка здесь, при впадении в озеро, особо хороша для купанья: дно гладкое, песок в мелкую складочку, как на терке, и глубоко. Искупнулся бы, пока солнышко показалось, да жалко баб: вон их сколько у причала, рвутся к своей скотине, мычащей на заречном лугу. Какая там тра-

ва — так, жесткий осот да крапива. Как праздник или воскресенье — дядя Федя валяется под кустами, ночует по баням, а животные маются, и хозяйки вместе с ними. И еще вытребовал себе два выходных: «Все трудящиеся имеют, и мне, значит, положено».

У рыбаков-то ни одного нет. Суббота ли, воскресенье ль, Октябрьские или Первомай, а чуть задул ветер — спешат к причалу, таща на плече плетеную корзину со снедью: крутые яйца, краюхи хлеба, бутылки с молоком. Тоскливо склоненный частокол мачт, обвернутый брезентом парусов, выпускает то одну, то другую мачту вперед, и вот, выталкиваясь коридорчиком речного устья в озеро, один за другим распускаются паруса. В разное время они кажутся Сашке похожими то на поставленные ребром конверты, то на серые сарайчики или на снопы потемневшего льна. А сегодня показалось: шатры кочевого племени... Да ведь так и есть: рыбаки — кочевники, дома-то почти не сидят. Отец ругается: «Собачья жизнь! Саха, не будь рыбаком, ну его к дьяволу! Только хребтину наломаешь, все косточки стужей да сыростью источит. А корысть какая? Рыбак в силе только до сорока пяти лет. Потом ревматизм, радикулит. Я вот год как не плаваю, уже на шесть кило прибыл. Ну ее, эту филармонию!»

— Спаси Христос, — кланяется старуха, шаря за пазухой. — Где-то у меня пятачок сохранился.

— Не надо, бабушка, — говорит Сашка, упирая весло в ил и помогая женщинам вылезти на берег.

Раз десять съездил туда-обратно. Устал, но что-то сытое, теплое расправилось, растеклось в груди. Солнце опять спряталось. Потянуло острым холодом; теперь уже не искупаешься. Но утихло на той стороне тягостное коровье мычанье, и довольно перекликались бабы, таща в горку бидоны и ведра с молоком.

Он привязал лодку к колышку, сунул кулаки в карманы и пошел вверх по реке, к мыску. Река виляла, притворяясь бойкой и сильной; пряталась под невысокими рыхлыми кручами, завешивалась бахромой белесоватых, с досрочной желтизной ивовых листьев. Но Сашка отлично знал, что речка в этих местах мелкая. С каждым шагом вода становится мутнее: густая, мутно-красная, точно в нее напустили сурику. Но зато как ярко зеленеет не поддающаяся даже поздним осенним холодам осока! Голоса деревни, плеск и бормотанье озера почти не долетают сюда.

Он чуть не угодил в канаву, полную коричневой слякоти; полусгнившая, обмазанная покоробленным варом доска — остаток лодочного бархота, — предостерегающе хрупнула под ногой. Долбленный челнок поманил разинутой удлиненой пслюстью. Здорово спастись в нем от зноя, покуривая тайком с кем-нибудь из дружков. Но сейчас лодка осклизла от долгих дождей, нутро ее темнеет неуютно, жутковато даже.

Сашка перепрыгнул через беспризорную долбленку и пошел вверх по обрыву, где скалилась на склоне умная морда огромного валуна.

Тут, в воронках, выбитых немецкими снарядами, в мелких, заросших полынком и вейником траншеях, таилось много земляники. Но была она маленькая, ссохшаяся. Он сел на теплый ноздреватый камень. Хорошо было и здесь, наверху. Очень тихо, очень спокойно. А между тем явственно чувствовалось, что и земля, и этот изъязвленный временем и металлом валун держат в себе какое-то тревожное воспоминание.

Он побрел домой. Скучная, ржаво-коричневая от недавних ливней рожь шелестела под ветром; резкая синева василька подчеркивала сиротскую скудость ее облика. Рядом, отбитая полоской бурой стерни, тянулась лента цветущего льна: в прохладной зелени таились голубые скромные звездочки.

Сашка спустился с холма. Навстречу деловито и сосредоточенно шли трое мальчишек, предводительствуемые Керей Курягой, смазли-

вым и вороватым пареньком. Керя подмигнул Сашке и не останавливаясь хлопнул себя по карману: громыхнул спичечный коробок.

— Не,— мотнул головой Сашка, сходя с тропинки и пропуская курцов.

\* \* \*

Только расселись за столом и мать поставила сковородку с жареными в сметане судаками, как по лестнице забухали пудовые сапожища и в распахнутую дверь, широко качнувшись вперед, словно собираясь в ноги пасть, ввалился дядя Федя. Остановившись на пороге, сорвал шапку, поклонился обедающим. Тускло блеснула смуглая медь обильной лысины; лиловое, в густой сизой поросли лицо, оснащенное взбухшим носом, отчаянно вскинулось — и смиренно сникло. Федя соединил в щепоть толстые обрубки пальцев и размашистым крестом обнес бугристый лоб и широкую грудь.

— Дай бог и вам и животным вашим,— провозгласил он басом и осторожно рухнул на табуретку, услужливо подвинутую бабушкой.

— Катерина Трофимовна,— густо проныл он, и резкие, литые складки двинулись по его лицу.— Катерина Трофимовна, поправиться, ради Христа.

— Загулял, дядя Федя, загулял.

— Загулял,— сокрушенно подтвердил пастух, роняя грузную голову на грудь.

Бабушка засемила в клеть, пошуршала там и вынесла темную бутылку. Улыбаясь тонкими губами, нацедила две трети граненого стакана. Мать подвинула тарелку с малосольными огурцами и сковородку.

— Дай бог и вам и животным вашим,— повторил торжественно дядя Федя и медленно всосал в себя драгоценное питье. Мутные глаза его сразу поглубели, пробился в них свет.

— А мне, мать? Мне тоже,— попросил отец и кругло, как ванька-встанька, ссутулил спину.

— Будет тебе, — ласково, но твердо запретила бабушка.— Сядь прямой-то! Сломался весь, эва, даже горб торчит!

Она уже поела и, вылезши из-за стола, сбивала мутовкой масло. Дед купил ей как-то машинку-сепаратор, научил обращаться. Но она захотела по-привычному: так, мол, скорее. Сепаратор продала, а на вырученные деньги попросила дачницу-ленинградку выслать шерстяной свитер для сына. Дед тогда очень обиделся на нее.

— Ты вот, дядя Федя, за животных наших пил,— повел отец.— Что же ты корову нашу палкой с самолета ивняковую музгу и бульдозером А то этикие уханцы будут биться чем ни попадя — никакой скотины не останется.

— А и то с бережью,— равнодушно отвечал гость, косясь вновь на бутылку.

Бабушка поняла; потянулась дрожащей рукой и плеснула еще, уже немножко, только доньшко прикрыть. Все же никуда без дяди Феди не денешься. Пасут бог знает где, не набегаешь. Новое угодье обещают подготовить: выжечь химией с самолета ивняковую музгу и бульдозером выкорчевать. Да когда еще соберутся, и будет ли еще толк от химии этой? На Валдае прошлый год приехали какие-то озеро хлоркой травить, чтоб, дескать, неценных рыб уничтожить, а потом напустить новых. Ни шута не получилось, только завоняли всю окрестность дохлятиной. Да воду нельзя было пить целый год, даже из соседних озер. Они же все сообщаются друг с дружкой, озера-то.

— Дядь Федь, а почему у тебя пальцы такие? Культястые? — спросил вдруг Игоряшка.

Гость молча поднял темную обкорнанную кисть и сам с некоторым недоумением уставился на нее.

— Ага. Было такое дело.— Что-то похожее на нежность проползло по жестким рубцам лба и щек.— Всю войну прошел. И пуля и осколок миновали. А уж после, когда в Сибири работал, случилось.

— Это когда тебя жена прогнала?.. За выпивоны? — уточнил отец. Пастух смиренно кивнул.

— В Сибири случилось. Денег платили емко! Спирт давали. Я с одной смахнулся. Бухгалтерша. Гуляли у ней. Угощался. Вышел во двор, голова спьяну зашлась. В сугроб ткнулся. И уснул. Никто не заметил. Гуляли. А было сорок градусов. Утром повезли. За пятьдесят километров. Суставы ампутировали. На ногах тоже. А тут медсестра Саша. С ней тоже. У меня восемнадцать тысяч лежало. Под подушкой, сотенными копиями. Выну копию — и ей. Выну вторую...

Пастух уронил голову.

— Переночевать у вас нельзя ли? В баньке, а то в сарае где...

— Чего там в баньке? Здесь ночуй, в тепле,— сказала бабушка.

— Нет,— твердо возразил дядя Федя.— У вас дети, женщина молодая. А я беспокойный. И запах от меня особый. Я в баньке.

— Только баня у нас худая,— вступил дед.— Нечистая. Мы в ней и сами моемся, и сетки копотим. Крыша тоже протечку дала. А вчера дождь был. Не простыть бы тебе. В избе уж ночуй.

— Чего там,— сердито перебил Николай.— Согреется: герой.

Дед смолк и отсел в угол.

— Спасибо,— поклонился пастух.

— На ветوشку-то.— Бабка уже ковыляла с терраски, протягивая драную телогрейку.— Прикроешься. Ночи ныне студеные.

\* \* \*

— Что ты, пап, с ним, как с цыпленком? — ворчал Николай, отгрызая от папироски и поплеывая себе в кулак.— Бродяжит, дрыхнет целые недели. Ни шута не делает...

Дед молчал. Бабка сосредоточенно била мутовкой. Николай хмыкнул и деловито зашуршал газетой.

Игоряшка сидел зевая, почесывая темя. Он сегодня добился-таки своего: прыгал на дровах, швыряясь зелеными яблоками,— скользкие березовые полешки рассыпались, и он сверзился с самой вершины поленицы. Едва башку не сломал.

— Чего чешешься? — хмуро спросил отец.— Воши?

Игорю не хотелось рассказывать о своей беде: он поставил коленку на буфет, оттолкнулся другой ногой и очутился на буфетной стойке. Нашарил пальцами частый дубовый гребешок и спрыгнул — легко, даже посуда не задребезжала. Расстелил на табурете газету, опустился на колени и проворно, сильно стал чесать волосы, исподлобья глядя на бумагу. Только ширканье несло, будто первую травку косили.

Отец, понаблюдав с минуту, раздраженно крикнул:

— Да чего-о! Хватит! Я и отсюда вижу — нету.

Игорь вздохнул, словно сожалея, что нет никакой добычи, и так же безмолвно убрал газету.

Отца что-то ело изнутри: кино кончилось, газету прочел, спать рано. Сашка делал вид, что погружен в прошлогоднюю «Географию», а сам искоса следил за отцом... Смелые светлые глаза Николая глядели тоскливо и пусто. Он все грыз потухшую папироску, поплеывал и, морщась, посматривал на пригорюнившегося Игорька.

— Чего у тебя в кармане? — вдруг спросил он.

Плутоватая веснушчатая рожица Игоря сложилась в какую-то старческую, побирушечью ухмылку: он извлек из кармана кулак и неохотно

раскрыл его, словно с ворованным расставался. Пригоршня слипшихся червей вяло разматывалась на ладонке.

— Выкинь! Эку гадость таскает! — возмутилась мать, застывая среди комнаты с самоваром.

Игорь обреченно поплелся к окну и вышвырнул свое богатство в форточку.

— Садись! — решительно скомандовал отец. — Стричь буду.

С грохотом выдвинул буфетный ящик и, порывшись в нем, достал машинку, забрызганную, словно веснушками, частыми ржавыми крапинками.

Сашка, притиснув ко лбу пальцы, в розовую щелочку наблюдал за работой отца.

Масло желтыми каплями сочилось из обильно смазанной машинки на ухо брата; белесыми полосами обнажался колдобистый череп, испещренный давними шрамами и свежими ссадинами.

— Ниче-го-о, — примирительно бормотал отец. — Все-е наладится...

Что наладится? Пострижет сейчас Игорька и за него, пожалуй, примется...

— Саха! Давай!

Сашка моргнул светлыми ресницами, встал.

— Ладно, пусть книжкой занимается, — вмешался дед.

— А чего ты, пап? — обернулся было отец. — Я, может, хочу ему вид придать.

— Пусть занимается, — неожиданно поддержала деда мать. — Спрячь щелкалку свою, в ушах свербит!

Отец, засопев, убрал машинку в ящик.

— Ты вот, Игорь, червяков в кармане приволок, — используя успех, сказал дед. — Червяки — это мелкие гады, они без обиды. А я вот про гадов настоящих мно-ого выдержков знаю.

— Расскажи! — обрадовался Сашка.

— Гады — они живучие, — начал дед, степенно закуривая и не без щегольства закидывая ногу за ногу, так, что заголилась белая, с голубой жилкой лодыжка. — Есть и такие: высуши его, истолки в порошок, а он все живой. Насыпь в чай ложечку — опять отродится. И внутри человека развиваться начнет. Как его ни гони — живет, и все. У нас одного за ноги в бане подвесили под каменной. Чтоб ему паром, значит, в рот било. Только тогда и вывалился гад изо рта. Завелся — тут уж стараться надо, с терпением. А не так: бей, дескать, трави чем попало. Терпенье нужно гада уморить и человека выходить.

Дед поднялся и с достоинством направился в клеть. Внезапно обернулся и сказал:

— Катерина, ты это рукав приметай. К телогрейке.

— Почто тебе? — спросила бабка недовольно.

— Завтра в озеро иду. С Пахой.

— С Рымом? — опешил отец. — На сойме?

— Смеху-то, — фыркнула мать.

Дед смерил ее спокойным, даже сочувственным взглядом.

— Ты ж парус-то не разопрешь. Сам жаловался, — опомнился Николай.

— Ничего. За кормовщика буду. Паха — мужик дюжий.

— Та-ак, папаша. Значит, в воспоминание о прежней жизни. Ну-ну. Хорошего улова. Только что-то сомневаюсь я. Что ж, Паха-то своего парника погонит? Ради тебя?

— И погонит. Не хочу, говорит, с ними, лепилами, делов иметь.

— Вон как! Оправдать премию хочет. Что ж, отсыпайся, отец. Завтра в поход. На большую добычу.

Дед, шаркая башмаками, надетыми на босу ногу, пошел спать.

\* \* \*

Сашка долго ворочался, лежа один на терраске: мать загнала сюда, чтоб хоть ночью разлучить с неугомонным Игорем, — боялась, что на сеновале пожар наделают. Было холодно; из разбитого оконца, кое-как заткнутого мятой газетой, несло мозглым ветром. Моряк прыгал внизу на цепи, облаивая поздних прохожих. Но больше всего мешали мысли о деде. Ну как вправду уйдет в озеро? Да еще с Пахой Рымом, папкиным врагом? Каково отцу-то? Старик пошел, а он дома сидит... Из всей их семьи, из троих мужиков, только дед, оказывается, рыбак. Попроситься с ним? Тогда отцу совсем позор. Смеяться начнут: «Паха-то всех твоих переманил!..»

\* \* \*

— Родненькие! Выходите метать, будет спать-то! — тонко, со слезой взывает у ворот Севалкин.

Сашка хочет уйти от этого звука, забивается с головой под одеяло. Слышно, как мать высовывается в форточку и отвечает сырым, отпотевшим спросонок голосом:

— Не ори, людей побудишь. Коса у меня худо посаженная, в сельпо новую куплю.

— Наладим косу, двое мужиков приставлены. Полный ремонт сделают! — кричит Севалкин, спеша уже к соседнему двору.

Матери небось неохота бежать в луга. Только и успела что Соньку подоить. А печь не топлена. Ну как дядя Федя опять напился — кто корову погонит? Надо бы встать, помочь матери... Сашка переворачивается на живот, лежит, уткнувшись в подушку, сладко пахнущую сеном. Гр-р, гырл-р — рокошет над самым ухом. И дробный стук в карниз: ток-к, ток-ток-к...

— Саха! Поди голубей сполоши! — кричит отец. — Разорались, спасу нет.

Утро ветренное, синее и седое: трава, крапива, листва яблонь шершавятся матовой росяной пылью. Кровля серая, наискось заштрихованная дранкой, и острые, скошенные ветром листья ракиты на ней — кажется, что сарай летит. Облака бегут круглыми клочками. Самая пора для озера: ветер на весь день.

Сашка длинным шестом барабанит по застрехе — голуби шарахаются с карниза и широкими кругами ввинчиваются в небо.

Дед уже возвращается с утреннего лова: розовый, в одуванчиковом пуху редкой бороденки, идет себе, покуривая и щурясь. В руке корзинка: видно, что с добычей.

— Деда, покажи.

Тот останавливается, приподымает целлофановую ветошку. Мелюзга: несколько чешинок, пара лещиков... О! Два судачка. Тупомордые, с молочно-голубоватыми упитанными боками.

— Здорово! Деда, пойдешь нынче?

— Куда?

— В озеро. На двойке.

— Поглядим. Идем завтракать: десятый час.

И правда: бабы уже возвращаются с луга. Прячут за пазухой клевер; одна тащит зеленую охапку сена, из которой высовываются белые головки ромашек — глядят, как бы укоряя: зачем скосила? Мы еще маленькие, расти хотим... Вон и мать тяжело тащит толстые ноги в больших заляпанных сапогах.

— А ты, Зойк, чего порожнем? — спрашивает соседка. — Иль испугалась?

— Ее вчера напугали! — звонко подначивает молодая баба с голыми коленками, мокро розовеющими над черной резиной сапог. — Мол, делегация приедет, проверить будут!

— А и ничего не напугали! — весело огрызается мать. — Сама не хочу. Как побируха, из-за горсточки гнуться да прятаться.

Сашка бежит рядом с матерью. Она громко жалуется, входя во двор:

— Наломалась, руки отмахала! С полшестого косили. А в двенадцать метать приказали.

Бабка тут как тут:

— Никуды не ходи боле! Вторую неделю бегаешь! Одна на весь колхоз, что ли? А я на весь дом! Семья большущая! Помогать надо, старая я уже!

Сашка ложится животом на подоконник. Меж домами, уступами спускающимися к берегу, и жидкими запыленными ивами синее неровный клин озера. И уже катятся по нему, то темнея, то вспыхивая, первые, самые непоседливые соймы.

Отец дрожащей рукой подносит спичку к потухшему окурку, сердито и жадно вглядывается в окно. И вдруг кричит, перекрывая разгорающуюся перебранку женщин:

— Будет! Ну вас! Зойка, собирай корзину, сапоги дай. В озеро иду.

— Дак... Чего... Чего ж ты раньше-то? — растерянно говорит мать. — Я б в шалашке убралась...

— Ничего. Мы с отцом наведем шик-блеск. — Николай подмигивает деду.

Тот и сам не рад: разошелся вчера, расхвастался, будто спьяну. Нынче раньше всех поднялся — и на моторку свою. Думал, забудется.

— Ветер-то... Ишь, как задул, — неуверенно бормочет он.

— А чего — ветер? Ветер какой нам нужен. Или боишься? Давай, мать, по-быстрому: яйца, хлеб... Деду телогрейку, валенки.

— А я? Я тоже!

И Сашка, не дожидаясь ответа, кубарем скатывается по лестнице.

\* \* \*

Совсем иначе видишь все с высокой кормы соймы; по-другому открывается перед тобой и небо и озерная гладь... Сашка, восторженно выдохнув воздух, карабкается по канату на мачту и прыгает с нее к рулю.

— Не балуй! — одергивает отец.

Тр-тт-тата-тт... — вылетел к причалу и остановился мотоцикл инспектора Карина, еще молодого мужика с квадратным торсом, туго обхваченным коричневой кожанкой на молнии. Карин шевелит губами: считает, сколько лодок вышло в озеро. Встречать тоже приедет, в любую погоду.

Отец отпихивается багром с вязкой мели и передает руль деду. Сашка торопится помочь: хватает второй шест и что есть силы упирается в дно. Шест натывается на что-то твердое, противно скользит.

— Ну-к, пихнись ты, Николай, — распоряжается дед. — Сопка на дне.

И ловко перебрасывает цаплю руля.

Впереди продвигается лодка Рыма. Сбив на ухо байковую кепку, Рым расторопно орудует багром. Напарником у Пахи Борис, мастер-лодочник.

На причале как всегда толкуются зеваки: жены рыбаков, горожане, надеющиеся поживиться свежей рыбкой; Пахина жена кричит, сложив ладошки трубкой:

— Паня! Второго притонения не де-елайте! Скорей ворочайся!

Тот не отвечает. Его лицо, до глянца облизанное мокрыми ветрами, багрово с праздничного перегула; глаза поблескивают влажным слюдяным блеском.

Передние соймы уже распустили паруса. Отец уперся ногой в мачту

и канатом крепит к парусу впорку — тонкое бревно, отполированное ладонями рыбаков. Сашка, подскочив, ухватывается за веревочную тоньку и тянет ее. Латаный брезент гулко охает, расправляет складки и надувается до тугой барабанной звонкости.

— Теперь закуривай, — разрешает благодушно дед. — Он облакачивается на кнехт, окутанный цепями, словно вязаным свитером.

— Киль опусти! — командует отец.

Сашка, пыжась, шатает носовой киль.

Отец быстрыми пальцами вертит и перебирает кубаса — крупные поплавки из белого и оранжевого пенопласта, — раскладывает их по бархоту, чалит сети к грубо струганной тяге.

— Карин-то, — кивает дед в сторону берега. — Как ворона на падаль.

— Я б их, инспекторов эгих... — Отец сплевывает за борт. — Если б не они — лови да лови. Мы с Федькой шли и с Ваней Курчонком. А из Взвада тоже двойки шли. Ветерок-то переменялся — и всю рыбу к ним. У них полно, а у нас две корзины мелочи.

— Ну?

— А инспекторам — что? «Почему у взвадских есть, а у вас пусто?» Так бы их...

Отец длинно ругается.

Озеро вольно распахивается перед ними. Сойма, такая важная и громоздкая у причала, кажется сейчас хлипкой, разболтанной. Ощущение рискованной легкости и свободы приподымает все Сашкино существо. Сейчас подкинет пошибче — и взлетишь, жмурясь от брызг и мигающего солнца. И станешь не то облаком, не то чайкой...

Волна подваливает слева — пьяно качающаяся сойма шумно обгоняет их лодку.

— Э-эй! По-ончики мои! Матерь божья! Мамочку вашу... — весело матерится огромный Вася Мохов.

— Привет, Вася! — радостно осклабляется отец. — Портки не замочил ли?

— Работать аль сачковать? — орет ушедший вперед Вася. Отец хмурится. Шатнувшись, перекидывается к борту, поближе к поднатчику. Но — далеко, теперь не отлаяться.

— Рым ползет, — сообщает дед.

Сейчас сойма Пахи приблизится к их корме, обе лодки спустят сети и, стремительно сомкнувшись, опять разойдутся в стороны, но уже связанные меж собой невидимой подводной сетью. Работа быстрая, всего несколько секунд: волны качают, бьют, оттирают сойму от соймы. Не прозевать момент, соединиться прочно, надолго — на всю ловлю...

Лодка Рыма неслась прямо на них, словно собиралась долбануть носом. Но Борис вовремя крутанул цаплю — сойма, шершаво скребнув по бортовой обшивке, проползла мимо. Отец изловчился и успел насадить петли сетей на кляпаш Пахиной лодки.

— Складно! — громко одобрил Сашка. — Стыковка! Как в космосе!

Парная сойма отбежала метров на пятьдесят и застыла, мерно колыхаясь, будто переводя дыхание.

— Спускай, — коротко бросил отец.

Дед, кряхтя, наклонился к сетям, зеленоватым, как молодое сено.

— Теперь рыбаку отдых, — пояснил отец. — Лодке теперь управление не нужно, сама идет. А ты как в санатории, спи себе в шалашке.

— Поспишь, — усмехается дед. — Если хорошая погода, как нынче, то и поспишь. А как волной начнет захлестывать?

— Бывает: начнет тебя болтать, ветром и дождиком дубить, почернеешь, как балалайка, — ворчит отец, словно припоминая обиды, испытанные на озере.



Бойко и кругло мчится небо! Крепко пахнет сырой ветер! Озеро круто вздымается слева и тотчас рушится справа в темную пропасть.

— Чаечка вьетса! — кивает отец. — Окуньков чует. У ней, между прочим, в брюхе температура, как в мартене. Жрет навалом, а все варится — в момент! — И вдруг, спохватившись, сурово обращается к деду: — Механизатор, шофер, бухгалтер — они все члены профсоюза. Так?

— Так, — подтверждает дед с некоторым недоумением, подымая слезящиеся глаза.

— А рыбак — нет. Не член. Приблуда. Болтается себе, и все.

— И все.

— Где ж тут справедливость? — закипает отец.

— Ищи ее, справедливость.

— Или вот -- с инвентарем тоже. В Ужине — все им, все туда отдают: и сети, и веревку, и байдак. А нам — хрен. Парус измочалишь — и то общее собрание нужно: списать или нет.

— У них там, в Ужине, показательное хозяйство хотят сделать, — поясняет дед. — И по сельскому, значит, и по рыбацкому производству. Типовой коровник строят, конюшни. Зерносушилку...

— По-ка-за-тель-но-е. Показуха — вот чего. А мы что, не люди? Почему все им, в Ужин?

Чайка медлит, стынет, словно прилипла к облаку. Все качается, не сильно, но упорно, не останавливаясь ни на минуту: небо, вода, лицо отца, ссутуленная спина деда... Желто-бурая равнина плюется белыми густками пены, шумно трется о тесовую обшивку. Сашка сползает на пол, закрывает уши и глаза... Ну вот, закачивает. Как тогда. Опять не увидишь, как вытаскивают сети, как выбирают из них рыбу.

— Ай-яй, парень! — крикнул дед. — Заболел? Ты глаза-то прикрой. На небо и на воду не гляди, подреми...

— Вон двойки ужинские. Плывут, сорокины носы, — слышит Сашка добродушный голос отца.

Сашка хотел было посмотреть, но веки сомкнулись тяжело, плотно, будто намазанные резиновым клеем. Пусть себе плывут, сорокины носы. У них там, в Ужине, много Сорокиных, и все носатые. Пока-за-а-тельные...

Он и впрямь задремал, и тошнота отступила, растекшись по телу ровной, уже не гнетущей тяжестью.

Косой луч уперся в щеку, пощекотал ноздри. Сашка натянул козырек фуражки пониже. Но спать уже расхотелось.

— Попить. Молока, — тихо попросил он.

— Это можно. Это сейчас, — с готовностью откликнулся дед и двинулся, балансируя руками, к шалашке. Стал на корточки перед низким проемом, спустил в дверь сперва одну, потом другую ногу — и провалился во тьму. Вскоре вновь показалось его прищуренное лицо; розовые, в сеточку щеки улыбались, в левой руке он держал белую молочную бутылку, в правой — темную, с тускло-коричневым проблеском.

— Укрепимся маленько.

— Ну, — густо кашлянул Николай.

— Может, и Сахе? Капельку? — Дед кивнул на Сашку, жадно приникшему к молоку.

— Не, слишком емко будет, — усмехнулся отец.

...Зря он выпил это молоко: опять что-то завозилось, закорябало внутри, подобралось к горлу. Он переполз поближе к корме, пригнулся спиной к деревянному ящику, зажмурился.

— Пап, расскажи какой-нибудь случай.

— Вот — слушай, что раз было, — сказал отец, повеселевший после нескольких глотков из бурой бутылки. — Было, значит, после войны...

Отец в последнее время редко рассказывает: попросишь — отмахивается. А раньше любил, только заведи. И про войну, и про ловлю, и как

на медведя ходили. Теперь только иногда кинет что-нибудь смешное — и молчок; куриг, зевая у телевизора, тормозит мамку, задирает деда.

Сашка украдкой наблюдает за отцом. Сутулый, в синем новеньком ватнике, в мокрых, блестящих сапогах, раскатанных в полную длину, до бедра, он сидит на корточках, часто покусывая папиросу, и, зорко сузив поголубевшие глаза, что-то ищет на изломанной линии горизонта. Бре-зентовый картуз с пластмассовой пуговкой молодит его, делает похожим на мальчишку. Веселый был, наверно, отец раньше, озорной. Если б не выем на лбу — ямка от осколка — да не шрам, зигзагом срезавший угол губы, — хоть куда отец...

— Па, а ты про войну тоже.

— Вот — в лагерь как попал, второй раз. Немцы уже отступали. Поезд катит, мы в вагонах. Паха со мной из наших был, Рим. Ему уж семнадцатый шел.

— Паха? — поражается Сашка. — Чудно...

— Чудно, — вторит отец.

И впрямь чудно: какое трудное было время — и все вместе, рядом, он и Паха. И в войну и после. И к девкам в Елшино бегали, и в голод последнюю краюху делились. А нынче — мирно, жри от пуза, делишь вроде нечего: у тебя дом — у меня дом, ты женат — и у меня баба. А вот — разбежались.

— Дальше, па.

— В Литву гнали. До Вильнюса пятьдесят километров. Паха шепчет: «Спрыгнем? Ну!» Он постарше был. У него одеялка, из дому успел прихватить. Обмотались оба, на грудь помягче наворачнули. Страшно: колеса стучат, рельсы внизу бегут.

Сашка зябко съежился.

— Тут поезд потихе пошел. Глядим в щелку: из переднего вагона трое скок да скок — один за другим. Немцы стрелять. Машинисту сообщили, скорость дал. Понеслись! И мы, значит, на полном ходу ка-ак махнем!

Сашка приподымается на локте; недавней слабости и помину нет.

— Удачно получилось: на песочек. Ну, и деру! Лесами пробирались, болотом. К партизанам...

— А потом?

— Потом что? Конец войны. Озеро, значит. Это уж другая история. Голодуха. Деревня вся разоренная. Кто помоложе — мы, подростки, юноши, значит, — заработать хотим. Старики тоже. А на чем плавать-то? Лодок — только дрянь уцелела. Председатель инвалид был, дядя Андрей.

— Андрей Никитич, — вставляет дед.

— Ага, Никитич. Зовет меня. Я крепкий был, жилистый. «Ну, Василич, так и быть, ступай в озеро. Звеньевым назначаю». И дает лодочку — корыто. Ешь твои палки! — Отец хохочет. — Борт отгнил, отвалился, другой проволочкой прикручен кое-как. Придал мне еще старика одного.

— Порфишка, с Заднего поля.

— Ага, Порфирий Игнатьич. И пацана чуть постарше тебя. «Далеко не плавай, наказывает. Мы с тебя план спрашивать не будем». Добрый был председатель. А я не очень-то послушный был.

— Не очень, — подтверждает дед.

— Другие-то на хороших лодках бегут, мне обидно! «Давай, команду, вдаль пойдём». А в озере гопляков полно. Самолеты сбитые, аэросани. Сеть и запуталась. Паруса-то поставлены, ей ход нужен, лодке. Парус движенья требует...

— Ну?

— Ну и начало нас трепать. Волна ударила — кичку брундуковую выхватило. Борт и поехал. Полсоймы — во, по самый кубрик — отвалило. Мы на крышу взгромоздились, за мачту цепляемся. Все вещи —

внизу, в шалашке. А туда уж волны нахлестывают. Отдышались, первый страх прошел — курить потянуло! Страсть как потянуло! — Отец жадно всасывает последний дым из дотлевающего окурка. — У старика, у Порфирия-то, весь курильный бутор при себе оказался. Махра, спички, бумажка — в картузе, под козырьком. Крестится старый, лопочет: «Прощай, Маня, прощай, Мишенька, родной мой», — с родными, значит, прощается. Помирать собрался.

Отец захохотал, откидываясь спиной к мачте. Сашка удивленно уставился на него.

— «Прощайте, говорит... Закурю-ка я в остатний разочек!» Мне жалко его. И самого курить тянет, прямо сил нету. «Дедушка, говорю, дай и мне остатний разик курнуть!» А он, значит... — Отец сердито двинул лбом, съежил морщины, приспустил брови — получилось, будто на глаза козырек надвинулся, — и проверещал сухоньким старческим говорком: — «Эвон ты каковский! На чужой табачок-то! У меня у самого маленько!»

Дед засмеялся, одобрительно кивая сыну. Сашка хохотал во все горло.

— Ах ты, хрыч, думаю. Помирать готовишься, а табаку жалеешь? Ах, чтоб тебя...

— А как спаслись-то?

— Смехом и спаслись. Смех силы прибавляет. Орать стали, звать, махать шапками, рубашкой. Напарник — он сильно вперед ушел — заметил. Тоже старик, на ухо-то крепко. Выбрал сети, подошел к нам, взял к себе.

Сойма, спаренная с лодкой Рыма, еле ползет — качка кажется еще несноснее. Непрерывная работа волн, их ровный стук по борту и днищу снова начинает мучить голову. Оглохнуть бы, деревянно оконечеть, забиться... Вечереет. На борту уже прохладно. Сашку знобит. Пригнувшись, хватаясь дрожащими руками за канаты и бархоты, он добирается до шалашки.

\* \* \*

Здесь, как и тогда, в первый раз, нестерпимо воняло табачным дымом, рыбьим жиром, волглым тряпьем. Мутило еще больше, чем на корме, но выбраться наружу не было сил.

Сашка пихнул ногою дверь. Открылся кусок неба; солнце лезло в глаза, назойливый ветер неприятно, колко ворошил волосы. Скрипел и трещал парус; верхние волны звонко плескались о борта, а снизу, в днище, бились другие — глубинные, глухо шуршащие, жующие. Казалось, сойма шероховатым своим брюхом тащится и трется по булыжной мостовой.

Чайка вспыхивала между темнеющих, медно оплавленных облаков, медлила в луче и меркла, сгорала. Потом вдруг, остро просверкнув, падала вниз — клевала.

Больно было смотреть на эту чайку: дергающей, тонкой болью отзывались в голове эти меткие клевки, — и еще больней было представлять, как идет и идет сейчас рыба и тупо напарывается на растянувшиеся сети, увязая в цепких ячеях, испуганно мечась в них, завивая тонкие волоконца в тесные «соски», безнадежно запутываясь и замирая... Раня вытарашенные светло-желтые глазища, бьется жерех, округлый и здоровенный, словно полено; вздрагивает ртутной струйкой задыхающаяся густера. И долго — до самого утра — будет выдираться на волю сплющенный, как блюдце, подлещик... Они, наверно, кричат — конечно, кричат, вопят, умоляют, только неслышно и непонятно. Орут окуньки, раздирая губастые ребячи рты, плачут судаки, кровеня тупые мягкие морды о жесткие капроновые нити. Их все любят, судачков; и рыбаки, и хозяйки, и инспектор Карин, каждое воскресенье, каждый праздник наби-

вающий ими свою мотоциклетную коляску. Брат разрешается только крупного судака; мелкого велят бросать назад, в воду. Но все равно попадается и мелкий, и что ж его выкидывать, когда он, побившись в пу- танке час-другой, подойдет теперь даже и на воле. Лучше уж взять...

В кубрик ввалился отец, за ним дед. Отец расстелил на полу ватник, улегся. И сразу захрапел, часто, но с настороженными паузами, словно бы вслушиваясь во что-то. Дед курил, ворочался, тоненько присвистывая простуженным носом.

Сашка подумал еще немного о рыбе, но уже не с такой жалостью, спокойнее. Потом ему вообразилось, что их сойма, ползущая на ободранном брюхе, тоже рыбина, огромная рыбина, и ее тоже несет в цепкие ячи, сделанные из мощных стальных веревок. И вот они спят сейчас, обессиленные качкой и работой, и не знают, что уже не на воле, а в сетях и, сколько ни бейся, на свободу не вырвешься, все теперь...

Он даже привстал на локте. Жутко скреблась вода о древесную обшивку лодки, сухо и натруженно скрипела мачта, судорожно хлопал парус. Но дед дышал безмятежно. И отец храпел громко, бесстрашно. Его лицо было сейчас бледным, морщинистым, старым. Чиненные железом зубы как-то просительно скалились... Сашка подумал, что отец и вправду очень устал: четверть века рыбалил, ни отпуска, ни выходного, и что болел он не понарошку. Сегодня, на корме, схватился вдруг за живот, присел, как раненый. Дед погладил его, как маленького, по голове, посоветовал: «Пить тебе не надо, сынок. И курить тоже. Враз и заживет все. Еще помолодеешь». Отец выругался. А потом рассмеялся: «А чего мне молодеть-то? Мне, пап, хочется в моем возрасте красивую жизнь иметь».

Ничего, он еще сильный. Вот опять в озеро ходить начнет — поправится, окрепнет. Какой он нынче утром-то был, когда от берега отбежал: ловкий, веселый. И не узнаешь его. Правильно дед говорит: озеро хоть что залечивает. Воздух очень здоровый, и вода легкая...

\* \* \*

— Вставай, трудовой народ! Подымайсь! — тормошил отец, дергая за голую ступню.— Иди пособлять!

Небо было малиново-бурое; словно угли под золой, между серыми облаками рдел восток. Ветер так и хлестал по лицу, до кости прохватаывал руки, колени. Дед кряхтел, таща сети; отец, упершись раскрячченными ногами в мостки, перенимал канатную тоньку. Сашка подскочил, уцепился за скользкую веревку... Сеть с недовольным, брезгливым хлопьяньем отрывалась от воды.

— Жереха выбирай! — крикнул отец. Сашка, робко и неудобно обхватив бокастую, бурно дышащую рыбину, вытащил ее из намокшей пу- танки. Пухлый и тугой, как батон, жерех изумленно пучил желтые жестяные буркалы. Больно ему, наверно, так подпрыгивать и шлепаться о холодную занозистую палубу...

Потом выуживали верткую густеру; выдирали из склеивающихся ячеек упитанных молочно-голубых судачков — те разевали и смыкали губастые рты, словно просили пить. Крупный лещ, оперенный алым плавником, трепетал, будто в ознобе. Мелкая грудастенькая сапа серебряными слитками брызгалась и рассыпалась во все стороны; узкомордая сизо-зеленая щука быстро свивалась в кольцо и пружинно распрямлялась — как девчонка-гимнастка из воскресной телевизионной передачи... Вверху рыбьей кучи валялась тонкими кудрявыми стружками уснувшая чехонь. Канаты и волокна сетей были мокро-розового оттенка — то ли от ярчайшей зари, то ли от рыбьей крови. Одна из чешинок вдруг ворсхнулась и устала на Сашку плоский глаз с черной точкой посредине — ни дать ни взять кружок мишени в тире... Он отвернулся.

— Только четыре корзины, ёшь твою...— проворчал отец.— Считай, сутки тут маемся — и все ничего. Пустяки на рыбозаводе дадут.

— Сколько? — спросил дед.

— Считай: сто двадцать кило примерно. Восемнадцать рублей. Рыбаку — сорок пять процентов. Рубчиков восемь.

— Завтра еще поедем. Ветерок переменится, рыба наша будет.

— Ну,— кивнул отец.— Нынче ветер не наш. Мокрик.

Значит, завтра опять? Снова?.. Сашка крепко напряг под отцовской телогрейкой руки, как бы проверяя, хорошо ли они работают... А чего? Поспать, как вернуться,— и опять можно...

\* \* \*

— Давай, отец, привздыми парус,— усталым голосом распорядился Николай.

— Дует подходяще,— сказал дед.— Парус по ветру. Может, на пузырьках пойдем?

«На пузырьках — это с приспущенным парусом»,— вспомнил Сашка и обрадовался, что вспомнил.

— Ну его, на пузырьках. Паха нагоняет. Давай, первые придем.

За левым бортом лепилась в тумане и холодеющих лучах солнца колокольня с клочком мутно-белой, как тающий снег, стены. Там Новгород. А сзади летит, настигает сойма Пахи и Бориса, чем-то похожая сейчас на силуэт ёлшинской церквушки с острроверхой, чуть скошенной звонницей... Интересно, сколько они вынули рыбы? Неужели больше, чем отец с дедом?

— Погода. Студено. Как бы падера не собралась.

— А ты хотел, чтобы как в мамочкиной утробе — не зыбнуло, не качнуло? — усмехнулся отец.

Он стоял, прислонясь к мачте кормового паруса, и вяло сосал папирску.

— Может, еще одно притонение сделаем? Рыбы мало. Только вот Рым не захочет, сволочь. Все наперек.

Рвануло мощным мокрым нахлестом. Сашка грохнулся на мостки. Парус хищно шелкнул, дернулся в сторону — и отец, тихо охнув, широко хватаясь за воздух, рухнул спиной за борт.

— Держись! — крикнул дед.— Держись!

Сашка кинулся к бархоту. Лодка, съехав с другой волны, провалилась вниз, рывком подалась вперед,— он снова упал, стукнувшись коленками о железную скобу.

Сойма мчалась как бешеная, словно обрадовавшись внезапному облегчению. Сзади, быстро удаляясь, мелькал среди бурых и желтых валов брезентовый картуз отца.

— Э-эй! — бессмысленно и отчаянно завопил дед. Схватил обломок старой мачты, метнул в воду.— Цепляй-ся-я! Пояс бы,— запричитал он, обращая к Сашке сморщенное побелевшее лицо.— Спасательный бы. Извели весь, пробку на кубаса порезали... Впорку-то, впорку вставь! Бес-толковый...

Лодку мотало, трепало, как лоскут на ветру. Скомканый кормовой парус дрябло плескался и всхлипывал; но главный, носовой, взбунтовавшийся под неистовым напором падеры, тянул вовсю.

— Э-эй,— вопил дед приближающейся лодке,— помоги-и! Беда-а!

Там уже заметили: Борис возился у носового паруса, приспускал его, тормозя лодку; Рым рвал на себя цаплю руля, направляя к отцу, барахтающемуся в остервенелых волнах.

— Впоркой вдарило. скажи ты.— Дед всовывал стропгивую шестину в нижнее гнездо.— Гляди какая — и насмерть может, только зазевайся... Помоги. Руки... дрожат...

— А-а! — вдруг заревел Сашка, лишь теперь почувствовавший острую боль в расшибленной коленке и страх за отца.— Пап-ка-а!

Лодку опять мотнуло набок, он едва не вылетел в воду.

— Держись! — орал дед, пробираясь к нему на карачках и протягивая растопыренную пятерню.— К мачте карабкайся! Папка в порядке. Вишь, машет!

И правда: отец, схваченный Пахой Рымом, вися у него на шее, слабо помахивал кепкой. Рымова сойма шла уже близко, подлихивая под их борт целый гурт жилистых волн, словно подбодряя, не давая упасть.

— Справитесь? Или к вам швартоваться? — весело гаркнул Борис.— Ваш-то капитан разбился, ходить не мо-о-жет...

Последние слова донеслись неясно; вырвавшаяся вперед лодка резво бежала к берегу, уже различимому сквозь редующую мглу.

— Спра-вим-ся-а! — кричал вдогонку дед.— Без вас обойдем-си-и!

\* \* \*

Уху, которую так ждал Сашка, припоминая вкус той, давней, сваренной прямо в качающейся шалашке, готовить не пришлось. Не до нее было. Измученный дед, кое-как свернув и убрав парус, поставил киль.

— Почему так получилось-то? Потому задумался,— бормотал он.— Стоит, смотрит на кичку и думает: вдруг оторвется? И оторвалась. У меня тоже так было. Сижу на корме, гляжу: привязка вот-вот перетретса. Она и тресь! Цапля-то скакнула — раз по груди и за борт. Судьба: веревка вкруг пятки запутлялась. А октябрь был, вода — лед. Не поплывешь. Нынче-то тепло... Болит? Теперь уж не попросишься...

Сашка молчал.

\* \* \*

Паха и Борис уже разбирали снасти. Отец, бледный, с багровыми полосами на лбу, полулежал, прислонясь спиной к корзине, где скользкими, льдистыми глыбинами серебрились и зеленели большие окуни и два жереха. Борис принялся швырять в другую корзину чехонь. Когда промахивался, плоские рыбки с жирным, сочным звуком шлепались на палубу — как оладьи на масляную сковородку. Паха вскинул на Сашку выпуклые, горчичного цвета глаза, усмехнулся:

— Вали к нам. Уха.

Борис уже тащил из кубрика котел, окутанный жарким, клейким паром. Сашка, сглотнув слюну, ступил на Пахину сойму. И вдруг вспомнил про деда.

Дед, виновато сутулясь, показывал инспектору Карину корзины, полные чехони и всякой мелочи. Лишь в одной из четырех плетеноч крупно блестела настоящая рыба.

— Судачок есть? — любопытствовал инспектор. И, подмигнув, раздернул молнию франтоватой кожанки.

Сашка повернулся спиной к благоухающему котлу и прыгнул назад, в свою сойму. Карин мельком глянул на него и продолжал забавляться молнией. Дед скрюченными от ревматизма пальцами теребил бородку...

...Сколько сетей вытащил он из студенной осенней воды этими, уже негнущимися руками, почерневшими пальцами? А подледный лов? Сойдутся трое стариков — горевое звено — и поедут на лошадях с пешнями и прочим бутором на озеро, заваленное снегом, за семь-восемь километров от берега. Каждый долбит лунку, опускает в нее жердь с веревкой — вроде как иголку с ниткой. И цепляет, тянет багром, чтоб подтащить веревку с привязанной сеткой к соседней лунке. Оставят так на ночь, сами плетутся, обмерзлые, на заиндевелых лошаденках домой. Спят три-четыре часа — и впотьмах, по стылой зимней рани назад. За ночь лед настыл, и снова долби пешней, только глаз береги от разлетающихся осколков. Сверлильная машина — одна на весь колхоз... Рыбу выбирают голы-

ми руками; долго, бережно выбирают. Зайдутся пальцы с морозу — старики распахнут тулупы, расстегнут портки и греют окоченевшие руки в паху: только там и тепло.

— Откуда ему быть, судаку? — вздыхает дед. — Вот сын, вишь, как убился? А я старый.

— Выпивать надо поменьше, и все будет в порядке. — Карин хмуро кивнул на Николая. — А ты-то, дед, как проник на боевое судно? Кто разрешил?

— Дак ведь, — дед весело развел руками, хлопнул себя по бокам, — старый конь, говорится, борозды не портит. Надо плану-то помогать!

Инспектор сошел на берег, и Сашка снова перескочил на Пахину сойму.

— Дед, иди к нам! — позвал он, проглотив первую, самую жгучую и самую вкусную ложку. — Уха! Из жереха!

— После. Вон Жорка едет.

К причалу, хрустя гравием и ракушками, подкатывал, щегольски привстав на телеге, цыган Жорка — сухопарый и смуглый, с черными курчавыми бачками, в ярко-синих галифе; их цвет особенно играл в соседстве с пыльным, обтрепанным пиджаком и порыжелыми сапогами.

Сашка оторвался от котла; преодолевая кружение головы и мелкую раскачку в ногах, пошел к лошади.

Гнедая Ветка свойски потянулась к нему теплой замшевой мордой. На глаза ей упали аккуратно заплетенные косички с черными ленточками, густые ресницы дрогнули.

— Как плавал, мой хороший? Не закачало? — спросил цыган, грузя на телегу корзины с рыбой.

— Не, — бросил небрежно Сашка, перехватывая тяжелую корзину.

— Н-но, Веточка! — нежно скомандовал Жорка. — Поехали.

Телега осторожно поползла в гору, к рыбозаводу.

Ласковая яркость цыгана; его нарядная послушная лошадь; умная, словно бы жмурящаяся от проглянувшего наконец солнца морда валуна, покоящегося на высоком склоне; ржавый якорь, норовящий дотянуться скорченной старческой лапой до набегающей волны; мать, расторопно спускающаяся с угора — уже издали кругло сияла ее радостная улыбка, — все это показалось вдруг Сашке новым, ясным-ясным, словно испавшимся спросонок в чистой утренней воде.

— Мам! — крикнул он. Рванулся побежать, но сильная боль ударила в коленку, заставила присесть. Он закатал штанину: глубокая ссади-на горела багровым глянцеваым полукольцом.

— О тоньку резанулся, — определил отец, с трудом наклоняясь над его ногою. — Ступай, в озере попогоди, водичка вылечит.



---

---

МАРИЭТТА ШАГИНЯ

★

## ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ

*Воспоминания*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ\*

### ШКОЛА

«Das Wahre war schon längst gefunden...»

*Goethe*<sup>1</sup>

«Тот, кто учится... спит хорошо, становится собственным врачом. С учением связаны самообладание, целеустремленность, повышение знаний, созревание человечности».

*Из «Упанишад Вед»<sup>2</sup>.*

#### I

**П**очти за три тысячи лет, в VIII—VII веках до нашей эры, Индия знала, что учение — это не только заучиванье разных предметов, нужных в дальнейшей жизни. Из всех благ, сопровождающих учение, лишь одно, если верить древнему ведийскому отрывку, относится к повышению знаний. К сожалению, дети нашей эры не чувствуют широты школы, не идут в нее, как цветы в воду или рассада в землю. И надо быть взрослым, очень пожившим человеком, чтоб ясно представить себе проблему школы, ощутить ее как среду для своего роста. И тогда он начинает сильно корить и жалеть себя за легкомыслие своего детства и юности, когда мог бы взять от благодатного школьного времени куда, куда больше, чем взял. Я тоже поняла это очень поздно, в возрасте сорока пяти лет, когда подала заявление о приеме в Плановую академию и была, в виде исключения, принята в нее — одна беспартийная среди сотен членов партии.

Вставая в темноте зимнего утра одновременно с дочкой, учившейся своим чередом, я радостно стряхивала сон с ресниц и шла пешком, еще тихими, снежными, темными улицами, в далекий от дома особняк, где размещалась в ту пору наша «Плановка». Утренней свежестью несло от снега, сгребаемого с тротуара дворниками. Магазины были закрыты. Прохожих мало, и мало всякого транспорта — все на улицах еще стояло в полудремоте, совершая свой утренний туалет — скребясь, чистясь, подметаясь. Было счастьем шагать и думать. Плановую академию тогда

---

\* Первую часть см. «Новый мир», 1971, № 4.

<sup>1</sup> «Истинное было уже давно найдено». Гёте. Из стихотворения «Завещание» («Vermächtnis»).

<sup>2</sup> Цитирую по книге А. Нусенбаума «Народное образование в Индии». Учпедгиз, 1958, стр. 5.



только что открыли, мы были ее первым (или вторым, уж не помню) поколением. Нам всем казалось, что мы приобщимся к тайне планирования. Что такое планирование? Как его производить, с чего начинать? Как надо учитывать потребности двухсот миллионов, наличие производимого, цифры возможного, запасы сырья, людскую работу? Мы воображали, что так сразу все и откроется перед нами, как дважды два — четыре. Мы — это особая подборка учащихся: большие партийные работники, нуждавшиеся в обучении хозяйству, и крупные хозяйственники, нуждавшиеся в марксистской заправке. Педагоги и лекторы были выбраны для нас «из числа наилучших». Мы (я следом за товарищами, которых уважала) приглядывались к ним критически. Они — по царившей тогда опаске у специалистов перед советскими чинами — побанвались своей аудиторией. Где же была наука планирования? Предмет планирования? Учебник, где все рассказывается от параграфа к параграфу, чтоб мы могли, выучив его, сесть в Госплан и заняться планированием? Но, к нашему огорчению, наука эта, как солнечный зайчик, только бегала по стене, решительно нигде не замирая так, чтобы можно было успеть ее схватить. Короче говоря, ее, среди множества перечисленных предметов на нескольких отделениях, не было вовсе. «Планирование» как таковое не входило в число наук.

Я записалась, только что издав свою «Гидроцентрально», на отдел энергетический. И в «общей тетради» у меня, где было расписание занятий по дням и часам, стояло: политэкономика, геология, геодезия, физика, электропромышленность, электричество, математика, гидроэнергетика, теплоцентрали, английский язык — не помню что еще. Обучение было бригадное, мы сидели в классе по четверке — в моей четверке были русский, узбек, туркмен и я, — дороге сердцу товарищи моей второй молодости, унесенные потоком жизни! Я не доучилась с ними до конца, а вышла из Плановки на третьем семестре. Что и как мы там делали и чем я обязана этой моей необыкновенной школе, я буду рассказывать в своем месте, а сейчас вернусь к своим думам на долгом пути по предрассветным московским улицам.

Почему в детстве и юности не было вот этого ощущения счастья, когда ты идешь в школу? Заботы с тебя сняты, о тебе будут заботиться, в линейку лягут карандаши, ножичек, чтобы очинить их, резинка. Школьная ручка с пером. В ранец — новенькие тетради с промокашками, на которых наклеена красивой выпуклой картинкой длинная лента, кончик которой закреплен у металлической застежки в середине тетради, — чтоб не затерялась промокашка. Учебники... их можно аккуратно вложить в белую гляцевитую обложку и надписать на ней свою фамилию. Почему не было счастья от всего этого, как у пловца или рыбака, оснащающего свою лодочку для дальнего плавания? Как могло не захватить всю душу ребенка богатство наступающего дня, его шести-семи часов с большой переменной посередине, когда в душу и мозг ляжет столько нового, разного, интересного, умноженного картинками, цифрами на классной доске, рассказами учителя, примерами, взлетами рук твоих соседок, торопящихся с жаром что-то прибавить от себя? Такой большой день и после него — уроки, спокойно, под лампой, у себя на дому... И я тогда еще, в сорок пять лет, страстно задумалась, почему вот это блаженное чувство ходьбы в Плановку, охватившее человека в сорок пять лет, не переживается детьми, не переживалось мной, легкомысленно упустившей получить максимум возможного от даруемой в детстве школы, в юности — университета?

Но прежде всего в детстве со мной совсем не было так, как в сорок пять лет, и я «ходила» в школу совсем немного, а больше жила в ней, была пансионеркой, а не «приходящей». С двух-трех лет нас с сестрой начали обучать немецкому языку. Не обладая памятью на лица (подчас

не узнавая соседей за столом, с которыми месяц сижу рядом!), я странным образом помню, какой была наша первая учительница, Луиза Антоновна, ее сухое лицо с густой сетью морщинок возле скул, добрые, влажные глаза, блузу с мозаичной брошкой, теплые фланелевые штаны, которые она тихонько снимала в передней, чтобы никто не видел, и, завернув в газету, клала под вешалку, и большие ноги в башмаках с резинкой. Помню и первый ее урок, когда мы в страхе попрятались за стулья, а она, деловито войдя в детскую и взяв в руки куклу, сразу начала:

— Дети, киндер, што это такое? Это пуппе, кукла.— И этим сразу ввела нас в свою систему урока.

Мы никогда с ней не сидели — мы двигались вдоль стен, заучивая вещи в их новых названиях; качались верхом на лошадаках; прыгали через веревочную прыгалку; играли в мяч, в кегли, — и каждый день мир наполнялся звуками новых слов, сперва отдельных, потом начинавших связываться глаголами, обростать качеством, — эпитетами; становиться во взаимоотношение с нами — моя, твоя.

Луиза Антоновна зарабатывала свой хлеб нелегким трудом. У нее было четыре урока в день в разных концах города — с завтраком, с обедом, с чаем и с ужином, — по несколько часов каждый. В методику свою она так вработалась, что, должно быть, могла бы повторить ее и во сне. Но в промежутках, когда наступало время еды (у нас она бывала с завтраком), она становилась как бы «частным лицом», с минутами импровизации, — и тогда это была матрона, очень наблюдательная, с добрым сердцем. Она заметила, например, что отец запретил нам есть мясо, — мы не ели его лет до семи; его заменяла ватрушка и стакан молока на завтрак. А ей подавали хорошо зажаренный бифштекс с круглым жареным картофелем и соленым огурцом на отдельной тарелочке, а потом стакан кофе. Аромат от бифштекса начинался еще из кухни и густел по мере приближения к столовой. У нас он щекотал ноздри, закипал слюной во рту, пока мы глотали свое пресное молоко. Луиза Антоновна делала вид, что вообще не замечает нас. Но когда бифштекс, аккуратно разрезанный на кусочки, почти съедался и дело доходило до последнего, аппетитного хрящика, неизменного на краешке настоящего бифштекса, — Луиза Антоновна задумывалась, потом медленно резала этот хрящик на две половинки и отодвигала их ножиком на чистый край тарелки. При этом не говорилось ни слова. Но мы понимали. Дети и звери удивительно понимают без слов. Хрящички в ту же минуту исчезали у нас во рту...

Вспоминая этот самый ранний период учебы, когда на всю жизнь так легко, словно играючи, утрамбовалось в нас знание немецкого языка, я с грустью думаю о разговоре с одним чиновником из нашей Академии педагогических наук. Он решительно заметил, что не следует отправлять своих детей в первый класс уже чему-то обучившимися — они будут «плохо читать и писать, воображая, что обгоняют класс», — и учителю «труднее, когда уровень учащихся неодинаков!» Держать семилетнего человека (ведь ребенок — это человек!) в сознательной неграмотности! Потому что учителю легче, когда «уровень учащихся одинаков!» Разговор этот происходил несколько лет назад, и мне тогда же захотелось проверить, что делают наши дети до семи лет в детских садах.

Я помнила старые фребелевские сады и «первые приготовительные» (часто их было в пансионатах «первый» и «второй»), — задолго до Октябрьской революции. Там была система в играх, в игрушках, в линованных густо (две горизонтали, пересекаемые сеткой косых диагоналей) тетрадках, в подборе цветных карандашей, не всегда, может быть, соблюдавшаяся сознательно. Система эта состояла в том, что дети готовили руку, когда выводили свои палочки, — к будущему каллиграфическому письму; готовили глаза — к будущему выбору красок; готовили свое восприя-

гие — к симметрии, к пониманию, что она такое; готовились игрою в лото, в кубики, в мяч — к знанию флоры, фауны, первых форм геометрии, чувству дистанции. А возраст был — четыре-пять лет. И с этих же лет ставилось горло, обучался слух — пеннем, музыкой. И, чтоб не забыть главное, — в прошлом именно тогда закладывалось и знание иностранного языка, по преимуществу — немецкого. Мне приходилось писать о значении ранних уроков именно немецкого языка. Фонетически он самый близкий к русскому. А русский и немецкий — это наилучшие по звуковым элементам языки для безупречного произношения после них всех других европейских языков, особенно французского и английского...

Так вот, наши детские садики. Если смотреть исторически (когда, почему, для чего), то в первые, ранние годы их организации они были остро нужны, потому что отец и мать работали и не с кем было оставить детей. Они были остро нужны, говоря грубо, для родителей в первую голову, а потом уже для детей. Проблему родителей (развязать им руки и дать спокойную совесть, чтоб не боялись оставить детей, чтоб дети были здоровы, умыты, накормлены, не подвергались опасностям, не плакали, не скучали) решить было куда легче, чем проблему детей. На нее, главным образом, и упирали наши ранние организаторы. Важным действующим лицом в детских садах той поры была «няничка»; потом пошли юные руководительницы со скудным багажом; а после — постарше. Но из этих, постарше, я запомнила двух, с которыми пришлось поговорить. Пусть не обижаются на меня, дело давнее, — одна сказала про свою помощницу: «Это, конечно, не Рио-де-Жанейро, но свое дело делает...» — а другая о родителях ребят: «Они сами не знают, чего хотят...» И я вспомнила, что первые «фребелички», руководительницы детских садов, были с университетским образованием, что многие из них читали Песталоцци в оригинале, не говоря уж о Фребеле. И тщательно изучали психологию детского возраста.

Время, когда детские учреждения решали «проблему родителей», уже отошло; и нынче выдвинулась «проблема детей». Я как раз застала детский сад — столичный, один из популярных — в этот период, и на мои вопросы мне охотно рассказывали и показывали: рисунки («На выставку»); хоровое пение; танцы; разыгранные пьески и декламацию; игрушки с образовательным уклоном. Казалось, что драгоценные годы — от четырех до семи — были у ребят действительно заняты и не проходили зря, в пустоту. А все же тут и в помине не было ни иностранного языка, ни учебы, ни подготовки к учебе; и на поверхность всплывало даже не «препровождение времени» с пользой для ребят, а нечто большее — с привкусом воспитания «показа».

Две формы показа есть в детском возрасте: один — для детей приятный, другой — неприятный. Это — «выступление» (на сцене, на выставке, на празднике взрослых, на всяческих демонстрациях); и — школьный экзамен. Существуют они испокон веков. Критиковать их — бесполезно. Кое-что очень нужное, вероятно, в них есть. Одно скажу — от себя, ничего не критикуя: мне всегда бывает немножко совестно, да и противно, глядеть, как выступают дети — для развлечения и умиления взрослых; и мы действительно умиляемся, утираем слезу, даже будучи старыми большими людьми, — и, утирая слезу, не думаем, что остается от таких показательных представлений на душе у ребят. Может — самую малость, — но капля долбит камень, привычка начинается с повторения, — приучаем мы этим детей к тщеславию, вылезанию, зависти, театральности жестов, желанию быть на виду — словом, от показа к показухе. Может, и необязательно. Может, чуть-чуть. Раздумывая над этим и вспоминая те же «выступления» и «показы» конца прошлого века, времени моего собственного детства, — я вижу одну черточку, как бы не только обезвреживающую их психологически, но и делающую их составной частью правильного воспитания.

Черточка эта...— впрочем, прежде чем обобщать, приведу ее на маленьком примере из личного опыта.

В конце девяностых годов в московских газетах можно было прочитать такие, например, объявления: «Женское учебное заведение-пансион Е. Н. Дюлу, с упором на практику французского и немецкого языков, угол Поварской и Мерзляковского, дом Гирш». Таких заведений, особенно для девочек, было в Москве немало. Во главе их стояли обычно обрусевшие француженки, прижившиеся в России чуть ли не со времен Наполеона. Постепенно из семиклассных эти школы восходили к гимназиям, принимались в ведомство министерства народного просвещения, получали права. Такой путь проделало и французское заведение Екатерины Евгеньевны Констан-Дюмушель, помещавшееся на Швивой горке в красивом особняке,— особняк этот, имеющий въезд из ворот с двумя сидячими львами и расположенный в глубине двора, стоит на Швивой горке и сейчас. Мне было семь лет, а сестре пять. Мы уже умели читать и писать по-русски, говорили по-немецки. Мать, учившая нас русской грамоте легко и между делом, показывая заглавные буквы газет, заставляя прочитывать названья под картинками и тут же, произнеся букву, сразу уча писать ее на бумаге,— все так же мимоходом, играя нам любимые вещи на рояле, обучила нас и самих играть легонькие пьески. В одно осеннее утро меня впервые разлучили с сестрой — собрали в нарядный баульчик все, что нужно для недельного пребывания, а в отдельный мешок коробку фиников от Яни Понайота (была такая румынская кондитерская в Москве) и любимые кислые карамельки, надели коричневого платья с белым воротничком, оделась и мама. Кучер Иван лихо подкатил к парадному на нашей паре, покрытой ради такого случая синей сеткой,— и мы поехали. Мы поехали, а я чуть не свернула шею, оглядываясь назад, где на подоконнике, прижав нос пуговкой к стеклу, стояла сестра. Всю неделю потом она спрашивала: «А теперь — суббота?» — и прыгала на подоконник. В первую же субботу я увидела в окне ее нос пуговкой, когда подъезжала на побывку домой...

Мать отвезла меня в пансион Констан. Прочувшись там два года, я сейчас почти ничего от этой учебы не помню. В памяти остались только три фамилии — мадемуазель Амудрю, Гловацкая, Вольтановская... а кем они были, учительницами или классными дамами, и как выглядели — никак не вспомнить. Только разве Амудрю, Флорентина Антуановна, с ее кокетливой французской речью, да вечерние чаи внизу, в длинной столовой, потому что сохранился их вкус,— большие чашки, чай с молоком и круглые московские «розанчики» к нему, с которых было особенно вкусно отирать верхнюю поджаристую заветушку. Этих розанчиков, как и прочих разновидностей старой московской полусдобы, сейчас уже не выпекают. Хранится в памяти и обязательное вычесыванье нашими нянями волос в дортуарах перед сном. Няни ставили на стол блюдечки с разбавленным спиртом, макали в них вату и долго втирали нам в кожу головы эту жидкость, покуда мы сидели перед столом с нашими распущенными косами. А потом в ход шли частые гребешки, и начиналась процедура вычесыванья, чтоб, избави боже, не завелось вшей в волосах. Недаром озорники дразнились — вместо «Швивой горки»: «Вшивой горкой»,— а наша начальница на визитных карточках ставила «Гончарная улица...».

Но кроме этих мелочей, почему-то застрявших в памяти, я навсегда запомнила событие, много раз и все по-разному осмыслявшееся мною впоследствии. Вот с этим событием и связана упомянутая мною выше «черточка». Был в пансионе Констан толстенький, с черными короткими усами под самым носом, необыкновенно ловкий в движениях, несмотря на свою толщину, хоровой регент и создатель оркестра из пансионеров. Настоящего оркестра — со скрипками, виолончелью, арфой и даже духо-

вами, в которые, раздувая щеки, дудели самые здоровенные и старшие из наших девочек. Был в этом оркестре и барабан, большой, круглый, сидя за которым можно было спрятаться по самую шею. И за этот барабан, проверив мои музыкальные знания, посадили меня.

Барабана я сразу испугалась, я его прямо возненавидела. К рождественской елке мы должны были разучить для мадам — Екатерины Евгеньевны — что-то вроде марша из балета «Коппелия», — позже я много раз прослушвала этот балет и нигде не могла найти место моего «марша» в оркестре. Исчез барабан из партитуры! А тогда из совершенного ужаса, не разбираясь в счете тактов, чтоб правильно вступить в игру, я ничего не видела, не слышала, сидела зажмурившись и ударяла в свой барабан на авось в надежде, что вдруг да попадет куда нужно. От моих нелепых ударов все останавливалось, «скрипки» смеялись, «флейты» пользовались остановкой, чтоб перевернуть свои дудочки и выпустить из них накопившуюся слюну, а регент сердился, бил палочкой о свой пюпитр и кричал: «Не туда, не туда!» А куда, спрашивается? Я сидела несчастная, заурямившаяся в своем несчастье, как ишак: начинали опять, и я опять зажмуривалась и била невпопад.

Тогда регент решил вникнуть в этот случай. Он начал приглядываться — и увидел, что я сбиваюсь в счете тактов и что внимание мое безнадежно направлено на арифметику, на поиск своего арифметического места, куда надо запустить барабан. И тут он применил замечательный педагогический прием:

— Ты не пустые такты считай, ты музыку слушай! Ты забудь счет тактов. Оркестр играет очень красивую вещь, ее приятно слушать. Ты слушай — и ты сама почувствуешь, когда требуется ударить в барабан. А не почувствуешь, я к тебе поворачиваюсь — вот так, и палочкой указываю — вот так! Ударяй! Еще раз! Еще раз! Волна поднимается, а барабан ее осаждает вниз. Поднимается — вниз! Пробуй!.. Барышни! Начинаем...

И я стала вместо счета тактов, на что мне указывали раньше, слушать музыку. Впервые слушать, что другие играют. И мне понравилось, я забыла про барабан. Но тут скрипки понесли мелодию все выше, выше, регент повернулся ко мне, а я ударила в свой барабан и сразу попала на свое место. И мне прямо полюбился мой барабан. Полюбилась его музыкальная функция в оркестре. Полюбилось, как я осаждаю высокую волну скрипок вниз, как подаю свой голос — громкий, энергичный, утверждающий, говорящий: не залезайте чересчур в небо, земля тоже зовет, возвращайтесь! Бог знает что мне такое мерещилось, но я со своим барабаном могла без конца философствовать. Я его нашла, потому что услышала целое. Много, много раз впоследствии приходилось мне писать и рассуждать на тему об оркестре, о роли подлинного организованного коллектива в форме оркестра, о том, что каждый в нем зависит прежде всего от целого, и найти свое место в нем можно только тогда, когда узнаешь и поймешь это целое «все вместе».

Помню, лет шестьдесят назад погиб огромный океанский пароход — получил пробоину и стал тонуть. Шлюпок хватило лишь на женщин и детей. Люди обезумели, отталкивали друг друга, миллионеры, ехавшие домой в Штаты, пытались подкупать матросов, лезли в спасательные пояса. Куда там было думать о музыкантах, симфоническом оркестре, нанят том ублажать публику верхних палуб своею игрой. Они тоже оставили дома свои семьи, что-то свое, дорогое, но они знали, как знают приговоренные в тюрьмах к смерти, что у них нет шансов. И оркестр (в сознании каждого из них стояло, что они — оркестр) взял в последний раз свои инструменты. Покуда пароход погружался в воду, музыканты начали и продолжали играть Бетховена, продолжали играть, пока вода не дошла до инструментов, до груди, до горла, — спасшиеся в лодках расска-

зали потом, что музыка опускалась на дно вместе с пароходом. Какая счастливая, могучая, человеческая смерть! Много раз я о ней рассказывала читателям и слушателям, когда шла речь об организующей роли оркестра... Но вот о «черточке».

У нас, как правило, стоит только завести речь о двадцатых годах — советских двадцатых годах, — как все без исключения восторгаются тогдашней нашей литературной действительностью. Не сразу в этом единодушном хоре голосов я разобрала, что люди восторгаются совсем разными и даже противоположными вещами. Одним нравилось, что тогда невозбранно печатались «левые» течения, футуристы, формалисты, «опоязы», видевшие в Октябрьской революции окно в «свободу выявления», считавшие, что они своими новыми приемами искусства ярче, наглядней, реальней передадут революционное бытие, чем потуги натуралистов, людей консервативных по своей художественной природе, умевших отражать мир лишь по старинке. На каком-то коротком этапе оно так и происходило, но — мир новых отношений надо было создать материально. Надо было лепить его в окружении старья. Лепили впервые — прецедентов не было. И материальное создание новых человеческих отношений, трудное, смелое, небывалое, людьми, пришедшими на авансцену истории без рефлексий, без Гамлетовых «быть или не быть?», единственно возможными людьми в такую историческую эпоху, — стало с о д е р ж а н и е м для творцов искусства, содержанием, которое надо было отразить не только абстрактно и риторически, с упором на небывалую форму, а добросовестно, скрупулезно, реально, с микронными деталями, чтоб понять их особенности. И для многих — для меня в том числе — двадцатые годы дороги тем, что лучшие писатели почувствовали эту задачу, взялись за нее, пошли на ее приступ, оставили нам трассы своих подходов к особенностям новой классовой сущности того человека, который вдруг посмел выйти и взять в свои руки построение нового мира.

Совсем разные это были писатели. Старый натуралист Серафимович из сборников «Знания» сумел в «Железном потоке» показать, как стихийная людская масса организуется в единое целое вожаком революции. Острый и далекий от натурализма Борис Пильняк нащупал, наглядел нового деятеля «без рефлексий», пришедшего на историческую сцену, и дал ему название «кожаной куртки». Еще без глубокого анализа, без понимания классовой психологии, рисуя лишь углем и мелом, эскизно, — наметилась реальность: «кожаная куртка», которой — как во времена Тургенева книжной героине подражали реальные помещицы дочки — стала подражать школьная молодежь, рвавшаяся строить новый мир. И вдумчивый западник, воспитанный французской поэзией и левыми полотнами, — Илья Эренбург, которого знали Владимир Ильич и Надежда Константиновна и для которых он был просто Илья, — поднял вдруг острейшую тему наступавшей эпохи, тему индивидуалиста в коллективе в «Дне втором»... Вот чем замечательны были двадцатые годы: приступали к новым задачам, к отражениям намечающейся формовки нужных для социализма людей в их характерах и взаимоотношениях друг с другом и со средой.

Индивидуалист в коллективе, борьба с индивидуалистической спесью в себе и с упором на своем «я» превыше всего, внедрение в понимание каждого человека такой же полноты реальности в понятии «ты», как и в своем «я», — это красной нитью проходило через лучшие наши созданыя первых десятков лет строительства социализма, воспитывало, давало свои глубокие радости, свою психологическую тонкость — и в жизни и в книгах — и откладывалось в нас — частью нашей партийной совести. Вот почему бывает больно, когда забывается эта накопленная черточка: когда в наших спортивных состязаньях, в воспитании разных форм «самодеятельности» бог весть откуда вкрадываются закваски былого «выскакива-

нья», «вылезанья», «зависти», «хвастовства», «тщеславия», «кокотничанья» оторванного от среды «я», «я», «я»... Когда перестают слушать целое и только арифметически считают такты — для вступленья своего в оркестр.

## II

Как раз во время двухгодичного моего пребывания в пансионе Констан я испытала еще одну вещь, не имеющую отношения к учебе, но очень важную в моем духовном развитии. Вещь эта — «обеднение». На второй год, после уроков — в субботу — одна девочка, всегда подбегавшая ко мне на переменах и старавшаяся сделать или сказать приятное, с какой-то умильностью в голосе закричала:

— Шагинян, Шагинян, вот за тобой приехали твои лошади!

Я было дернулась к окну по привычке, но тут же вспомнила, что с осени привозит и увозит меня из пансиона уже не наша пара под синей сеткой, а простой извозчик. И повернувшись к девочке, я с удовольствием, как новость, хотела ей сообщить: «А у нас больше лошадей нет, лошадей продали». Но что-то вдруг остановило меня. Не знаю что. Помню только, что не во мне, а в ней. И, не давая себе отчета, я с молчала. Оставила ее в убеждении, что за мной действительно прикатила наша прежняя пара.

Случай как будто ничтожный. Но когда думают и пишут о воспитании «в школе и в семье», сотни страниц исписывают разными умными вещами о воздействии на ребенка школы, о влиянии на него семьи, о разлагающем вреде «улицы» и т. д., забывая простейшее нечто, а по-моему, самое сильное из всех влияний: взаимоотношение самих детей между собой. Конечно, есть дети, чья натура или характер получше или похуже, но совершенно плохих или совершенно хороших, особенно в раннем возрасте, по-моему, нет или почти нет. У девочки, которая ко мне подбегала, было кем-то или чем-то заброшено семя, которое еще можно было бы затоптать или выкорчевать, — семя уважения к богатству, чувство, что богатство — хорошо, бедность — плохо, с богатыми дружить почетней, выгодней для себя, и, может быть, даже невинные семечки «подлизыванья», ухаживанья. Вот весь этот комплекс, отражаемый в ее умильности, заискиванье в тоне, как материальный флюид или настроенность на психическую волну, тотчас заразил и меня и передался в мою открытую душу, до этого заинтересованную только тем, что у меня есть «новость». Но заразив мою душу, немедленно окрасил ее качественно. Если б я, как я, — была в эту минуту сильнее воздействующего «флюида», я могла бы сказать именно то, что собиралась, и заинтересовать девочку самой объективностью факта; и тогда это повлияло бы на заброшенные в нее ранее семена и помешало их росту. Но маленький «контакт» между двумя детьми, из-за моей реакции, повел к ухудшению нас обеих.

То было у меня второе столкновение с понятиями «богатство» и «бедность». Первое произошло года два назад до ее вопроса о лошадях и тоже имело большое значение в моей жизни. Как только я начала читать, няня частенько просила меня почитать ей из Евангелия. Она хранила его под лампадкой, закапанное маслом, старенькое, рваное, без апостольских посланий и псалтыря, а только четвероевангелие. И однажды, прочитав ей о верблюде, которому легче пройти в игольное ушко, нежели богатому в рай, я спросила у нее: как же быть-то человеку, чтоб не стать богатым? Няня ответила:

— Верная есть одна примета: кто со скатерти хлебные крошки смахивает рукой, а не веничком, на всю жизнь пребудет в бедности.

С тех пор я всю жизнь, по усвоенной в детстве привычке, смахиваю крошки со скатерти рукою, хоть это и не очень эстетично.

Однако же в том возрасте (пяти лет) у меня не было сравнительного

понимания богатства и бедности, да и представленья не было, что оно такое, богатство, кроме как препятствие попасть в рай. Теперь же, в случае с девочкой, родился сразу целый букет ощущений с примесью очень важного в детстве, очень мощного, если научиться сохранять способность к нему во все возрасты, чувства стыда. Умолчала — и родился стыд. Умолчала — потому что уступила. Уступила, потому что хотелось сохранить умильное отношение чужой девочки к себе. Умильное отношение было не ко мне, а к паре лошадей под синей сеткой, на которых я ездил. Пара лошадей отличала меня от большинства других девочек. И я восприняла это отличие как преимущество. Преимущество богатства!

Но его у нас уже не было. Постепенно уходили от нас, как волны в отливе, обнажая песчаный берег, привычные вещи: званые обеды со множеством гостей и поваром в белом колпаке; отъезды на дачу с упаковкой в фуры всей фарфоровой посуды и с перевозкой рояля; квартира в Салтыковском переулке с конюшней для лошадей, поскольку лошадей уже не было. Но кучер Иван, любимый моим отцом за молчаливую преданность и доброту, остался у него в услужении до самой смерти. Ушел и дорогой пансион Констан. Мы переехали на Садовую-Каретную, в дом Кирхгофа, заняв в нем лучшую квартиру в бельэтаже, выходящую высокими зеркальными окнами на улицу. В двадцатиминутной ходьбе от нас, в направлении к Сухаревке, были две женские гимназии, Любови Федоровны Ржевской и Калайдович. Гимназия Ржевской — на нашей стороне улицы; Калайдович — на противоположной.

Думаю, что выбор родителей был связан именно с этим обстоятельством. Не то что возить на извозчике, но и сопровождать нас, кроме няни, было некому, а поэтому безопасней без перехода широкой Садовой, по которой без конца тянулись возы, отпускать детей — меня во второй класс, Лину в приготовительный гимназии Ржевской. Все, что связано у меня с обучением в средней школе (за исключением одного года) и что впоследствии легло в постоянные размышленья о педагогике, о роли наставника, учителя, — относится к этой замечательной старой гимназии, носившей название «частной» в отличие от существовавших тогда казенных гимназий под цифрами Первая, Вторая и т. д. Но прежде чем рассказать, чему и как нас в те времена учили, вернусь к уступчивости и к влиянию человека на человека, — ребенка на ребенка.

Были еще случаи в моем детстве, когда я уступала, один раз даже поддалась. Этот второй случай был хуже первого и тоже связан с понятием богатства, «преимущества». Говоря, что «совершенно худых» я не встречала, я немного преувеличиваю. Худые, плохие человеческие существа с какой-то природной склонностью играть на плохих сторонах характера или вызывать, пробуждать эти плохие стороны у других, — они, разумеется, существуют среди нас; и неизвестно, исправит ли их отпор или неподатливость со стороны их жертвы. Но я уверена — зоркое око матери или воспитателя сделает доброе дело, если разглядит их; и, может быть, обезвредит, если в своем подопечном будут они воспитывать одно очень важное качество. не стараться обязательно всем нравиться, всеми быть любимым или любимой. Это желанье — всем и всегда быть по вкусу, быть приятной — есть самый вредный вид тщеславия, создающий слабые характеры. А хуже слабого характера — нет беды! Природа каждому мягкотелому дала защитную преграду: панцирь черепахе, иглы ежу, яд и безобразие змее, — но человек, выработавший в себе слабый характер, не имеет защиты. А ведь школа — даже наша, советская, — часто стрижет, гладит и обезоруживает хороший дар природы, сильный характер у ребенка, некоторыми своими требованиями, культивируя в нем слабость и податливость. Надо только отличать силу, стойкость — от ослиного упрямства (рода душевной пассивности) и всегда со-



единять стойкие характеры с тренировкой разумности, умением рассудить и размыслить.

Так вот, была в гимназии одна девочка, Вера К. (хоть и маловероятно, что она еще жива, но могут быть живы дети ее), из разряда «худых», заражающих чем-то худым своих одноклассников. У нас с ней часть дороги домой проходила по той же улице, мимо нашего дома. Я уже перешла в четвертый, когда и квартира с зеркальными окнами на улицу, квартира, в которой происходили события детской моей «Повести о двух сестрах и волшебной стране Мэрце», была нами покинута по причине ее дороговизны. Мы перебрались на третий этаж, в другую, попроще и подешевле, окнами выходящую на двор. Но Вера, дойдя со мной до дому, где я должна была свернуть мимо палисадничка к парадной двери, спросила своим настойчивым, «вливающим» голоском:

— Покажи мне окна, где ты живешь!

И тут, поддаваясь чему-то совершенно паршивому и мне самой не свойственному — лжи, потому что Вера К. хотела лжи, ждала лжи от человека, просто не верила, что он может сказать правду, и еще чему-то «уличающему» в ее тоне, уличающему уже чужое матерьяльное положение, которое должно быть хуже, чем сам человек непременно хочет показать, я ответила:

— Вон там, в бельэтаже, где зеркальные окна.

Девочка ехидно продолжала:

— Когда ты придешь домой, ты мне поклонись из окна, а я тут буду стоять и ждать.

Это была катастрофа, поклониться из чужой квартиры я никак не могла, ноги у меня просто подвертывались, покуда я плелась к парадному, а дверь парадного тоже выходила стеклом наружу, и тут я (стыдно вспоминать) жалким образом, войдя в нее, повернулась и, поклонившись ей из «окна» парадной двери, опрометью кинулась по лестнице домой.

Детей портить детьми же — очень легко, потому что именно этот фактор, обыденное, повседневное общение ребят между собой, почти никогда не учитывается, остается неизвестным родителям и педагогам. Казалось бы — нет ничего особенного. Но особенное есть, особенное огромное! И главное в нем — это уступка, уступка против воли хорошего в своей душе — чужому, дурному. Я никогда не страдала от обидения, никогда не считала его чем-то стыдным, не сравнивала, совершенно не интересовалась, богато или бедно живут мои подруги и вообще — как они живут, а вот поди ж ты! Достаточно было злой воле, как дурному воздуху, коснуться моей души — и сразу все осветилось знанием, очень постыдным знанием, — о разнице, в какой живут люди; о преимуществе одних над другими; о том, что отношения зависят от того, где ты живешь, кто твои родители; и о том, что приходится врать, казаться вместо голый и простой правды, потому что вот стоит и действует на тебя человек, для которого голая и простая правда не подходит, а подходит — к его атмосфере, к его бытию, к его ожиданию — что-то другое, лживое и показное.

Для меня все эти маленькие события моего детства никогда не проходили незаметно, не исчезали из памяти. Все, что делалось мною хорошего, где я выступала и поступала благородно, я тотчас, полусознательно, выбрасывала из памяти, чтоб не копить у себя в мозгу «смягчающих обстоятельств». Этому меня не учили, но я научила себя сама — смотреть на свое хорошее как на естественное, само собой разумеющееся, свойственное каждому нормальному существу. А вот случаи, где я уступала или где подвергалась искушениям, запомнились на веки вечные, и, ставши взрослой, я их много раз ворошила в памяти, когда обдумывала одну из главных проблем, занимавших меня всю сознательную жизнь, — проблему школы, воспитания, образования человечества.

Однажды я поделилась своими мыслями с Линной, пожаловавшись ей на свою гнусную податливость, увеличивающую в дурных людях их недостатки. Мы обе уже были взрослыми, обе учились на Высших курсах, она — истории, я — философии. И что мне всегда служило опорой и помощью в Лине, это ее удивительная стойкость. Она никогда и ничему дурному не уступала, оставаясь сама собой. Наш старый друг, жена (белого впоследствии) журналиста Сергея Яблоновского, Елена Александровна, звала мою сестру за это свойство «Кременьлиной», а дети, которым Лина никогда не поддакивала и перед которыми никогда не меняла своего натурального голоса и интонаций, обожали ее и считали высшим существом. Так вот Лина в ответ на мою исповедь утешительно сказала:

— Ты ведь пишешь, будешь писателем. Тебе надо осваивать людей изнутри, ценою уступок, а иначе как их изобразить? И потом — не беспокоя, напишешь их во весь рост и разделаешься с ними, выбросишь из себя. Художнику без таких жертв собой — нет познания.

Но один из случаев — я его тоже должна рассказать — произошел без уступки. С него определилась моя глухота, которую в раннем детстве почти не замечали, а в гимназии считали чем-то преходящим и, во всяком случае, не прогрессирующим. И он тоже сыграл свою роль в моих педагогических размышлениях. Последние годы, готовясь собрать и обдумать все, что я к концу жизни знаю или исповедую в науке о воспитанье, я заказала в библиотеке и прочитала серию сборников «Педагогика и школа за рубежом»<sup>3</sup>. Эти сборники, изданные почему-то небольшим тиражом, состоят из рефератов, посвященных школьному делу в разных странах Европы, Азии, Америки, Африки — словом, всей нашей планеты на сегодняшний день. Первый из них вышел в 1967 году — и до последнего времени имеется только десять сборников. Хорошее и нужное у нас в педагогике почему-то выпускается по столовой ложке и, должно быть, доходит лишь до ведомственных работников или членов Педакадемии, а для огромной массы учителей-практиков остается недоступным, в то время как сотни тысяч неудавшихся учебников или ненужных брошюр, как показал недавно «Фитиль» на экране, бессмысленно забивают склады... Но это — между прочим.

Так вот, в шестом сборнике помещено короткое изложение статьи английского педагога из Девоншира «Половое просвещение в начальной школе». Рефераты, конечно, не приводят всей аргументации, не дают примеров, не передают авторского убеждения, но в принципе вы знакомитесь с начинаньем одной девонширской школы. Там учатся свыше 400 детей. И в девятилетнем возрасте, когда, по мнению автора статьи, у детей «еще нет сексуальных эмоций», им как бы в порядке учебного дня просто и обыденно рассказывают на уроке, как устроен человеческий организм и каким образом рождается потомство. Результат, по мнению директора школы, прекрасный, появляется полная и спокойная трезвость в учащихся по вопросу самого острого и трудного для педагогов участка детского воспитания, до сих пор никак еще не решенного ни родителями, ни педагогами, — так называемой «проблемы секса». Я поделилась мыслями этого девонширца с одной нашей умной и популярной писательницей. Призадумавшись, она мне ответила:

— Смотря с какими детьми. С крестьянскими, например, это вполне разумно, они и сами с малых лет видят и наблюдают все это у животных... Ну а городские — не знаю, боюсь сказать.

Может быть, она и права в отношении крестьянских детей, хотя у нас разница между городом и деревней порядком уже стерлась. Но мой опыт

<sup>3</sup> «Педагогика и школа за рубежом». Периодические сборники рефератов, пересказывающих содержание наиболее существенных книг и статей по педагогике, выходящих за границей.

долгой жизни говорит мне, что девонширец грубо ошибается. Начать с того, что неверно главное его положение, будто у девятилетних детей (и до девяти лет) отсутствуют половые эмоции. Мне кажется, эрос — в его широком и плодотворном смысле — рождается вместе с рождением бытия и вовсе не связан с органами человека и функциями их. Не так давно облетел нашу печать случай, для меня лично не представлявший ничего необыкновенного, потому что я испытала его на себе: объявилась в поле зрения ученых девушка, которая «видит рукой». Были проделаны опыты, подтверждающие эту странную особенность. Ей закрывали глаза и в полной темноте поверхностью своей обнаженной руки она видела предметы, иначе сказать, кожа ее как-то перенимала собой зрительную функцию глаз, хотя не обладала никакой «зрительной аппаратурой», свойственной глазу. Но восприятие происходит не только в органах чувств, а и в мозгу, главном их центре. Бывают случаи, когда оно возможно и м о органов чувств, м и н у я их,— хотя бы, например, со слуховым аппаратом при отосклерозе, когда звук передается прямо в мозг, минуя атрофированный слуховой орган. Это грубое сравнение, и я не берусь, не будучи специалистом, разбираться в биологических сложностях, знаю только, что с а м а в одном из случаев моей жизни, когда была возбуждена и наэлектризована до крайности, у в и д е л а в абсолютной темноте своей рукою, вдобавок повернутой за спину, предмет, который до этого в комнате ни разу не замечала... Все эти соображенья приходят в голову, когда хочешь доказать неоспоримую истину: эрос присущ каждому бытию в любом возрасте, он разлит во всем живом организме, от волос и до кожи, как разлита в нем потенциальная электрическая энергия. И задача настоящего воспитания заключается в том, чтоб уберечь источник этой энергии в человеке в его чистом, незамутненном виде; чтоб довести его в растущем человеке до зрелости в неразорванном единстве, том великом единстве, когда «удовольствие» не оторвалось от «счастья», «ощущение» от «чувства».

Ребенок обладает воображеньем — свойством создавать внутри себя, отрываясь от действительности, картины и действия, которые происходят с ним не в жизни, а только в мозгу. Давать пищу для воображенья ребенка в направлении, которое может стать чувственным, — величайшая опасность в деле воспитания. Двойка — для самого учителя, как и для учащегося. Быстрота постижения ребенком всего, что связано с миром первичных ощущений, очень велика. Вспомним гениальные строки Баратынского:

Так в дикий смысл порока посвящает  
Нас иногда один его намек<sup>4</sup>.

Почему, собственно, тысячелетия культурной жизни человечества одну-единственную функцию человеческого организма, такую всеобщую и необходимую, облекали для детей тайной, выдумывали аистов? — разве нельзя, как попробовали в Девоншире, сделать ее прозой и обыденностью, предметом изучения, как грамматику или таблицу умножения, — и внедрить ее как обыденность для десятков и десятков школьных поколений, чтоб они привыкали к ней десятками лет, столетиями школьного опыта? Ведь испробовали нудисты создать прозаику голого тела для окружающих без «фигового листка», повязки на чреслах? Мой восьмидесятирехлетний опыт говорит: нет. Н е л ь з я. Потому нельзя, что природа, целесообразная во всех своих действиях, заботясь о непрерывном продолжении всего живого, прибавила к функции продолжения рода, как могучий стимул, ощущение удовольствия или наслажденья. Но человек создан — природой или чем-то, заложенным в него еще более могу-

<sup>4</sup> Баратынский И. Избранные сочинения. Издательство З. И. Гржебина 1922, стр. 139.

чим, нежели сама природа, скажем Временем в его историческом заполнении и развитии,— человек создан с чем-то, осознаваемым постепенно как нравственное начало: он облагородил безликое ощущение, связав его с личным, целенаправленным чувством. В лучших твореньях мирового искусства, в книгах по философии, в древних народных эпосах безликое «ощущенье» предстает как великая, неразрывная, нравственным началом скрепленная связь ощущенья с чувством, наслажденья со счастьем — любовь. Обучая детей картинками и сухою учебной прозой, как и с помощью каких органов происходит деторождение, учитель, сам с непривычки скользящий по своей теме, как по льду, неизбежно направит внимание ребенка на эти органы. Где гарантия, что не заработает воображенье, случайно или не случайно не мелькнет ощущение удовольствия? И произойдет психологический разрыв, которому потом трудно найти исправление,— между ощущеньем и чувством? Разрыв, ведущий к холоду, к отмиранию чувства, к измельчанию и сухости учебной прозой (через злоупотребленье ощущеньем) одной из величайших энергий, творчески двигающих человечество,— энергии крылатого бога Эроса...

Возможно, все эти рассуждения старомодны и не учитывают способности людей к перемене, ассимиляции и сохранению своей человечности. Да и что такое опыт восьмидесяти лет перед тысячелетиями. Но вот маленький рассказ о себе, к которому я шла такими обходными путями. В гимназии Ржевской на каникулы осталась из пансионерок одна только я,— сестру взяли родственники. Был на исходе пасхальный праздник. В длинном пустом дортуаре я исхлопотала себе у няни свечку и при свече дочитывала что-то интересное. Шел одиннадцатый час. Вдруг в наш дортуар шестиклассниц пришла восьмиклассница — нарядная, в выходном платье, длинной юбке, с дамским ридикюлем, в прическе,— она только что, раньше времени, вернулась из отпуска и в дортуаре для восьмиклассниц не нашла никого.

— Ты, Шагинян, брось читать, послушай, что я тебе расскажу.— Она уселась передо мной, вырвала у меня книгу.— Я была с очень интересными людьми, с мужчинами, понимаешь — не с мальчишками, а с настоящими мужчинами...

Еще до того, как эта девушка начала рассказывать, у меня вдруг все сжалось внутри, как от прикосновенья к лягушке. Нас учили вежливости. Она была старшая. Просто невозможно было ее выгнать. Некуда было убежать. И в уши мои стали проникать слова, непонятные по смыслу, но понятные сразу в чем-то одном: слушать их нельзя, не нужно, нехорошо. Сперва я старалась миновать их слухом, удерживая лишь впечатленье неразборчивости, бессмысленности. Надо было подавать реплики. Я подавала — невпопад, как семилетней была в свой барабан. Она продолжала:

— Они не только показывали, они делали!

Эта фраза дошла до меня в какой-то страшной обнаженности, как край пропасти на ходу,— когда вдруг оступаешься, видя, что сейчас свалишься; и тут я сделала вещь, неожиданную для себя,— я помолилась богу: «Господи, дай, чтоб я не слышала, господи, дай, чтоб я не слышала!..»

Здравые люди могут говорить что хотят. Медики могут говорить о шоке, о самовнушенье. Я знаю одно: то, что произошло дальше, святая правда. Я увидела перед собой губы восьмиклассницы. Эти губы двигались, они двигались очень быстро, как при еде или жеванье. Но звука из них не выходило. Губы двигались мертво и безмолвно. Я перестала слышать. С чувством невероятного облегченья, очишенья, покоя дождалась я, покуда она ушла, как-то удивленно поглядев на меня напоследок,— и заснула сразу, в детской благодарности богу. На следующий день — впервые — за чайным столом наша «инспектриса», правая рука

начальницы, Елена Францевна, должна была трижды окликнуть меня, прежде чем я услышала: «Бери свою чашку»; с этого дня глуховатость моя стала заметной для окружающих. Станным образом этот серьезный случай в моей душевной жизни обернулся комической стороной, когда я вдруг вздумала рассказать о нем в первый раз. Не дома и не своим. И совсем не в том возрасте, когда легко о себе рассказываешь. Дело было совсем недавно в Париже, в многолюдном госпитале возле Орлеанских ворот, куда я попала случайно, упав на улице со спазмом мозгового сосуда. Уже поправляясь, я подверглась по просьбе нашего посольства подробному обследованию ушного врача. Имея самые редкие возможности упражнять свое детское знание французского языка, я с наслаждением чувствовала, как это знание внезапно развязалось у меня во Франции во всей его полноте, и при всяком удобном случае пускалась в монологи, щеголяя тем «прононсом», какому учила нас в детстве парижанка мадемуазель Салле. Именно этот внешний повод заставил меня подробно рассказать ушнику странное происшествие в дортуаре, о котором я просто посовестилась бы говорить у себя на родине.

Ушник и его ассистенты слушали очень внимательно, переглядываясь, но не прерывая мое взволнованное многословие, вызванное простым вопросом: «С какого возраста стали вы замечать свою глухоту?» Когда дошло до места «O, mon Dieu, faites, que je n'entend rien!..»<sup>5</sup>, они опять переглянулись, и тут мне показалось, что я предаю, предаю — не знаю кого, — господа ли бога или себя самое в борьбе за целостность единства того качества в человеке, которое русский язык обзывает единственным в мире, до сих пор мало кем понятным в его великом охранном значении словом: целомудрие. Но всякое ошибочное действие имеет для человека возмездие — еще при его жизни.

Вечером того же дня, когда я уже задремывала, меня навестил в палате капуцин, должно быть духовное лицо госпиталя, принимавшее у больных исповеди или соборовавшее их при умирании. Капуцин этот был довольно жалкий, имея в виду пролетарский тип госпиталя. Видно было по его затрепанной рясе, пахнувшей чем-то кислым, по грязной веревке пояса, по всклокоченным вокруг тонзуры рыжим лохмам и припухшему красному носику, добродушно сиявшему на лице, что попик не благодаренствует, но и не очень унывает, находя себе доступное утешение в абсенте. Должно быть, ушник передал ему мой рассказ. Он стоял и глядел на меня восторженно, с некоторой опаской, — как глядят на тигра в клетке. Я была для него феноменом, никогда раньше не виденным, верующей женщиной из страны большевизма, жертвой богохульников-большевиков, но все же большевистской подданной, покровительствуемой их же дьявольским посольством. Капуцин ничего не говорил, а только стоял и смотрел. Долго смотрел, решаясь — и не решаясь... И наконец, оглянувшись, он наклонил свою добрую лохматую голову и сказал мне громким, хриплым шепотом:

— Courage, ma fille!<sup>6</sup>

Я ответила:

— Merçi, mon père..<sup>7</sup> — и неудержимо расхохоталась в подушку, когда он вышел.

### III

Гимназия Любови Федоровны Ржевской — одно из тех воспоминаний, с каким сравниваешь впоследствии школу своих детей, восхваляя былые преимущества над новыми. Говоря вообще, на старости многое из

<sup>5</sup> «О боже, сделай, чтоб я ничего не слышала!»

<sup>6</sup> Мужайся, дочь моя!

<sup>7</sup> Спасибо, отец мой.

прошлого кажется лучше, чем нынешнее, может быть, от «дымки времени», стирающей сумрачные пятна вдали. Но когда отвечают мне, что это была буржуазная школа для немногих, я возмущаюсь справедливо. Почему, собственно, буржуазные дети должны были обучаться лучше, чем пролетарские? И почему — как это не только в школьном деле, но и в промышленности, в искусстве — случается у нас в качестве аргумента: «Для немногих — а ведь у нас миллионы! Мы в ширину, в массу растем — попробуй-ка сделать для миллионов то, что легко сделать для десятков!»

Вот такое возведение в принцип, будто численное увеличение потребителя обязательно повлечет за собой ухудшение качества, я считаю одним из вреднейших и опаснейших уклонов нашего «планового» мышления. Еще будучи в Плановой академии, сидя над тремя томами «Капитала», я жадно искала у Маркса, когда он разбирал старый процесс роста и обращения капитала с его кризисами, — нет ли там специального, философского обоснования связи между «качеством продукта» и расширением спроса на него, — и всегда наталкивалась, правда только на косвенные, примеры прямой связи, а не обратной. Погоня капиталиста за прибылью, за расширением потребления, увеличением спроса вела к поискам удешевления без ухудшения качества, даже к повышению качества: большее изящество при устранении лишнего, большая целесообразность с учетом красоты (окрашивание — для нарядности плюс продолжительности употребления без износа), большая модность в покрое и т. д. Неужели же при социализме отпадает эта прямая связь и превращается в обратную — чем больше, тем хуже качеством? Почему? Потому, что не хватает сырья при возросших в миллионных количествах потребителей?

В Плановой академии я над этим очень серьезно думала и пришла даже к выводу, что в самом начале надо устанавливать планом высокий стандарт продукции, делая его законом, и уже подгонять к нему планирование сырья и полуфабрикатов. Но тут вмешивался вопрос о финансовом плане... и качество опять уходило из прямой связи в обратную связь. Я даже додумывалась до того, что собралась написать сочинение о вреде сохранения денег при социализме и о том, что лишь военный коммунизм, каким мы испытали его на собственном опыте, может гарантировать прямую связь качества с ростом числа потребителей. Разговор этот, однако же, опять увел меня вперед на несколько десятков лет.

Гимназия, куда мы с сестрой сперва ходили «приходящими», возвращаясь домой к обеду, имела, по примеру большей части тогдашних средних школ, семь образовательных классов (кончавшие получали права «домашних учительниц») и восьмой, где преподавалась методика. Название «частная» не означало, что открывшая ее на свои деньги начальница могла делать в ней что хотела. Напротив, она, гимназия, вступала в ведение министерства просвещения, подчиняясь определенному статуту. При ней был совет, на котором сообща решались вопросы руководства, были свои «попечители», trustees по-английски. Преподаватели получали жалование, как в казенных гимназиях, и, кажется, — я не знаю точно — так же продвигались по линии чинов и прибавок «за выслугу лет».

Так вот, учителя были у нас отменные. Историю в старших классах преподавал Александр Александрович Кизеветтер, известный в Москве как образованный историк. Его сухошавая фигура и тонкий профиль мелькали у нас в коридорах, правда, не очень часто, и в «учительской» голос его тоже был слышим не часто, но девочки, учившиеся приходящими, могли дома, если это были дети родителей интеллигентных, уловить почтительную нотку в словах родителей: «С пятого класса у них

Кизеветтер». Русский язык и литературу, тоже с пятого, вел милейший человек Иван Никанорович Розанов, влюбленный в свой предмет. Много лет после революции мы знали его как советского ученого и члена Союза советских писателей. Историю и географию до четвертого класса преподавала Марья Павловна Чехова — нет надобности писать, кто она. В те годы Чехов был уже очень известен и очень популярен как новое замечательное отечественное дарование, и Марья Павловна, как сестра знаменитости, была жертвой постоянного простительного любопытства. Но это не делало подготовку к ее урокам более добросовестной. Именно Марье Павловне я обязана двумя колами в один день, полученными до и после «большой перемены». Я была в то время отчаянной шалуньей. Случилось так, что по милости какого-то взрыва шалопайства я не выучила уроков ни по истории, ни по географии. Утром, понадеясь, что Марья Павловна не высмотрит меня на задней скамейке и не спросит, я мирно писала «стишки», как вдруг услышала: «Шагинян-первая, продолжай теперь ты!» (Нас было в гимназии две Шагинян, и учительницы звали меня Шагинян-первая, а Лину — Шагинян-вторая.)

Что продолжать? Я вскочила в недоумении. На лице моем явно было написано: а? что? почему? Слегка придя в себя, я схитрила:

— Марья Павловна, мне отсюда было не слышно.

Тогда Марья Павловна, сама очень хитрая и отлично, насквозь видевшая свою паству, как бы невинно повторила фразу предыдущей девочки, по которой нельзя было даже понять, о каком веке и какой стране идет речь. Тогда я покаялась:

— Марья Павловна, историю я сегодня не выучила.

— Садись! — сказала сестра Чехова. И в ведомостях против моей фамилии смачно вывела кол.

После «большой перемены» наступил урок географии. Марья Павловна, в своей сияющей белизной блузке с брошкой, затянутая кушаком, опять появилась в классе, где, закрывая большую черную доску, уже висела карта Венесуэлы. До сих пор не могу без некоторого виноватого чувства читать или слышать о треклятой Венесуэле! Исходя из теории вероятностей, практически выражавшейся в моем сознании примерно так: «Попила моей кровушки — больше не будет!» — я довольно спокойно уселась на свое место. И вдруг:

— Шагинян-первая, к доске!

Я вышла на середину класса.

— Сказала тебе — к доске! Что именно выучила ты сегодня о Венесуэле? — И Марья Павловна приготовилась слушать, приложив кончик ручки — не тот, где перо, — к губам.

— Марья Павловна, географию я сегодня не выучила!

— Садись!

И оказалось, что ручку она заранее держала наготове, именно так, чтобы окунуть ее и поставить мне новый, особо густой кол.

Несколько лет назад, повстречав Марью Павловну в Ялте, я напомнила ей об этой трагедии. Она посмеялась вместе со мной, но тут же сказала: «Надо было учить». В шутку, может быть? А может, и не в шутку... И я невольно подумала, не рассказала ли она тогда за обедом своему брату Антоше о ленивой девочке в гимназии Ржевской, схватившей за один день два кола? Интересно, если случилось это, что сказал Антон Павлович?

Учителем пения был у нас Михаил Акимович Слонов, друг-приятель молодого Рахманинова. Это был очень красивый брюнет высокого роста, с мягкими прядями волос на лбу, с бородкой «под Христа» и меланхолическими глазами. Но в его действиях меланхолии не было. Быстрый, живой, выдумщик на всякие остроумные затей, он был главным в гимна-

зии инициатором разных вечеров, открытых выступлений, для которых обычно снимали зал,— то были платные, хорошо поставленные школьные концерты, которые устраивались «в пользу недостаточных учениц», тех, кто не мог внести очередную плату за учение. Так, будучи во втором классе, я помню устроенный им прелестный спектакль — «Снегурочку» Островского с музыкой Чайковского, где были и пение, и танцы, и декламация, а я танцевала в первой паре девочек, выходявших на сцену вереницей облаченными в крестьянские, точнее мнимокрестьянские, платья разного цвета, хором певших:

...У нас с гор пото-о-ки...

Но пока все это происходило в гимназии, в последние годы девятнадцатого века,— дома у нас шло своим чередом нарастание большого горя. Я уже описала, как мы ездили с отцом прощаться с большим недушкой в Григориополь. А в отце уже и в то время гнездилась своя болезнь, долгая, медленная, и, как врач, он знал и видел ее продвижение. Молодой по возрасту, он сразу как-то облысел и постарел, наружу вышли типовые армянские черты, покрупнел нос, погустели брови. Когда он как-то подвез меня на извозчике в гимназию, я увидела, что из глаз его, изменившихся выражением, выкатывались круглые слезинки — старческие не по возрасту, от набухания слезной железы. Каким-то равнодушным и усталым жестом он смахивал их со щек платком. И все-таки, зная, что очень болен, он продолжал огромную работу, чтоб отодвинуть для семьи заработком приближающееся разоренье. После защиты диссертации ему, доктору, была предложена кафедра в Томске. Город Томск, сибирский, где-то далеко, далеко от Москвы... Мать не хотела туда, чтоб не удаляться слишком от родных, от сестры Ашхэн, москвички, бывшей замужем за мрачным банкиром Афанасием Исааковичем Джамгаровым: она помогала матери выпутываться из нараставших долгов. Мы с сестрой не хотели ехать в Томск, чтоб не покидать подруг и родную Москву. И отец не хотел, хотя он пытался рассказывать нам вечером про Сибирь с ее кедрами и кедровыми шишками, с ее широкими, как море, реками, с ее смелым, умным народом. Но рассказывал вяло — ему не хотелось умирать на чужбине. Хотелось умереть там, где близким легко будет приходить к нему на могилку... И вместо далекого Томска и профессорской кафедры он получил приват-доцентуру в Московском университете — «по кафедре диагностики внутренних болезней».

Диагностом отец был замечательным. Двенадцатилетней девочкой я запомнила некоторые его слова, сказанные в столовой, при детях, когда нам позволяли оставаться с гостями: «Чтоб правильно ставить диагноз, врач не смеет быть узким, то есть тем, что сейчас называют специалистом. Сейчас развелись врачи, как в клетках, по разным отдельным специальностям,— один нос и глотку изучил, другой живот или почки, третий легкие, четвертый родильное дело. Пошли такую знаменитость в деревню, он не сумеет зуб вырвать или жар определить без градусника, а уж диагноз поставить — пари держу, даже по своей специальности не сумеет. Чтоб поставить правильный диагноз, надо хорошо знать все с человеческого организм и на приеме исходить из общего состояния организма. О болезни человека повествует все в человеке: хрупкость в волосах, состояние зрачка и роговицы, язык, сокращенье мускулов, живот на ощупь, запах кожи, самое малое изменение цвета ногтей, припуханье желез, десятки других вещей, не говоря о зубах, о слизистой носа, о количестве выделений... Когда я учился, стетоскоп был новым орудием. Но мы слушали, приложив ухо к легкому или сердцу. Мы так куда лучше подмечали характер дыханья, чем в стетоскоп. Весь организм, все его части и главное — запах кожи, наличие пота или сухость помогали сразу правильно определять болезнь. А сейчас — пожалуйста, консилиум!



И один смотрит горло, другой щупает печень, третий чертит вам острием грудь,— а в результате: «Сложный случай, разноречивые симптомы»...»

Я, конечно, закругляю фразы, запомнившиеся мне отрывочно. Но главное — убеждение отца, что врач должен знать все состояние организма в целом, и только такое знание приводит к правильному диагнозу, я запомнила точно. Еще я запомнила его особое отношение к слюне. Он считал слюну чем-то вроде синтеза физического и психического состояний в организме. У меня случались в детстве (да и на старости, к стыду моему) припадки внезапного бешенства. Я могла во взрыве этого бешенства броситься на самого тигра с кулаками, разбить всю посуду вокруг, вырвать у себя самой клок волос. И вот однажды во время такого приступа отец подтащил меня к плевательнице, стоявшей в углу, и приказал:

— Плюй, плюй, собери слюну во рту и выплюнь!

От неожиданности я начала плевать, начала, когда уже нечем было, собирать во рту слюну и выплевывать,— и вдруг почувствовала, что бешеная вспышка моя проходит, проходит, словно усыхание лужи под солнцем. Часто впоследствии я прибегала к этому средству, и не только при вспышке бешенства,— мне всегда помогало оно справиться с возбужденным психическим состоянием, если оно становилось чересчур стихийным.

Способность правильно диагностировать заставляла знакомых отцу врачей и даже профессоров, имевших свои клиники, посылать к нему на проверку особо сложных больных. У нас скопилось множество таких препроводительных визитных карточек с фамилиями тогдашних крупных врачей, помню фамилию профессора Голубева, тогдашнего «светила». Правда, делалось это иной раз и в помощь товарищу — подкидыванием ему лишнего платного пациента. Но отцу подбрасывали чаще всего «сложный случай». Он уже сидел в кресле почти не вставая, лицо принимало постепенно восковой оттенок,— а глаза все еще жили особым, самозабвенным врачебным вниманием, когда он всматривался в очередного больного. Много лет спустя в просторном кабинете главного редактора «Известий», Ивана Ивановича Скворцова-Степанова, я слушала его рассказ про моего отца, лечившего во время своей собственной, уже смертельной, болезни и самого Ивана Ивановича, и его брата, болевшего чахоткой, и других «старых большевиков»... Хорошее наследство оставил мне мой бедный отец.

Еще до того, как перестать подниматься с кресла, отец начал каждое лето ездить «на практику» в Ессентуки. Раньше он ездил «на холеру» — а холера была в ту пору частой гостьей и никого особенно не пугала — то в Нижний, то в Херсон или Аксай и Ростов в самое жаркое время лета и осени, а мы ездили на дачу в Пушкино. Теперь же подолгу оставались на московской квартире, получая от матери двадцать копеек на еду или халву к чаю, и время проводили, играя на нашем городском дворе с детьми, тоже на лето не уезжавшими, — славными, простыми ребятами, которых нам позволяли учить. Одну большую, светловолосую, вдвое меня старше дочку водопроводчика, имевшего квартиру в подвальном этаже, я учила музыке, поражаясь ее удивительной способности. Она играла у меня гаммы лучше и легче меня самой, аккорды брала своей крепкой рукой удивительно чисто, ни разу не промазав, и мать моя говорила о ней, как-то спустившись к ним и пытаясь настроить их старенькое, дребезжащее пианино, что девушка эта на редкость способная.

О матери я почти еще не писала, потому что глубже знать и любить ее я научилась лишь после смерти отца. Но тут мне хочется написать об ее необыкновенной музыкальности. Все сестры Хлытчевы были одарены слухом, свойством легко осваивать чужой язык и талантом вести мо-

зьяйство. Но мама была у нас музыкальным феноменом. Все, что ей приходилось слышать в Большом театре и Дворянском собрании на концертах, она повторяла дома на рояле — для себя, когда не было отца, и для детей. Особенно любила она тогдашние оперетты, и ей я обязана знанием классической эры оперетт, понимаем их несомненной гениальности, пришедшей сейчас, по моему глубокому убеждению, в упадок. Часто звучали у нас — бегло, с начала и до конца, до завершающего галопа, — чудесные, пренебреженные нынче «Корневильские колокола», «Цыганский барон», «Нищий студент», «Продавец птиц», «Мартын-рудокоп»...

Не знаю, почему в наше время, воскрешая на сцене оперы прошлого века (а ведь очень хороших нового времени почти и нет!), мы предпочитаем из оперетт ставить бездарную современную эклектику или сентиментальную банальщину школы Кальмана, вместо того чтоб возродить классическую оперетту и регулярно давать ее слушать с нашей сцены. Ссылаются на нелепые «сюжеты», но ведь и в операх прошлого века, за исключением, может быть, Бизе, Вагнера, Чайковского, «Могучей кучки» и кое-кого еще, — тоже сюжетные «вампуки», высмеянные Толстым. Да и правду сказать — «вампука», неуместная в серьезной опере, где слушатель обязан верить трагической ситуации на сцене, в старой оперетте совершенно н а м е с т е, как с к а з к а. И больше того, именно в оперетте зажегся на сцене социальный момент, сатирическое начало, политическая карикатура. С детства слух наш наполнился бессмертными мелодиями «Цыганского барона», бесподобной сатирой на начальство в музыкальнейшей песне-монологе губернатора (или как его?) из «Нищего студента», или птичьей пародией-песенкой продавца птиц, или озорной «Взгляните здесь, взгляните там» из «Корневильских...». Но самыми незабываемыми были в исполнении матери опереточные галопы, которыми кончался последний акт. Заразительный, сумасшедший ритм их несся с чеканным блеском под ее пальцами-молниями, коленки, слушая его, начинали дрожать, пятки забирали по кусочку, по маленькому шажку пространство направо, отмеривая его всем корпусом, один шаг за другим, все направо, вперед и вперед вместе со стремительной музыкой, левая рука нашаривала ладонь соседа, чтоб потянуть его за собой, и по комнатам, по всей квартире неслись мы с сестрой в этом полутанце, полубеге, забытом в эпоху дурацких и судорожных твистотрясок, отучающих тело от танца. Почему круговращение моды, балующей иногда человечество возвращением к тому, что было прекрасного в прошлом, не вернет вдруг забытые, полезные, здоровые, полные восторженного оптимизма галоп и мазурку?

Кстати сказать, о мелодии. Глупо (и по-моему — подозрительно) ведут себя многие адепты архимодернизма, презрительно относясь к мелодии. Что такое мелодическое целое, созданное как песня, как живой сгусток законченной речи в любой большой музыкальной форме, как не чудесно найденное «сообщение» от сердца к сердцу, от мозга к мозгу — музыканта к своему слушателю? Сообщение, услышанное и для себя, из мира той тайны, которую зовут творчеством. Оно западает в душу, запоминается, облетает мир, становится бессмертным. Несколько лет назад я записала в дневник слова, сказанные мне в разговоре великим композитором нашей эры Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем: «Я был бы счастлив сочинить такую мелодию, как песенка герцога из «Риголетто» «Сердце красавицы»... Верди написал, а на следующий день ее пела вся Италия». Это сказано о настоящей мелодии, о мелодии, которая есть, и останется, и дается творцу так же редко, как дивные камни на коктейльском берегу.

Кроме пальцев-молний для игры на рояле, руки моей матери были, как говорится, золотыми. Ей все, за что ни возьмется, удавалось. Когда

стало дороговато платить портнихе, она принялась обшивать нас сама и делала это с большим вкусом. Нужно было готовить, особенно при болезни отца, — и она просто колдовала на кухне, изобретая необыкновенные диетные блюда. Стоило завестись у нас собаке или кошке — и они сразу «благовоспитывались»: усваивали нужные условные рефлексy, ходили вымытые, расчесанные, со здоровыми глазами, зная свой час гулянья и свою лежанку. Цветы на подоконниках и трельяжах никогда не хирели, птички в клетках, купленных на «вербе» или на птичьем рынке, жили-были и суетливо распевали вплоть до того весеннего праздника, когда полагалось выпустить «птичку Божию» на волю, выполняя старинную традицию на Руси. Приходившие к нам служить неграмотные кухарки уходили от нас всегда обученными грамоте, — обычаем, перешедший после смерти матери в обязанность моей сестры. Но самое главное свойство матери, должно быть, присущее многим другим матерям, была легкость и необременительность добра, которое она делала для других.

Об одном случае (с куклой) я написала в своей детской повести. Жаль только, что не сумела там хорошо передать вот это крылатое ощущение легкости, удовлетворенности от поступка, покрывавшей потерю и превращавшей тут же эту потерю — в получение.

Крестный, Афанасий Иванович, подарил нам с сестрой по кукле на Новый год, да не простой, а «сделанной на заказ»: он никогда не забывал упомянуть об этом! Лине досталась большая, белокурая, с черными глазами, а мне поменьше, каштановая, с голубыми. У девочек особое отношение к куклам, они чувствуют их «антропоморфически», одевая и раздевая, укладывая спать, лечя, поднося к их фарфоровым губкам ложку с воображаемой пищей. Вот такими, на ощупь, обожали мы своих необыкновенных куколок. В первый же ясный январский день мать взяла нас с собой на прогулку. Эпизод произошел в точности, как описан у меня в повести: встреча с женщиной, несшей большую трехлетнюю девочку; разговор мамы с этой женщиной; ужасное предчувствие мое и Линино, — и необязательный, не приказательный, даже не призывный монолог матери — о том, какое блаженство было бы для больной девочки получить вот такую куклу.

Словами, не относящимися прямо к нам, красками, как будто далекими от действия, описывала она чужое блаженство, — как девочка не верит в свое счастье, смотрит и не дотрагивается, и как повлияло бы на ее ручки и ножки, скрюченные от болезни, слабенькие, страшно на них глядеть, если б она посмела пригнуться к кукле, по пальчикам побежала бы жизнь, побежала бы радостная теплота оживания, а ведь от этой теплоты — отец учит своих больных, когда они приходят к нему на прием, — лучшая помощь для леченья, подмога выздоровленью. Мы всё делали вид, что не понимаем, стояли и часто дышали, прижимая к себе своих куколок. Женщина поняла раньше нас и сказала:

— Что вы, барыня, голубушка, нешто можно своих ребят обидеть!

А мать все продолжала, почему и как девочка заболела, болеет уже целый год, а игрушек у нее никогда, ни разу не было. И странным образом от ее речей у нас с Линой задержалось одно слово: «дотронуться». Было страшно дать ей куклу — дотронуться, ведь потом нельзя, нехорошо потянуть обратно, и было интересно, было притягивающе важно дать ей дотронуться, — представить себе теплоту, которая побежит по скрюченным ручкам и ножкам. Где-то, в самой глубине наших душ, совершался удивительный процесс превращения отдачи в получение. Минуту назад нам казалось — невыносимо тяжело. А тяжесть — таяла, переходила во что-то другое, переместился ее центр. Я сунула свою голубоглазую Нелли в девочкины руки, но постаралась коснуться куклой, словно лекарством. до ее скрюченных ножек, а Лина шепнула мне, что ее белокурая Роза будет «наша общая»...

Вот это действие облегчения доброго поступка, переход «отдачи» в «получение», в облегчающий потерю интерес — всегда сопутствовало маминим добрым делам, делало их легкими, как крылья, не давало места и времени для самолюбования или слезливой сентиментальности. Мать просто не выносила сентиментальности. Ни единого слова похвалы она не сказала мне. А я и не ждала — я скакала в ботиках «на одной ноге» по квадратам тротуара, где было чисто от снега, и с интересом думала: побегит или не побегит по скрюченным ножкам девочки живительная теплота — от прикосновений моей куклы; но, конечно, и хорохорилась чуть-чуть, глуша боль от утраты своей Нелли.

Отец, как я уже сказала, начал ездить на практику в Эссентуки — курорт, в создании которого он в свое время тоже принял участие и был членом руководящего Минеральными Водами «Общества врачей». Мы тоже стали ездить, только не в Эссентуки, а в Кисловодск, куда каждое воскресенье приезжал к нам на отдых отец, идя со станции пешком, с чемоданчиком, набитым для нас разными разностями. Больной, очень усталый, с желтым лицом, он прямо из Минеральных и был увезен умирать, по его собственному желанью, не в Москву, а в родной город матери Нахичевань-на-Дону, где мать должна была остаться у бабушки, поскольку в московской квартире все описывалось, выносилось, распродалось из-за долгов. В Нахичевани он и умер и похоронен. Мать тоже похоронена рядом с ним, на армянском нахичеванском кладбище, спустя тридцать с лишним лет. Ухаживала она за тяжело больным, не зная ни дня, ни ночи отдыха, потому что последнее время отец совсем перестал спать. Незадолго до смерти он сам сосчитал свой пульс и сказал маме:

— Ну, теперь скоро, через несколько минут... Отдохнешь, бедная моя.

Мать это рассказала нам перед своей смертью и добавила:

— Две недели будете отдыхать, бедняжки, а потом начнете тосковать.

Так оно и случилось. Отец умер от цирроза печени. Мать — от рака ободочной кишки.

Год один после его смерти мы проучились в Нахичевани, а потом богатые тетки, и главным образом московская тетя Ашхэн, повезли нас назад, в Москву, и отдали уже пансионерками, или, как тогда говорили, «живущими», в ту же самую гимназию Л. Ф. Ржевской. Именно с того времени и запомнилась мне эта гимназия со всем ее укладом и хорошими сторонами. Конечно, может быть, немалую долю сыграла тут «дымка времени», и все-таки очень многое в моей старой школе я считаю большим преимуществом перед теми, где учились мои внуки.

#### IV

Начну с самого главного, с «резерва». Где хотите — в промышленности, в здоровье человека, в акте художественного творчества, в планировании, даже в любви человеческой необходим «резерв», нечто не расходуемое тотчас и целиком, а сохраняемое в целостности «на всякий пожарный случай». В производстве у вас непременно должен быть некоторый резерв сырья, чтоб не очутиться в трудную минуту перед остановкой процесса; при изготовлении — покрое, литье, формовке — нужен «припуск», лишнее, чтоб не случилось трагической нехватки. Какой-то процент избытка при здоровье необходим для перенесения болезни. Нарост на нужное, «затруднение от богатства»<sup>8</sup>, стихийный подъем, где много лишнего, не идущего в ход, выбрасываемого в корзину, — знает

<sup>8</sup> «Embarras de richesses» (франц.).

каждый жрец искусства; и если вдохновения у него «в обрез», это не настоящий творец. Планирование не может у нас правильно осуществляться без наличия какого-то запаса, дающего возможность маневрировать. Наконец, коротка та любовь, у которой все, что есть, расходуется сразу и в одночасье, как вода на донышке. И плох тот учитель, кто идет в класс с наличием только того знания, какое нужно для проведения данного урока.

До революции, по крайней мере в тот десяток лет, какой мне пришлось учиться в гимназии, учителя приходили преподавать в среднюю школу с университетским образованием. При очень небольшом проценте «остающихся» для чисто научной работы, так как оставались тогда для нее не те, кто этого желал, а те, кто проявил исключительную способность к творчеству науки и кого решали оставить сами профессора,— при этом небольшом проценте остающихся главная масса университетов шла на заработок своего «куска хлеба» преподавателями в средние школы. Университетское же образование было в то время не совсем похоже на нынешнее.

Приглядываясь к тому, что сейчас у нас делается на кафедрах, я подмечаю и в самих «лекторах», обучающих молодежь, особенно если они новейшей формации, а не слушали в свое время замечательных ученых недавнего прошлого, любивших и умевших преподавать, таких, как Вернадский, Тимирязев, старик Ключевский, и много, много других,— замечаю у них ту самую тягу к «чисто научной карьере», то есть стремление к кабинетному, лицом к лицу к своему книжному шкафу и своему письменному столу, образу жизни, что и в студентах, мечтающих об аспирантуре, о защите диссертации, сперва кандидатской, потом докторской...

Жилки «передачи знаний», желанья иметь вокруг себя свою, любимую группу учеников, жажды продолжения своего знания, проверки и утверждения этого знания в них и через них,— видно, очень мало, настолько мало, что на первый взгляд, правда со стороны и по рассказам студентов, этого почти не заметишь. Даже попавший в поле зрения какой-нибудь кокетливый профессор, читающий по искусству перед аудиторией поклонников и, главным образом, поклонниц, вдруг сделает «ход конем» — и глядишь, вместо преподавания усядется на кресло академика в соответствующей Академии как на предмет своей конечной цели... Но может быть, я тут, по недостатку наблюдения, сгущаю несколько краски.

Во всяком случае, в прошлом, на упомянутом выше отрезке времени, тяга к передаче знания, к педагогике как таковой была ярче выраженной, а студент с университетским дипломом гораздо чаще шел в преподаватели средней школы. Если привкус любви к передаче знания, к учительству, ощущался тогда явственней, то само образование, вынесенное из университета, самый его характер «педагогического привкуса» не имели. Образование в университете носило тогда широкий, общий характер, и к нему неизбежно примешивался оттенок эпохального осведомления обо всем, что делалось в мировой науке. Когда такой учитель, как Владимир Иванович Вернадский, выступал перед слушателями на кафедре, он давал им неизмеримо больше, чем в учебнике или в печатных лекциях; и его ученики, если бы они становились учителями в средней школе, приносили бы в класс знание многого, чего нет в учебниках и не вычитаешь в пособиях.

Сейчас образование педагогов вершится главным образом в педагогических институтах. Они, разумеется, не все одинаковы. Есть замечательные институты с почетной репутацией, например—Институт имени Герцена в Ленинграде. Он может гордиться блестящими выпускниками многих поколений учившихся. Но когда перечисляют вам эти бле-

стоящие имена, вы услышите перечень самых разных профессий от летного дела до литературного — голько ни разу не слышала я с гордостью упоминаемого представителя педагогики. То ли нет или мало их, то ли педагогика нынче не та область, которая дает известность своим одаренным людям. Судить о среднем уровне образования в наших пединститутах можно по среднему уровню образования выпущенных ими учителей средних школ. С горечью жаловались мне многие из них, что страшная загруженность в школе и дома почти не дает им возможности для самообразования, чтения по специальности, а курсы по повышению, куда не всякий попадает, тоже мало дают, невольно идешь в школу, подчитав к уроку только то, что касается самого урока...

И тут вспоминаются наши уроки и наши учителя. Иван Никанорович, преподаватель русской литературы, любил приводить примеры и читать нам вслух стихи. Однажды он прочитал целую поэму — «Кузнецика-музыканта» — наизусть. Полонского, Майкова, Апухтина, Аполлона Григорьева, Тютчева совсем не было в программах, Пушкина-лирика по программе мы так и не оценили бы, не говоря уж о Лермонтове. Но память хранит строки из них, врывающиеся иной раз в мой рабочий день, как аромат леса и цветника в открытую форточку, принося с собой острое поэтическое волнение, оживанье сердца, проблеск неведомой, беспричинной радости...

Только встречу улыбку твою  
Или взгляд уловлю твой отрядный...

Откуда это, чье? Фет! Совсем не тот Фет, какого знаешь по хрестоматии.

О, если правда, что в ночь,  
Когда покоятся живые,  
И с неба лунные лучи  
Скользят на камни гробовые,  
О, если правда, что тогда  
Пустеют гихие могилы,—  
Я тень зову, я жду Ленлы:  
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!

Холод проходит по спине. Пушкин! Но какой Пушкин,— совсем не тот, по хрестоматии, совсем не «Птичка божия» или «Буря мглою», но после таких стихов, захватывающих дыханье, и «Птичку» и «Бурю» постигаешь глубже, тоньше, потому что открылась бездонная глубина пушкинской поэзии, от которой мороз пробегает по коже. И мы просили — еще, еще, а Иван Никанорович читал нам Некрасова, вынимал из карманов какие-то заготовленные листочки неизвестных поэтов. Помню, как, говоря о Крылове, таком знакомом дедушке Крылове, басни которого мы заучивали еще приготовишками, он вдруг назвал его мимоходом «поэтом», а кто-то в классе удивленно спросил: «Разве Крылов поэт? Он ведь басни писал!» Писать басни классу казалось совсем не «поэзией». И Розанов ответил нам: «Еще какой поэт, вот послушайте, как поет у него соловей:

...Зашелкал, засвистал,  
На тысячу ладов тянул, переливался;  
То нежно он ослабевал  
И томной вдалеке свирелью отдавался,  
То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался.  
Внимало все тогда  
Любимцу и певцу Авроры;  
Затихли ветерки, замолкли птичек хоры,  
И прилегли стада.  
Чуть-чуть дыша, пастух им любовался  
И только иногда,  
Внимая соловью, пастушке улыбался».

Его голос, немного замирающий к концу фразы то ли от скрытой формы заиканья, то ли от застенчивости, умел так вводить нам в слух поэтические цитаты, что наслаждение, переживаемое им самим от их цитирования, волной переливалось нам в душу. Это был как будто еще XVIII век, Ватто. Но Крылов в этих строфах уже как бы предваряет и Фета («Шепот, робкое дыханье, трели соловья...») и Тютчева, хотя в то время мы, разумеется, не могли это почувствовать. Но мы бежали в пансионскую библиотеку за поэтами, удивляя нашу библиотекаряшу.

Иван Никанорович Розанов знакомил нас, однако же, не только со стихами. Пансионерки не имели доступа к большому миру взрослых. Особенно те из нас, кто не имел родных в Москве и на праздники оставался в пансионе. Очень осторожно и не всем из нас где-нибудь за углом на большой перемене Иван Никанорович передавал завернутую в газету крупного формата книгу — очередной том Чернышевского и Добролюбова. Однажды принес Михайловского, посоветовав прочитать одну его статью. Я и до сих пор помню «вкусный», как мне тогда казалось, язык Михайловского и примеры из жизни, например о самовнушении, эксперимент с каторжником, которому обещали свободу, если он проведет ночь в постели умершего от холеры человека; и на следующее утро он умер от холеры, хотя постель была чистая и в ней до него никто не спал. Книжки были в бумажных переплетах, на гонкой глянцевиной бумаге, они переходили из рук в руки, шершавились и обтрепывались, но Иван Никанорович не роптал. Чернышевский о Кавеньяке врезался мне в память еще тогда и лежал где-то на ее дне, пока не восстал во всей остроте воспоминания в главе об учителе Захарове в моей «Семье Ульяновых».

Но было в наших уроках нечто большее, чем знакомство с поэзией или революционные демократы, хранимые в дортуарах под подушками. Было ощущение «резерва» образованности, зрелой интеллигентности — в тех, кто преподавал нам, и еще одно, в ту пору неосознанное, но несомненное, добавочное чувство отношения самого учителя к своей науке. Трудно передать в точности характер этого чувства, он был неотделимый от преподавания, но он входил в него, присутствовал в нем, как что-то вроде прибавочной стоимости в порции труда рабочего. Было ясно даже самой глупенькой в классе, что уважаемый нами учитель (разумеется, не все они были такими!) хозяйствует над своей наукой, потому что любит ее и овладел ею. А раз хозяйствует, он расширяет перед нами ее школьные, «программные» горизонты, и на вопрос не по теме урока обязательно ответит, даже с удовольствием ответит. Были озорники, спрашивавшие нарочно, особенно в начале года, в период обоюдного прощупывания учениками учителя и учителем учеников. Но ответ они получали интересный, по-серьезному, и заинтересовывались сами.

Незаметно от этого «припуска», от резерва образованности в учителе, от получения избытка знаний как бы не в строках, а между строк программы — интеллигентность класса росла, росла сама собой, независимо от того, что у нас, как и везде, были двоечники и троечники, не подготовившие урока. Обдумывая вот эту особенность ученья в старой гимназии Ржевской, я много лет решала для себя «проблему учителя»... Но кроме занятий в классе, мы, пансионерки, всю зиму оставались в стенах гимназии, мы были «живущие». И тут примешивалось могучее воспитательное действие режима — «по часам»; действие коллектива (вместе ели, гуляли, учили уроки, спали); действие тех людей, кто за нами в течение дня присматривал.

До двух часов это была обыкновенная гимназия. В два расходились по домам сидевшие с нами рядом на партах «приходящие», а мы, сложив книжки и тетради в ящики, бежали в столовую «пить молоко», то есть выпивать стоя стакан с куском черного хлеба. Потом входил в силу

зов: «Одеваться!» — мы разбирали по номеркам свои шубы, шапки, ботики и выходили на улицу, где длинной шеренгой, выстроенной по парочкам, полтора часа под водительством классной дамы совершали обязательную прогулку по маршрутам, рассчитанным на минимальные переходы через улицы. Сейчас как-то странно думать, что переходить улицу, когда не существовало ни автомобилей, ни мотороллеров, было все равно опасно, опасно от лошадей. Мчались дорогие извозчики-«рысаки», ехала тяжелая фура, везомая першеронами, волосатыми у копыт, летели «собственные лошади» с гордым кучером, выпиравшим своим задом (мода была на толстые кучерские зады ватных кафтанов) с козел чуть ли не к лицам седоков, дребезжала, позванивая, конка — и никаких регулировщиков, не говоря уже о светофоре. Газеты в отделе происшествий со вкусом описывали попавших под лошадь и «получивших тяжкие увечья». Мы, переходя улицу, задерживали движение, но классная дама старалась делать это пореже, чтоб не прибегать к помощи городского. Сохранилась ли еще в памяти горожан импозантная в своей внушительной форме фигура городского?

Придя с прогулки, мы умывали руки, приглаживали волосы и чинно шли в столовую обедать. Приборы были расставлены по установившемуся порядку (кто с кем), на столах корзины с нарезанным черным и белым хлебом, графины с водой. Обед из трех блюд, под надзором Елены Францевны, правой руки начальницы, хотя во главе каждого стола сидела и классная дама. Кто хотел повторенья, протягивал тарелку и просил «еще». Кормили нас хорошо. Лучшие минуты начинались после обеда, когда мы, пробалбесничав полчаса, брались готовить уроки или шли в «музыкальную комнату», чтоб «делать музыку», или, покончив то и другое, танцевали, рукодельничали, готовили к празднику «спектакль», писали письма, шептались о своих секретах.

Один день был у нас «французский», когда все мы и друг с другом, и с классной дамой, и с начальницей разговаривали только по-французски; а другой день — «немецкий». Сменялись две француженки, а немка, сколько помню, была одна; другая, фрейлейн Борман, полная, с губами сердечком, голубоглазая, всегда влажная лицом и руками и остро пахнувшая «подмышками», — для «маленьких». А у нас была высокая, пожилая фрейлейн Метцлер. Обе — балтийки, и немецкий выговор сделался у нас жесткий, балтийский; когда пришлось встретиться с немками, называвшими себя «рейхсдэйтше» — из Германского государства, — мы первое время растерялись от их мягкого, неразборчивого, с некоторым грассированием немецкого говора. Фрейлейн Метцлер была европейски образована и прекрасно знала музыку. Она презрительно относилась к государству Российскому. Не то чтобы говорила об этом, но не сдерживалась иной раз от критических замечаний, имевших не прямой, а косвенный характер: «у нас в Риге...», начинала она равнодушным голосом, то-то и то-то делалось так-то и так-то. И мы виновато сознавали, что у нас, наоборот, то-то и то-то делается не так-то и не так-то. Но удивительно, что могучий урок я получила именно от нее, — урок своеобразного кодекса внешней порядочности, осуждающе меркантильность и мещанство.

Большинство пансионеров у нас было не издалека — родители их имели фабрики или торговые заведенья где-нибудь под Москвой: в Волоколамске, в Клязьме. И девочки привозили с собой из дому всякий раз выраженья и сужденья, подхваченные дома от родителей. Им говорили: «За тебя плачут немалые деньги, ты не поджимай, когда чего не дают — требуй свое, законное». И девочки, бывало, плаксивым голосом повторяли, что «за них плачено». Одна, милая и кроткая Симочка, любила это твердить перед музыкальной комнатой. Все мы учились музыке, но рояль был один. Чтоб приготовить урок и поупражняться,



у каждой имелся свой час. Но чуть опоздает кто занять музыкальную, она уж бывала занята и занявшая запиралась. Стучи не стучи — из комнаты все равно неслись гаммы, сменялись арпеджиями, и тут возвышала свой голос Симочка: заплачено! они обязаны дать! я заплатила! В мой собственный лексикон никогда не входило говорить такие слова. Но вдруг однажды, заразившись от Симочки, когда я стукнулась в запертую дверь, из-за которой твердо неслась хроматическая гамма, а час для упражненья был мой, я тоже завопила:

— Безобразие! Я за это деньги заплатила!

И тут на мое плечо опустилась стальная рука фрейлейн Метцлер:

— Стыдно, Шагинян! Ведь ты не Симочка! Тебе это не к лицу, не в твоём духе!

И я почувствовала стыд. Совсем это было не в моем духе, а с чужого голоса. Сразу пришло какое-то очень лестное для меня понимание, что я совсем другая, не похожая на Симочку, и надо вести себя достойно. Неуловимая, разделительная черта в психологии класса, слоя, сословия, воспитанья? Внешняя черта, вне нравственной оценки, но важная в общезнании, — черта благовоспитанности? Хвастаться деньгами — пошло и неинтеллигентно. Это делают мещане, люди невоспитанные. Несколько дней эти мысли терзали меня, пока не показались и сами по себе не очень-то достойными человека, и осталось одно главное убеждение: хвастаться вообще противно и стыдно, лучше благородно уступить.

Француженки были другого типа. Одна, оставшаяся с нами до окончания гимназии, мадемуазель Луиза Муше из Женевы, — маленькая, быстрая, полная брюнетка с энергичным лицом — дала мне при расставании короткий адрес: Louise Mouchet. Carouge. Genève. Suisse. Я сомневалась, дойдет ли без номера дома, но, раза два написав ей, получила ответ. Она рассказывала про свою «Carouge» (Надежда Константиновна Крупская называет ее в своих «Воспоминаниях» «Каружкой»), что там жило много русских студентов. С мадемуазель Муше мы были большими друзьями, встретились с ней и позднее — за границей, когда она ездила в качестве гувернантки с богатым чешским семейством Сокол. От нее, за долгие зимы «живущей» в пансионе, я получила беглое умение читать по-французски, любовь к этому чтению и пристрастие к слащавому французскому поэту Сюлли-Прюдому, которого мадемуазель обожала. Я выучила его чуть ли не наизусть. Целые тетрадки исписала французскими стихами, подражая ему.

И только позднее, когда попала мне книжка стихов Альфреда Мюссе, я поняла, как банален мой божок, поддавалась очарованию французской поэзии, вошла через Мюссе в мир Верлена. Но случилось это уже в студенческие годы.

Вторая француженка, мадемуазель Салле, во всем была противоположностью нашей бедной, грубоватой и безвкусной Муше. Она одевалась с необыкновенным изяществом. Луиза не вылезала из двух блузок, белой и серой, обшитых синей каемкой, и грубой клетчатой юбки; от ее рук всегда пахло дешевым стиральным мылом. А Салле меняла пестрые шелковые блузки чуть не ежедневно, душилась, завивала волосы щипцами и говорила необычайно красиво, так, что слушать ее можно было часами. Она приехала из Парижа и целью поставила привить нам парижский акцент. «Без парижского выговора нет французского языка!» — утверждала она. И было бы совсем хорошо, если б дело ограничилось «прононсом». Мы его быстро и легко усвоили. Мы «отдавали звук наверх, с языка на гортань; булькали на «р» и «л»; по всем правилам пели «Sur le pont d'Avignon», вознося, словно своды готического храма, «оп» и «pont»; хором тянули по вечерам «frère Jacques», чуть вытягивая последний слог, потому что мадемуазель учила: «Правило для дурочки, грамматика для бабушки («Grammaire pour grande mère!»), а парижанка

всегда чуть-чуть потянет «е» на конце, словно диктант диктует — вот так, это хороший тон, это шик!» И мы шиковали, чуть вытягивая хвостик последнего «е» у фрэра Жака.

Все было бы хорошо, если б эта парижанка ограничилась прононсом, за который Луиза Муше снисходительно обозвала нас обезьянками, *petites singes*. Но у мадемуазель Салле была неистребимая страсть к интриге. Кто-то наболтал ей в беседе, что мы зовем учителя «естественной истории» Николая Федоровича Слудского — «душкой».

— Душка, что есть душка? *Mon cher, mon ami?* О, даже теплей, нежней, *plus tendre...* С этого начинается и бог знает где может кончиться. Кто первый тебе сказал? Когда сказал? Как сказал, с каким выраженьем, жестом, громко или тихо?

Она устроила очную ставку двум девочкам, той, которая слышала, с той, которая сказала. Обе стали отнекиваться. Тогда, распаясь, как настоящий детектив, Салюшка (прозванная так пансионерками) вызвала «свидетелей», одну, другую, третью. Завела клеенчатую тетрадь и принялась вписывать в нее протоколы допросов. Дело приняло оборот цепной реакции. Девочки начали бояться и плакать. И Луиза Муше одним взмахом прекратила это мучительство. Неизвестно как и вследствие каких мер это произошло, но утром Луиза Муше с конвертом в руках, от начальницы, вошла в комнату мадемуазель Салле, о чем-то с ней коротко переговорила, и Салюшка уехала от нас со своими вещами, сильно напудренная, с пылающими из-под пудры щеками и бегающими от встречного взгляда острыми глазками. Когда мы с Луизой, встретившись несколько лет спустя в Вене, заговорили об этом памятном случае, она сказала мне:

— Салле была больная женщина, она была садистка, она могла замучить человека, как кошка мышь.

А Николай Федорович Слудский (он читал естествознание после революции в симферопольском вузе и был, если не ошибаюсь, причастен к научной работе на Карадаге) и действительно был для нас «душкой». Молодой блондин приятной наружности, отчасти знакомый мне по пансиону Констан, где учительствовал его брат, Иван Федорович, — правда, в старших классах, — он очень интересно вел свой предмет. Он вводил в него современность, размыкая рамки времени, — например, стоило посетить Россию какому-нибудь крупному ученому, или произойти научному конгрессу, или выйти очень важной книге по его «научному профилю», как мы тотчас узнавали об этом от него «в порядке рабочего дня». Этим он как бы держал нас в курсе мировых событий, и часто от «приходящих» девочек мы слышали, что родители их поражались, откуда дети их знают про конгресс в Петербурге, о котором они сами ничего не слышали. Но Николай Федорович интересно умел подать и прошлое. Что могло быть дальше от средней гимназии и ее программ, нежели старый спор Кювье с Сент-Илером, в свое время занимавший умы естествоиспытателей? Или спор поэта Гёте с системой Ньютона, признанной во всем мире и ставшей уже классической, по вопросу о цвете (цвет — *цветá*, а не *цветок* — *цветы́*); к сожалению, слово «*Farbenlehre*» не может быть легко переведено с немецкого на русский, поскольку краска на русском имеет практический оттенок «окраски», ее можно наложить кистью, а слово «цвет», натуральный цвет вещей, во множественном числе так созвучен цветам, растущим в садах, что при переводе то и дело получается путаница.

Так вот, даже взрослые гётеанцы, хорошо изучившие Гёте, не всегда добивались до громадного тома «Учения о цветах» (в смысле *цветá*); а мы, дети, слушали увлекательный рассказ нашего душки Слудского о том, как великий поэт был в то же время и великим ученым. Он открыл особую кость в челюсти, родящую человека с другими «млекопитающими»

ми»; он создал в ботанике увлекательную теорию, как растение развивается из первичной формы листа; и он посмел, наконец, выступить против канонической теории Ньютона о цвете, предложив свою собственную, где цвет делится на объективный, присущий самому предмету, и субъективный, заложенный в самом глазу человека, глазу, который «солнцеподобен» и приносит цвет некоторым вещам от себя. И мы слушали раскрыв рты. Недавно я вспоминала душку Слудского, перечитывая Эккермановы «Разговоры с Гёте»...

Но вспоминаю я его и не только поэтому. Близкий друг рассказал мне на днях об интересной школе в городе Харькове. Там учат детей не только знанию предметов, но главным образом умению мыслить самостоятельно. И друг мой привел мне разительные примеры ответов детей на такие вопросы, которые нельзя решить зубрежкой, а надо осилить работой собственного мозга. Я загорелась желаньем посетить эту школу и, конечно, съезжу туда в свободное время. Но это прогрессивное направление в педагогике — пробуждать в детях способность самостоятельного мышления — на Западе приобрело несколько иной характер.

В старой Англии давным-давно придумали тесты, такие вопросы, ответить на которые не так-то просто, — как измерители умственной способности детей, поступающих в школы. В Америке для развития «критического мышления» создали даже печатные «вопросники» с представлением баллов за ответы. Однако пресловутые тесты терпят крушение, потому что подход к «обучению мыслить» в педагогике старого мира отвлеченный, несколько «фокуснический», — быстрота пониманья вопросов и ответы на тесты требуют у детей больше находчивости, сообразительности, ловкости, чем настоящего обдумыванья, глубокого мыслительного процесса. Часто бывает, что именно глубокие, стремящиеся думать дети и юноши кажутся, по измерению тестов, дураками — они теряются и молчат, не находя ответов на хитроумные (и пустые, как правило) вопросы, а дети-ловкачи, дети-высочки бывают самыми быстрыми на ответы.

Вообще, перебирая педагогическую литературу Запада, то и дело натыкаешься на темы «самостоятельного мышления», «стимулирования его», «развития творческого подхода ученика к науке», — и тут же примеры для такого развития и стимулирования, примеры, способные даже мыслящего ребенка сделать идиотом. Очень интересно, как теоретически ново и глубоко решается этот вопрос в Болгарии и как внезапно исчезает глубина и сменяется беспомощностью, когда дело доходит до практики в предлагаемых примерах.

За последнее время болгары во многом двинулись вперед и заняли ряд мест на форпостах культуры, — так и хочется, читая их, приговаривать: молодцы, молодцы болгары! Например — в поисках излечения рака. И еще пример — в педагогике. Именно болгарские педагоги (Цвятко Петков) поставили вопрос о п р о б л е м н о м обучении как о наилучшем способе развивать самостоятельное детское мышление. Автор этого умнейшего вывода пошел (в теории) еще дальше. Он не стал связывать необходимость «самостоятельного мышления» в будущем человеке с модным сейчас апеллированием к «научно-технической революции», к необходимости программирования, знания кибернетики и проч. и проч., а высказал простое и важное педагогическое соображение: «Чем содержательнее отдельные моменты мышления, тем глубже чувства и сильнее воля», то есть что существует прямая связь между чувством, мыслью и волей. И учить мыслить не значит, по старому представленью, воспитывать некоего рассеянного философа в очках, рассуждающего (басня Хемницера!), упав в яму: «Веревка, вервие простое», вместо того чтоб ухватиться за нее и вылезти из ямы. А наоборот, уча мыслить самостоятельно — воспитываешь г л у б о к о г о человека, способного и сильно

чувствовать, и сильно хотеть. Ставить так вопрос — уже ново в западной педагогике; и мы гордимся, что новость исходит от наших славянских братьев. Но болгары пошли еще дальше и предложили (а это само по себе, если хотите, шаг вперед в гносеологии, психологии, логике и диалектике!) как наиболее эффективный метод для развития в детях умения мыслить — ставить их мозг перед проблемами, создать метод проблемного обучения. Но дальше, на мой взгляд, они «дали осечку».

На беду нашу, мы узнаём о большей части взглядов зарубежных (в том числе и социалистических) педагогов не из переводов их книг или из оригиналов, которые стали бы нам доступны, а из подсобных рефератов хотя бы в том же редком малотиражном издании «Педагогика и школа за рубежом». Поэтому я оставляю на совести референтки дальнейшее изложение книги Цвятко Петкова. Дальше в книге он перешел к разделу примеров «проблемного метода». И оказывается, он предлагает создать такие проблемы. Создавать! Хотя весь мир вокруг — от ползка зеленой капустной гусеницы и до оборота гусеничного колеса у трактора; от рабов, сидевших внутри римской колесницы и непрерывно вертевших рукоять, до нашего автомобиля с мотором; от лопаты, которой выхватываешь ком земли, до рычага в человеческом теле, в физике, в способе астрономических исчислений; от пересечения в ткацкой машине вертикальной «основы» горизонтальным «утком» до математических понятий сетки; от функций и аргументов, связанных с представлением о времени и пространстве, до квант... — все, решительно все полно проблем, представляет собой проблему, только сумей увлекательно рассказать о них и зримо показать их молодому, восприимчивому мозгу!

Вот поглядите, читатель, какие «проблемы» предлагает создавать книга Цвятко Петкова: тема, которую класс должен освоить, — «внушение». Ученикам раздается картинка, на картинке охотник. Когда ученики посмотрели на картинку, она у них отбирается, и учитель задает им вопросы: какое было перо в шляпе у охотника, от какой птицы? Куда смотрела его собака? В какую сторону держал он ружье? Дети отвечают. Тогда учитель снова показывает картинку, и оказывается, что пера в шляпе у охотника не было вовсе (а дети отвечали — фазанье, пегушиное, гусиное...); собаки у него тоже не было (а дети: направо, налево...); и ружье было у него за плечами (а дети — туда, куда собака, вперед, в лес...). Иначе сказать — примысленные вопросы вызвали примысленные ответы. А педагог говорит по этому поводу: возникает проблемная ситуация, — и дети учатся самостоятельно постигать, что такое внушение, самовнушение... Мне думается, хоть такие опыты в классе и любопытны (я несколько вольно изложила и схематизировала данный пример для удобства рассказа), но учат они совсем не мышлению; и «проблемной ситуации» тут, при очень выдуманном подходе к ней, в сущности, нет или она малоценна именно для мышления. А результат здесь в развитии в о о б р а ж е н ь я, в степени ф а н т а з и и и ее культивирования. Так можно скорей воспитывать способности уголовного следователя, следопыта, романиста приключенческих романов, наконец — даже поэта или графика, но отнюдь не «самостоятельного мыслителя».

Я привела эти скучные отступления, чтоб лучше показать настоящее проблемное преподавание, какое получали мы от некоторых старых учителей гимназии Ржевской. Душка Слудский не имел ни малейшей надобности высасывать для нас из пальца «проблемную ситуацию», — на каждом шагу в его изложении естествознания лежала та или иная проблема, лежала она перед большим ученым, о котором он нам рассказывал, лежала она и в самой вещи, о которой он говорил, иногда принося ее в класс, — кусочек минерала, кристалл, бабочку под стеклом, засохшую смолу и янтарь, который он тер перед нами суконкой, намагничивая

его и заставляя притягивать бумажку. Проблемных ситуаций возникало так много, что мозг загорался глубоким интересом к природе, а в результате — интересом к процессу мышления.

Мы не выдумывали, не добавляли, не продолжали, не создавали проблем. Но мы постигали проблему, переживали чудесное озарение мозга, перед которым открывается проблема (открывается, а не решается или создается!), — и первый урок мышления как раз и заключался в том, чтобы понять природу проблемы, понять, что она такое. А проблема и ее ситуация вовсе не сводится к вопросу и ответу. Проблема и ее ситуация лежит в области диалектики, а не логики. Она заключается в контрастном положении вещей друг к другу, контрастном положении одной части вещи к другой ее части одновременно, и в таком контрастном, которое, в природе своего совместного положения, носит одновременно и возможность своего разрешения. Дети, разумеется, до такого рассуждения не доходят. Но они чувствуют контрастность целой вещи, переживают ее, — и вот самое переживание и двигает вперед их самостоятельную мыслительную способность.

У нас есть интересный педагог-мыслитель, Эрдниев из Элисты. Он создал новый учебник арифметики для начальных школ. Дети у нас обычно по старинке сперва выучивают сложение; потом вслед за ним вычитание и т. д. Это называется: четыре действия арифметики. Эрдниев предложил одновременно, сразу, в тетрадке, в учебнике, на доске постигать сложение и вычитание как действия одного порядка, как контрастные действия, заложенные в одном мыслительном процессе, как две стороны одного целого. Обучение по его методу сократило время обучения арифметике в школе чуть ли не вдвое. Но эффект его новой методики не только в этом: она, эта методика, сделала шаг вперед и в работе детского мозга, научила его первому дыханию проблемности — чувству контраста. Вы думаете, у нас сразу обеими руками хватились за арифметику Эрдниева? Как бы не так!

Возвращаясь к «душке Слудскому» прыжком из сегодняшнего дня в далекое прошлое, должна кое-что еще добавить, ценное именно для сегодняшнего дня, верней сказать, помогшее мне понять что-то сегодня.

## V

Для того чтобы зародить в ученике интерес к предмету, бросить в него «семя» самостоятельного мышления, учитель сам должен быть охвачен интересом к этому предмету и в мыслях держать то семя, которое хочет забросить. Мне пришлось раньше писать о труде земледельца, дорогое его сердцу и легкое, несмотря на тяжесть этого труда, легкое, потому что «земля отвечает», труд переживается как процесс взаимный. И я тогда сравнила труд педагога с трудом земледельца. Да, интерес и захваченность самого учителя; но учитель, стоящий в классе перед группой своих учеников, пусть даже влюбленный в свою науку и стремящийся ее передать, отнюдь еще не подлинный педагог; у него к этим качествам должно быть прибавлено то главное, необходимое свойство творца, которое можно назвать «верой в ответ», «верой в передачу». Он дает свои мысли, свое знание, свою захваченность не в пустоту, перед ним огромная, живая, воспринимающая сила, настроенные на прием сердца, мозговые извилины, нервные сплетения — та живая почва, куда падает его семя. И происходит факт взаимодействия. В хорошем, настоящем преподавании учитель не только дает, но и получает, — он растет, развивается вместе с классом на протяжении всего ученья.

Разумеется, не каждый педагог может быть таким творцом. Но в потенции, при первом вхождении в свою профессию, каждый учитель дол-

жен сознать в себе как часть своего дела эту веру во взаимодействие. Все несчастья, падающие на голову учителя, все его «профессиональные болезни» возникают именно в сфере этого взаимодействия с классом: или оно не произошло по вине самого учителя, или возникло со знаком минус, когда в ответ родилась отрицательная стихия — насмешка, пародированье, обезьянничанье, притворство, равнодушие, стена. И тогда все переходит либо в механические «от — до», сорок минут урока, взаимное «вытерпивание» до освобождающего звонка, либо в настоящую трагедию учителя, который не хочет примириться с таким положением вещей. Вот почему в обширной современной литературе по педагогике все чаще и чаще встречаешь книги о «проблеме учителя». Чуть ли не каждая страна, где «хватает учителей» (то есть заполняются все вакантные места в школах), поднимает вопрос о «повышении их квалификации». Но явственно растет и нехватка: в Англии, например, еще несколько лет назад в газетах чуть не ежедневно писалось, что в школах не хватает учителей, и эта нехватка исчислялась десятками тысяч. Раздумывая над этим, я упиралась и упираюсь по сию пору в некоторые факты. Одни — очень простые, понятные, зримые: в экономическом положении учителя, его место в обществе; его образование — раньше университетское (широкое, на широком фоне знаний), сейчас — педагогическо-институтское (более узкое и специальное); в общем и у нас, и в большей части европейских стран нежеланье молодежи избирать для себя профессию учителя, поступление в пединститут (кстати сказать, более легкое, чем в университет) как бы только «на худой конец». Это, как я говорю, простые, общеизвестные факты. А другой — неожиданный, новый, случайно для меня открывшийся, может быть — спорный, парадоксальный...

Думал ли кто, ведающий в западном мире делом воспитания и образования, о том, что из себя представляет наша школа? Где ее корни, из которых она выросла? И если при этом представить себе такой могучий, мировой корень, как отец педагогики великий Ян Амос Коменский, — думали ль бесчисленные его исследователи и нынешние диссертанты, что именно наша часть планеты (Европа и Соединенные Штаты Америки), — взяли или поняли из него, поняли и продолжили и применили, отсека очень многое, чего, может быть, не поняли или не сочли в данных условиях приемлемым? Да и возникал ли вообще вопрос о чем-то, чего мы не увидели и не приняли у Яна Амоса Коменского? Неожиданный факт, для меня открывшийся, начался с совершенно невинного и, можно сказать, невидного случая (поскольку никто о нем, кроме меня, кажется, и не задумывался): в кино показывали какой-то индийский фильм. В современном индийском фильме я увидела на экране современную начальную школу Индии. В этой начальной школе молодая учительница вводила детей в первую ступень — в грамоту, в заучиванье букв. И как странно для нас, как не похоже на нас, — она проводила это заучиванье п е н и е м!

Веселые, воодушевленные лица ребят, вольная поза при сидении на парте, вольная, потому что музыкальный ритм хором распеваемых ими слогов-звучков, слов-мелодий проходил у них волнами по всему телу тем невидимым внутренним движеньем, какое всегда рождается в нас, когда мы поем. Азбука — пением, арифметика — пением... У нас так не делается, это новость! Не успела я как следует переварить эту новость, а уж соседка моя по дому, поэтесса Таня Спендиарова, дочь классика армянской музыки, композитора Спендиарова, несет мне пластинку, привезенную кем-то с Востока: школьный урок. Но — какой это школьный урок! Опять — своеобразный концерт. Вы их не видите глазами, но слышите, — слышите, как дети сидят в современной школе, учительница стоит перед ними и вместе с ними по е т учебный предмет. Легкая, приятная, полная радости и ритма музыка. Музыка, полная сердечной отдачи, — дети

усваивают, отдавая; постигают, распевая; получают, вкладывая; и главное — за пом и на ют. У нас это не делается.

— Но позвольте, и у нас это делается! — сказал мне очень известный старый таджикский писатель и поспешно добавил: — Не так давно делалось.

Он рассказал мне о старых, почтенных мектебах и медресе, о текстах Корана, о том, как они поются, об их мелодиях, тесно связанных со словом. Советский классик нашей советской литературы, равно «собственной» для узбека и для таджика, — Айни, — учился в школе, где заучивали не «сухо» (сессо по-итальянски, как называют голый речитатив), а заучивали «влажно», пением, не только одни религиозные предметы... Да и что такое «религиозные предметы»? Если перелистать недавнюю «историю» разных стран этак в объеме двух тысячелетий, именно из-за «религиозных предметов», религий, изложенных церковно-канонически, и происходила самая яростная, самая непримиримая грызня между народами, все эти кровавые варфоломеевские ночи, все эти ненависти друг ко другу людей и наций, все эти разделенья, которым не было мира, даже того трагического мира друг с другом, как у Монтекки и Капулетти над могилой Ромео и Джульетты. А вот сейчас, во второй половине XX века, на встрече писателей и поэтов чуть ли не всех стран Востока обнаружилось, что великие древнейшие творения индуистов, браманистов, буддийцев, нудеев, мусульман, аравитян, египтян, монголов, имевшие в прошлом значение «религиозных книг», воспринимаются сейчас всеми на Востоке как поэтические эпосы, равно драгоценные каждому из этих народов как обращенная к ним ко всем светлая улыбка ранней зари человеческого творчества. Что такое «религиозные предметы»? Зевс, Афина Паллада, Аполлон, Гермес, Юнона были религией. Теперь они стали поэзией. Мы заучиваем Гомера. И разве «Песнь Песней» не поэзия для любого слуха? Четыре коня Апокалипсиса — разве не поэтические, живые и страшные, образы человеческих бедствий от кровавого безумия войны?

Но дело не в реабилитации этих «предметов», и не о них я повела речь. Я повела речь о случившемся со мной странном факте. Почему, собственно, когда мы знаем, что нужно брать и использовать лучшее всюду, где оно есть, мы это «лучшее» связываем только с одной частью планеты, с Западом? Школа у нас — западная. Методы преподавания, положение учителя, отношение к нему, появившаяся сейчас «проблема учителя» — все это западное, порожденное западными традициями.

Колонизаторский Запад, придя на Восток, первым делом стал вводить в странах древнейших культур, где люди знали письмо и счет, изготовление фарфора и движение небесных светил задолго до того, как западные их собратья слезли с деревьев и принялись строить себе жилища (ну, может быть, я слегка преувеличиваю дистанцию!), стал вводить западные порядки в быт и школу. Сколько губительного, разрушительного ввела пресловутая английская «Ост-Индская компания» в традиционные школы Индии! Она хозяйкой пришла выколачивать фунты стерлингов в страну, где древний народ за несколько тысячелетий до нашей эры ввел десятичную систему (англичане вводят ее в свои фунты только сейчас!), дроби, умножение и деление дробей, проценты, возведение в степень, извлечение квадратного и кубического корня; за несколько столетий — число «пи», принцип дифференциального исчисления, знаменитую теорему Пифагора («Пифагоровы штаны») — задолго до самого Пифагора! И эта «Ост-Индская компания» остановила рост грамотности в Индии: процент ее в начале XX века остался такой же, как в начале XIX.

Мне очень хотелось знать, как учили в начальных школах Индии две тысячи лет назад, когда еще не было книг и тетрадей для записи. И я узнавала из чтения, что дети брахманов начинали учиться с восьми лет, дети других высших каст — двенадцати. Школой их был дом учителя. Они входили в этот дом благоговейно, не только как ученики, но и для услужения учителю, для черной работы в доме. И за годы учения — целых двенадцать лет — осваивали математику, хронологию, астрономию, грамматику, этику, военное дело и такие странные для нас предметы, как науку о змеях и науку о предзнаменованиях, обе — в связи с медициной, с естествознанием. Особенно интересно было мне узнать про начальное обучение и его методику. Уже в нашу эру, в VIII веке, по Индии путешествовал китаец Сюан Цзан. И он оставил описание тогдашнего жителя-бытия маленьких индусов в «школе учителя», то есть в его жилище. Преподавание велось на слух и закреплялось на память. «Мальчик... заучивал буквы, рисуя их на песке. Таблица умножения заучивалась нараспев. Затем учащийся переходил к изучению книги для чтения, в которой 49 букв индийского алфавита приводились в разных сочетаниях в виде 300 куплетов. Основой обучения считалась знаменитая грамматика Панини. Она состояла из 1000 строф, которые дети начинали заучивать в восьмилетнем возрасте. Учащиеся заучивали также санскритский лексикон и упражнялись в составлении сочинений в прозе и стихах»<sup>9</sup>. Избави меня бог проповедовать возвраты к допотопным временам, — вовсе не для этого я заглянула в них. Но каждое время отлагает нечто вечное, жемчужинкой, — в культуру человечества. Жемчужинкой — не для возрождения ее, а для раздумья над ней. Ведь и в греческой школе во времена Гесиода пели, заучивая тексты. Греческое слово «мелос» включало в себя двоякий, неразделимый смысл слово-звука, мелодии, связанной с поэтическим словом. Ритм, согласное движение слово-звука не только облегчают для ребенка запоминание, превращая ученье в удовольствие, но и держат в незаметном движении его позвоночник, что страшно важно для наших ребят, вынужденных по шесть — восемь часов сидеть в школе за партой не двигаясь. Никакой позднейшей физкультурой, никакой гимнастикой не исправить вред, наносимый сидячей неподвижностью мягкому детскому позвоночку! Мне рассказывали, что есть у евреев между пятикнижием и талмудом книга «танах». В ней над каждым словом дается в знаках его мелодия, которую ученик, произнося это слово, должен петь; если мелодия длиннее слова, то слово растягивается по слогам на длину мелодии, — и дети, уча текст нараспев, качаются, раскачиваются по ритму. Они, в сущности, практически «выводят наружу» внутреннее ритмодвижение, сопровождающее в человеке любой напев.

Не следует думать, что все подобные приемы в древних и восточных школах выросли из религиозно-ритуальных истоков. Замечательно, что такое мнение, распространенное в западной литературе, резко критикуется современными учеными азиатских и африканских стран. Африканец (нигериец) Б. Ама издал на французском языке книгу «Опыт анализа африканского воспитания». Содержание ее излагается в седьмой книжке «Педагогике и школы за рубежом». И референт приводит замечательные слова африканца о том, что «европейцы узко толкуют африканские традиции как религиозно-ритуальные и до сих пор совершенно неправильно интерпретируют описываемые ими факты». Этот культурный голос из недр Африки заслуживает того, чтобы очень к нему прислушаться. Народы Азии и Африки гораздо практичнее, чем мы о них думаем. Там, где мерещится нам «мистика», ле-

<sup>9</sup> Цитирую по книге А. Нусенбаума «Народное образование в Индии», стр. 5.



жат в основе умные, на опыте основанные, свои (применительно к климату, образу жизни) правила физического развития, гигиены, душевного воспитания. Признаюсь, прочитав десятки рефератов о школах и педагогических течениях современного Запада Европы, английских, французских, немецких (ФРГ), швейцарских и прочие, я нашла самым интересным из описанных опытов — иранский. Читатель извинит меня, если я тут расскажу об этом опыте.

Автор — Амир Бирджанди. Он рассказывает об организации в Иране так называемого «Корпуса просвещения» в 1962 году. В современном Иране была ужасающая неграмотность населения. Учителя отказывались ехать в глушь, а между тем в этой «глуши» — в деревнях — живет 70 процентов из двадцатидвухмиллионного населения Ирана. «Корпус просвещения» разработал широкий план. После окончания средней школы юноши призывного возраста в Иране идут, как правило, в армию. Но им предложили на выбор: или военная повинность, или четырехмесячные курсы для учителей при «Корпусе просвещения», после которых они должны 14 месяцев работать учителями в дальних деревнях. После 14 месяцев они могут опять на выбор — либо остаться учительствовать в той же деревне, либо идти на военную службу. И самое замечательное — как их готовили и с чем отправляли в деревню. Выпускникам «Корпуса просвещения» давались самые широкие полномочия. Они ехали не только учить в школе. Они ехали учить и преобразовывать деревню. В их обязанности входило: очистка питьевой воды; устройство душевых помещений и общественных уборных; санитария жилищ; первая медицинская помощь; разъяснительная работа для населения; создание библиотек; втягивание девочек (почти не учившихся до этого времени) в школу наравне с мальчиками; организация отдыха для молодежи и еще много, много такого, что делало юношу, приехавшего в глушь, просветителем, инициатором, организатором, творцом. Средства на это шли из Военного ведомства. Само название «Корпус просвещения» указывает на военную дисциплину, на своеобразную «революцию» в военной мысли: взять все ценное, чем обогащает армейский быт юношу (дисциплина, режим, суровый быт, воспитание воли), и применить это к мирной обстановке. В своем роде открытие нового пути для перехода от «войны» к «миру». И огромный процент юношей после 14 месяцев работы в деревне пожелал в ней остаться. Весь этот мудрый план приведен в действие с 1963 года. Не знаю, в каком он положении сейчас. Но разве не ясно, что древняя культура иранца, древние азиатские традиции обернулись тут вовсе не «мистикой» и «религией», а умнейшим восточным практицизмом?

Так вот, мы ведь на Западе не совсем-то остались глухими к этим воздействиям педагогических приемов Востока. Нет ни малейшего сомнения, что Греция многое тут заимствовала, о чем можно прочесть хотя бы в интереснейшей книге «Путешествия Пифагора», переведенной на Руси в старые времена. Заключать в стихотворный ритм перечень логических приемов или латинских исключений было обычным делом в прошлом веке, да и мы, готовясь сдавать логику или латынь, зазубривали наизусть эти бессмысленные, но легко запоминающиеся стихотворные перечни слов и слогов, по которым сразу могли найти нужное нам правило. Магия ритма, облегчающее действие музыки почти совершенно игнорируются сейчас в наших начальных школах, а почему, в сущности? Разве нет в них пользы и для современности? И разве отец нашей школы Ян Амос Коменский не писал, что тот, кто не знает музыки, уподобляется не знающему грамоты? Не значит ли это, что мы должны использовать ее не только как отдельный предмет преподавания, а и в практическом приложении к способам заучивания начальных предметов?

Подумать над этим — и над потрясающим действием появляющихся и у нас в кино школьных «мюзиклов» — право же, стоит!

И еще стоит подумать о древнейшем писании в школе сочинений «в прозе и в стихах», дожившем до начала нашей эры в Риме. Каждый образованный человек, даже и не только античного мира, а перешагнув в знаменитые средневековые университеты, умел написать нужное сочиненье стихами. Но этим он отнюдь еще не делался, да и не собирался сделаться поэтом. И воскресить «стихотворную грамотность» было бы полезно хотя бы для того, чтоб море разливанное расплодившихся людей на нашей планете, считающих себя поэтами, поняло наконец, что стихоплет еще не поэт и что поэты на белом свете рождаются единицами в столетие. Это относится и к живописцам, и особенно к музыкантам, техника композиций которых дошла до такого уровня, что она доступна чуть ли не каждому, протяни руку и возьми. Но... даже настоящий повар не считает приличным для себя готовить из полуфабрикатов, а техника искусств, обросшая за последние десятки лет множеством готовых полуфабрикатов, должна была бы вызвать к себе пренебрежение у артиста не меньшее, чем у повара.

Пишу все это и заранее вижу глубокое недоумение на лицах представителей наших точных наук. Так и слышу их: да разве в этом педагогические проблемы нашего века? Ведь это — век великой научно-технической революции! Полного переворота в нашей промышленности. Недостатка образованных людей в этом плане. Острой необходимости совершенно переработать школьные программы, обучать программированию, управлению автоматикой, именно тому «царствованию над природой», где полуфабрикат машинного, технического изготовления становится как бы кубиком в руках мастера вселенной, инженера-кибернетика, инженера-электроника? Дорогие друзья-читатели. Ведь я прабабушка. Мой век не мотыльковый. На своем веку я пережила и сама и через книгу немало научно-технических революций. И всякий раз влияние их на душевно-духовное содержание жизни преувеличивалось воображеньем современников. Влюбленные во дни моей молодости пришли бы в священный ужас, если б им сказали, что через какие-нибудь полвека по луне будут ходить американцы. А сейчас и целуются и на луну глядят, как тысячу лет назад. Технические революции очень, очень многое меняют в жизни, но «звезды в небе и нравственный закон в человеке» меняются куда медленней машины. Я уверена, что люди кибернетической эпохи, как средневековый оксфордец, с не меньшим наслажденьем прочтут влюбленные строки Катулла:

...da mi basia centa... —

и так же будут любить в Гомере ежедневно восходящую «Эос с перстами златыми», — а ведь к тысячелетним годам их, Катулла-римлянина и грека Гомера, прибавится еще немало лет. Вообще же, чтоб успокоить ученых физиков, напомним, что речь у меня идет не о предметах преподавания, а только о методе их преподавания, и, например, проблемный метод хотя бы «душки Слудского» не менее, если не более нужен для физики и техники, нежели для литературы и истории.

Еще одно стоит если не позаимствовать у Востока, то хотя бы вспомнить и обдумать, — это глубокое, важнейшее, ведущее значение учителя и отношение к нему. Именно с Востока пришло к нам, в наши христианские разновидности религий, понятие старчества как синонима мудрости. Но мы исказили в «старцах» наших церковью восточное содержание их мудрости. Именно из древней Греции пришел к нам об-

раз «ареопагита» — старца годами, чья накопленная жизнью мудрость сделала его высшим правителем государства, членом Ареопага. Что подумали бы древние греки, если б узнали, как мы в шестьдесят лет провожаем человека на пенсию и невольно приводим иных к пустой трате неумейной человеческой энергии и накопленного опыта. Так вот «старец», «старик» — необязательно старый годами (напомним: молодого Ленина звали «Стариком» в революционных кружках Петербурга) — сочетался на Востоке с понятием учителя. Степень уважения к нему была очень высока. Это был учитель с богатейшим резервом знаний, резервом опыта за плечами. Богатство разных знаний и личного опыта помогало ему, уча учеников, приводить аналогии между разными областями науки, между разными свойствами и действиями природы. Аналогии обогащали и раздвигали духовный мир ученика, а в то же время, строя мосты между вещами и науками, давали ему целостное, единое, слитное представление о мироздании. Но за какими сравнениями, за какими аналогиями полезет современный учитель в карман, если даже его собственные учебники, по которым он учился учить, держат его в четырех стенах узко понимаемого «специального предмета»?

Около восьмисот лет назад поэт Низами Гянджеви в одной из своих басен, иллюстрирующих поэму «Сокровищница Тайн», поведал нам об этом уважении настоящего ученика к учителю, поведал, правда, с не совсем благопристойной откровенностью, но — тем более оттенившей смысл его рассказа:

#### О ПИРЕ И МЮРИДЕ<sup>10</sup>

Учитель, из дельных в стране стариков,  
Вел как-то, беседуя, учеников.  
И вдруг,— хоть его караван провожал,—  
Нечаянно ветра в себе не сдержал.  
И все, кто с ним были,— рассеялись вмиг.  
Остался со старцем один ученик.  
Старик говорит: «Все ушли, почему  
Лишь ты один верен пути моему?»  
Ответил: «Да буду я кровом твоим,  
Венец мой — лишь прах перед словом твоим,—  
Ведь я не за ветром решился пойти,  
Чтоб следом за ветром убраться с пути!»

\*

Лишь ждущий полочки — уйдет, получа.  
И с ветром примчавшихся — ветер умчал.  
Пыль быстро взлетит и быстрее падет,  
А прочного дома нигде не найдет.  
Но медленно встала на место гора —  
Зато и у гор долговечна пора!

Медленно встает на место «гора» классической педагогики прошлого, где бы и в чем бы она ни проявлялась. Ее нужно изучать, ее нужно показывать новым учителям, чтоб они загорались достигнутыми ею удачными приемами, влюблялись в познавательный процесс и вытекающую из него страсть — отдачи, дележа, совместного переживания фактов и мыслей. В некоторых старых школах, у некоторых старых учителей, как в описанной мною гимназии Ржевской, это было. Когда хочешь похвалить свое старое, пережитое в жизни, хочешь указать на древнее, в котором теплится крупица золота, — не надо отмахиваться

<sup>10</sup> П и р — учитель, наставник; м ю р и д — ученик, последователь (фарси). Перевод басни, как и всей поэмы, мой.

от опыта жизни, как от старья. Надо только уметь отбирать его и делать его полезным сегодняшнему дню в трезвом свете современных задач.

Кстати сказать, в нашей русской старой педагогике (да и не так уж старой!) черным по белому указаны некоторые важные основы, которые у нас вдруг спустя столетие вспыхивают как новинки; их начинают неумело, как всегда вначале, и неопытно проводить в жизнь. Например, вопрос о единстве образования и воспитания в школе — о том, чтоб учитель не только обучал учеников своим предметам, а и воспитывал их, прививал положительные навыки, отучал от отрицательных. Совсем недавно вспыхнула у нас дискуссия по этому поводу. А свыше ста лет назад классик русской педагогике К. Д. Ушинский резко восстал против принятой тогда разделительной системы в школе, по которой «классные дамы» и «классные наставники» должны были воспитывать, а учителя — учить своим предметам, не касаясь воспитательных целей. Ушинский прямо и резко провел правила, по которым учитель должен взять на себя воспитательные функции и больше того — должен находить и пускать в ход моменты в самой науке, то есть в своем учебном предмете, которые влияли бы на учеников воспитывающе. Еще пример: мы додумались сейчас (и одновременно с нами начали думать об этом зарубежные педагоги), что школа должна развивать у ребенка способность самостоятельного мышления. Новинка! Модная в наши дни на Западе и у нас! А свыше ста лет назад Ушинский писал:

«Предметы естественных наук уже наполовину знакомы ребенку, если он на них посмотрел; заставьте его смотреть внимательнее, вводите его вопросами в существенные подробности предмета, и вам останется только сказать несколько слов, выразить одну мысль, уже шевелящуюся в голове ученика, и вы дадите прочное основание его знаниям о предмете, и подымете мышление воспитанника на одну ступень выше. При такой методе учения возбуждается та самостоятельная работа головы учащегося, которая составляет единственно прочное основание всякого плодovitого учения...

Нам кажется, что трудно найти какой-нибудь другой предмет преподавания, более естественных наук способный развивать умственные способности и укреплять их силу в ребенке. Логика природы проще, очевиднее и сильнее логики классических языков, употребляемых до сих пор для цели развития»<sup>11</sup>.

Спасибо Академии педагогических наук, что издала Ушинского. Но «Собрание», где собрано все, что писалось, и неизбежно имеются устарелые, неверные места, обычно лежит на полках для исследователей, а ведь собрать и выделить наиболее нужные мысли отца русской педагогике, сделать такие «буклеты», чтоб они могли быть изданы в миллионных тиражах и попали в руки каждого учителя,— сделало бы эти мысли направляющими, оперативными, нужными советской школе. В приведенном мною отрывке все есть; и комментарии могли бы извлечь оттуда и «политехнизацию», и «наглядность обучения», и метод преподавания, и важность развить в ученике самостоятельность мышления и, наконец, попутно, показать передовую позицию, занятую Ушинским—правительственным чиновником, редактором официального журнала министерства просвещения—в самый разгар борьбы революционной русской интеллигенции за реальное образование против насаждения классицизма.

<sup>11</sup> К. Д. Ушинский. Собрание сочинений. М. Академия педагогических наук РСФСР, 1948, том второй, стр. 225—226. (Разрядка моя.)

Наша советская школа — за короткое время жизни и при всех ее видимых и невидимых недостатках — тоже создала очень ценные новые педагогические устои... Они связаны с именем Макаренко. Их новизна и безусловная эффективность захватили многих педагогов и за рубежом. Метод Макаренко, выросший из практики, основан на социалистическом строе, он учит значению и роли коллектива в выработке характера советского человека, гражданина нового общества на земле. Казалось бы, тысячи перьев должны были заскрипеть, чтоб облегчить проведение методов Макаренко в жизнь, разработать их, упростить и систематизировать их, чтоб каждый преподаватель освоил, и полюбил их, и ввел в свою практику с той быстротой, с какой осваивают и пускают в ход в фармацевтике новое лекарство, излечивающее болезнь. А между тем со всех сторон получаешь письма с жалобами, — жалуются педагоги, родители, просто читатели, что нет на прилавке Макаренко, не дают ему ходу в школе, не знают его, не поставлено систематическое изучение его... И еще хочется напомнить об одном опыте прошлого, идущем мимо нашего настоящего, хотя это очень ценный опыт, озаренный вдобавок именем отца Ленина, Ильи Николаевича Ульянова. Я имею в виду так называемые «учительские съезды».

## VI

Сейчас, когда я пишу эти строки (сентябрь, 1971), установился в нашей педагогической практике очень хороший обычай: мартовские и августовские конференции педагогов. Они приурочены к инструктажу в августе, перед началом занятий в школе, — с докладчиком из горно; и к отчету самих учителей в марте, к весеннему концу занятий, — о том, как у каждого из них прошла зима и что было интересного в их практике.

Мне пришлось познакомиться с одной августовской конференцией в Риге — инструктировались преподаватели русской литературы и языка в латышских школах. Насколько я понимаю, эти конференции носят раздробленный характер, разбиваясь по школам, по предметам, не говоря уж о том, что тут речь идет всего лишь об одной столице одной советской республики. А если представить себе необъятную сеть школ по всем городам нашего необъятного Союза, то в воображении встанет целый муравейник конференций с огромным достижением упорядоченности, централизма, систематизирования общего среднего образования для миллионов детей нашей страны. Это, если сравнить с хаосом, разбросанностью, бессистемностью, беспорядочностью среднего образования во многих европейских странах, особенно в Англии, огромный плюс.

Но плюс только августовских конференций, где педагоги получают общий инструктаж и сами почти не участвуют, а только слушают, так что, в сущности, название «конференция» к августу не совсем и подходит. А как в марте, к весне, когда отчет дают педагоги в своей зимней работе? Тут ведь должно быть как раз не единообразие инструктажа, а многообразие сообщений, рассказы о личном опыте, о находках, о провалах, о пришедших на работе мыслях, о проверке методов — словом, дележ от учителя к учителю, самое интересное в жизни и самое плодотворное в истории любой деятельности, а педагогической особенно. Как было бы хорошо, если бы эти конференции осуществлялись по Ленину, по его постоянному, настойчивому требованию за короткий период его советской жизни: *изучать нашу практику, пристально изучать все, что делается нами на практике!* Тщательное собирание протоколов с мартовских школьных конференций, тщательное ознакомление

с высказываниями учителей, отбор наиболее интересного, изучение его, печатание конкретных сводок с примерами, рассылка их по всем школам и — вынос наиболее интересного на съезды... Но к огорчению моему, я узнала в рижском городе, что протоколы на конференциях не ведутся, и весь богатый материал живой жизни, практика, то, о чем так страстно писал Ильич, — исчезает незафиксированное.

А насчет учительских съездов — на одном из них много лет назад мне пришлось быть. Тогда, если старая память не сшибает меня с истины, выходили учителя и читали по бумажкам (а ведь в школе они преподают живым человеческим голосом!) очень общие выводы, общие пожелания, изредка — жалобу на недостаток чего-то, изредка — предложения отдельных улучшений, но все это можно было заранее прочесть и в проспектах. И все время думалось: вот прорвется кто-нибудь, расскажет о живом случае в школе, о каком-нибудь особенном или просто забавном из своих ребят, об их вопросах, о своей неожиданной инициативе в приеме, в методике, в отчете: «А вот у меня так, а вот в нашей школе, а вот мой ученик...» Но вот этого «а вот», сколько помню, ни разу не слышалось мне. А до чего же это было бы интересно всем, кто сидел и слушал!

Не так давно прошел у нас еще один съезд учителей. Вопросы, стоявшие на повестке дня этого очень важного съезда для всей нашей страны, для воспитания новой смены, были огромны и так всеохватны, что, казалось бы, месяца мало наговориться обо всех них, а не то что прийти к их решению в отпущенные для съезда четыре-пять дней. Как объемно, как невероятно трудоемко, например, было хотя бы то, что следовало обсудить о содержании новых программ средних школ! И какое количество учителей — 4000 человек, приехавших со всех концов Союза, — должно было охватить, обдумать, откликнуться на это! Между тем самыми конкретными для меня на этом последнем съезде были цифры. Ну а цифры, право же, лучше прочесть глазами, чем уловить ухом, да и в устном изложении они обычно пропускаются мимо ушей. Кроме того, цифры всегда можно получить без всякого съезда.

Мы постоянно думаем и говорим о том, что труд должен быть творческим. В новом обществе труд обязан быть творческим, чтоб стать отрядным, любимым, нужным, потребным, как хлеб. Но творческим он становится, когда человек привносит в него свою инициативу, то есть нечто новое, индивидуальное, не такое, как у соседа. Ведь только так, только шагом вперед, можно продвинуться от сегодняшнего к завтрашнему. И притом личная инициатива — всегда конкретна, нельзя «общую фразу» превратить в нечто инициативное, общая фраза всегда стоит себе на месте. Много, много раз в жизни мне рассказывали разные люди свою биографию — и всякий раз они останавливались особо любовно, подолгу на образах учителей той школы, где когда-то учились. Вспоминали они не содержание урока, не стандарт, общий для всех школ, а нечто характерное, индивидуальное, присущее своим учителям: их особенности, жесты, походку, манеру вести урок, — и вместе с этим неповторимым, личным, запомнившимся в учителе, — то ценное, что было от него получено, может быть — в одной фразе, в одном наказании, в одной похвале. Учитель на всю жизнь запоминается людям как личность, как характер, как индивидуальность, как те «Иван Казимирович» или «Нина Викторовна», которые неповторимы, единственны в судьбе данного человека. Мне кажется, сила действия урока, его запоминаемость, а главное — органическая сплетаемость чего-то узнанного умом с чем-то вошедшим в волю и совесть, то есть идеал сцепки обучения с воспитанием, целиком зависит не от каких-нибудь теоретических ухищрений ученых идеологов и методистов, а именно от личности самого учителя, от его

персонального обаяния, от оригинальности его характера, от выразительности и интересности его поведения в классе.

Человек — в данном случае педагог, — только человек несет в самом себе связь мышления с делом, сознание с нравственностью, разума с поведением, — и только сам человек, если он не формалист, не сухарь, не превращается в «от — до», может в школе «образовывать», то есть давать цельный образ ребенку, ученику, одновременно снабдив его знанием и нравственными устоями, одновременно научив и воспитав. Надо это крепко помнить, когда мы ставим проблему усовершенствования учителей: без свободного проявления его творческой личности, без внимания к его индивидуальности, характеру, склонностям, — одним напихиванием новых и новых «предметов» на курсах усовершенствования, мне кажется, мы не сможем создать нужный нам тип социалистического педагога.

Замечательный пример для воспитания именно таких учителей имеем мы в нашем прошлом: в деятельности крупнейшего русского педагога — современника Ушинского, Корфа, молодого «яснополянского» Толстого, — Илья Николаевича Ульянова. Каждый раз, думая о будущем советской школы, я ухожу мыслями в далекое прошлое, открывшееся мне в небольших тетрадках с короткими, в форме диалогов, записями. Не было тогда ни стенографисток, ни машинок, ни щедрой графы в бюджете у директора начальных школ Симбирской губернии. Гроши отпускались на просвещение народа. Но отец Ленина, Илья Николаевич, создатель целой серии учительских съездов по своей губернии, з а ф и к с и р о в а л их в п р о т о к о л а х, а протоколы найдены — они хранятся в архивах города Горького, бывшего Нижнего Новгорода, и любовно изучаются в Горьковском педагогическом институте.

У этих многочисленных съездов, уездных и губернских, длившихся каждый по месяцу, никаких проспектов с изложением содержания не было. И что совсем по нынешнему времени удивительно: в предварении их абсолютно не было никаких общих пожеланий, вообще никаких общих фраз. А было в них вот что: по два показательных школьно-учебных «дня» в один реальный день, с перерывом на обед, — и вечером обсуждение всеми делегатами услышанного и увиденного за день. Таким образом в течение месячного съезда можно было познакомиться практически с деятельностью почти шестидесяти учителей шестидесяти школ, узнать, как они обучают детей и каких успехов при этом достигают; а в то же время детвора — той одной деревни или одного города, где съезд происходил, — получая на съездах эти показательные уроки, тоже не оставала в накладе — для нее это было нечто вроде широкого, интересного экзамена без нервного напряжения настоящих экзаменов.

Когда читаешь протоколы вот этих съездов, все время находишься в конкретном мире живого человеческого деланья. Каждый учитель проявляет свою инициативу, каждый урок по-своему оригинален; и на каждом его обсуждении чувствуешь, как духовно растет и обогащается его участник, делегат съезда. Утром он или его товарищ по профессии проводит настоящий урок в стенах настоящей школы, где происходит съезд, — в присутствии всех других делегатов; а вечером он превращается или в критикуемое и обсуждаемое лицо, или в критика и обсуждающего. Происходит накопление профессионального опыта, выделяются интересные приемы, дающие лучший результат, подхватывается индивидуальная инициатива, осуждаются и отвергаются приемы неудачные, уроки холодные, подходы неумелые. Изучение психологии детского возраста — вещь, разумеется, очень полезная. Но вряд ли тот, кто проштудировал все азы этой науки до последних ее иксов и игреков, понимает

душу ребенка и все, что происходит в ней в школьном возрасте, лучше, чем его мать или педагог-практик, ежедневно наблюдающий эту душу в ее реальных проявлениях.

Чтение протоколов вот таких съездов, на которых развернулся огромный организаторский талант Ильи Николаевича Ульянова и рассказы о которых безусловно залегли в памяти его сына, Владимира Ильича, — чтение их было для меня просто открытием. Как ясно, как просто, как необходимо становился учительский съезд могучим фактором роста и совершенствования учителей! Но понятно, такие съезды происходили с учителями начальных школ; они осуществлялись на небольших объектах района, районного центра, области. А съезд учителей средних школ, охватывающий все края нашей огромной страны, имеющий место в ее столице, а время — четыре-пять дней, претендовать на такой зримый, слышимый, конкретный показ никак не может. Хотя — опять скажу лирически — как интересно было бы нам, например, людям самого старшего поколения в стране, посидеть и послушать, как преподает какой-нибудь прославленный учитель в настоящем классе настоящим ребятам — ну, скажем, литературу или математику... Один, другой, третий, — из Орска, из Костромы, из Рязани... И чем, какой личной инициативой, каким личным обаянием один урок отличается от другого. Нельзя хотеть невозможного, поэтому оставим мечты.

Может быть, самое трудное, что предстоит нашей школе в ближайшее десятилетие, это решить два главных вопроса. Как увязать с программой все то новое, что прибавляется к ней развитием науки, — школьникам предположено дать еще на школьной скамье представление об элементах высшей математики, о дифференциальном исчислении, об электронно-вычислительных машинах, о кибернетике, о химических связях и превращениях, об открытиях в биологии и так далее, — как увязать все это со школьным временем, с устарелыми учебниками, с подготовкой самих учителей. И второй вытекающий отсюда вопрос — как строить курсы по усовершенствованию самих учителей, чтоб поднять их общий уровень до широкой возможности дать детям новые, необходимые для современного школьника знания? Высказаться по решению этих вопросов, сказать, что думаешь об этом, внести свои мнения и предложения необходимо, мне кажется, не одним делегатам съезда, но и тем, кто кровно заинтересован в будущем нашей советской школы.

Ставлю себя на место будущих школьников и думаю очень серьезно: с чего бы мне хотелось начать свое ученье, если б пришлось п о н я т ь весь чуждый мне сейчас мир физико-математики, все новое, что выражается абстрактным языком недоступных моему мозгу формул? Я попросила бы учителя прежде всего — объяснить мне, ч т о т а к о е ф о р м у л а, как она возникает, из чего она состоит и для чего она нужна. Когда я пойму кристально ясно, что именно представляет собой этот «инструмент науки» или ее собранный в один мешок язык, для меня сейчас косноязычный, — я легче смогу пойти дальше.

Когда дети моего поколения лет семьдесят назад учили физику и математику, эти науки представлялись им серией задач и опытов с единственным конкретным признаком: возрастанием трудности. От этих задач и опытов не тянулись нити к окружающей реальной жизни. Они плыли где-то над нашим бытием в заоблачной выси. Мы их усваивали, зубрили, забывали. Но вот уже старухой я как-то взяла книжку Лурье (на мой взгляд, гениального педагога, хотя он и не был учителем!) — о бесконечно малых величинах у древних математиков, то есть о рожденный дифференциального исчисления в античном мире. И впервые в жизни своим нематематическим мозгом я п о н я л а, что такое дифференциальное исчисление, которое когда-то «осваивала, зубрила, забывала». Поняла потому, что Лурье рассказал, как люди почувствовали н е о б х о



д и м о с т ь в нем для своей практической жизни, как они сперва овладели первыми его звеньями, каждым в отдельности, потом сковали их в формулу для легкости запоминания, потом стали ее применять и использовать... Иначе говоря, я увидела огромнейшую пользу того, что можно назвать историческим методом изложения любой науки. Ни одно знание не родилось абстрактно, само по себе. Оно родилось в силу необходимости, потому что человеку, чтоб жить и развиваться во времени, нужно было считать, мерить, делить, строить, определять, находить, готовить,— и он шаг за шагом учился это делать сперва по буквам, потом по словам, потом по фразам,— и «правило» и «формула», такие абстрактные вещи на вид, заключенные в значки и цифры, родились у человечества как сгустки величайших конкретностей. Тут я впервые почувствовала (как будущую бабочку при виде кокона) конкретное, живое лицо того, что раньше представлялось мне сухой, безжизненной формулой.

История — последовательный ход развития человеческой мысли вместе с развитием человеческого общества,— вот тот бессмертный, единственный фон для изложения любой науки понятным для ученика (и взрослого) образом,— недаром все большие ученые, все крупные мыслители, как Тимирязев, Дарвин, Спенсер, Дидро, Вернадский (я пишу первые пришедшие в голову имена), так ценили исторический метод изложения любой научной дисциплины. Кстати, именно этим методом легче всего ж а т ь изложение новых открытий науки. Если б учебники наши всегда создавались воистину талантливыми людьми!<sup>12</sup> Если б не гнушались наши лучшие ученые говорить с детьми как поэты, как Фарадей о свечке, как Фламарион о звездах! Если б...

Но и для подлинного учебника новой эры, и для усовершенствования подлинного учителя новой, социалистической эпохи одного исторического метода изложения науки еще м а л о. Чтоб наш учитель в любом классе школы мог приходиться в класс, зная свой предмет гораздо больше программы, и потому мог бы ответить на любой вопрос любого ученика, уча и научая своих ребят мыслить самостоятельно (Ленин не раз подчеркивал в своих последних выступлениях, что учитель должен будить мысль учеников, школа должна молодежи давать умение вырабатывать самим коммунистические взгляды),— для всего этого нужна еще и п р и в и в к а д и а л е к т и к и. Учитель должен научиться видеть явление во всех его опосредствованиях, во всех связях с окружающим миром, а не одно-сторонне. Чтоб лучше объяснить, как это наглядно представить себе, я опять обращаюсь к Ленину и выну из сокровищницы его мудрости один пример, к сожалению, не так часто у нас вспоминаемый.

Несколько десятков лет назад—в конце 1920 года и начале 1921-го—происходила острейшая дискуссия о профсоюзах. Для этой дискуссии Ленин написал в Горках брошюру и в ней приводит слова Бухарина, вздумавшего, как пишет Ленин, «популярно объяснить мне вред одно-сторонности». Бухарин привел для этого нечто вроде притчи о стакане: «...Приходят два человека и спрашивают друг у друга, что такое стакан, который стоит на кафедре. Один говорит: «это стеклянный цилиндр, и да будет предан анафеме всякий, кто говорит, что это не так». Второй говорит: «стакан — это инструмент для питья, и да будет предан анафеме тот, кто говорит, что это не так».

Ленин убийственно парирует обвинение Бухарина в одно-сторонности: «И то, и другое», «с одной стороны, с другой стороны» — вот теоре-

<sup>12</sup> Ленин хотел, чтоб замечательная книга И. И. Скворцова Степанова об электрификации РСФСР вошла как учебник в школу. Маленькая книжка М. Ильина о плане, образно вводящая детей в существо социалистической экономики и разницу между ней и капитализмом, тоже могла бы стать учебником или пособием к учебнику...

тическая позиция Бухарина... Диалектика требует всестороннего учета соотношений в их конкретном развитии, а не выдергивания кусочка одного, кусочка другого»<sup>13</sup>. На притчу Бухарина о стакане он отвечает, что стакан, конечно, и то и другое. Но и третье — тяжелый предмет, годный для бросания; и четвертое — может служить как пресс-папье; и пятое — может накрыть бабочку для коллекции; и шестое — представить собой художественную ценность, если на нем резьба; и седьмое — не быть из стекла; и восьмое — не иметь цилиндрической формы; и если он нужен для питья, то не важно, вполне ли он цилиндричен, а важно, чтоб в нем не было трещины на дне и не утекала бы вода, а если он нужен не для питья, то не важно, есть ли у него на дне трещина, и т. д., и т. д., и т. д. Говоря все это, Ленин как бы безмерно расширяет для нас понятие «стакан», увязывая его с внешним миром. Называя логику Бухарина формальной и эклектической, он дальше дает гениальное определение того, чем должна и какой должна быть логика диалектическая. Это — одно из важнейших мест Ленина-мыслителя, Ленина-философа, и все работники гуманитарного цикла должны были бы знать его наизусть:

«Логика формальная, которой ограничиваются в школах (и должны ограничиваться — с поправками — для низших классов школы), берет формальные определения, руководясь тем, что наиболее обычно или что чаще всего бросается в глаза, и ограничивается этим. Если при этом берутся два или более различных определения и соединяются вместе совершенно случайно (и стеклянный цилиндр и инструмент для питья), то мы получаем эклектическое определение, указывающее на разные стороны предмета и только.

Логика диалектическая требует того, чтобы мы шли дальше. Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и «опосредствования». Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостережет нас от ошибок и от омертвления... диалектическая логика требует, чтобы брат предмет в его развитии, «самодвижении» (как говорит иногда Гегель), изменении. По отношению к стакану это не сразу ясно, но и стакан не остается неизменным, а в особенности меняется назначение стакана, употребление его, связь его с окружающим миром... вся человеческая практика должна войти в полное «определение» предмета и как критерий истины и как практический определитель связи предмета с тем, что нужно человеку... диалектическая логика учит, что «абстрактной истины нет, истина всегда конкретна», как любил говорить, вслед за Гегелем, покойный Плеханов»<sup>14</sup>.

Целых четыре условия логики диалектической — для определения предмета — да и то лишь с приближением, только с приближением к полному его охвату.

Если в низших классах школы — да еще с поправками — формальная логика допустима, то дальше для учащихся и для самих педагогов нужна диалектика, нужно стремление к всестороннему охвату предмета. Только так может уберечься учитель от ошибок и омертвления... Всю нашу жизнь — жизнь строителей социализма, воспитателей своей смены — должны мы припадать вот к этому животворящему источнику ленинской мудрости, руководиться им, зажигаться им, утолять им свою познавательную жажду — чтоб уберечь себя от ошибок и омертвления. И только по Ленину следует проектировать и проводить обучение и усовершенствование советского педагога.

<sup>13</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 286 («Еще раз о профсоюзах»).

<sup>14</sup> Там же, стр. 289—290.

## VII

Оглядываясь назад, на свое школьное прошлое, я не могу не видеть в нем еще кое-какие преимущества, полезные для нас и сейчас. Об учителе, о резерве образованности у старых учителей я уже сказала выше. Свободные, индивидуальные методы их, вытекавшие из увлечения своим предметом, а главное — из этого общего резерва знаний, накопленного в университетах, подкреплялись еще и тем, что само университетское образование было шире, нежели в пединститутах, не только по объему и числу учебных предметов, а по самому характеру учебного быта, учебных кулуаров. Ничто мировое не проходило мимо университетских стен, мимо студенческих ушей, — именно жизнь студентов, их общенье между собой вырабатывало тот широкий тип русского интеллигента, какой отличает его от узкого типа западного специалиста. Самый воздух в университетах был пропитан каким-то мировым началом, имевшим целью нечто очень широкое, как бы духовное участие во всем, что происходит на белом свете. И будущий учитель приносил с собой в среднюю школу частичку этого мирового начала, хотя и угасавшего в нем с годами. Оно действовало заразительно, могло захватить учеников, как музыкальный напев, оно придавало учителю обаяние, без которого нельзя полюбить того, кто учит нас, а ведь Гёте как-то в разговоре с Эккерманом обмолвился мудрым словом: «Повсюду учишься лишь у того, кого любишь»<sup>15</sup>.

Не все педагоги прошлого были, разумеется, такими, — ведь именно в прошлом родился страшный образ учителя-мракобеса («мелкого беса» — по Федору Сологубу). Но у лучших, у тех, «кого любили», резерв образованности был пронизан прогрессивным духом эпохи, против которого стеной вставало догматическое окаменение мысли у царского чиновничества. Но это лишь оттеняло то главное свойство мышления, без которого нет развития ни культуры, ни науки, ни нравственной сущности человечества, — б е с с т р а ш и е. Хотя бы в самой отвлеченной области, хотя бы в предметах, далеких от политики и от обвинения учителя в «политической неблагонадежности», где учитель мог проявить это бесстрашие мысли или свое восхищенье бесстрашием мысли, — он его проявлял перед нами, и ученики заражались восторгом бесстрашия.

Помню, был у нас армянин, учитель истории. Он преподавал не в моем классе, а в младших. Он был очень некрасив с виду, косматый, обросший, сутулый. Но с таким упорством проводил этот историк новую «пробу», не входившую в учебный быт, что начальница, Любовь Федоровна, поддалась ему. Проба состояла в устраиваемых «собеседованиях» учащихся совместно с учителями, для того чтобы выработать у них умение говорить в обществе, обсуждать прочитанное, мыслить в открытую и мыслями обмениваться.

Первое собеседование прошло удачно. Темой его было: любимый исторический персонаж и за что его можно любить. Ученики подготовились, причем «косматый историк» заранее сказал, чтоб дети поступили честно, выбрали действительно своего любимца, а не фигуру, одобряемую учебником. Я на этом первом собеседовании не была и знаю только по рассказам сестры, что ученицы (от младших до старших классов, потому что новинка была создана «для желающих») приводили самые разные, самые неожиданные примеры. Одна выбрала своим «идеалом» какого-то кардинала, жуткую фигуру из прочитанного ею романа Дюма (если память меня не подводит), выбрала за то,

<sup>15</sup> Johann Peter Eckermann. Gespräche mit Goethe. Fünfte Auflage Erster Theil. Leipzig, Brockhaus. 1883. От 12 мая 1825 года. Стр. 152.

что он до получения власти в полный свой размах, будучи пока в полной неизвестности и ничтожестве, питался только одной редькой, как бы готовя себя к будущей славе и роскоши. Девочка так объяснила свое пристрастие: «У него была сила воли, он сам учился владеть собою, чтоб владеть другими». А в ответ ей неслись крики: «Но ведь он был злодей, деспот!» — но она упрямо отвечала: «Мне нравится его сила воли!» Косматый историк поддержал ее за откровенную передачу своего мнения.

Он это выразил так: «Истина никогда не рождается сразу, к истине подходят постепенно, шаг за шагом. Но к истине никогда не может подойти тот, кто ищет ее со страхом, запрещая себе думать откровенно, кто, иначе говоря, сам себе лжет и сам себя обманывает. Такой человек, чем больше он живет, тем дальше он будет отходить от истины». Я не знаю, точно ли, этими ли словами, переданными мне Линой, говорил историк Иван Григорьевич Тер-Григорьян, — Лина всегда вкладывала в передачи чужих слов что-то от своего собственного разума. Но в целом — живое, открытое, оригинальное собеседование понравилось учителям и ученикам настолько, что это дошло до начальницы. Она одобрила «новинку». Была через месяц назначена вторая встреча, на которую она пришла самолично, вместе с цветом наших классных дам и преподавателей. И это второе собеседование провалилось — по милости моей особы.

В моем классе приходившей была дочь нашего учителя методики, Валя Морозкина (жива ли еще ты, Валя, с которой мы наперегонки писали в классе сентиментальные романы о любви для обоюдного чтения, — ты «Диану», а я «Клэр»?). Темой для нового собеседования был назначен «Евгений Онегин», но опять с предупреждением, чтоб не излагали содержание и не делали выводов по учебнику. «Понимаешь, — зашептала мне Валя, с которой мы одно время сидели на одной парте, — есть такое истолкованье Онегина, от которого можно с ума сойти! Иван Григорьевич подпрыгнет до потолка! Хочешь — принесу? Только никому ни слова! Страшная тайна!» И она мне принесла Писарева.

Боже мой, что со мной только было. Я читала при свечке в дортуаре, захлебываясь от небывалых чувств. Это были странные, непонятные чувства. Пушкин с раннего детства был божеством моим. И это божество — Пушкин — линяло передо мной со страницы на страницу, сдиравшись с моего благоговенья, моего почитанья, моей любви, как сдираешь старые, задеревеневшие клочья обоев со стены. Онегин, байронический красавец Онегин, он, кто... кому в ночной рубашке или, верней, в ночной кофточке на рубашке, как тогда носили, при ночнике, в глухую деревенскую ночь черноволосая Татьяна, замирая от волнения, писала: «Я к вам пишу...» Он, кто... Но сама Татьяна! Боже, боже! Выхолощенная светская мадам в малиновом берете, фу, какая гадость, — кукла, говорящая: «Но я другому отдана; я буду век ему верна». Вот тебе и раз, как заведенная (нынче сказали бы «запрограммированная», но ведь это одно и то же, по-старому — завести, а по-новому — «запрограммировать»), — словом, я была в величайшем, в стихийном смятении, я испытывала то «расширение сосудов», какое бывает физически от приема сердечного лекарства, а психически оно выражается в наслаждении от сверженья авторитетов.

Когда мы говорим «от любви до ненависти один шаг», мы вряд ли понимаем, в чем тут, собственно, дело. А я поняла, что происходит: полярные чувства разбегаются друг от друга на все растущую и растущую дистанцию, но обежав по кругу, они начинают приближаться, приближаться друг к другу всей силой своего отбеганья и — рано или поздно — сталкиваются, а в столкновенье, смешиваясь — любовь и ненависть, — производят взрыв. Так, в ниспровержении кумира, испыты-

ваешь в последней силе отчаянья — последнюю силу утверждения своего кумира...

На следующий день я пришла на собеседование. Любовь Федоровна Ржевская, начальница, была не совсем обыкновенная женщина. Очень крупная и очень высокого роста, она шелестела шелками или дорогой шерстяной материей — юбки носились тогда до пола, — с золотой брошью-часиками на груди, в строгой прическе. Лицом она была некрасива, постоянно красновата, и в нервные минуты оно подергивалось небольшим тиком. В то время ей было лет сорок. Мы знали, что она замужем за своим двоюродным братом, членом Государственной думы от партии «прогрессистов» Владимиром Алексеевичем Ржевским, таким же дворянином-помещиком старинного рода, как и она, и на этот брак испрашивалось разрешение церкви. Детей у них не было, но был чудный ньюфаундленд черной масти, названный по кораблю Фритьофа Нансена Фрамом.

Так вот, во всей своей импозантной начальственности Любовь Федоровна восседала за столом возле маленького косматого историка, а с ней был и учитель литературы Мендельсон, лысый и задумчивый, был толстый Арсений Арсеньевич, математик, страдавший астматической задышкой, — словом, «весь синклит», как зашептала мне на ухо Валя Морозкина. Когда беседа началась, я бросилась с головой в холодную воду. Я еще с утра кипела своими опровержениями, и когда, как огненная головешка, полетела в воду, все вокруг меня зашипело зловещим шипом. Я бабахнула писаревскими отрицаниями по всему фронту Евгения Онегина, не щадя, как он, ничего. Только вместо писаревского блеска первой «классовой» критики, которой я совершенно еще не понимала и не могла исторически обосновать, я сыпала словами по-детски, без разбору, путано и восторженно, совершенно изумив не только аудиторию, но и бедную мою провокаторшу Валю Морозкину, зашипевшую вместе с другими.

На щеках у Любви Федоровны начал подергиваться зловещий тик. Мендельсон, культурнейший пушкинист, кривил иронически губы. Математик забавлялся возникшими «исключениями из правил». Только один Иван Григорьевич, высидевший из яйца своего «мероприятия» такого неожиданного гусака вместо цыпленка, красный и потный, пытался за меня заступиться. Он что-то говорил о зерне истины, поддержал меня в том, что оброк, которым Онегин заменил барщину (вместо полного освобождения своих крепостных!), легче тяжелой барщины... но это было соломинкой, брошенной в вертящийся омут бешеного провала как слабая попытка моего спасения. Реакция была уничтожающей. Собеседования на будущее время — запрещены. Не потому, что критику Писарева раскритиковали тоже критически, доказав его неправоту. Не потому, что гений Пушкина не должен подвергаться мальчишескому обстрелу. А потому, что на собеседовании внезапно проявился «вольный дух», запахло «смутьянством», «нигилизмом», ниспроверженьем ради ниспроверженья, а это для существования гимназии было нежелательно, тем более что Писарев в школьных библиотеках запрещен.

Историк-армянин, насколько я помню, продержался после этого в нашей гимназии недолго, и как преподавателя я его не знаю, в нашем классе был сдержанный и скучноватый Кизеветтер, эмигрировавший после революции. Но в памяти моей навсегда остались слова: «Истина не рождается сразу, к истине подходят постепенно, шаг за шагом. Но к истине никогда не может подойти тот, кто ищет ее со страхом, запрящая себе думать откровенно, кто сам себе лжет и сам себя обманывает. Такой человек, чем дольше он живет, тем дальше отходит от истины. Мысль должна быть бесстрашна».

Положительным было в прошлом и очень важное, очень нужное — особенно для нас, людей социалистического мира, — преподавание иностранных языков именно учителями той нации, той страны, чей язык они преподают: французский — француженками, немецкий — немками, английский — англичанками (я тут имею в виду женские школы, поскольку до революции обучение было не общим, а раздельным). Положительным фактором было это по многим причинам, и я попытаюсь их объяснить читателю. Дело не только в том, что наши «классные дамы» и преподавательницы иностранных языков давали нам язык в его чистом произношении, давали его со всеми особенностями национальной разговорной речи. Этого может достичь и советская преподавательница, несколько лет сидящая «на фонетике». Но чего она не может достичь, не будучи иностранкой, это передачи «самой себя» как иностранки в таком объеме, чтоб вместе с языком мы бессознательно откладывали в памяти национальный образ, национальные черты характера, страну, город, любовь к ним, к своему языку и своей литературе, стремление рассказать и поделиться этим. Я имею в виду передачу себя иностранными учительницами.

Каждая из них вместе с языком отложила в нашей памяти образ своей страны. В Женеве я чуть ли не на каждом шагу встречала таких, как наша мадемуазель Муше. Парижанки связаны у меня в образе, жесте, разбеге глазок, элегантно манере носить блузку — с мадемуазель Салле. Немки были своеобразным вводом в Прибалтику, в Ригу. От каждой, изучая язык, я узнавала попутно массу конкретных признаков, составлявших «атмосферу», музыкальный мотив чужой страны, словно сама побывала в ней. Это неуловимое знание, аромат живой, практической национальной типичности сопровождали меня потом всю жизнь. Настоячиво думалось: а почему бы у нас, в нашей советской школе, не использовать для преподавания безработных коммунистко-педагогов капиталистических стран (их много в Лондоне) и кончающих университеты молодых студенток из ГДР, создав этим для них производственную практику? Польза была бы для нас от этого огромная.

В старших классах гимназии к двум языкам присоединился еще английский. Очень высокая, плоская фигурой, говорившая каким-то «хлебным голосом», как тотчас определили в классе, то есть очень влажно, со слюной, врасхлеб, может быть потому, что у нее был полон рот великолепных крупных белых зубов, выправших из-под обтянутых губами десен, она вошла в класс особенным образом, выказывая нам, девочкам, уважение и любезность. Может быть, название частная гимназия было для нее синонимом того английского «прайвит» (private), которое в применении к английским школам означает богатство и знатность учащихся в ней детей. Этим она как-то обезоружила класс, загляла его любопытством, — и почти все мы, особенно пансионерки, с восторгом приняли ее приглашение на будущее воскресенье «ко второму завтраку». С утра в воскресенье мы очень аккуратно заплели косы, нашили на форму белые воротнички и вместе с нашей классной дамой, чопорной Маргаритой Акимовной, поехали в гости к англичанке.

Жила она за Петровском-Разумовском, в деревянном доме, и ехали мы туда на конке очень долго. В большой столовой был накрыт длинный стол с огромным блюдом холодного ростбифа, а на второе мы ели тоже холодный рисовый пудинг из плохо проваренного риса. Нас, девочек, было человек пятнадцать, и только одна Маргарита Акимовна поднесла англичанке по приезду коробку конфет. Никому из нас не было и вдумек, что трапеза на такую ораву обошлась англичанке недешево и что сама она живет на небольшое жалованье, — это пришло в голову одной нашей классной даме. Но за «вторым завтраком», как мы узнали тут

же — «лёнчем», соблюдаемым по всей Англии между двенадцатью и часом дня, а в воскресенье, поскольку это священный день бездействия, подаваемым в холодном виде, хозяйка сообщила нам, что муж ее, известный «керамист», приехал в Москву открыть заведение. Они поселились за городом, поскольку тут есть сырой материал и помещение дешево...

«Это заведение открыто, оно действует, хотя еще очень незначительно, изготовленье керамики в высшей степени интересно». И после лёнча она поведет нас показать нам заведение, хотя по случаю воскресенья работа сегодня не производится. Англичанин, муж ее, сидел за лёнчем не раскрывая рта. Он был прилизан и наутюжен, а губы, в противоположность англичанкиным, оттопыривались наружу, и мы невольно ждали, когда он ими зашлепает. — а он упорно молчал. Кончив пудинг, мы сделали книксены (реверансы) перед хозяйкой — в те годы обязательный прием приседанья для девочек при здорованьях, прощаньях, изъявлениях благодарности — и отправились вслед за ней смотреть заведение. Оно находилось в деревянном сарае; вдоль стен и посередине тянулись какие-то желобки-корытца, наполненные водой; а на полочках, рядом с желобками, размещалась продукция из глины, квадратика с выемками посередине, треугольнички, кругляшки с лепными цветами — «для карнизов и фасадов», пояснила англичанка. И потом трубы, трубочки всех размеров — «дешевле и экономичней металлических».

— Вот здесь все подробно написано. Прошу вас, прочтите и передайте вашим родителям. Если им не понадобится, хорошо, чтоб они передали своим друзьям. Кто строит коттедж или дом, может заказать нужное количество керамики у нас, в заведении моего мужа. Фэнк'ю, фэнк'ю!

После этого длинного монолога англичанка раздала каждой из нас по печатному листочку, где скверным русским языком рекламировалась керамическая фабрика мистера Бромса (фамилии уж не помню!), специально прибывшего из Англии. Наличники — стоимостью столько-то... дверная лепка... потолочная лепка... фасады... трубы...

Когда мы ехали домой в дребезжащей конке, я заметила выражение успокоенности на лице Маргариты Акимовны. Много позднее я поняла, что деликатность чувств ее была приведена в порядок: вместо сконфуженности от мысли, что дети плохо воспитаны и спокойно «объели» бедную иностранку, даже не привезя какого-нибудь «отблагодарения» за это, весь лёнч оказался обдуманной рекламой мужниного заведения, рассчитанной на богатых родителей.

И тут у нее вдруг вырвалось, наверное — не для нас, а как размысленье вслух:

— До чего наивно! Непрактично! Будто станет кто-нибудь в Москве дом украшать глиной. Разорятся они у нас. Ну и англичане! Сейчас видно, что он совсем не инженер, а просто какой-нибудь ремесленник или рабочий высшего разряда.. Дети, мы приехали, вылезайте по очереди, не толкайте друг друга!

Станным образом эта неожиданная реплика вслух в конце путешествия от чопорной Маргариты Акимовны, никогда при нас не выражавшей грубо, — должно быть, и услышанная мной случайно, потому что я сидела с ней рядом, — запомнилась мне на всю жизнь, сразу открыв очень многое и в людях и в себе: меня захлестнула волна жалостливой нежности к бедному «ремесленнику или рабочему высшего разряда» именно потому, что он «не инженер». Все вдруг стало трогательно, даже хлебный голос англичанки и эти губы-шлепанцы ее мужа, так и не раскрывшиеся для разговора. И что «разорятся они у нас» — показалось большим несчастьем, бедой, о которой захотелось предупредить их заранее, — гнусной несправедливостью!.. Когда я с трудом разжевывала за

лёнчем рисовый пудинг, мне попало в нем что-то длинное. Тихонько вытащив из зубов это что-то длинное, я увидела белокурый волос — англичанка делала пудинг сама в субботу на воскресенье. Я его незаметно упрятала в салфетку, решив посмеяться над ним с подругами, когда доберемся домой. Но тут, в конке, после реплики Маргариты Акимовны, почувствовала, как густо краснею, — никогда, ни за что, ни с кем не посмеюсь над ним и никому не расскажу.

Этот короткий эпизод с английским языком (англичане действительно скоро уехали из Москвы), несмотря на всю его короткость, был тоже познавательным в смысле широты введения в нас не только начатков английского языка. Он окунул в «атмосферу». Мы зрительно, душевно, умственно почувствовали Англию, простую Англию сквозь привычки и характер ее пищи, ее режима, ее соблюдения воскресенья; сквозь речь — не то чтобы простонародную, но и не той классовой формы «эдюкейшен» (образования), которая пахнет Оксфордом; трудность пробиться простому человеку у себя на островной родине, его непрактичные мечты о «варварской Раша», где можно приложить силы и выбраться из бедности... Никакой Антони Троллоп, никакой Тэккерей не раскрыли бы этого нам полностью, если бы даже годы и годы читали мы их. Но зато пережитое в ребячьем возрасте, пережитое очень коротко, за какую-нибудь неделю, раскрыло перед нами и Троллопа, и Тэккерей, и Диккенса, помогло лучше прочесть их, зримей, глубже, реальной войти в мир этих книг.

И опять вывод: даже в тех случаях, когда, казалось бы, невелик багаж иностранца, прибывающего учить нас своему языку, он учит нас большему, чем язык, — учит своей истории, экономике, быту, психологии, типологии, хотя бы в узкой какой-либо части, но учит прочно, так, как не сможет научить любой профессор иностранного языка из наших международных институтов. Что именно растет в учениках от такой учебы? Растет широта узнавания, и интеллигентность ученика. Растет его вдумчивость. А в мир преподавания входит, подчас совсем неожиданно и неумышленно для педагога, та самая проблемность, какую сейчас рекомендует наша и зарубежная педагогика, рекомендует как наиболее эффективный метод развития в ученике самостоятельного мышления.

И вот еще одно замечанье, возникшее, правда, только на моем личном опыте. Я много встречала советских девушек, выучениц наших же советских преподавателей иностранных языков. Может быть, это было случайно, только уж очень часто для случайности: все они напирали в своем знании именно на разговорную освоенность языка, на умение болтать. Но когда я раскрывала перед ними книгу — скажем, французский, немецкий или английский романы, то есть наиболее легкую форму чтения для того, кто усвоил язык прежде всего с разговорной стороны, — я встречала удивительный факт. Девушки, идеально со мной болтавшие — так, как я сама не могу, рассказывавшие анекдоты — так, как я сама не сумею, вдруг начинали мямлить, даже слегка запинаться, — того ясного, пронизывающего весь текст глазами, свободного, как дыханье, чтения у них не получалось. Научить говорить, не научив свободно и легко читать любую книгу от художественной до научной, — этого в нашем, до-революционном обучении, насколько я помню школьные и студенческие годы, никогда не было.

В опыте людей моего поколения было совсем другое. Бедный студент, не имевший возможности изучить иностранный язык в детстве, одолевал его самоучкой и легко читал нужные научные книги по своей специальности, изредка прибегая к словарю. А старые словари, кстати сказать, — например, немецкий словарь Павловского — были составлены скорей для потребности читающего, нежели для потребности говорящего. И больше того — мы читали не только легко и свободно, любя



читать иностранные книги; мы читали их зрячими глазами. А ведь искусство чтения труднее дается, чем искусство болтать.

Накопление жизненных знаний шло и другими путями. Накапливались даже географические впечатленья. Почти шесть лет мы сидели большую часть года взаперти на Садовой, зная только прогулки по облегающим ее улицам. Но у нас были рождественские и пасхальные каникулы, и в эти каникулы мы ездили под Москву, и я помню не только чужие города, но и «ареал» их распространения — экономический, литературный, этнографический, даже исторический, в слитном и первичном, правда, виде, но более яркий, чем впечатленья позднейшие.

Помню весеннюю Тверь с тронувшимися льдами и лужами на улицах, деревянную, звонящую на пасху церковными колоколами; возы с сеном, еще не сменившие полозьев на колеса, скрипевшие по обнаженным булыжникам; лошадиный теплый навоз над топленным, коричневым снежком, усуженный воробьями, как мухами; «гостиный двор», повторявший в своих сине-белых старинных сводах бесчисленные гостиные дворы русских губернских городов и даже самого Санкт-Петербурга, — и уютный, казавшийся мне помещичьим дом нотариуса Вельяшева, куда моя и моей сестры подруга, Катя Вельяшева, привезла нас на пасхальные каникулы. Катя была ровесницей Лины, а не моей, и училась в одном классе с Линой. Но дружба с ней прошла через всю мою жизнь, как и то особенное, «пушкинское» чувство к ней:

Подъезжая под Ижоры,  
Я взглянул на небеса  
И вспомнил ваши взоры,  
Ваши синие глаза.

Так писал Пушкин о другой синеглазой тверитянке, прабабушке моей Кати. Все было отградно душе — от ранних вставаний к заутрене, от тверских ямщицких луж лошадиной мочи возле извозничьих подворотен до свежего, острого озона провинциального воздуха, потому что в те времена только воздух столицы, Петербурга, был приправлен чем-то сухим и спертым, исчезнувшим из нынешнего, послереволюционного Питера. А в городах и даже в Москве пахло удивительно легко, благодатно, провинциально, и тогдашние художники на своих полотнах в мокрой голубизне небес силились передать этот особый оттенок русского провинциализма, необъятности русских просторов, ленивой изрытости дорог и прагалин, слезной чистоты неба над ними, чистоты воздуха и воды, — и мудрой пословицы «тише едешь, дальше будешь». Не знаю, как насчет «дальше», но «тише едешь» — к более прочному знанию, устойчивости впечатлений, укреплению памяти, в которой все удержалось для будущих страниц — и пейзаж, и типы тверитян (с северным оттенком в отличие от Москвы), и нехитрая экономика, и богатое историческое прошлое.

Другая Лина подруга, подобно Кате моложе меня, — Лида Лепинь — тоже сделалась моей подругой на всю долгую жизнь. У нее я гостила на рождество. Лида была русской латышкой; отец ее управлял именьями князя Голицына, и семья Лепинь жила в Голицыне под Москвой, в большой усадьбе рядом с княжеским поместьем. Туда на рождество съезжались все лепинята, учившиеся и служившие в разных местах, родственники-рижане, какая-то поэтесса из Риги, имя которой я не смогла запомнить. И все каникулы носили для нас национально-латышский характер: пелись чудные народные песни с грустно-задумчивой мелодией; готовились латышские блюда к столу; поэтесса читала стихи на незнакомом для уха языке, а старики родители, слушая, вытирали на щеках слезы. Большое поместье, как немногие именья уже уходившего со сцены русского дворянства, где управляли латыши или немцы, — имело всякие промышленные придатки в виде заводов и фабричек, во-

дочных, коженных, молочных. Но нам оно видно и знакомо было только со стороны совсем другого, искони помещичьего производства: конного и псарного.

Мы ходили смотреть в теплые щенячьи ясли, пахнувшие псиной, на крохотных, прелестных рыжих песиков с шелковистой шерсткой и еще мутными карими глазами,— князь разводил длинношерстных охотничьих ирландских сеттеров золотисто-шоколадной масти. Каждый щенок был на счету, как «продукция». Он особо ценился, если лапы у него были большие, тяжелые; если мать, рожая, не придавила ему глаз или не уколола его соломинка — и глаз не гноился; если видом своим щенок воспроизводил чемпиона знатной охотничьей породы.

Коней тоже разрешалось смотреть, и я на всю жизнь полюбила теплый овсяно-сенный запах лошадиных яслей, куда ссыпался корм; сладкое гление досок под ногами коней. Каждый как на подбор — статями, копытами, гривой; живое их дыханье ноздрями, теплое, громкое,— дыханьем втягивали они соломинки большими бархатными губами. Лошади были нервные, как строго предупреждал конюх,— нечего подходить и думать не смей погладить. Но словно в ответ лошади вдруг вскидывали головы, и раздавалось высокое, молодое, музыкальное ржанье, исполненное трелей, крупных, но удивительно приятных для человеческих ушей. Из всех звериных и птичьих голосов самый зазывный и приятный голос у лошади. В имении были, должно быть, все остальные крупнопомещичьи производства, в которых сам помещик не участвовал, представляя все это хозяйственному разуму управляющего,— молочное, свиное, птичье, зерновое, мукомольное, сенокосное,— но мы их не видели...

Сейчас, когда я пишу эти строки на чудесном Рижском взморье, в Дубултах, Лида Лепинь (Лидия Карловна Лиепинь) тоже, наверное, в двух шагах от меня, на яун-дубултской даче: она почетный житель своей родной республики, большой ученый-химик, действительный член Академии наук и Герой Социалистического Труда.

В те же школьные годы, между седьмым и восьмым классом, я впервые побывала и за границей. Глухота моя стала заметной, я уже начала вытягивать голову в сторону говоривших со мной. Тетки и особенно тетя-крестная, считавшая себя ответственной за судьбу мою и Линину, обратила на это внимание:

— Может помешать замуж выйти — кому приятно жениться на глухой! А не выйдет замуж — как она сможет зарабатывать?

Самой мне, честно говоря, глухота никогда не мешала, она даже утепляла, укутывала меня — и с годами все больше, все удобней. И зарабатывать я начала с четырнадцати лет писанием для кузенов-лицейстов с их товарищами «сочинений» на заданную отметку. За каждое получала по полтиннику.

Один только раз недополучила своего гонорара: какой-то ленивый титулованный троечник просил сделать на тройку, в крайнем случае на тройку с крестом (баллы ставились с минусами и с плюсами). А тема была увлекательная — «О пользе путешествий». Рука моя вдруг не соизмерилась с уровнем заказа, мысли перестали приспособляться к лицейсту, имя которого было что-то вроде Теофилий (кузены звали его Просто Филя), — и уж расписалась я всюю, а потом, когда опомнилась, менять было уже поздно. В субботу пришел разъяренный заказчик:

— Ты меня подвела! Учитель при всем классе прочел мое сочиненье вслух и сказал, что у меня есть м ы с л и, что я развиваюсь и так далее и прочее тому подобное... Не дам полтинника! Изволь теперь мысли по твоей милости высказывать, зарезала меня четверка, весь класс потешается!

Ему поставили четверку, да еще с плюсом. Я признала себя виноватой, поступившей не по правилу. И глухота моя была тут ни при чем.

В тот год славился в Лозанне знаменитый ушной врач Мермо. В письмах Ленина есть на него ссылка. К Мермо как к знаменитости возили Марию Ильиничну, чтоб он посмотрел и поставил диагноз. Вот к этому великому Мермо и решили послать меня тетки, и был выработан план поездки: сперва в Вену к доктору Брауну, лечившему глухоту ручным массажем уха, потом в Лозанну к доктору Мермо. Но по русской расхлябанности меня и маму, снабдив деньгами, послали на авось, не списавшись ни с Брауном, ни с Мермо, не зная их адресов и не подозревая о том, что оба они могут оказаться «в отпуску». Принят был в расчет только мой летний отпуск: как только я кончила седьмой класс, благополучно сдав экзамены и получив серебряную медаль, мы с мамой выехали через Эрланген в заветное путешествие.

Лето,— лето в самом его начале, венское лето с большими бело-коричневыми сенбернарами, развозившими по улицам тележки с молоком, с кабриолетами, в которые были впряжены пары, а у козел стойкой был воткнут острый высокий кнут, похожий на рыцарскую рапиру, а сами извозчики не были извозчиками, а были нарядными молодыми людьми в пиджаках с отворотами. Дешевый пансион Цвиллинг, где мы остановились по рекомендации знакомых. Белокурая дочка хозяев, одних лет со мной. Перебегающие дорогу, не боясь лошадиных копыт, приказчики, нахально берущие вас за щечку или за ухо, если вы попались им навстречу, а в магазине, когда мы ходили туда вместе с белокурой Эллой Цвиллинг (по-немецки «близнец»), громко отвечавшие на просьбу о скидке: «Für die Blonde—ja, für die Schwarze—nein!» (для блондинки—да, для брюнетки—нет!); запах на улицах, не похожий на наш городской— смесь густого табака из трубок и кухонного маргарина,—заграничный венский запах; наконец—суета, движенье, смех, остроты, толпа перед кучей летних открытых сцен, откуда доносятся арии опереток, и уличные органы, гораздо музыкальней наших шарманок, и готическое кружево собора святого Стефана, и вообще все— новое, незнакомое, интересное, острацкое, обидное, в ответ на что лезешь тщетно в карман за словом и только молча глотаешь обиду,— все это так на меня действовало, что я в первое же утро сбежала из дому, пересекла всю Вену, вышла за город, погуляла где-то по форпостам Венского леса и к ночи вернулась домой на извозчике, который нарочно возил меня к Цвиллингу, раза три миновав этого Цвиллинга и притворяясь, что ищет его. Мать ахнула, вынув кошелек для расплаты.

Постепенно венская жизнь втянула нас, мы вместе с венцами отвечали на поклоны старенького Габсбурга, императора Франца Иосифа, когда он проезжал по длинной Мариахильферштрассе в своей открытой коляске и кланялся народу направо и налево, поднимая каску над круглой седой головой. Исправно посещали мы и мошенника Брауна, у которого оказались единственными пациентами. Перед сеансом Браун долго выделял в воздухе пальцами правой руки какое-то тремоло, уверяя, что набирает в пальцах электрические токи. Потом он левой рукой подпирал мой затылок, а «натертыми» пальцами правой вибрировал у меня минут десять в ушной раковине. Было щекотно, хотелось почесать ухо, но Браун требовал полной неподвижности, чтоб не мешать электричеству. Просадив на его вибрации половину своих денег и не заметив никакого улучшения, мы с мамой выехали из Вены в Лозанну. Но тут обнаружилось, что доктор Мермо отдыхает на итальянских озерах и ждать его приезда нужно около месяца.

Пансион, где мы остановились, был нам рекомендован мадемуазель Муше. Это была тихая, живописная вилла, содержимая двумя старыми девицами и специализировавшаяся на «русских гостях». Там была, когда мы приехали, худенькая, маленькая мадам Кадэ из Москвы, русская, замужем за французом, перекупившим кондитерскую Трамбле

на углу Кузнецкого моста. С нею был сын, смуглый и насупленный, с длинным, опущенным долу носом, — Леон или Лева, как звала его мать. Поскольку новый московский кондитер Октав Кадэ был французским подданным, сын его должен был отслужить положенное в армии в маленьком городке Монтелимар-Дром. До начала его солдатчины, как и до приезда знаменитого Мермо, оставалось больше трех недель.

Мадам Кадэ перед отсылкой сына во Францию проводила с ним прощальные часы в Швейцарии, а мы с мамой отсиживали это время до приезда Мермо в том же пансионе. Делать было мамаше с сыном и мамаше с дочкой нечего, мамы стали вместе вспоминать Москву, а сын и дочка сперва дичились. Дружба началась с того, что я съела его салат. Лева Кадэ переживал идейную драму и поэтому прочно наступил; драма состояла (как мы позднее узнали) в том, что он был толстовец и вегетарианец, и отбывать воинскую повинность, да еще в каком-то грозно звучащем Монтелимар-Дроме, было противно всем его пяти чувствам. И за обедом он напоследок, зная, что в армии с ним не поцеремонятся, с отчаянием поедал зеленые салаты. Эти салаты в больших мисках ставили вблизи его прибора. «Почем же я знала, — как винулась я после маме, — что вкусное дают только ему, а нам мясо да мясо?» Я тоже любила салаты и, чувствуя себя за столом полноправной, поскольку мама купила мне в Вене первый в моей жизни «костюм» — юбку и жакет из настоящего шотландского твида, — я придвинула к себе миску и съела весь Левин салат. Он пытался было сделать какое-то движение рукой в мою сторону, напомнившее мне вибрацию доктора Брауна, но мадам Кадэ остановила его: «Léon!» — и любезно пожелала мне кушать тоже по-французски. Хозяйка пансиона встала, засуетилась, принесла новую миску.

Первый роман в моей жизни, если это можно назвать романом, принес мне инстинктивное, а потом осмысленное знание одной важной вещи. Много лет спустя, читая английские проспекты прогулок на океанских пароходах, я там встретила малознакомое, очень частое слово «флиртэйшен» (на русском языке звучащее чуть посерьезней, как и вообще многие английские слова в переводе на русский оказываются тяжеловатей и серьезней английского смысла). Проспекты говорили: чудесная обстановка, шезлонги, вид на синюю безбрежность вокруг, покачивание — все так способствует «флиртэйшен»; уютный ресторан под зонтиками, со столами на двоих и вазами на столах — так приятно для «флиртэйшен»; музыка приглашенных паровой компанией оркестров баюкает и улаживает ваше «флиртэйшен», и когда вы приехали к месту назначения, так мило будет вспоминать проведенное в поездке время и полузабытые имена тех, кто участвовал с вами во «флиртэйшен»... В этих проспектах неведомо для составителей высказывалась очень мудрая вещь: безответственность, легкость, скоропреходящесть, абсолютная необязательность, никого ничем не обязывающая, в том обычном занятии, которое именуется словом «флирт». Английские романисты, как и составители проспектов, знали разницу между началом флирта и рождением чувства. Как глубоко и тонко проведена эта разница в классическом романе Джордж Элиот «Даниэль Деронда», — флирт героя с Гвендолен и рождение его чувства к Мириам!

Так вот, у меня с Лево́й Кадэ ничего, в сущности, не произошло, кроме романтического общения, поощренного моим воображением, а у Левы — простым фактом, что он был зрелый юноша и проводил день за днем с девушкой моложе него. Мы странствовали по Лозанне, читали вместе женевские издания Толстого в густом, начинавшем желтеть парке Лозанны, вместе ездили в Вэвэ, в Монтрё — живописные местечки вокруг, — взобрались однажды втроем, с Лево́й и моей мамой, на вершину Роше де Нэй, куда надо было карабкаться несколько часов, ноче-

вать в отеле на ее верхушке, а рано утром, не выспавшись, встречать восход солнца. Моя красавица мать была тогда хороший ходок, мы слевой прыгали, как козлята, вернулись на другой день в Лозанну тоже пешком, и добродушная хозяйка ахала и охала, как это могли мы, особенно «мадам ля патан», совершить такое грандиозное восхождение.

И наконец, перед самой разлукой, сказавшись только нашим обеим матерям, мы слевой съездили в Париж, провели там три дня, останавливаясь в гостинице Буйон-Дюваль, где вписали нас в книгу приезжих, спросив только фамилию Левы и подмигнув нам дружески: «мосье и мадам Кадэ». Я ровно ничего не переживала тогда, кроме азарта и восторга самостоятельности. Ни Лева, ни я ни разу не поцеловались. В Лувре, куда мы сразу пошли, мы деликатно опускали глаза в скульптурном зале, стесняясь голых аполлонов и венер. В Булонском лесу смотрели, как ездят верхом. На вершине Эйфелевой башни, повернувшись спиной к панораме Парижа, мы опускали монетки в автомат, отвечавший на вопрос «любит — не любит», — и было это, в сущности, все в нашем романе, если не считать формального предложения «руки и сердца», сделанного мнелевой перед самым его отъездом в Монтелимар.

Несколько месяцев мы переписывались, Лева посылал мне длиннейшие посланья, написанные не то гекзаметром, не то пятистопным ямбом, без всяких знаков препинания, — и знаменитую монтелимарскую нугу. Сестра Левы, Оля Кадэ, пришла в пансион знакомиться с невестой брата и понравилась мне больше Левы. Для этой хрупкой, с глазами газели девушки я исписала десятки страниц стихами, — на том, в сущности, и кончился мой первый в жизни «роман с помолвкой». Когда, еще в Лозанне, я поделилась с матерью своей «любовью к Левой», мама сказала мне:

— Это не любовь, а воображенье. Таких любовей у тебя будут десятки, — смотри, не принимай их всерьез, не трать на них время. Это как ветряная оспа — хотя зовется «оспа», но ветряная, — а любовь приходит большею частью только раз в жизни, и от нее ты почувствуешь прежде всего страданье. Потому что любовь — это встреча родного, забвенья себя, боязнь за другого, чтоб не случилось ему плохо, полная правда, никакого кокетства, никакой игры — судьба, одним словом.

Она говорила, а я мерила мысленно: чувствовала я страданье? Ни капли, только приятное ощущение. Был он родной — ни на йоту, совершенно посторонний. Забыла себя? Наоборот, все время помнила и носпудрила. Боялась за него? Ничуть. За Лину, за маму, даже за Катю с Лидой — если б что случилось, но за Леву — абсолютно нет. Говорила ему правду? Привирала, как в игре. Не кокетничала? — нет, кокетничала и даже ломалась. И никакая не судьба. Так отпал Лева, детский роман, который одарил воображенье только приятным ощущением флирта. Ощущением — не чувством. Вспоминаю я все это не для себя, а скорей для современного читателя, если интересно ему узнать об опыте другого человека в области очень сложной, в области самой главной для человеческой жизни. Потому что без любви нет благодатного открытия чужого «ты», нет того, что делает человека членом человечества, полным и настоящим человеком.

Мне очень страшно бывает сейчас за нашу молодежь, когда я сижу в кино и смотрю современные, привезенные к нам фильмы. Сказано было когда-то: соблазны должны прийти в мир, но жернов на шею тому, кто принесет в мир этот соблазн. Кому надеть жернов на шею, чтоб топить его, — сценаристу, режиссеру, актерам, когда они чуть ли не в каждом фильме дают поцелуй, имитирующий половой акт? Поцелуй, позорящий публично губы, учащий молодежь, школьников и детей своей страшной технике, так легко, через зримое действие, перенимаемой, где на глазах у сотен зрителей происходит убиение любви, перевод воз-

возможного личного чувства в возникающее безличное ощущение, а возможного счастья — в легкодоступное самодовлеющее наслаждение. С полной ответственностью, абсолютно правдиво могу сказать, что мое поколение, все, кого я знала вокруг себя как друзей и современников, не были знакомы с такой техникой поцелуя. Сужу по себе: я никогда и ни разу так не целовалась и надеюсь — в свои восемьдесят три года — уже никогда так не поцеловаться.

О любви писалось много книг. Я вовсе не ханжа и, например, книгу Лоренса о леди Чаттерлей считаю глубоко чистой, целомудренной, трогательной, потому что написана эта книга о любви-судьбе, о чувстве, зарождаемом между двумя именно этими двумя, «я» и «ты», — и о его трудном человеческом ступенчатом развитии. Хорошо написал о любви Стендаль. Он сравнил зародившееся чувство и его развитие с процессом кристаллизации. Это сравнение точное, показывающее органичность и неизбежность развития любви, как органичен и неизбежен процесс кристаллизации при соединении именно данного кристаллика с нужной ему питательной средой.

Но если перейти от такого разговора к Лозанне и к заграничным моим впечатлениям в возрасте шестнадцати—семнадцати лет, то поверх всего всплывает в памяти вовсе не личное, не беглый эпизод слевой, не краткий визит к доктору Мермо, осмотревшему мои уши и сказавшему: «Отосклероз, лечить невозможно, я зря получал бы с вас деньги, если бы принял за пустое леченье», даже не Париж. Всплывает общее понимание культуры, более повсеместной и устоявшейся, чем у нас в тогдашней России.

Вместо влажной, неприбранной красоты земли в лужах и растрепанного голубизной и облаками неба, какие сразу врезались мне в память от городского тверского ландшафта, напомнив картины Саврасова, тут, за чертой перехода в Западную Европу, было заботливое и расчетливое отношение к земле. Расчищенная, отсушенная, где чересчур мокро, увлажненная, где чересчур сухо, с кучками собранного хвороста в лесу на полянках, чтоб не мусорил землю, изрезанная аккуратными дорожками, а вдоль дорожек там и сям даже обласканная подобием грибов — беседками, подобием сваленного ствола — скамейками, — такой сразу же встретила меня земля Венского леса. А ведь у нас в Пушкине то и дело в болото провалишься или ноги наколешь в хворосте, когда пойдешь по грибы куда подальше, — невольно подумалось тогда.

И очень целесообразно построены были дома-коттеджи, гораздо больший, чем у нас, допуск воздуха в комнаты, не через форточки (еще далеко не всюду имевшиеся в России, особенно в провинции), а через все окно, не знающее зимней замаски. И нет лакейства в «коридорном», чистившем ваши башмаки. И как интеллигентная барышня, как студентка — ведет себя прислуга в швейцарском пансионе. Кончив работу, надевает перчатки, шляпку, снимает и складывает хозяйский фартук, — попробуй останови ее поболтать или дать порученье, когда прошло время службы. Все это мне было ново и все это нравилось. И очень нравилось строгое соблюдение времени завтраков, обедов, ужина. Это уже заложила во мне наша гимназия, — но дома! У подруг, у знакомых — какой хаос в распорядке дня, какие исключения для каждого... Помню, я написала об этом длинное письмо мадемуазель Муше.

Мне было больно, когда в разговоре со швейцарцами я в десятый раз слышала снисходительное определение России «гигант на глиняных ногах». Больно, когда я впервые натолкнулась на понятие национального богатства. Именно потому, что в России так широко раскинулись леса, где гнило и гнило множество хворосту, стоял сухостой и подрубался под корень свежий ствол; именно потому, что в реках у нас не жалели рыбу, а в садах фрукты, а деньги... деньги транжирились, текли,

где они есть, без скупости. Именно потому, что у пансионерок, дочерей фабрикантов, выбрасывалась на помойку испорченная провизия, привезенная из дому, а их отцы устраивали в Москве кутежи, когда в нее наезжали,— мне казалось, что Россия очень богата, разрывается от богатства. Именно потому, что хозяйки пансионеров, где мы жили в Европе, сквалыжничали над каждой копейкой, высчитывали каждый грош при покупках, оберегали чехлы на мебели, посуду в шкафах, словно золото какое-нибудь, и в магазинах нищего гнали с порога,— мне казалось, что Швейцария и Австрия — нищие, бедные страны. И вдруг авторитетные люди, в их числе русский инженер, живший в нашем лозаннском пансионе, открыли мне, будто все наоборот. Европейские страны—богатые, зажиточные, сытые. Россия — нищая, голодная, по шею в долгах; сотни тысяч умирают в ней от недорода, десятки тысяч сидят без работы или работают за жалкую плату... И я начала перед возвращением домой, где ждал меня первый революционный взрыв народа, понимать разницу между внешним представлением и реальной сущностью такого предмета, как экономика родной страны.

*(Продолжение следует)*



---

---

ГЕНРИХ БЕЛЬ

★

## СТИХИ

С немецкого

*Однажды Бёля спросили, пишет ли он стихи. Он ответил: «Я писал стихи... Некоторые я даже публиковал раньше под псевдонимом, тайком. В молодости я писал очень много стихов. Буду и дальше писать... Много стихов я уничтожил, но я все же пишу стихи. При этом я несколько робею»<sup>1</sup>.*

*Для большинства читателей это признание было неожиданным. На всех континентах земли, в самых разных странах есть множество людей, которые знают и любят Бёля — романиста, рассказчика, мастера своеобразной поэтической прозы. У него на родине и в странах немецкого языка знают Бёля — драматурга, автора пьес для театра, радио и телевидения, сценариста, критика, рецензента, публициста, переводчика, знают его как оратора, общественного деятеля, редактора нового перевода Библии... Но мало кто знает стихи Бёля, о них не упоминают даже составители библиографических справочников.*

*Стихотворения Бёля очень близки его прозе, родственны по духу и по словарю, но вместе с тем и существенно отличны от нее. В стихах его слово значительно свободней и отвлеченней. И хотя отвлекается оно от конкретных предметов действительности, но становится все более независимым от них, как бы освобождается от земного притяжения. В романах и рассказах действительность образует собственно художественную материю — судьбы персонажей, их быт, поступки, отношения, мысли, язык... А стихи — это вытяжки из действительности, перегнанной и очищенной настой, спирт. По-немецки, так же как по-латыни, спирт означает еще и д у х: spiritus — geist.*

## Моя муза

Моя муза на перекрестке  
отдает задешево любому  
то, чего я не хочу.  
Но когда она веселится,  
она дарит мне то, чего я хотел бы.  
Только редко я вижу ее веселой.

Моя муза — монашенка  
в сумрачной келье,  
она своему жениху  
замолвит словцо за меня.

Моя муза — работница на заводе.  
После рабочего дня  
ей хочется идти со мною на танцы,  
но после рабочего дня  
у меня уже нет времени.

---

<sup>1</sup> Телевизионное интервью. Передавалось по кёльнскому телевидению 21 декабря 1967 года.



Моя муза — старуха,  
она колотит меня по пальцам  
и хрипит морщинистым ртом:  
тщетно, дурак, тщетно.

Моя муза — домохозяйка,  
но в шкафу у нее  
не белье, а слова.  
Изредка лишь отворяет она этот шкаф  
и выдает мне одно из слов.

Моя муза — прокаженная,  
такая же, как я.  
Мы целуемся и  
слизываем с губ друг у друга  
снежно-белую сыпь,  
а потом уверяем, что мы чисты.

Моя муза — немка  
и не может никого защитить.  
Но когда я купаюсь в крови дракона,  
она рукой прикрывает мне сердце,  
и поэтому я раним.

## 1. Кёльн

Если прислушаться к подземным  
каналам канализаций,  
можно услышать  
там, в лабиринтах  
под городом:  
по грудам сора, по осколкам костей,  
спотыкаясь, плетется Мадонна  
вслед за Венерой,  
пытаясь ее обратить.  
Тщетно.  
Тщетно сын ее преследует Диониса,  
тщетно Гереон<sup>2</sup> преследует Цезаря.  
Насмешливый хохот  
можно услышать,  
если прислушаться к этим каналам.  
Мрачную мать  
история  
не украшает,  
грязь ей  
очень к лицу,  
там, в лабиринтах  
под городом,  
сводничает она —  
с Дионисом сводит Мадонну,

<sup>2</sup> Гереон — местный кёльнский святой; римский офицер, христианин и мятежник, погибший во время восстания легионов, располагавшихся на месте нынешнего Кёльна (IV век н. э.).

сына ее сочетает с Венерой,  
Герона и Цезаря  
побуждает вступить в союз  
и себя самое она сводит  
с каждым, кто звонкой монетой богат.

## 2. Кёльн

*Посвящается Грисхаберу<sup>3</sup> в день 3×20.*

Она не верит в длительность  
и длится так долго,  
вечно-вечно.  
Святой, святой  
она не хочет быть.

На костре из разломанных епископских посохов  
она варит свой супчик,  
в котором замешаны  
слезы,  
пепел святых,  
кровь шлюх,  
жир мещан,  
размозженные кости соборных владык.

Кистью  
из волос Мадонны  
она малюет проклятья  
на останках стен,  
там, глубоко-глубоко  
под собором,  
она заклиняет его,  
она любит его,  
а он ее нет,  
и всегда, и всегда  
он мимо нее течет.

\* \* \*

Ангел, если ты его ищешь,  
он — земля  
между камнями высокой горы,  
но воспрянуть готов,  
если ты его окликнешь,

если ты его окликнешь  
не властно,  
не величаво, свысока,  
окликни его как брат,  
если ты его ищешь.

---

<sup>3</sup> Хельмут Грисхабер — художник, график, друг Бёля (в 1969 году ему исполнилось шестьдесят лет).

Он был германцем, иудеем, христианином,  
теперь он земля для терна, для фуксий, для дрока  
между камнями высокой горы,  
если ты его ищешь.

Если ты найдешь его, ангел,  
сотвори его вновь  
не из крови,  
не из желчи,  
а из слез  
и нескольких капель рейнской воды,  
сотвори его вновь,  
если его ты найдешь.

*Перевел Лев Копелев.*



---

---

ЛЕОНИД ЛИХОДЕЕВ

★

## Я И МОЙ АВТОМОБИЛЬ

*Роман-фельетон*

ЧАСТЬ I

«ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ»

От автора

**В**о двор въезжает катафалк. Должно быть, это за мной. Он въезжает не торопясь, как не торопятся к последнему делу, которого все равно не избежать. Три дорожки начинаются у въезда в наш двор. Катафалк выбирает правильную. Он точно выбирает куда ехать, потому что никто на свете не знает дорогу лучше, чем катафалк, последняя колесница.

Сложно устроена жизнь, если над нею задуматься, ибо если над нею не задумываться — она устроена гораздо проще. Она состоит главным образом из надежд и крушений. Но этот весьма скудный набор мало кого устраивает. Он вызывает суетное желание найти в жизни еще какую-нибудь составную часть.

Бывало, сочинитель книги Экклезиаст махал рукой на это дело. Он как-то облегчал свою задачу. Все, мол, суета сует, не более того. Есть, мол, время надеяться и время разочаровываться, есть, мол, время собирать камни и время бросать их. И все. Познание, мол, умножает скорбь, и поди разбери что чего умножает...

Я тоже не пытаюсь разобраться в этом.

Я нетерпеливо вглядываюсь из своего окна в катафалк и пытаюсь прочесть белые трафаретные буквы под черной каймой на заднем его борту. Я вглядываюсь в них как в скрижали своей судьбы и ничего не могу разобрать. Снег, холодный снег, навалившийся за ночь на наш двор, ослепляет меня своей незапятнанной чистотой.

Утро началось крушением... Поезд бытия спотыкался на стыках чередований. Все предопределено, и случая не будет...

Но в том-то и дело, что именно в это время — где-то совсем рядом — случай допивал свой утренний чай. Он допивал чай, доедал «ветчинно-рубленую» колбасу и надевал ушанку голубого искусственного меха, завязанную на темени желтыми шнурками. Он надевал ватник и, хлопая белесыми ресницами, выходил на большую дорогу доставлять надежду отчаявшимся.

---

Печатается в журнальном варианте.

Надо быть твердым. Надо всегда быть твердым до конца. Медные тарелки оптимизма лежат в нашей душе, как в чулане. Звонкие тарелки ждут своего часа, и горе тому, кто позабыл, чем владеет.

Похоронная колымага везет мне удачу.

Из катафалка выскакивает мой приятель Генка. Когда-то он взял у меня червонец, чтобы достать полуось. Теперь он старается не напоминать о червонце, чтобы не огорчать меня... Он задирает голову в голубой ушанке и машет мне руками. Он ухмыляется сладостной улыбкой избавителя, и белесые ресницы трепещут на его кирпичном лице. Он пристраивает рукавицы рупором ко рту и орет на весь мир:

— Главное — не тушеваться!

Он совершенно прав. Похоронная колымага ждет, обратив ко мне свой гостеприимный зад.

Мне пора. Медные тарелки цокают марш. Я тороплюсь, подгоняемый гражданским чувством коллективизма. Катафалк принадлежит не мне одному, и времени, отпущенного на меня, у него в обрез.

Незнакомый шофер возится у широкой задней дверцы. Сколько они с меня сдерут за возвращение надежды?

Носом к катафалку стоит мой старый автомобиль, холодный и неживой. Генкина ватная спина торчит из крокодильей пасти раскрытого капота. Незнакомый шофер ладит трос...

Катафалк начинает движение с привычной величавой медлительностью и вдруг неприлично срывается с места и мчится вокруг заснеженного садика, ревя на поворотах и швыряя мой автомобиль из стороны в сторону. Автомобиль не отцепляется. Он прочно прицепился к хвосту последней колесницы. Катафалк бешено кружит его по двору.

Ах, Генка, мой ангел-хранитель из коммунхозовского гаража! Откуда ты знаешь, что я барахтаюсь в омуте беспомощности? Как ты узнаешь, что иссякло время надежды и наступило время отчаянья?

Я не люблю, когда кто-нибудь смотрит, как я завожу свой автомобиль, когда нескромный взор проникает в нашу интимную жизнь.

Мимо нас спиной к ветру ковыляет на негнущейся ноге Яков Михайлович Сфинкс, мой старый школьный учитель истории.

— Ты всегда был легкомысленным мальчиком, — говорит он, — сейчас ты столкнешься с какой-нибудь машиной... И будешь платить за ее ремонт!

— Яков Михайлович! Не мучьте меня. Скажите мне лучше — все ли на свете предопределено?

— За один такой вопрос тебе полагается двойка, — отвечает он.

Я выпрямляюсь, ручка звякает о холодный бампер. Яков Михайлович ковыляет дальше, притопывая по-стариковски.

Мимо нас с автомобилем шествует большой активный пенсионер Григорий Миронович. Он идет, не боясь ветра, отдуваясь апоплексическим здоровьем. Он несет набитую авоську. Выпученные глаза его слезятся поздней слезой.

— Возитесь все, — отдувается он. — Машина должна иметь гараж. Инвалиды имеют право на гараж. А вы не инвалид. Имеет тот, кому положено. А вам пока не положено... Иметь частный автомобиль — это типичная отсебятина...

И он влечет свою авоську вперед сквозь ветер и мороз...

...О время, отпущенное нам для чередования надежд и крушений, но уходящее на заводку автомобиля!

Надо работать. Работать-работать, как говорили древние римляне. Любили они складно разговаривать. Что ни слово — то латинская поговорка. А недавно один римлянин сказал мне:

— Автомобиль — двигатель прогресса!

Такую латынь можно было сморозить, только разомлев в теплом гараже.

Таково было утро. Но и оно прошло, как проходит все на свете. Я выхожу на мороз и вдыхаю чистый озон, едва тронутый маслянистым духом отработанного бензина.

Во дворе, переминаясь с ноги на ногу, небольшая толпа наблюдает за странными похоронами.

— Кто, не знаете?

— Да этот... С десятого этажа... С однокомнатной...

— А автомобиль зачем таскают?

— Так он же был одинокий...

— А... Значит, так их и повезут обоих?

— А куда ж машину девать?..

Я появляюсь весьма стеснительно.

— А вот и он сам,— говорят в публике с уважением.

Кто-то вздыхает от сомнений. Кто знает, как это все понимать.

Генка льет дымную воду и, глядя на меня, отчаянно хлопает белыми ресницами и улыбается во всю кирпичную физиономию:

— Главное — не тушеваться. Теперь можно и за бутылкой ехать.

Это уже намек. Генка деликатен.

Я роюсь во всех своих многочисленных карманах, наскребаю рубля на полтора мелочи и копеек на семь табачных крошек. Я честно гляжу Генке в светлые глаза.

— Вот все, что у меня есть, Гена.

— Маловато,— говорит он, принимая мои сбережения.— Шоферу надо дать. Новый парень.

— То-то я смотрю — незнакомый,— говорю я, стараясь перевести разговор.

— А он у нас раньше работал,— охотно поясняет Генка.— Потом в седьмой базе был на самосвале. Но не понравилось. А у нас лучше — тихое дело. Отвезешь — и в гараж.

— Да, да, конечно. У вас дело тихое...

— Надо вам провода менять. Когда аккумулятор переберем — поменяем провода. Катушку нужно новую, акселератор, тяги...

— Гена, мы же недавно делали ремонт...

— А время не стоит. Ну, давайте еще рубль...

— Нету,— говорю я,— ни копы...

— Ну займите...

И тут я не выдерживаю:

— Генка, ты нахал! Где червонец за полуось?

Он не обижается:

— Ладно, разочтемся, главное — не тушеваться.

Автомобиль ревет, вызывая активную жалость: Из выхлопной трубы катафалка струится тихий упокойный дымок. Публика расходится, не дождавшись выноса тела. На заднем борту катафалка белеет трафаретная цитата из автодорожных правил: «Соблюдай дистанцию». Вот они, сжирали моей судьбы...

Я оставил Генку с его новым сослуживцем и поехал со двора. Повернув за угол, остановился возле магазина купить папирос, но тут же вспомнил, что у меня нет ни копейки.

Однако было уже поздно. Прямо перед радиатором вырос хороший, синий, крупный милиционер. Он посмотрел на меня довольно безразлично, отрекомендовался и потребовал шоферские права.

— А что случилось? — спросил я, роюсь в кармане.

— Знак «остановка запрещена».

— Неужели? — удивился я. — Наверно, только повесили.

Я лукавил. Знак висел здесь уже сто лет. Милиционер не возражал — понесли так повесили. Осмотрев мои незапятнанные документы, ловко держа их большими рукавицами, как клешнями, он сказал:

— Что ж вы так? Штраф. Колоть жалко...

Сейчас он снимет свои теплые меховые рукавицы и утратит добродушие. Холодно.

— У меня нет денег, — сказал я и пожалел. Надо было раньше. Если бы я признался в своей несостоятельности до того, как он снял рукавицы, он бы отпустил меня. Но гордыня меня погубила. Руки милиционера зябли. Им нужно было срочно что-нибудь делать. И он вытащил из дальнего кармана, запрятанного в тайники полушубка, маленькие инквизиторские щипцы.

— Инспектор, — сказал я. — Денег действительно нет...

— Работать надо, — спокойно посоветовал он, возвращая мне проколотый документ...

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Эти тягучие переключения светофоров всем шоферам надоели.

Гаснет красный свет, потом долгу горит желтый, как резину тянет. Горит, горит, черт знает сколько времени он горит. Машины, конечно, переминаются с колеса на колесо, поревывают — надо бы ехать, а зеленого все нет. Конечно, мало кто этого зеленого дожидается. Зажжется, мол, — куда ему деваться...

Анютка подлетела к перекрестку лихо, как раз к концу красного света, и, не дожидаясь, пока он весь выгорит, чуть сбросила новенькой туфель газ. Новенькие туфли, даже не туфли, а как бы дамские полуботиночки — теплые, с баечкой — мечта! Такие, знаете, на микропорке с задничком, ловко сидели на ноге, будто по ней и шились. Будто специально для женщины-автомобилиста, то есть именно для Анютки. А машина Сережкина всегда исправна, как зверь — что ни прикажешь.

Анютка торопилась. Ботиночки пришлось впору, и надо было срочно отвозить деньги. Потому что Катька сказала — если не подойдут, она кому-нибудь отдаст. Катьке до зарезу нужны были деньги. Анютка это понимала. Это было дело чести. Действительно, Катька сколько раз выручала ее — и дубленку Сережке достала, когда нигде ее не взять. Сегодня у Анютки отгул. Но это ничего не значит. Катька все равно ждет на работе...

Филипп Филиппыч шел с собрания. Вышел из полуподвала дома шестнадцать, где помещается контора домоуправления. В ней, в конторе, и происходило собрание жэковской организации.

Повестка дня — разное. Больше насчет порядка во дворах. Насчет своевременной чистки. Поскольку поздно приезжают машины к мусоросборникам. А также насчет автомобильных стоянок. Потому что легковых машин по дворам развелось, как клопов. Из окна выглянешь — действительно как клопы. Прижались к бровке, ровно к щели дивана, стоят, не дышат, будто таятся.

Филипп Филиппыч переживал эти вопросы всей душой. После собрания долго не отходил сердцем, терзал себя, пересказывал речи-реплики, жалел, что меткое слово припоздало — его бы вовремя сказать, может, все бы иначе и повернулось. Потому что решать проблемы надо загодя, чтобы они нас не задушили впоследствии по нашей же нерасторопности.

...С машинами, конечно. проблема. Раньше одного товарищеского

суда за глаза хватало, чтобы закрыть ворота во двор и никаких собственных машин не пускать. Купил машину, ну и держи ее подальше, нечего дворы загораживать, детям угрожать и воздух портить. Тем более неизвестно, на какие деньги ты ее купил.

Тут же был задан вопрос товарищу из жилуправления — как быть? И этот товарищ собственноручно доложил, что есть такое решение насчет послабления собственникам. Есть, мол, такое решение — строить гаражи, если общественность не возражает.

А если возражает? Это Филипп Филиппыч спросил. Товарищ дает ответ: если возражает — разъяснять. Тем более строится много новых автомобильных заводов.

С этими мыслями, будто еще присутствуя на собрании, Филипп Филиппыч продолжал движение через проезжую часть. И сосала его досада под самой ложечкой по второму вопросу. Никак не мог он понять, почему это люди, на вид здравомыслящие, не желают с ним соглашаться! Сколько голов — столько умов. Умов! Нам нужен один ум! Чтобы толк был! Нужно поменьше разводить демагогию, а делать свое дело, каждый на своем участке. И надо принять срочные меры, чтобы ум был один, а не сколько кто захочет. Вот машин развелось—это же ужас! Куда столько? Зачем? Кому надо? С кого пример берем? Надо, чтобы с нас пример брали, а мы тянемся — смешно сказать... Заводы строим. Для чего? Видать, в правительстве тоже кое-чего недоучитывают!

При этих мыслях Филипп Филиппыч ужаснулся своей смелости и даже оглянулся вокруг. Кругом летели машины. Летели—как с цепи сорвались. Филипп Филиппыч вздрогнул и взял себя в руки: а пускай! Чего мне бояться?! За мною — всю жизнь ничего, кроме патриотизма, не значилось. Можете автобиографию проверить!..

Эта мысль как-то примирила Филиппа Филиппыча с действительностью, но не утешила. Это что же выходит — опять собственность? Опять частнособственнические инстинкты? Товарищ из жилуправления спрашивает: «Телевизор у вас есть?» Ну, есть. «Холодильник?» Ну, есть. «Так и автомобиль будет!» Сравнил! То телевизор для культурного отдыха или холодильник для нормального питания (у Филиппа Филиппыча с печенью были нелады), а то — машина. На машине можно деньги зарабатывать извозом — этого он не учел, правовед. На ней можно разлагаться, если, конечно, использовать в личных целях. Если всем будет положена машина — кто же тогда пешком будет ходить! «А почему государство продает?» А черт его знает, чего оно продает!

Тут Филипп Филиппыч даже не ужаснулся, а вроде бы как-то осмелел. Таковую он вдруг почувствовал смелость впервые в жизни, что готов был немедленно, сей минут, едва выбравшись из этого потока бессмысленных, фырчащих, смердящих, несущихся с ревом и визгом машин, готов был немедленно, едва выбравшись из этого ада, идти напролом, в центр, в правительство и сказать все! Все выложить! И пускай знают и про машины, и про товарища из райжилуправления, которому лишь бы галочку поставить.

Филипп Филиппыч вдруг как-то взлетел в воздух, подкинутый стопудовой болью, и удивленно сообразил, что боль эта — последняя.

Анютка вдавилась тufельками в педали, зажмурила побелевшие глаза, закричала и не поверила, что остановилась. Завизжали тормоза, засвистели в три ручья милиционеры, публика рванулась с тротуара к Анюткиной машине...

Анютка все еще сжимала баранку, изо всех сил упираясь ногами в педали. Мотор заглох. Где-то совсем рядом взвыла сирена «скорой помощи». Инспектор открыл дверцу, посмотрел на съезжившуюся Анютку:

— Ну... Долго будем сидеть? Выходи...



Анютка боялась отпустить педали и руль.

«Скорая помощь» пробралась сквозь толпу — белая машина, фургон. Выбежали санитары в белых халатах, склонились над чем-то.

— Готов! — закричали в толпе.

— Насмерть, не дышит!

Подлетела желтая мотоциклетка. Три милиционера соскочили на асфальт.

— Граждане, продолжайте движение... Не скопляйтесь...

«Сейчас в тюрьму, — подумала Анютка и вылезла из-за руля, отлепив туфли от педалей. А Катька ждет денег!»

— Оказывается, баба, — внятно сказали рядом.

Кто-то закричал запоздало:

— Старика убили! Старика убили!

— Он тут рядом живет, старик. Он домой шел!

— Права у ней отнять надо!

— За убийство — расстрел!

— Он сам виноват... Он не по дорожке шел, из-за автобуса!

— Посадят ее лет на восемь — будет знать, как ездить!

— Граждане, продолжайте движение, идите куда шли...

— Я свидетель, я видел — она сто километров летела!

Санитары подняли носилки, сунули в фургон, «скорая помощь» взвыла и уехала.

— Сейчас кровь смывать будут, — четко сказали в толпе, — здорово она его размолола...

Милиционеры мерили рулеткой асфальт. Двое мерили — который прибыл на мотоцикле и инспектор. Остальные двое уговаривали толпу. Уговаривали как бы нехотя, без строгости. И то, что они уговаривали без строгости, как-то повлияло на Анютку, вселяя в нее надежду — авось обойдется.

Толпа расходилась, некоторые машины тоже стали отъезжать, медленно огибая место происшествия. Анютка вздохнула, стала соображать яснее. Неужели не обойдется?

К милиционеру подошла гражданка в болгарской дубленке, в такой, как Катька Сережке достала, только дамской, в руке авоська с надписью «Аэрофлот», у Анютки таких две штуки — Сережка привез.

Подошла серьезно, как по делу. Сказала строго:

— Запишите мой адрес... Я все видела... Это убийство...

И сказала адрес, мельком взглянув на Анютку. И от этого взгляда Анютка поняла, что пропала.

Милиционер записал адрес, спросил:

— Еще кто?

— Меня запишите, — сказал дяденька в каракулевой шапочке пирожком. Шапочка такая смушковая и воротник такой же на синем пальто. — Запишите, — повторил дяденька и, нехорошо усмехнувшись, добавил: — Больно разъездились...

Инспектор тронул Анютку за плечо. Анютка сжалась: «В тюрьму?!»

— Водитель, отведите машину на резервную зону. Водитель, слышите?

— Шок у нее, — громко сказала гражданка в болгарской дубленке и пошла на ту сторону.

— Ничего, там вылечат и шок, — пообещал дяденька в смушковом пирожке и тоже пошел.

Какая-то женщина в пуховом платке хохотнула:

— Вылечат! Раньше лечить их надо! Старика-то небось уже не вылечат!

Анютка повернула ключик, машина дернулась — была на сцеплении. И то, что она была на сцеплении, вернуло Анютке сообразительность.

— Не поеду на резервную... Здесь мерьте!

— Уже промерили,— сказал инспектор,— ведите.

— Сами ведите, не поведу,— уперлась Анютка. Ей казалось, что машину нельзя трогать, что в этом ее спасение.

— Отъезжайте на резервную! — рассердился инспектор.— След промерен.

Анютка послушно отжала сцепление, завела мотор, отъехала, куда указано. Остановилась, вылезла.

— Граждане, продолжайте движение! Гражданка!

Толстая тетка в пуховом оренбургском платке возмутилась:

— А чего! Чего продолжать-то? Может, я тоже все видела, как она на него со всей скоростью...

— Так ты, тетка, запишись в свидетели,— подначил парень в поролоновом ватничке.

— И запишусь! Чего мне бояться!

— Запишись! Запишись, тетка, прояви свой гражданский долг.

— И проявлю! Пишите меня, товарищ милиционер! Пишите мой полный адрес! Надо им показать, как ездить!

Анютка просительно взглянула на парня в ватничке.

— Я бы с удовольствием,— осклабился парень,— но у меня нет адреса, красotka. Я бы скорее взял ваш телефончик, но, наверно, вас долгое время не будет дома...

Милиционер записал женщину в платке и вдруг обернулся к парню:

— Ваш документ...

Парень испуганно улыбнулся, стараясь держаться нахальнее:

— По-жа-луй-ста...

И полез за пазуху. Но милиционер не стал дожидаться документа:

— Проходите, гражданин, нечего зубы скалить, проходите...

Парень осмелел:

— Я не могу быть свидетелем, я — заинтересованное лицо. С одной стороны, она мне нравится, а с другой стороны, она наехала на папашу с полным нарушением правил уличного движения. До свидания, крошка, тише едешь — дальше будешь.

И ушел.

— Что! — закричала ему вслед тетка в оренбургском платке.— Испугался? Испугался, тунядец! Стиляга!

— Гражданка,— строго сказал милиционер,— успокойтесь, вас вызовут, продолжайте движение...

— А чего мне продолжать? Я всякому скажу, как было дело. Вы, товарищ милиционер, напрасно его отпустили! У него, наверно, у самого машина есть — папочка купил! А еще издевается, паразит, телефончик ему! Она, бедная, жизни не рада, а он — телефончик! Кобель!

Инспектор составляет протокол.

Анютка прислонилась к машине, руки на дверцу, лоб на руках.

«Потерпевший был сбит в 4-х метрах от линии резервной зоны передней частью автомашины № 39—69».

Машина стояла одиноко, вокруг неслись другие машины — цельные, свободные, не записанные в протокол.

Наконец милиционер предложил Анютке подписать бумагу. Она подписала не глядя. «Неужели отпустят?»

— Ваши права задерживаем. Следуйте к месту жительства... Вас вызовут... Очнитесь, гражданка!

## От автора

Если автомобиль не хочет заводиться, а его к этому принуждают — он сопротивляется. Он начинает защищаться. Он отбрыкивается в пределах самообороны.

Но почему он не хочет заводиться? Что понуждает его к сопротивлению? Какая тайна дремлет в его холодной металлической душе?

Я сунул в него ручку, но ему не до меня. Он оттолкнул меня раз, оттолкнул два, три... Он выплевывал из себя холодную невкусную ручку. Потухшие фары его укоризненно стыдили меня.

Что-то ожидает нас за воротами — не иначе. Что-то неотвратимое, неприятное, может быть, даже роковое. Но что?

Мимо нас с автомобилем ковылял на негнущейся ноге спиною к ветру Яков Михайлович Сфинкс. Он остановился.

— Сегодня ты обязательно попадешь в аварию.

Я взглянул в холодные фары. Они не выражали ничего, кроме укоризны. Но может быть, Сфинкс преувеличивает? Интересно проверить — оправдается ли его зловещее предсказание? Тем более он сам отрицает, что все предопределено. Тем более сегодня выходной. Тем более я ведь собирался ехать к одной знакомой...

Мне показалось, автомобиль изо всех сил старается предостеречь меня от несчастья. Он любил меня. Иначе нельзя было объяснить его поведение. Когда Сфинкс проковылял мимо, автомобиль поднатужился, содрогнулся, и я мгновенно почувствовал, как сноп искр влетел в кисть моей руки и вылетел из глаз.

Когда человеку предстоит сломать себе руку — он обязательно ее ломает.

Вероятно, искр было много и разлетелись они со сказочной скоростью и часть их догнала Сфинкса, который резко обернулся и закричал:

— Что ты наделал?!

— Яков Михайлович, — сказал я испуганно. — Я, кажется, совершил некрасивый антиобщественный поступок... Я сломал себе руку... Извините меня...

— Держи перелом! — закричал Сфинкс и подскочил ко мне, взмахнув черными крыльями.

— Замерзнет вода... Слейте воду из мотора, у меня заняты руки, — сказал я, послушно держа правую кисть.

Я заботился об автомобиле. Он вел себя как настоящий друг. Он спас меня от возможной аварии. Он сделал все что мог. Вместо того, чтобы платить за ремонт чужой машины, в которую мне предстояло вмазать, я автоматически поступал на государственное обеспечение, получив травму. В этом все-таки была разница. Автомобиль понимал, что лучше получать деньги сломанной рукой, чем отдавать их целой.

Есть время собирать камни и время прятать их за пазуху... Сфинкс, чертыхаясь, слил воду и потащил меня к себе — звонить по медицинским каналам.

— Мой ученик сломал себе руку! — кричал он в телефон.

Я сидел у него в коридоре на стульчике, и вокруг меня были книги. Они были на стенах, в шкафах, на полу, а иногда мне казалось, что и на потолке. Сфинкс звонил, разнося по свету новость, касающуюся лично меня. Он звонил, а я довольно остро чувствовал, что время держать рукой прошло и наступило время держать руку.

— К следующему разу, — проворчал Сфинкс, бросая трубку, — я пройду по самоучителю краткий курс патологической анатомии. Пошли! В конце концов, такие новости лучше сообщать явочным порядком.

И он был прав, потому что в травматологическом пункте, куда он меня приволок, я попал в компанию лиц, от которых узнал много нового для себя, не сказав ничего нового о себе. Я присел рядом с человеком, чья голова была забинтована, а глаза лучились знанием предмета.

— Правая? — спросил он.

Я не скрывал.

— Да,— знающе сказал сосед,— везет людям. А у меня — только голова, да и то не сильно...

— Как же это вы?

Он прокашлялся, как перед докладом.

— Ну, приехал я с ездки. Трое суток в дороге. Ну, конечно, тяпнул. А дальше не помню. Дальше помню, только врач говорит — хорошо, что тяпнул, а иначе было б плохо. Болевые ощущения были бы гораздо больше, говорит. Вот и поймите — хорошо пить или плохо. Бывает такое время, когда пить аккурат хорошо.

Да, да... Время пить и время не пить...

— Но это если предвидеть, что случится,— заметил я.

— Вот и я говорю,— согласился собеседник,— что хорошо предвидеть все заранее! У вас травма редкая, замечательная травма! Что вы! Правая рука, да в таком месте! Минимум два месяца в гипсе будете! Я посмотрел на свою правую руку и почувствовал прилив честолюбия.

— Вы застрахованы? — спросил сосед.

— Увы,— сказал я.

— Ну и что,— легко ответил он,— это не важно, была бы травма! Вот у меня знакомый есть, в Малаховке живет. Он всего только левую сломал. Так под это дело он себе крыльцо новое поставил и забор починил. Ей-богу! А у вас правая! Такое не часто случается! Нет, вы этого дела так не оставляйте!

— Как же не оставлять,— неожиданно засуетилась сидящая рядом суровая старуха, которая держала свою руку несколько на отлете, как будто показывая рост Наполеона Бонапарта.— Как же не оставлять, ведь он же незастрахованный?

— Ну и что ж незастрахованный,— сказал сосед.— Откуда он знал, что ему такое привалит?

Суровая старуха прониклась ко мне особым сожалением. Ей, видимо, очень хотелось, чтоб я поставил себе новое крыльцо или, по крайней мере, починил забор.

— Как же ему быть-то теперь? — спросила она соседа.

Сосед посмотрел на старуху понимающе и даже несколько пренебрежительно и сказал:

— А профсоюз на что, а организация на что, а родной коллектив на что? Травма же производственная!

Старуха стала участливо сомневаться. Как же, мол, производственная, если — выходной день? Но сосед не допускал ее до сомнения.

— Всякая травма производственная,— твердо сказал он.— Всякая, если заявление, конечно, правильно написать. Можете заявление написать? А нет, так я вам помогу. Тем более что у вас правая рука. И докторша сегодня дежурит добрая — напишет, что производственная. Эх, как подфартило!

Дама, носившая нейлоновый чулок на левой руке, ждала и вдруг быстро-быстро заговорила:

— У меня, видите ли, вторая группа инвалидности. Так что, понимаете ли, меня на работу могут и не взять, потому что обо мне заботятся и пенсию мне дают. А работать мне надо. Вот я работаю, а сама думаю, как бы не попасть на бюллетень, потому, если на бюллетень я попаду, меня вполне могут уволить, поскольку у меня вторая группа инвалидно-

сти. И тут я стала маяться чирьями. Ну, маюсь и молчу, потому что до пенсии-то мне еще три года доработать надо. А мне говорят — можем вполне уволить, потому что забота о вас уже есть, потому что у вас вторая группа инвалидности. Когда сижу я третьего дня и думаю, и думаю, как бы это чирья свести. И так мне мерещится, что по столу таракан бежит. Я за этим тараканом — раз, да рукой в чайник!

— Какая степень ожога? — строго перебил сосед.

— Третья, третья, — жалобно ответила дама.

— Ерунда. И вам повезло! Неделька делов, до инвалидности дело не дойдет. А вам, — обратился ко мне сосед, — два месяца. Шутка, два месяца!

## ГЛАВА ВТОРАЯ

«Расследованием установлено:

Гражданка Сименюк Анна Ивановна управляла технически исправной машиной марки «Москвич-407», № 39—69, принадлежащей ее мужу Сименюку Сергею Васильевичу, и передней частью ее сбила пешехода Прохорова Ф. Ф. Доставленный Прохоров Ф. Ф. скончался.

При внимательном наблюдении за проезжей частью, правильно избранной скорости движения автомашины и своевременном принятии мер к остановке ее Сименюк А. И. имела техническую возможность для предотвращения наезда даже при неосмотрительных действиях пешехода Прохорова Ф. Ф. Допущенное обвиняемой Сименюк А. И. нарушение статей 3, 4, 41 правил движения находится в прямой причинной связи с наездом на Прохорова Ф. Ф. и причинением ему смертельных телесных повреждений, а поэтому в действиях Сименюк А. И. содержится состав преступления, предусмотренного ч. II ст. 212 УК».

Добравшись до дому, Анютка почему-то стала наводить в комнате порядок. Она все еще удивлялась, что была на свободе, и ей казалось, что вот-вот придет «черный ворон» и увезет ее в тюрьму. А Катька ждала, и Анютка не знала, как быть: боялась звонить подруге. Ни детей, ни Сережки дома не было. Как он будет справляться с детьми, когда ее посадят? Анютка понимала, что свекровь, конечно, не бросит внуков, но как это обернется, где они будут жить постоянно — дома или у бабки? Как они вырастут без матери? Когда она вернется, Мишутка уже будет заканчивать школу, а Ирка пойдет в шестой, нет, в седьмой класс! Анютке почему-то казалось, что посадят ее на восемь лет. Почему на восемь — она не могла бы объяснить, если бы даже у нее спросили. Может быть, потому, что цифру эту она запомнила яснее всего. Но она твердо знала, что посадят ее ровно на восемь лет.

Восемь лет! Мишутке сейчас десять. Это большую часть своей жизни сыночек проживет без матери. Узнает ли он родную мать? За Ирочку она почему-то беспокоилась меньше. Она девочка. Она, конечно, будет вспоминать свою родную мамочку.

Анюткины глаза повело слезами. Ей было жаль детей, и себя, и Сережку, который будет ходить невымытый-нечесанный. Как же он останется без жены? А она, Анютка, находится там, об этом и подумать страшно, а не то что жить. Кем же она там будет? По специальности? Телефонисткой? Нужны там телефонистки, как же! Там и без телефонов, наверно, не соскучишься. И Катьке надо отдать деньги за туфли, которые уже ей совсем ни к чему...

Она будет там. А он? Сережка, муж? Неужели он так ничего и не сделает, чтобы ее выручить? Ну хотя бы ради детишек, чтобы не лишать их родной матери? А что он сделает? Ничего он не сделает. Обойдется. Ему даже лучше. Будет свободный. Захочет — так заживет, не захочет — женится. Свекровь ему поможет в этом вопросе, когда надоест с детьми возиться. Мачеху возьмет!

Эта мысль ударила Анютку беспощадно, как бампером со всего разбегу. Анютка сотряслась от ужаса и заплакала в голос, не заплакала — заревела, завывала. И бросилась из последних сил на тахту умирать от отчаянья.

А для смертельного отчаяния были у нее все основания, ибо вот уже два с половиной месяца, проживая под одной крышей в коммунальной квартире, Анна Ивановна и Сергей Васильевич Сименюки находились в состоянии расторгнутого брака и официально супругами не значились.

— Ма-а-чеху возьмет! — закричала Анютка и, заколотив кулаками о подушку, вдруг стихла и вроде бы даже вмиг уснула.

Сергей Васильевич Сименюк, войдя в комнату, первым делом строго спросил:

— Почему фара разбита?

Анютка дернулась и зарылась носом. Плечо дрожало от слабого плача. Сергей Васильевич удивился:

— Анютка! Ты что? Вмазалась? Чего ты реवेशь? Заменим мы фару — делов! И крыло выстучим. Там немного, не расстраивайся...

Анютка продолжала плакать не поворачиваясь. Сергей Васильевич постоял, подумал, вздохнул и пошел на кухню. Черт их знает, баб! И чего ревет! Ну, бывает, конечно. С кем не бывает? Водит она замечательно. А может, это в нее кто-нибудь вмазал? Вмазал и уехал — ищи его теперь. Сволочь, конечно. Но как-то интересно вмазал: фары нет и бампер погнул. Чем же это он так? И, не дойдя до кухни, Сергей Васильевич накинул пальто и вышел из квартиры, стремясь поскорее посмотреть следы аварии.

Он внимательно приглядывался, одновременно соображая, как чинить левое крыло, которое оказалось мягко вдавленным, и даже подумал, что фару придется заменить целиком, поскольку даже лампочка была разбита и цоколь проскочил внутрь. Бампер покорежился легче, его можно было выровнять молотком. И проводя рукой по этому бамперу, Сергей Васильевич вдруг зацепил тряпицу, застрявшую в завороченном клыке. Приглядевшись к тряпице, он обмер, ибо тряпица была с пуговицей, а на бампере засохло бурое пятно, по которому сразу было видать, что это не краска.

Сергей Васильевич выпрямился, осмотрелся — не видит ли кто, присел и первым делом кинулся вытаскивать тряпицу, а вытащив, стал стирать пятно, которое не поддавалось. Сергей Васильевич ткнул тряпицу в снег и стер пятно снегом.

Мимо шли люди, и ему казалось, что каждый должен был спросить у него, чем он, Сергей Васильевич, собственно говоря, занимается. Но люди шли мимо, и только Бубенцова, суровая квартирная соседка, от которой ничего не спрячешь, сказала, заметив повреждения, весьма одобрительно:

— Доездились...

И прошла.

Сергей Васильевич, не бросая тряпицы с пуговицей, поднялся к себе, чувствуя, что глаза его похолодели, а в душе поселилось полное смятение.

Анютка сидела на тахте, установив локти на круглые колени, а голору уместив в ладонях, как в ухвате.

— Анютка, — тишайше спросил Сергей Васильевич, словно больную, — что ты наделала?

Анютка встала как выстрелила и сказала, будто хвастая:

— Человека убила!

Она уже взяла себя в руки...

## От автора

Я вполне законно лежу на диване, отягощая общество своими свирепыми потребностями. Я — на бюллетене. Добрая докторша ввернула в историю моей болезни какие-то слова, по которым выходило, что руку я сломал себе правильно, по закону. Нет, все можно предопределить, если взяться умело.

Сегодня навевался Генка. Он посмотрел на гипс, как профессор-костоправ, и, качая головою, поставил точный диагноз:

— Раннее зажигание... Оно всегда в руку бьет... Вы палец закидывали на ручку, а надо палец откидывать.

— Закидывал, Гена,— потупился я.

— Вижу, что закидывал...

Он присел, взял со стола папиросу, закурил и повеселел:

— Теперь главное — не тушеваться!

— Куда уж теперь тушеваться, Гена,— согласился я.— Теперь тушеваться просто некуда...

— А я смотрю — не ездите... Две недели не ездите...

— Три, Гена...

Генка подумал, посмотрел в окно, говоря:

— Может, пока аккумулятор перебрать?

— Гена, возьми ключ и делай что хочешь. Ты же видишь, Гена, что я повержен в прах. Мне нечем защищаться...

— Будь здоров — нечем! Знаете, как гипсом можно врезать?! Особо если гипс на ноге.

— Ты хочешь, чтобы я сломал себе и ногу?

— Зачем? Я для примера, чтобы вы не тушевались... Ну, что? Будем аккумулятор перебирать?

— Гена, возьми ключ и делай что хочешь.

Он удивился:

— Ключ? Зачем ключ? Что же мы, без ключа машину не откроем? Зачем вам волноваться за ключ?

— Спасибо, Гена, ты чуткий человек...

— Станешь чутким... Мне этот гараж вот где!

Генка показал промасленной трудовой рукою на небритый подбородок. Щетина была светлой, вроде бы даже седой.

— Почему же тебе этот гараж не нравится? Ты же сам говорил, что у вас тихое дело — отвез и на боковую.

— Я не вожу... А и возил бы — надоело. Завгар у нас шакал — это точно. Ни сам себе, ни людям. Думаю уйти.

— Куда же?

— У меня братан в колхозе механиком.

— Гена, ты хочешь отремонтировать трактора?

— Зачем трактора? Машины... Они там станцию техобслуживания открывают. Слесаря нужно.— И он встал, чтобы дотянуться до пепельницы.

За окном громоздился город.

Краны подтаскивали к небесам двадцатизэтажные дома, просвечивающие насквозь в ясном морозном дне. Я любил смотреть на эти бетонные корабли с правильными вырезами окон, оживающими на глазах. Я видал их размашистые костяки, и видел, как они зарастали плотью, и ждал, когда они брызнут живым, теплым светом возникающей в них жизни.

— Здорово растут,— похвалил Генка,— пошла отделка... Теперь главное — не тушеваться.

— Да,— согласился я,— красиво. Я люблю смотреть, как вырастают дома, наращивая этажи...

Генка пустил дым:

— Тут смотреть не приходится. Тут самый раз квартиру ремонтировать — материал под боком... У них там такой отделочный материал — нигде не достать...

— Гена! Значит, ты не радуешься этому неудержимому росту?

— Радуюсь... Отчего не радоваться?.. Тут главная радость малярам и водопродчикам... Если вам, к примеру, плитку надо поменять или раковину — не тушуйтесь...

Мне был неприятен Генкин меркантилизм. Мне всегда казалось, что он несколько одиозен и утилитарен. Я перевел разговор:

— Значит, колхоз строит автостанцию?

— Строит.

— Как же они ее открывают, Гена? Где?

— Так, при дороге... Все как надо, по-умному. Братан говорит — колхоз решил и средства отпускает. Если разрешат — откроют... У них пока еще разрешения нет. Какая-то паскуда накопала, что не имеют права. Консервный завод им можно, автостанцию — нельзя... А там председатель — жох парень, правильный мужик! Говорит, главное — не тушеваться. Они уже подъемник купили, гидравлический. И свинарник вычистили. И вот — комиссия! Так и так — тушуетесь? Председатель права качает, подъемник не показывает. Кто это вам накопал? В общем, подождать надо. А мне что? Главное — не тушеваться...

— Погоди, Гена. Они все-таки будут открывать станцию?

— А то! Они ее откроют под видом консервного завода. В свинарнике. Им свиней держать невыгодно. Им коров выгодно. А тут мне надоело...

Светлые Генкины глаза сияли чистым омутом в белых ресницах.

— Мечта у меня такая есть,— пояснил он.— Жить в городе, а работать в колхозе... Четыре сотни положат как пить дать... Конечно, с вашего брата собственника будем брать дорожку, но зато сделаем не тупляк...

Он ушел, оставив меня с моими мыслями и воспоминаниями, ибо для меня кончилось время отдавать и наступило время получать...

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Свидетель Брюховецкая показала:

— В тот момент, когда я находилась примерно посередине правой стороны проезжей части, то в светофоре включился желтый сигнал. Я ускорила шаг и увидела автомашину марки «Москвич», которая летела на меня. Я побежала к резервной зоне. Я была сильно возмущена тем, что машина марки «Москвич» чуть-чуть не сбила меня. И она сбила мужчину, который упал...»

«Свидетель Пятихаткин показал:

— На проезжей части у линии «стоп» стоял механический транспорт, который ожидал разрешающего сигнала для дальнейшего движения. Когда я отошел от правого тротуара около десяти метров, то в светофоре включился желтый сигнал. Я ускорил свой шаг, смотря в левую сторону, и увидел автомашину марки «Москвич», которая следовала со скоростью около шестидесяти, но не менее сорока километров в час на расстоянии трех метров от осевой линии впереди потока остального механического транспорта. Сбежав буквально с пути следования автомашины «Москвич», я стал смотреть ей вслед, ожидая, что будет. И дей-



ствительно, на расстоянии около двадцати метров услышал глухой удар. Когда я услышал удар, никакого другого транспорта вокруг не было и удар принадлежал несомненно этой автомашине марки «Москвич».

«Свидетельница Волновахина показала:

— Я видела эту женщину за рулем, когда она уже убила старика. Она была выпивши, так как ехала, ничего не соображая, а когда остановилась, тоже ничего не соображала. Ехала она быстро, ровно бы спешила, а куда — не знаю...»

### От автора

Теперь я возвращаюсь к себе, сопровождаемый сочувственными взглядами моих соседей, неся свою руку наперевес. Мой автомобиль стоит под снегом, как в гипсовой повязке, — только фары торчат. Он отводит глаза в сторону. Ему неловко, я понимаю.

Миша, слесарь домоуправления, по прозвищу Михаил Архангел, вездесущий молодой человек, представитель ищущего поколения, умеющий смотреть не мигая, встречает меня всякий раз вопросом:

— Машину будем мыть?

При этом он хохочет короткой очередью. Действительно смешно: куда ее мыть, если рука сломана? Пошутив, Миша говорит:

— Хреновина!

Это означает, что рука скоро срастется и тогда уж непременно помоем машину.

— Давай рубль, — добавляет Миша, что, в общем, не обозначает ничего.

Я замечаю повышенный интерес к моей особе. Со мной теперь здороваются, я бы сказал, расширенный контингент жильцов, гораздо больший, чем прежде. Дети пропускают меня в лифт первым. Взрослые открывают передо мной подъезд. Один отрок со второго этажа даже вызвался сбегать для меня в магазин. Он забарабанил в дверь и отчаянно закричал мне в лицо:

— Дядя! Давайте авоську и деньги!! Я вам куплю хлеба!!! И масла!!!

Я дал ему злата, погладив левой рукой по плечу.

Отрок выпорхнул в дверь, вереща зарезанным голосом:

— Валера! Подожди! Сейчас куплю жратвы калеке с десятого этажа!

— На фиг он тебе сдался?! — заверещал Валера.

— Мамка велела! Калекам надо помогать!!!

Да, это была слава. Ибо настоящая слава приходит лишь тогда, когда в ее процесс включаются дети.

Отрок вернулся довольно быстро, притащив все, что было заказано, и снова заорал:

— Папа велел вам заходить!!! Ну, пока!!!

— Постой. Как тебя зовут?

— Федор! — заорал отрок, скатываясь вниз по ступеням и игнорируя лифт.

Я чувствую, что наступили лучшие дни моей жизни. Как бы не прозевать их...

— Ну как, срастается? — спрашивают меня, и я понимаю, что это лучший вид приветствия.

— Машина до добра не доведет, — ласково сообщила мне старушка, ковырявшаяся у почтового ящика.

— Эх, дела, — вздохнул старик, грохнув мусоропроводом, — раньше людей на фронте калечило, а теперь — во как...

В голосе его звучало неодобрение. Он, вероятно, предпочитал установленный веками порядок.

— Продать ее надо к чертовой матери! — заявил дядя с седьмого этажа.

Активный пенсионер Григорий Миронович смотрит на меня выпученно, но удовлетворенно:

— Вот видите. Когда люди делают не то, что им положено, это отсебятина... Они несут наказание.

Я возражаю:

— Какое же это наказание? Наоборот! Поощрение! Я же теперь на больничном! Я уже почти инвалид! Еще немного, и я обрету право на гараж!

Григорий Миронович думает, жуя толстыми губами. Думает и говорит:

— Почти!.. Таких инвалидов можно знаете сколько наделать? Это типичная отсебятина... Надо еще проверить, почему вам дали больничный. Каждый ломает себе руку и полезет в государственный карман...

— Григорий Миронович, — спрашиваю я, — вы когда-нибудь лазили по карманам сломанной рукой? Это же неудобно!

— Вам все удобно! — сердится он. — В наше время это было неудобно! Теперь все удобно! Надо делать то, что положено, а не то, что не положено. Я всегда говорил — надо запретить иметь частные машины. На машинах должен ездить тот, кому положено... Думаете, общественности неизвестно, что к вам ездит похоронный автобус?..

— Неужели заметно? — удивляюсь я.

— Это не шутки! Это использование государственного имущества не по назначению, в личных целях! — строго формулирует он.

— Вы хотите, чтобы я использовал его по назначению, Григорий Миронович?

Он не отвечает. Он уходит, оставив меня наедине с совестью...

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

...Анютка в преддверии Нового года снова вошла в нервное состояние, несмотря на то, что умела брать себя в руки.

Следователь таскал ее на допросы не очень часто, но все-таки это кого хочешь могло ввергнуть в уныние. Расписка о невыезде (а куда она выедет? какие глупости!) жгла ее душу, и, странное дело, Анютка чувствовала спокойствие только тогда, когда убеждала себя, что надо ждать тюрьмы.

Убедив себя в этой неизбежности, Анютка вроде бы даже выпрямилась и держала себя со следователем довольно строго. Она даже спросила у него спокойно, словно колбасу покупала:

— Сколько мне дадут?

— Это суд решит, — важно ответил следователь, хотя по всему было видно — готовит он ей полную катушку.

На очных ставках со свидетелями Анютка не поддавалась и, конечно, вину свою отрицала. Эта старая гримза Брюховецкая просто жила и видела Анютку в тюрьме и больше нигде. И чего она пристала с такой сволочной цепкостью? Будто Анютка ее саму переехала.

Мужик этот, в пирожке, с виду был не такой въедливый. Но когда Анютка кинулась на него, что, мол, он врет и ему, наверно, повылазило, он сказал следователю:

— Прошу меня оградить от грубостей.

От грубостей его оградить! Какой нежный! Тут человека в тюрьму готовят, а он ломается как ненормальный. Анютка хотела было заплакать, но выдержала.

Она выдержала потому, что тут было кому плакать и без нее. А плакала на следствии та суетливая баба в оренбургском пуховом платке, которая записалась в свидетели под конец, старуха Волновахина. Старуха сперва не говорила — кричала:

— Наехала она на него, наехала! Вот так он идет, а так она едет! Он от нее будто вильнул, да разве убежишь — как же! Больно она прыткая оказалась, тут молодой не ускачет, не то — старик! Ясно, она его догнала.

И в этом месте старуха Волновахина вынимала розовый носовой платок и начинала плакать. Следователь ей, конечно, стакан дает, она стакан не берет, а так плачет. Плачет она и говорит сквозь плач:

— Молоденькая она, гражданин следователь! Ей бы жить и жить... А тот старик свое прожил... Каб она на меня наехала, я бы и слова не сказала... Ну, поругала бы ее, на производство сообщила — и шабаш... Не калечьте ей биографию...

Следователь плач опускает, не записывает, ждет. Потом спрашивает:

— С какой скоростью ехала машина марки «Москвич» за номером 36—69, управляемая гражданкой Сименюк А. И.?

Тут старуха Волновахина враз кончает плакать и говорит:

— Ехала она дюже шибко. Я думаю, что дух, должно, у ей захватывало.

— Подумайте, свидетельница... Какая была скорость? Шестьдесят километров была?

Волновахина глаза выпучила:

— Была, гражданин следователь! Как перед богом — была! Говорю, летела как на пожар! На пожар-то с какой скоростью летят?

Анютка не выдержала:

— Что ж вы врете, бабушка, когда в протоколе сказано — тридцать пять километров?!

— Помолчите, обвиняемая, — говорит следователь.

Старуха Волновахина смотрит на Анютку:

— Я ее не мерила, скорость-то... А ты молчи, касатка, молчи... Ты им не суперечь... Они все одно запишут как им надо, а будем суперечь — нам же хуже... Вы, гражданин следователь, пишете, не сомневайтесь... Пишите как следует, а только пожалеть ее надо... — И тут она снова начала плач: — Терпи, касатка... Нету такой бумаги, чтобы ее слезами не отмолить... Ты начальству не перечь... Начальство само в строгости и нас — в строгости... Молоденькая она, гражданин следователь... Сами видите, глупая еще...

Про эту-то свидетельницу и рассказывала бывшему мужу доведенная до отчаянья Анютка, когда вернулась домой.

Сереза слушал внимательно, слушал, соображал. Детей дома не было — свекровь забрала. Зашебурили по краям семейства родичи. Со всех сторон — жалеть, готовиться к худшему, нанимать адвоката. Свобода, конечно, дороже всего на свете — может, и машину придется продать. А если все равно посадят?

#### От автора

Я открыл дверь и увидел на площадке сразу двух дам в халатах, надетых на пальто. Они смущенно улыбались, и я почувствовал, что пришли они по делу.

— Помогайте выполнить план! — весело воскликнула одна из них и потрясла мешком. Другая засмеялась.

— Войдите,— сказал я,— мы обсудим ваш призыв.

Та, которая с мешком, возразила:

— Нечего обсуждать! Обувь давайте! Нам нужно к Новому году план выполнить. Мы из мастерской напротив. Из тридцать восьмой...

Я понял и обрадовался:

— Как же! Знаю, знаю. С удовольствием помогу вам! Но когда вы успеете? Новый год послезавтра...

— Успеем,— сказала та. что без мешка.— Нам надо сегодня сдать квитанции в контору. Сдадим — и порядок. Завтра получим премиальные.

Она засмеялась, и я понял, что она — главная.

— А когда отремонтируете? — спросил я, вступая с ней в деловой контакт.

— А вам срочно? — спросила та, которая с мешком.

— Вообще, хоть бы завтра,— засуетился я, соображая, кто же все-таки из этих дам главнее.

Ответила мне которая с мешком:

— Ну, давайте! Сделаем! Правда, Маша? Сделаем одну пару для товарища инвалида. Одну пару Леонид сделает! Сколько у вас пар?

— Я дам вам все, что у меня есть,— мне очень хочется, чтобы вы получили премию за выполнение плана.

— Вот молодец! — воскликнула та, которая без мешка, то есть Маша.— Таких людей целовать мало!

И тут я точно установил, что главная, конечно, Маша.

— Что вы,— смутился я,— мне кажется, не мало, а вполне достаточно. Даже много.

Маша победительно рассмеялась, поправляя платок:

— Давайте обуви!

Я стал собирать обувь. Обувь представляла определенный интерес в смысле выполнения плана по ремонту.

— Занашиваете! — сказала не Маша, а та, которая с мешком.— Но это даже хорошо! Больше операций. Правда, Маша?

Маша тоже одобрила меня:

— Хороший человек! — Потом она спросила: — А дамская есть?

Вопрос был чисто психологический.

— Дамской нет,— признался я.

— Потому-то вы и занашиваете, что в доме нет дамской обуви,— строго сказала Маша, принимая мои туфли.— Была бы, смотрела бы. Вот и покалечились вы к тому же... У вас что — перелом?

— Перелом,— застеснялся я.

— Открытый, закрытый?

Конечно, Маша была главной. Она осматривала обувь, рисовала на ней мелом и после каждой пары писала квитанцию, прижав книжку к стене.

— Это мы движение такое открываем,— пояснила она.— Собирать заказы на дому. С вас двенадцать семьдесят.

Я спросил:

— А когда эта пара будет готова?

— Завтра в двенадцать как штык. Приходите!

— Спасибо,— сказал я.— Но в чем я приду?

— Да! — сказала она.— И прислать некого. Ну, ладно. Я сама вам занесу. Вы будете дома в двенадцать часов?

— Буду,— уверенно сказал я, глядя на свои тапочки.

— Ну, пока,— повторила Маша.

— Будьте здоровы,— сказал я учтиво.— Кланяйтесь Леониду.

Дамы ушли, оставив меня со светлыми надеждами, ибо должность дам на земле в том и заключается, чтобы мы не оставались без надежд.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Мучительные дни потянулись у разведенных Сименюков. Хоть назад сводись. На работе Анютку прямо замучили жалостью, до плача. Одна говорит — не сознавайся; другая, наоборот, расскажи правду и извинись — дадут три года, скоро вернешься; третья советует, какого адвоката взять:

— Мужчину бери! Бабу не бери!

Катька поначалу обиделась, но как узнала про несчастье — первая всплеснула руками:

— Анюточка, милая! Отдашь, не убивайся! — Потом подумала, добавила: — В случае чего — Сергей принесет...

— Принесет он тебе — как же! — Девочки зашумели, заобсуждали.— Жена в тюрьме, а он за нее платить станет? Нашла дурака...

Анютка вздыхает:

— Я их всего раз надела, да и то — на беду...

Катька говорит:

— Все равно — теперь они ношенные.

Но говорит без обиды, с сочувствием.

Телефонная станция и без того гудит, а тут горе же, каждая девочка хочет горю помочь и только соль сыплет на рану. А вчера в ночную смену — из Читы телефонистка Рита. Анютка и не видела ее сроду, только переговаривались по работе. Верещит от радости:

— Анюточка, это ты? Ой, как же это ты! А нам звонили, что ты погибла в автомобильной катастрофе! Молодец! Дай мне сто сорок один семь четыре восемь два!..

И еще жалели Анютку, что в такой момент ее муж бросает:

— Неужели он уйдет, когда тебе — тюрьма? Неужели у него есть какая-нибудь или он для свободы разошелся?

— Анюточка, не дрейфы! Он у тебя еще не самый худший — смотри. Денег на кооператив дал, благородный все-таки... Будет у тебя двухкомнатная квартира.

— Другие разводятся хуже... А ты все-таки через этот развод в кооператив вступила!

— Вот тебе и двухкомнатная!

— Анютка, мы тебе передачу носить будем... Мы тебя всем коллективом на поруки возьмем! У нас здоровый коллектив, правда, Анютка? Плюнь на бывшего мужа, не унижайся! Храни женское достоинство! А вернешься — дом построят. Тебя же — без конфискации. Дура! И за детей не бойсь... Мы тебя за такого парня выдадим, несмотря на двух детей! Теперь на детях модно жениться, особенно если квартира. Все к благородству идет, вот увидишь!..

До слез доводили Анютку, не знала она как быть — шугануть девчонок или принимать их ласки.

А время шло, и, кроме тюрьмы, ничего в перспективе она не различала.

Конечно, характеристику с места работы Анютка взяла. Там уж девочки не поспешили, написали как про богиню и начальство уговорили печать приложить. Ладно. Но что значит характеристика перед камен-

ным следователем, который эту характеристику не читая принял и только сказал будто с насмешкой:

— Для объективности...

Сережка замаялся — надо же, такое несчастье после развода! Сколько труда развод стоил — с детьми ведь?! Как быть?

А тут еще соседка по квартире, Бубенцова:

— Вовремя развелись, нечего сказать... Морального кодекса на вас нет, молодой человек. Но мы и на вас кодекс найдем!..

И вот приходит он домой из своего эскабе. Анютка как раз после ночной смены сутки имела свободные. Приходит, говорит:

— Одевайся. Пойдем к Николаю... Должен же он нам помочь...

— Чем он нам поможет, я уже на все готова... Свидетели меня из рук не выпускают. Я сама протокол подписала, и теперь меня следователь как в петле держит... Люди скоро Новый год встречать будут, а мне — в могилу. Мало того что разведенная, так еще — под судом и следствием...

И плачет.

Сережка говорит:

— Не верю я, что нельзя это несчастье довести до ума...

Анютка слезы высушила особым манером: поморгав, чтобы краску не смазать.

— А деньги на это?

— Денег у нас нет,— говорит разведенный муж.— А с умом, так, может, и без денег обойдется... Я ему все рассказал — он велел придумать. Надо скорее, а то он в заграничную командировку уезжает...

Нет, не осталась Анютка без помощи в своем бедственном и страшном положении...

#### От автора

Новый год я пробовал встречать самыми различными способами.

Я встречал Новый год на месте — в коллективе, у соседей, дома, в городе, за городом, в селе и в окопе.

Бывали случаи, когда я встречал Новый год с незнакомыми людьми, и со знакомыми, и даже с родственниками.

Встречал я также Новый год с монетой в кармане, без монеты в кармане, в качестве должника и в качестве кредитора.

Я метался во все стороны и хватался за все приметы, стремясь к тому, чтобы Новый год был обязательно выдающимся во всех отношениях и райским, как яблочко.

Жизнь текла как хотела, и Новые года были такими, какими были, независимо от того, как я их встречал и чего я от них добивался. Даже те Новые года, которые я не встречал вовсе и от которых ничего не требовал, все равно поступали как им заблагорассудится, всякий раз удивляя меня своим независимым диалектическим материализмом.

Поэтому я не придавал никакого значения тому варианту встречи Нового года, который произошел сам по себе, без моих стараний.

Надо сказать, Маша действительно приходила. Она пришла не в двенадцать, как обещала, а в два и сказала, что Леонид запил на день раньше срока, каковым своим действием оставил меня без обуви. Маша сказала, что на первом же собрании они этого Леньку проберут до кишок, поскольку с ним такое безобразие не в первый раз. Это сообщение значительно облегчило мое положение, и я высказал мысль, что один человек предполагает, а другой человек располагает. Маша согласилась с моими соображениями, и это само по себе было приятно. Пожелав мне веселой встречи Нового года, а также счастья и успехов в труде и в личной жизни, она ушла.

Я посмотрел на свои тапочки как на осознанную необходимость. Не знаю, что бы я делал, если бы не успевал осознавать необходимость еще до того, как ощущал ее первые жесткие требования. Я, видимо, стал бы желчным склочником, а этого я остерегаюсь больше всего на свете, если не считать рака, холеры и контакта с администрацией. Но я, слава богу, твердо осознал первичность материи и вторичность сознания. Сознание есть вторичное сырье, это для меня не секрет. Идеалистическая поговорка «человек предполагает, а бог располагает» кажется мне всего лишь неуклюжей попыткой агностиков перетащить на свою сторону материализм. Ибо человек уже мало чего предполагает, зная, что бога нет и не предвидится. Бога нет, это я заметил давно. Однако что-то все-таки располагает моими предположениями, корректирует их, ставит с ног на голову, кладет боком и запихивает их обратно туда, откуда они изшли. Я знаю, что располагать так же смешно и нелепо, как поспевать за гулками шагами истории в полуботинках, сданных в ремонт...

Я смотрел на свои тапочки, рассуждая о разнообразии жизни. Много Новых годов прошло в моей биографии, прежде чем наступил Новый год, который мне предстояло встретить в тапочках.

А за окном в тяжелой гипсовой повязке сугроба стоял мой автомобиль.

Снег, снег, пурга, тайга. Как хорошо, что я не поэт. Сколько ярких образов мечется за окном. Я выключил свет и смотрю во двор. Метет. Мой автомобиль засыпан хорошим сугробом. Не раскопать. Шесть сугробов на площадке. Шесть автомобилей. Летом их штук двенадцать. Но шесть отсутствующих машин сейчас хранятся в гаражах. Два гаража, я знаю, далеко, километров за пятнадцать от дома. Пользоваться ими сложно — летом машины стояли во дворе, а зимой их прячут. Остальные не знаю где. Может, на даче, у кого есть, может, в каком-нибудь казенном гараже, кто имеет доступ: народ в доме все-таки влиятельный.

Мне грустно в эту новогоднюю ночь.

К кому бы навязаться в гости?

Напротив проживает экономист Прибылевич, Карп Селиванович. Хороший человек, толстый, добрый и тоже автомобилист. Летом раз в неделю приходит к нему какой-то дядька и заводит старую «Победу». Дядька выносит из квартиры Прибылевича аккумулятор и устанавливает его. А вечером, когда Прибылевич приезжает домой, дядька уносит аккумулятор в квартиру.

Зимой Карп Селиванович не ездит.

Мы с Прибылевичем встречаемся в лифте.

Он обязательно спрашивает меня:

— Ну как? Срастается? Ну и слава богу... Ну и хорошо... Ай-ай-ай, как же это вы так неосторожно! Чтобы больше никаких бед с вами не случилось.

Добрый, добрый, радушный Прибылевич. На нем синее пальто с серебряными мерлушками и пыжиковая шапка. Пыжиковая шапка не идет к мерлушкам. К ним необходимо надевать пирожок того же каракуля. Всякий раз, когда я встречаюсь с Карпом Селивановичем, мне хочется набраться духу и честно поставить его в известность о несоответствии шапки и воротника. Мне хочется открыть ему глаза на истину. Но вместо этого мы непроизвольно затеваем короткие экономические беседы длиной в семь-восемь этажей.

Неделю назад он сказал мне:

— Опять появились тенденции ориентироваться на потребителя. Это смешно.

При этом он отнюдь не рассмеялся, а, покачав осуждающе пыжиковой шапкой, вышел из лифта. Отпирая свою дверь, он изобразил на доб-

ром лице озабоченность: дескать, надо постоянно растолковывать людям их заблуждения.

На следующий день, подкараулив Прибылевича у лифта, я решил потребовать объяснений. Прибылевич удивился и засопел. Он думал до нашего десятого этажа и наконец, когда лифт остановился, убежденно сказал:

— Как мы можем ориентироваться на потребителя? Мало чего он захочет?!

— И все? — спросил я.

— Мало чего он захочет, — повторил добрый экономист, считая свои слова самым убедительным доводом против моих.

— А зачем нам гадать? — дружелюбно сказал я. — Спросим потребителя, чего ему надо, и будем знать, чего он захочет...

— Какой хитрый! — возразил Прибылевич. — Если каждый будет требовать чего захочет!.. Тогда вся экономика полетит к богу в рай... Даже удивительно от вас это слышать...

Мы прибыли. Надо было кончать разговор. Прибылевич был голоден — он шел со службы.

— То-то, — примирительно сказал он и шагнул на площадку.

Но я не унимался:

— Карп Селиванович, вот взять, например, вас...

— Меня?! — вздрогнул он и, округлив глаза, приложил указательный палец к мерлушкам.

— А что тут особенного? Вы ведь тоже потребитель...

Прибылевич побагровел и отнял палец.

— Конечно, как шутка... Как юмор... Но не всем нужен такой юмор... Потребитель... Я не ожидал... По моему адресу... Я честно работаю и выполняю свою задачу... А вам должно быть стыдно...

— Извините, — смутился я, — право же, я вовсе не хотел вас оскорбить. Но вот, скажем, так. У вас есть автомобиль?

Добрый Прибылевич зло сощурился:

— Что вы хотите этим сказать?

Но я уже шел напролом:

— Я хочу спросить, где вы берете запчасти?

— А вы? — ловко парировал Прибылевич, отступая к двери.

— Там же, где и вы! — выпалил я, не оставаясь в долгу. — А где вы делаете профилактику?

Прибылевич перешел на шепот:

— А вы?

— Там же, где и вы! А где стоит ваша машина?

— Там же, где и ваша, — зловеще прошептал Прибылевич, берясь дрожащей рукой за ручку своей двери.

«Сейчас ускользнет от проблемы», — подумал я и тоже взялся за ручку. Ручка была маленькая, а рука Прибылевича большая и мягкая.

— Так вот, — сказал я, приблизившись к его хорошему, круглому, розовому носу, — хотите подземный гараж с ямой и отоплением?

— Ну и что? — спросил он, отодвигаясь.

— Я вас спрашиваю — хотите?

— А вы не хотите?

— Хочу! А как это сделать? Где купить материалы? Где нанять технику? Кому платить деньги? Сколько вы платите дядьке, который вам таскает аккумулятор? Вы же пользуетесь наемным трудом! А помпу он вам откуда принес? Я видел, как вам осенью меняли помпу! Вы присваиваете себе чужую прибавочную стоимость!

Прибылевич захрипел и закачался. Я уже был не рад, что ввязался в этот опасный разговор. Мне стало жаль Прибылевича, и я пошел на попятный:



— Карп Селиванович, успокойтесь, ради бога... Не надо... Вы золотой человек! Вы не потребитель. Я беру свои слова назад...

— Пустите,— слабо сказал он и нажал плечом на дверь,— пустите. Я вам ничего не сделал...

Да. Плохо. И за что я его? Добрый, добрый Прибылевич. Милый, милый экономист. Ах, как нехорошо. Что он теперь обо мне думает?..

Но куда деваться?

Я подхожу к двери и прислушиваюсь. К Прибылевичам собираются гости. Нет, не место мне на этом славном пиру. А может быть, взять белый флаг и идти просить прощения? В новогоднюю ночь это небесперспективно. Неужели не пожалеет? Должен пожалеть! Пойду! Но как пойду? С белым флагом и в тапочках? Он воспримет это как издевательство.

Под Прибылевичами проживает Николай Федотович Фонарев. Прекрасный мужчина в свежем воротничке. Он дипломат. Он живет больше за границей. Николай Федотович всегда подтянут, и на лице его постоянно обретается таинственная доброжелательность. Он никогда не входит в лифт первым, но всегда учтиво пропускает вперед всех, кто ждет возле сетки. Если в лифт входит дама, Николай Федотович обязательно снимает свою серебристую шляпу и доброжелательно молчит.

Мне бы очень хотелось услышать его голос. Голос у него должен быть не меньше баритона. Я даже думаю, что именно баритон. Потому что тенор ему никак не подходит. Он слишком серьезен для тенора. Но, собственно, бас ему тоже не к лицу. Потому что человека, имеющего бас, редко берут на дипломатическую службу. Бас — голос сугубо внутренних. Если человек с басом начинает разговаривать на международные темы, да еще в официальной обстановке, тон его может быть воспринят самым нежелательным образом и повлечь за собою ряд дипломатических неудовольствий. Так, по крайней мере, я думаю. Нет, самый подходящий голос для мирного сосуществования на этой планете — баритон.

Какой же у него голос?

Может быть, спуститься постучать, поздравить с наступающим? Так сказать, бон аннэ, хеппи яр? И он ответит прекрасным глубинным баритоном, серебристым, как его шляпа, и негнушимся, как его воротничок: «Милости прошу! Вы оказываете нам честь своим посещением, стопочтенный сэръ! Входите, присаживайтесь, будьте как дома! Что прикажете — виски, бренди, мартель?»

Да.

А может, шуганет? Посмотрит на тапочки и шуганет. Или даже просто так шуганет, по первому взгляду, не вдаваясь в подробности?

Нет, не пойду. Может быть, он в данный момент прием устраивает. Может быть, у него прием официальный. Или полуофициальный. Или даже совсем неофициальный. Может быть, там у него сейчас посол сидит с супругой, или посланник с женой, или еще кто-нибудь. А я в тапочках. Красиво ли это? Я уже не говорю о гипсовой повязке. Это все время придется наклоняться к дамским ручкам левой рукой. Этично ли это в смысле встречи Нового года? Тем более — как резать омаров? Попросить соседку? Мадам, нарежьте мне по кусочку как бытовому инвалиду...

Нет, не пить мне сегодня фонаревского мартеля, не толковать мне сегодня о мировых проблемах, держа стопку левой рукой.

Что же делать?

Я переворачиваюсь на спину и смотрю в потолок.

И тут меня посещает мысль, кажущаяся мне веселой и продуктивной. Есть все-таки на свете люди, к которым можно ходить в тапочках с целью встретить Новый год левой рукой! То есть не десницей, а шуйцей.

Я вспомнил о Якове Михайловиче Сфинксе.

Он, конечно, сидит дома, чудный Яков Михайлович, добрый и хромо-

ногий. Сейчас я его поздравлю по телефону и попрошусь в гости. Где же его телефон?

Я листаю книжку, ищу в блокнотах и не нахожу. Нет у меня телефона Сфинкса. Никогда я ему не звонил, и множество лет нашего знакомства прошли безразлично, без задержек и остановок, если бы не сломанная рука, я так и не знал бы, где живет мой старый школьный учитель.

Телефонный звонок неожиданно прерывает мои размышления. Нет, это не Яков Михайлович. Это так — одна знакомая:

— С Новым годом! Приезжайте к нам. У вас же автомобиль! Приезжайте, если вы никуда не собираетесь...

Спасибо. Автомобиль долго заводить.

Я смотрел на свои тапочки и утешал себя гордой мыслью, что все-таки принял участие в борьбе обувной мастерской номер тридцать восемь за сверхсрочное выполнение годового плана.

— Не беспокойтесь, — сказал я, — мне будет хорошо и весело. Спасибо, кланяйтесь гостям.

Я положил трубку и пошел к Сфинксу...

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Анютка явилась на последний допрос перед передачей дела в суд в таком независимом виде, что следователь даже пожалел ее про себя. Вырядилась она действительно не к месту.

Следователь лица ее хорошенько не изучил, поскольку слушал и ее и свидетелей склонив голову. Он на них не смотрел. Ему смотреть на них было ни к чему. Все ясно. Обвиняемая получит свои восемь лет, материалы следствия в порядке, версии никакой нет — и не надо: совершила наезд, нарушив статьи 3, 4 и 41 правил движения по улицам и дорогам Союза ССР. Он и так затянул дело — то грипповал неделю, то еще какие-то небольшие организационные задержки. И сегодня следователь решил кончить дело — нового ничего не прибавится, да и не надо для восьми лет. Решил он кончить волюнку и передать дело в суд.

Когда Анютка вошла, следователь, не глянув на нее, сказал:

— Следственная часть закончена... Распишитесь.— И, как бы спохватившись, добавил лениво: — Ничего нового к изложенному добавить не желаете?..

Анютка села у стола, поставив сумочку на колени, и сказала чистым голосом:

— Прошу приобщить к делу адреса новых свидетелей.

Следователь поднял голову. Перед ним сидела обвиняемая — свежая, подкрашенная, в меховой шапочке и сером, довольно красивом пальто. Сидела перед ним не убийца пострадавшего, а какая-то вольная птичка, никакого отношения к ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса якобы не имевшая. Следователь посмотрел на Анютку и пожалел, что не посадил ее сразу в предварительное заключение, а валандался с ней по подписке, и вот пожалуйста, явилась как в театр!

— Каких еще свидетелей? — недобрым голосом спросил он. — Подписывайте протокол допроса и ждите суда... Можете прочитать...

Анютка вздохнула и повторила:

— Прошу приобщить к делу адреса новых свидетелей...

Следователь откинулся, с интересом рассматривая Анютку.

— Вы что, сюда играть пришли? Вы скажите спасибо, что на воле до сих пор... Дело закончено. Подписывайте и идите... Если хотите еще до суда дома пожить...

Анютка посмотрела в глаза следователя без опаски. Глаза его были далекие, к встречному взгляду непривычные. Следователь глаза отвел. Анютка сказала ясно, но кашлянув от волнения:

— Имею право по процессуальному кодексу...

Следователь улыбнулся:

— Поздно качать права, обвиняемая... Раньше надо было... Следствие закончено... Что же я с вами, по новому разу возиться буду?

— Будете! — четко сказала Анютка.

— Интересно! Что же, вы у меня одна?

«Колеблется,— подумала Анютка, избавляясь от страха, который все-таки не отпускал ее.— Колеблется... Значит, Роман Романович учил правильно».

— Гражданин следователь,— сказала Анютка, поднимаясь,— если вы не вызовете новых свидетелей, я допроса не подпишу и буду молчать, хоть убейте... И все!

Следователь тоже встал:

— Придется мне вас задержать.

— Пожалуйста,— сказала Анютка.— Только у вас теперь без прокурора не получится... Поздно! Я подписки не нарушала.

— Какая грамотная! — разозлился следователь.— Ты где это так научилась?!

— И про грубость вашу на суде скажу,— пригрозила Анютка.

— Про грубость! — Следователь сел.— Сразу про грубость! Людей поменьше убивайте! Людей убивать — это не грубость? Давай твоих свидетелей! Помогут они тебе, как мертвому гармонь.

— Прошу не тыкать! — звонко сказала Анютка.

— Ладно, садитесь... Давайте адреса.

Анютка улыбалась. «Действительно, прав был Роман Романович. Тюрьма! Какая там тюрьма! Еще поживем!»

Она присела, открыла сумочку, взяла листок. Следователь покопился.

— Откуда же они взялись?

— Они записались на месте происшествия!

— Больно аккуратно записались... Все на одном листке и мелким почерком...

— А это уже как могли,— отрезала Анютка.

— Вижу — как могли... Так в момент происшествия не записываются... Это не очередь за холодильниками. Сколько их у вас?

— Трое...

— Так, так, трое... И так они один за одним к вам подходили записываться?

Но Роман Романович и этот вопрос предвидел!

— Я их записала на общую бумажку дома,— ответила Анютка весело.— А записывались они так, если вас интересует: один визитную карточку дал, на ней адрес и фамилия другого, а третьего я карандашом записала на пудренице... Он мне и карандаш дал... Вот визитная карточка...

— А карандаш где?

— Я вам серьезно говорю! — оборвала Анютка и протянула визитную карточку.— Можете приложить к делу.

Надо было сказать «приобщить», но Анютка и без того напроизносила этих дурацких слов достаточно. Когда она с Сергеем развилась, ей и говорить ничего не пришлось — все было написано, только подписала. А тут дело о жизни шло, и не захочешь — запомнишь.

Следователь карточку принял, повертел, прочитал вслух:

— «Роман Романович Крот». — Сказал: — Крот... Поглядим, что он

выроет... А второй кто? И. В. Карпухин? И. В. ...Иван Васильевич, что ли?

— Не знаю,—ответила Анютка как отмахнулась,—мы с ним незнакомы.

Следователь посмотрел на Анютку пылливо: не врёт? Но про себя решил, что врет. «Ловко сработано, кто же это ее надоумил?»

— Ну, а третий кто? — спросил следователь.

Анютка прочитала с листочка:

— Яковлев Иван Ефимович...

— Я-ков-лев... Этого с пудреницы списала? Он вам и карандашик предоставил?

Анютка совсем освоилась:

— С пудреницы... И карандашик предоставил! Показать? Вот пудреница, а вот карандашик.

Но следователь от пудреницы отказался. Только спросил:

— Что же это вы раньше молчали, обвиняемая? Смотри какие свидетели! С визитными карточками!

— Зачем же людей беспокоить? Люди солидные, занятые...

Следователь дернулся, как муху пришиб, и скороговоркой:

— Откуда вам известно, что они солидные и занятые? Вы их знаете?

Замахнулся, да промахнулся. Анютка вспыхнула:

— У нас все советские люди солидные и занятые!

И понял следователь, что ему придется по новому разу вести эту канитель. А так все было ясно! Что за люди! Недаром он не любил обвиняемых, которые шебуршили. Ему нравились обвиняемые серьезные, которые не тянут резину, знают свое положение и не качают прав. Потому что качай не качай, а выше закона не прыгнешь. У него, следователя, тоже работка не легкая, и обвиняемым хорошо бы это знать. Хорошо бы им знать, что и он человек и над ним начальство. А начальство не уважает, когда ему голову морочат. «Ну, ладно,—подумал следователь,—раз ты такая, так и я такой. Не хочешь восемь лет — получишь червонец». И как бы в последний раз сказал:

— Обвиняемая, ставлю вас официально в известность, не вводите следствие в заблуждение. Ваше чистосердечное признание может смягчить приговор суда... Учтите, вас не взяли под стражу, мы вам доверяем... Но ваши запирательства к добру не приведут, а только вам же будет хуже... Если выяснится, что свидетели подставные, пеняйте на себя... И им тоже не поздоровится... Так им и скажите, хотя вы с ними незнакомы. Я должен вас об этом предупредить, если им себя не жалко... Пока не поздно...

— Прошу вызвать свидетелей,—заученно сказала Анютка и посмотрела в глаза следователя не только что весело, а даже как-то нахально.

— Идите! — хлопнул рукою по папке следователь.—Идите, обвиняемая Сименюк! Вас вызовут!

**От автора**

Яков Михайлович Сфинкс открыл мне дверь, повел в комнату и усадил на диван. Я посмотрел в окно. Небо было серое, как конь в яблоках. Снежинки оседали медленно, как воспоминания о невозвратном прошлом. Они стелились плавно, безнадежно и навсегда. Некоторые наименее удачливые цеплялись за стекло, таяли и скатывались чистыми слезами. Дом гудел Новым годом — десятиэтажный корабль, плывущий сквозь легкую порошу вперед.

— Жена ушла к дочке,—сказал Яков Михайлович,—она им зажарит гуся и помоеет посуду... Хорошо, что ты зашел: я давно уже ни с кем не разговаривал...

Я попытался утешить своего старого учителя:

— Яков Михайлович! всю жизнь вы только то и делали, что разговаривали! У вас просто заслуженный отдых!

Он сказал:

— Я не разговаривал. Я — говорил. Я говорил, а вы — молчали. Чему я вас учил, ты не помнишь?

— Как же! — оживился я. — Многому! Например, про колесо истории, которое нельзя повернуть вспять. Было очень интересно... Напрасно вы грустите, Яков Михайлович. Можно спросить любого вашего ученика про это замечательное колесо, и он вам ответит, что вы были правы!

— Спасибо, — сказал он. — Жаль, я не успел вам сказать, что колесо это надо смазывать, иначе оно будет страшно скрипеть...

— Пусть это вас не заботит, Яков Михайлович! Это мы поняли под влиянием объективной реальности. Честное слово! По крайней мере, почти то же самое говорит один мой знакомый перипатетик Генка.

— Он у меня учился? — спросил Сфинкс.

— Не думаю... Он дошел до этой мудрости своим прагматическим умом. Он слесарь.

За стеклом возник слабо освещенный предмет, плохо различимый, но несомненно спускающийся с неба. Он парил вниз, слегка раскачиваясь. Большая кастрюля, подвешенная к веревке, опустилась на балкон с медлительной скоростью снега. Что-то слабо звякнуло, и веревка взлетела вверх, болтая двумя крючками.

— Что это, Яков Михайлович? — удивился я.

— Вздор... Это Михаил приспособился с балкона брать закуску.

Как представитель ищущего поколения, Миша Архангел постоянно искал что-нибудь, что плохо лежит. Вероятно, Сфинкс признавал за ним его историческое право и поэтому не придавал значения его действиям. Он внес вернувшуюся с чердака кастрюлю с капустой и достал старый штофик не то водки, не то коньяка, и было видно, что не пил он из этой посуды, может быть, со времен святого Августина...

— Ну, — улыбнулся Сфинкс, наливая в рюмочки, — помнишь стихи? «Едва заря подымлет вежды, проводим старые заботы и встретим новые надежды!»

...Зелье в штофике было горьким, но приятным и домовитым. Мы выпили еще по одной.

Сфинкс посмотрел на мои ноги с запоздалым интересом:

— Обокрали?

Я рассказал ему о нашествии Маши. Он покачал головой пошрительно:

— Ты встречаешь Новый год с чувством исполненного долга.

Возле дивана на трехногом столике лежали навалом книги. Они были старыми, с ятями, почтенные книги, никому уже не нужные и существующие сами по себе. Тишина жила в доме, теплая тишина, прерываемая глухой возней за стенами. Там что-то кричали, как в пустой молочной цистерне.

Цветы с книжных шкафов канительно тянулись до паркета. Между шкафами висела фотография сфинксовой дочки. С мужем.

Муж был немного лупоглазым парнем с подбородком, на который ушло несколько больше материала, чем можно было ожидать. При этом подбородке находились тонкие губы, прекрасный авангардный нос и понятливые глаза под густыми бровями. Муж был склонен к раннему облысению. Он взирал на мир прямо, достойно, слегка приподняв подбородок, что придавало твердому лицу его оттенок законной гордости. Дочка была в фате и смотрела застенчиво, будто ее застали врасплох.

Я взял на столике раскрытую книгу с ломкими желтыми страницами и стал читать: «Провидение уносит меня, лишая смертных вели-

кого дара своего. Если бы я умел принудить их слушать меня — они были бы счастливы. Но кто из них ведает выгоды свои? Они предпочитают мне Варраву. Десница моя, предназначенная направлять заблудших, повисает как плеть, не высекая никого...»

— Кто этот сверхчеловек? — спросил я.

— Это Кошельков. Это его письмо невесте перед казнью.

— Кто же он был?

— Он был разбойник.

— Странно. Он пишет как погибающий за справедливость.

— Каждый думает, что умирает за справедливость. Особенно когда не хочется умирать... Ты сможешь убедиться в этом, когда тебя поведут вешать.

За стеною гудели соседи, шум достигал переломного предела. Теперь дом был похож не на корабль, а на грузовик, преодолевающий перевал. Часы на буфете показывали полночь. Грузовик за стеною достиг перевала и враз успокоился. Соседи закусывали, открывшись в последние минуты истекшего года.

— Ну, будь здоров! — сказал Яков Михайлович, наливая в рюмочки. — С Новым годом!

Кошельков зацепил меня.

— Что же себе напозволял ваш даровитый уголовник?

Сфинкс пожал плечами.

— Сначала он проповедовал свободу, равенство и братство. А потом заскучал и ограбил банк. Жажда деятельности. Кстати, это его спасло. За свободу, равенство и братство его бы непременно повесили, а за грабеж — помиловали. Потому что проповедей боятся больше, чем грабежей... А человек старался, писал письмо... Конечно, значение предсмертного слова снижается, если автора не казнят... Люди читают не то, что написано, а то, что хотят прочесть...

— Экзистенциализм! — закричал я, как второгодник, который узнал равнобедренный треугольник, единственное, что ему доступно.

Сфинкс пропустил мимо мои редкие способности:

— Этот человек женился и пропал куда-то с исторической арены.

— Индивидуализм! — узнал я очередной равнобедренный треугольник.

Сфинксов зять уставился на меня весьма строго. Молодая потупилась под фатою. Лицо зятя было мне знакомо.

— Как его фамилия? — спросил я, глядя на фотографию, ибо я знал лично сфинксова зятя.

— Его фамилия — Николай Петухов. Он занимается дистанционным управлением. Он большой специалист по завтрашнему дню. Он мечтает о дорогах, по которым автомобили будут ездить сами при помощи каких-то фотоэлементов... Без шоферов... Ты бы видел, какую он вымечтал квартиру себе. Разве он добыл бы ее сегодня, если бы не занимался завтрашним днем?

— Я, кажется, читал популярные изложения вашего зятя. Очень интересно... Нет ли у него брата?

— У него есть брат. Он тоже автомобильный специалист.

Я сознался:

— Это Пашка Петухов, мой приятель. У них в семье все инженеры. Дед, кажется, тоже был инженером.

— Дед построил двенадцать мостов и умер, проектируя тринадцатый, который так и не достроили внуки, — вздохнул Сфинкс.

Да, это было в другой жизни. Мальчик Коля, спокойный и непугливый. Я думаю, он если и помнит меня, то без всяких родственных чувств, несмотря на то, что мы были родственниками целых два года.

Я не сказал Сфинксу, что если бы да кабы — мы и с ним состояли бы в родне. Я не сказал потому, что история не признает сослагательного наклонения и никаких «бы» в ней не бывает. Коля Петухов, член кружка юных техников, молодой активист и спортсмен, исправный ученик второй ступени, был братом бывшей моей жены. Собственно, братом ее он и остался. Я слышал, что он теперь руководит конструкторским бюро, которое занимается исключительно будущим. Он всегда предпочитал определенность, как, впрочем, и сестра его Клава...

Это было в другой жизни, от которой мне остались воспоминания, неспособные уже потревожить душу, и друг-приятель Павел Павлович Петухов, совсем не похожий на младшего брата, но чем-то похожий на сестру.

Я рассматривал сфинксова зятя. Выражение лица его не менялось. Он все так же смотрел вперед широко расставленными глазами знатока и ценителя жизни.

Сфинкс листал книгу. Дом съехал с горы веселья в распадок тишины. Где-то ладили песню.

Я спросил:

— Что же делать, Яков Михайлович? Что же делать, чтобы колесо истории не скрежетало? Что же делать, если проповеди опаснее грабежей? Что же делать, Яков Михайлович, если сила предсмертного слова теряется, когда неожиданно приходит помилование?

Сфинксово домашнее питье светлело легкой прозеленью, как спитой чай. Сфинкс не торопился с ответом. Новый год гулял всюю в каждой каюте нашего корабля. Старые заботы гремели в мусоропроводе пустым звоном опорожненной посуды. Надежда гукала по палубам беззаботными сапогами веселья. Перспективный ветер врывался в иллюминаторы. Оптимистический снег валил с неба, как манна.

— Что же делать, Яков Михайлович? Есть ли критерии бытия? Все ли сущее разумно, как утверждал Гегель, или, может быть, старик чего-то напутал?

— Критерии? — переспросил он. — В конце жизни Даль сказал: «Кроме нравственной поруки — другой нет»... Мне кажется, труднее всего воспитать одного человека: самого себя...

...На свете существует ряд неразрешенных вопросов. Например, в чем смысл жизни; каков удельный вес философского камня; где зарыта собака; для чего существует Николаевская парфюмерная фабрика имени Алых парусов — и другие вопросы, составляющие неликий видный фонд философских систем.

Я уважаю Павла Петухова за то, что он может дать более или менее вразумительные ответы на некоторые из этих вопросов. На все он, конечно, дать не может, но на вопрос, в чем смысл жизни или где зарыта собака, дает.

Он нанес мне визит с некоторым опозданием, как раз к тому времени, когда мне нечем было хвастать, поскольку рука уже была готова и время получать прошло и приспело время отдавать.

Павел Петухов был человеком, чей заметный нос попал к нему явно из лучших романтических времен. Нос его торчал подобно вздернутому бушприту с натянутым кливером и отсвечивал перламутровыми бликами океанского заката. Такие носы бывают теперь только у сугубо сухопутных лиц. Вслед за своим носом, в фарватере, стараясь не отстать ни на полкабельтова, двигался сам владелец.

На этот раз Петухов почти что обогнал свой нос. Но, кроме его носа, впереди владельца оказалось небольшое кудлатое существо, белое, в рыжих подпалинах, с черными бровями, сквозь которые пронзи-

тельно глядели пуговичные глаза. Существо вкатилось через порог, посмотрело на меня вызывающе и стало немедленно нюхать паркет.

— Входи, Филька,— сказал Петухов собаке,— чувствуй себя как дома. Здесь тебе будет хорошо.— И добавил, обращаясь ко мне:— Выводить его надо три раза в день. Он благороден и воспитан. Думаю, вы подружитесь.

— Павлик, что это за номера? — поинтересовался я.

— Это пес. Жизнь его сложилась ужасно. Ему необходимо переменить обстановку.

— Но при чем здесь я?

— Ты одинок,— сказал Петухов, скидывая пальто с пустым правым рукавом.— Он почти одинок. Вы самую судьбой предназначены друг для друга. Если хочешь, я буду платить на него алименты.

— Спасибо... Но он, кажется, хромает?

— Ну и что? — сказал Петухов.— Байрон тоже хромает.

— Но Байрон хромает на одну ногу, а этот на обе!

— Зато Байрон писал стихи, а этот не пишет! Не болтай глупости. Я тебе привел собаку, которая не пишет стихов и не пачкает в доме. Где ты еще найдешь такую собаку?! Дай ему лучше пожрать.

Я увидел, что есть время жить без хромой собаки и время жить с хромой собакой.

Хромоногий пес обнюхивал мое жилище. Петухов причесался и сел.

— Сачок,— сказал он,— кто это держит ручку всей кистью?

— Павлик, извини меня, это дело прошлое. Расскажи мне лучше о будущем. Я люблю слушать о будущем, поскольку в нем нет никаких огорчений...

Как у всякого равнодушного человека, у Петухова были привязанности. Поэтому он явился ко мне, едва ступив на землю. Он прилетел оттуда, где вот-вот со дня на день должны будут появиться на свет вагаги маленьких прекрасных автомобилей, которые заводятся на любом морозе единым поворотом ключа.

— Я не гуманист,— предупредил Петухов,— я технарь. Не задавай мне дурацких вопросов: «Когда будет готов и сколько будет стоить?»

Он сидел в креслице, зажав коленями трубку и набивая ее табаком. Капля норовила упасть с войлочного ботинка на паркетину. Павлик посмотрел на свои ноги.

— Понимаешь, наша строительная практика накопила немалый опыт. Она учла марки бетона, но не учла размера обуви. Если бы всех строителей можно было одеть в одинаковые сапоги, одинаковые ватники и дать им одинаковый рацион — все было бы в ажуре... Но выяснилось наконец, что ноги у людей разных размеров и штаны им тоже нужны разных размеров. И жратву они хотят выбирать по ресторанной карточке. Это называется — матобеспечение. Материальное обеспечение...

Я всплеснул руками:

— Павлик! Как же быть?

— А никак не быть... Завод построят... Бетон, железо... В конце концов — днем позже, днем раньше... Самое главное начнется потом, когда понадобится рабочий... Сто секунд операция, понял? Не девяносто и не сто десять, а сто! Тут уж никаких обязательств не возьмешь...

— Ну, это ты напрасно, Павлик. Как это — не возьмешь? Смешно. Как же без обязательств?

— А так! Пришел, встал и вкалывай до обеда. Ни отойти, ни покурить, ни посачковать... В обед — весь завод общим рубильником! Полчаса. Полтинник кинул в турникет, как в метро, вошел, съел и назад. И — до конца смены. Привет!

Признаюсь, эта скороговорка смутила меня. Я-то думал, Павлик



начнет рассказывать о чудесах будущего производства, о прекрасных сверхкомфортабельных машинах, о грядущем автомобилизме, о завтрашних автострадах... А он притащил хроющую собаку с некоторыми включениями нездорового брюзжания. Может быть, там действительно возникнут частичные трудности — не без этого, но неужели Павлик не мог обойтись без них? Тем более я еще не совсем здоров, еще совсем недавно находился на бюллетене и мне совсем ни к чему отрицательные эмоции.

— Мой брат,— строго официально сказал Павлик,— занимается дистанционным управлением. Он проектирует дороги с направляющими силовыми линиями, по которым машины поедут сами, как в сказке. Колька устроился при завтрашнем дне как кот при сметане... А нам нужен рабочий, который в состоянии делать операцию за сто секунд сегодня...

Рука у меня стала покручивать. От нервов. Кончики пальцев стали неметь, как память кибернетической машины, лишенной тока.

— Павлик, не лишай меня перспектив...

— Что тебе надо? Перспективу тебе надо или автомобиль? Мечту тебе надо или сильный аккумулятор, чтобы не крутить ручкой?

— Чтобы не крутить ручкой! — догадался я.

— Так я тебя должен подбодрить. Ручка будет. На всякий случай. На случай плохого обслуживания... В проекте ручки не было, но мы ее вставляем.

— Так это же хорошо! — обрадовался я, подумав об аккумуляторе, который месяц назад Генка, должно быть, унес на подзарядку и все еще не принес.— В конце концов, Павлик, все образуется. Если рабочему хорошо разъяснить, он не за сто секунд, а за пятьдесят все сделает.

— Не за пятьдесят! — вдруг заорал Петухов.— Не за пятьдесят! За сто! Только за сто! Ни больше ни меньше.

На крик немедленно прикатился Филька. Он посмотрел на Петухова, присел и склонил умную голову к своему собачьему плечу. Пуговицы лучились перламутровым любопытством.

— Далось тебе эти сто секунд,— обиделся я.— Только собаку вспугнул. Ты уже в самом деле хочешь из человека сделать автомат. Чтобы только и знал — гайки заворачивать, как Чарли Чаплин... Ты не прав... Рабочий прежде всего должен быть сознательным. То есть хочет — закручивает, не хочет — значит, надо его спросить: почему? Может, у него в этот момент рационализаторская мысль сверкнула? Или покурить ему охота? Или, скажем, мечта у него появилась — представить себе, как и что будет дальше...

— А конвейер?! — закричал Пашка.— А конвейер остановить?

Филька перекинул голову к другому плечу, не сводя с Петухова глаз.

— Не люди для конвейера, а конвейер для людей. Правда, Филька? — резонно заявил я.

Петухов потрепал пса по кудлатой голове. Пес вытянулся, зевнул и завил хвостом.

— Выводить три раза,— сказал Петухов ласково.

— Слушай, почему ты привел эту собаку мне?

— А кому еще? Ты единственный мой знакомый, который не выкинет собаку на улицу. Если вы не уживетесь — ты уйдешь, оставив ей квартиру. Ты гуманист. Ты ни фига не понимаешь в производстве, и поэтому я лучше расскажу тебе историю этой собачьей жизни. Ставь чайник...

Я уже знал, что Филька остается у меня...

## ЧАСТЬ II

## «ВЕШНИЕ ВОДЫ»

От автора

Наверно, это последний снег. Или предпоследний. Он играет на солнце запасными брильянтами, оставшимися от зимы. Брильянты подтекают, струясь родниковой водицей на асфальтовых буграх.

Я несу свою разгипсованную руку за пазухой. Мой автомобиль пока еще в гипсе, но гипс вот-вот развалится и на нем.

Я шагаю через двор нашего магазина, заваленный ящиками и бочками. Отрок Федор, расстегнутый на все пуговицы, какие только могут быть, нависывает впереди меня. Он идет в булочную за угол, прифутболивая серые обломки льда.

Возле стены стоит жизнерадостная, румяная продавщица в белом халате, надетом на шубу, и бьет стеклянную тару. Осколки летят в ящик, сверкая на солнце.

— Зачем вы ее так, тетя? — спрашивает отрок Федор. — Ее же можно сдать...

— А она не сдается! — отвечает продавщица. — Я ее списываю. По акту. Проходи, мальчик!..

Федор думает и исчезает.

Банки лопаются, как ненужные елочные игрушки отшумевшей новогодней полночи. Продавщица утирает пот со лба. Ей, наверно, жарко. Грузный парень останавливается рядом со мною и минуты две молчит. Потом резко срывает с себя ватник, кладет на сугроб и подбегает к продавщице.

— Кто ж так бьет?! — возмущается он. — Безрукая ты, елкин корень! Давай сюда!

Продавщица послушно отходит в сторону. Парень оценивающе смотрит на банки-склянки, захватывает сразу штук десять и, прекрасно крикнув, грохает их в ящик. Это доброволец. Дилетант с врожденными склонностями. Он ломает посуду так, что любо-дорого смотреть. Он расправляется с ней без разговоров, как храбрый воин с неприятелем.

— Елкин корень! — кричит доброволец, загребая банки. — Елкин корень! Елкин корень! Видала, как надо?

В ящике вырастает сугроб битого стекла.

— Вот работник! — восхищенно говорит продавщица. — Такого бы мужика в дом!

— А ты думала! Ломать — не строить! — отвечает парень и почему-то обнимает продавщицу за плечи. — Есть еще что ломать — давай!

— Нету, — смеется продавщица, — все, что было, сломано! По акту!

— Эх, рыжая! Елкин корень! — восклицает парень и надевает ватник.

Он уходит. Продавщица смотрит ему вслед и, хохотнув, мотает головою. Потом она вынимает из кармана халата карандаш и кричит в маленькую дверь:

— Соломон Давидович! Подписывайте акт!

Я тоже ухожу и думаю, что если посуда не сдается — ее уничтожат по акту Такова жизнь.

Соломон Давидович — знакомое имя. Где-то я его слышал. Ах да! Так звали одного библейского царя, известного своей мудростью. Я иду дальше, размышляя о многообразии жизни.

Отрок Федор опять выскакивает из-за угла:

— Вам ничего не нужно, дядя?

— Спасибо, парень...

Отрок Федор, конечно, сыграл серьезную роль в деле транспортировки моего жизнеобеспечения. У него строгое лицо индейского вождя. Он ведает тайну.

— Ты почему не заходишь?

— А чего заходить? Вы уже выздоравливаете.

И он уматывает по своим делам, а я смотрю на свои ноги: это он, отрок Федор, вдохнул в них способность передвигаться, дважды добываясь приема у таинственного Леонида.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Свидетель был молод, чисто выбрит, и небольшая рыжая бородка, как наклеенная, подчеркивала чистоту бритья. Он снял лохматую кепку, расстегнул пальто и откинул зеленый, в крупную белую решетку шарф, под которым находился зеленый же узел галстука, плотно сидящий в жестком воротничке. Глаза у свидетеля были серые, неопределенные и глядели на следователя как на интересное кино. Следователь покатал зубами желваки.

— Садитесь, свидетель... Назовите свое имя, отчество и фамилию.

Свидетель сел.

— Иннокентий Викторович Карпухин.

Следователь смотрел в дело. Он уже привык к мысли, что этого Карпухина И. В. зовут Иван Васильевич. Такая у него была версия. И — надо же! Иннокентий Викторович... Это сразу не понравилось следователю. Он и сам не знал почему, но — не понравилось. Он сдержанно объявил, что надо говорить правду согласно соответствующей статье, и спросил, что может сказать свидетель о деле, по которому вызван. Следователь составил вопрос столь неопределенно без всякой задней мысли. Он пересматривал дело этой чертовой Сименюк с отвращением и злобой. Вложи он в неопределенность вопроса хоть какую-нибудь зацепку — может быть, этот Иннокентий Викторович купился бы и раскололся. Но свидетель сказал:

— В повестке сказано, что я вызываюсь по делу Сименюк А. И. Объясните мне, товарищ следователь, в чем заключается это дело?

— Как?! — Следователь аж выпучился.

— Я прошу сказать мне, кто такой Сименюк А. И., — улыбочиво и словно даже виновато попросил свидетель.

— Вы что же, не подозреваете, по какому делу вас могут вызвать следственные органы? — Следователь вникал в суть бородатенького и уже знал, что бородатенький играет игру, валяет дурака, но валяет скользко — не ухватить. Карпухин смотрел с нахальной ясностью, дразня и нервирова. Следователь сдерживался изо всех сил и сказал:

— Обвиняемая Сименюк предъявила ваш адрес как свидетеля... Вы давали свой адрес обвиняемой Сименюк?

— Ах! — воскликнул Карпухин. — Догадываюсь! Вы об этой молодой девице, которая сбила пешехода?

— Да, — тяжело глянул следователь. — Об этой девице... Она такая девица, как я слон...

— Ну что вы! Какой же вы слон! — улыбнулся Карпухин. — А мне показалось — девица... Странно...

— Девица она или не девица — к делу не относится... Что вы можете сказать о происшествии?

— Как можно, товарищ следователь, — придурковато сказал Карпухин, — все так ясно! Надеюсь, у вас нет оснований ее наказывать?

— Я не наказываю. Наказывает суд.

— Совершенно верно... Все-таки недостаточно еще ведется у нас

пропагандистская работа по разъяснению населению функций тех или иных органов... Отсюда моя фактическая ошибка.

Следователь был уже готов применить к Карпухину любую меру социальной защиты, а больше всего ему хотелось врезать этому сукину сыну, который явился сюда изгиляться. Но тяжким усилием воздержался, говоря:

— Не отклоняйтесь, свидетель... Говорите только то, что относится к делу.

И тут следователь удивился резкой перемене поведения Карпухина. Карпухин посерьезнел, положил на стол мохнатую кепку и сказал:

— Дело было так... Дайте, пожалуйста, листок бумаги... Благодарю вас... И карандаш... Спасибо...

Взяв листок бумаги и шариковый следовательский красно-синий карандаш, Карпухин деловито и быстро нарисовал перекресток, резервную зону, пешеходную дорожку, нарисовал толково и точно. «Неужели не врет?» — подумал следователь, узнав в рисунке план места происшествия, имеющийся у него в деле. Все было точно.

— Смотрите,— сказал Карпухин.— Вот так шел этот несчастный... Вот так ехала машина, ведомая девицей или не девицей, как вам угодно... Я находился вот здесь, в автомобиле моего товарища.

— Кто был за рулем? — резко спросил следователь.

— За рулем был мой товарищ...

— Как его фамилия?

— Его фамилия Крот. Роман Романович Крот. Это имя вам должно быть известно, поскольку мой адрес был написан на его визитной...

— Продолжайте! Откуда взялась ваша машина?

Карпухин посмотрел на следователя ласково:

— Вас интересует весь наш маршрут до места происшествия?

— Меня интересует, откуда взялась ваша машина, когда нигде она не показана.

Карпухин взял карандаш и переменял цвет нажатием кнопочки.

— Она взялась вот отсюда, из-за поворота.

— Вы что же — на красный свет поехали?

— Мы поехали на зеленый свет, товарищ следователь...

Следователь обрадовался:

— Вы поехали на зеленый? Из-за угла? Выходит, прямоидущему транспорту был — красный?

Карпухин посмотрел на следователя разочарованно:

— В этом месте, как вам должно быть известно, стоит светофор-стрелка. Эта стрелка, товарищ следователь, зажигается одновременно с зеленым светом для прямоидущего транспорта. По крайней мере, с нашей стороны зажегся красный свет плюс зеленая стрелка направо. Вероятно, это делается в целях безопасности пешеходов.

— Так-так,— вздохнул следователь,— и что же вы увидели?

— Мы увидели, как рядом с осевой линией проскочила на большой скорости черная «Волга», обогнав «Москвич», который только начал набирать скорость. Когда «Волга» проскочила — перед «Москвичом» появился пешеход. «Москвич» вильнул, чуть было не зацепив нас. Но было поздно... Увы... Я крикнул Роман Романовичу — назад! И он инстинктивно остановил машину у бровки... Не знаю, видел ли он, будучи за рулем, те же детали, что и я. Во всяком случае, «Волгу» он видел и даже сказал про нее нецензурные слова, что в данной ситуации вполне простительно... Вот так... Я считаю, что шофер «Москвича» никак не мог видеть пешехода. Я даже удивлен, что его не сбила «Волга», которая, несомненно, проскочила перекресток на красный свет...

— Так, так... ловко...

Карпухин глянул следователю в глаза.

— Вас что-нибудь смущает?

Следователь отвернулся. Свидетель снова начинал валять дурака, нужно было его пресечь.

— А как вы дали свой адрес обвиняемой?

— Адрес давал Роман Романович. Он взял свою визитную карточку, написал на ней мои данные вот таким же, как ваш, шариковым карандашом. Помнится — зеленым цветом... Как автомобилист, он любит зеленый цвет и постоянно ищет стержни с этой мастикой... Со стержнями просто беда! Так же как с фломастерами. Мне для работы нужно очень много фломастеров... Вы заправляете стержни или покупаете готовые?

— Это к делу не относится...

— Извините... Карточку отнес Роман Романович, он сказал, что это необходимо. Я даже пожурил его, считая, что разберутся и без нас. «Ты не автомобилист! — возразил он. — Она совершенно не виновата, и наши правдивые показания могут ей помочь».

— «Она»? — обрадовался следователь. — А откуда вы знали, что это была «она», а не «он»?

— Товарищ следователь, — грустно сказал Карпухин, — будучи взрослыми мужчинами, и я и мой друг Роман Романович Крот почти безошибочно определяем разницу между мужчиной и женщиной. И тех и других мы определяем с первого взгляда...

Следователь слушал и нехотя писал, взяв из стола другой карандаш. Листок, изрисованный Карпухиным, внушал ему уважение, однако не лишко сомнений. «Врет», — думал следователь.

Карпухин сидел прямо, с видом безразличным и не заглядывал в протокол. Он осматривал помещение, окна которого были отгорожены от внешнего мира изящной решеткой в виде солнечных лучей, окованных концентрическими кругами. Круги шли из угла окна, рассеиваясь радиусами-векторами. Декоративная ковка была ему близка по роду занятий.

— Больше ничего не пожелаете добавить? — спросил следователь.

— Нет, благодарю вас, — сказал Карпухин серьезно.

— Тогда подпишите...

Карпухин взял протокол и стал читать. Следователь терпеливо ждал, пододвинув к себе рисунок и карандаш, которым рисунок был сделан.

— Ну что же, — сказал Карпухин. — Все правильно. Прошу вас приобщить к моим показаниям также и чертеж.

И взяв из рук следователя красно-синий карандаш, Карпухин лихо расписался.

— Могу я быть свободен?

— Вас вызовут, — угрюмо сказал следователь.

— Благодарю вас! — Карпухин встал как вознесся, взял со стола кепку, поклонился и протянул следователю руку. — Благодарю вас, товарищ следователь, очень приятно было познакомиться!

Следователь посмотрел на протянутую руку недоуменно, не сразу понимая, что с ней делать. Но через силу пожал ее и вскочил.

— Карпухин, — жестко сказал он. — Ни вас, ни «Волги» на месте происшествия не было. Ой, я вам не завидую, Карпухин!

Свидетель холодно пододвинул рыжую бородавку почти к носу следователя:

— Дорогой Сергей Петрович! Меня зовут Иннокентий Викторович Либо гражданин Карпухин. Либо, на худой конец, гражданин свидетель. Я не люблю фамильярностей.

И, еще раз поклонившись, вышел.

«Жулик! — закричал в отчаянии следователь. — Придурок! Всех на чистую воду выведу!» Но закричал не в голос, а про себя, в душе своей, которая болела от беспомощности.

И сел за стол, ненавистно уставившись в прекрасный карпухинский чертеж.

После допроса Карпухина, которого следователь вызвал первым сам не зная почему, стало ясно, что допрашивать этого Романа Романовича Крота — только время терять. Ясно, что Карпухин с Кротом сговорились до мелочей, как пьесу разучили. Может быть, даже перед зеркалом репетировали. Тихая ненависть к Карпухину, а заодно и к Кроту потрескивала в следовательском сердце, как масло на сковороде. Тихая ненависть, вызванная таким нахальным обращением с истиной, не давала ему ни жить, ни работать.

Он перечитывал показания старых свидетелей и видел, что они говорили правду. А новые свидетели, неожиданно названные обвиняемой, свалились ему на голову как раз в такое время, когда расследовать уже было нечего. И следователь отшатнулся от мысли, которая застучала его. Эта мысль заключалась в том, что опровергать правду оказалось значительно легче, чем опровергать брехню! Это открытие так потрясло его, что он отрекся от завтрака и понял, что снова закурит, хотя и не курил уже год, два месяца и тринадцать дней. Он хотел бросить курить и бросил, набравшись силы воли, и вот воля его дрогнула.

Карпухин, Крот и Яковлев! Кто они этой бабенке? Братья? Родственники? Любовники? Чего это они за нее так уцепились? Ясно, что это кодро сговорилось придуриваться. Ясно, что зацепи их хорошенько — слиняют они один за другим. Но как их зацепить?

Он перечитывал показания свидетелей, куря сигарету и чувствуя к куреву и отвращение и жажду. И у него возникла мысль свести свидетелей для перекрестного допроса, для очной ставки. Свести, выслушать и доказать всю преступность замыслов подсудимой (он уже не мог о ней иначе и думать!), именно подсудимой, а не подследственной, Сименюк А. И.

И руководствуясь необъяснимым чутьем, он решил столкнуть наиболее резкую и беспощадную свидетельницу Брюховецкую с этим хитроумным Кротом, имеющим визитные карточки и вписывающим в них своих дружков с рыжими бородками при нахальных глазах.

Первым явился Крот.

Это был небольшой плотный парень с круглой головой на короткой шее. Вернее сказать, от головы сразу шло туловище, а шеи не хватило даже для галстука. На широком лице разлаписто сидели тяжелые очки с толстыми стеклами. Стекла эти даже вроде бы примирили следователя с Кротом.

— Как же вы, свидетель, водите машину при таком зрении?

— Трудно, гражданин следователь, — высоким честным голосом ответил Крот, — но что поделаешь — других глаз у меня нет.

— Садитесь.

Крот сел. Глаза его за стеклами глядели мелкими черными точками.

— Я должен извиниться перед вами, — сказал Крот. — В том месте, где я остановился, висел знак «остановка воспрещена»... Правда, учитывая трагические обстоятельства, при которых я совершил нарушение...

— Это к делу не относится, — поморщился следователь, в его па-

мяти действительно всплыл указанный знак, который он запомнил при осмотре места происшествия.

И едва этот знак всплыл в следователевой памяти, в кабинет вошла Брюховецкая, мотая большой сумкой и выражая неудовольствие.

— Что вам еще не ясно, говоришь следователь? — грозно спросила она. — Почему вы отрываете людей от дела?

Следователь сказал грустно:

— Свидетельница, садитесь...

Брюховецкая опустилась на стул, как наседка на яйца — раскинув крылья и заклохтав. Крот, привстав при виде дамы и снова обретая сидячее положение, впился в нее своими черными точечками.

— Я вынужден извиниться перед вами, — сказал он.

Брюховецкая насторожилась:

— Передо мною?

— Именно... Когда я останавливал свою машину, я чуть было не задел вас...

— Чуть было не задел! — передразнила Брюховецкая. — Надо внимательно ездить!

Следователь спросил скороговоркой:

— Вы видели этого гражданина, свидетельница? Когда это было?

— Спросите его — когда это было!

— Это было в тот момент, когда вы бросились к месту происшествия, — пояснил Крот.

— Вас не спрашивают, свидетель, — перебил следователь.

Крот застенчиво втянул голову в плечи:

— Прошу прощения... Я вас сразу узнал... Лицо жертвы, даже возможной жертвы, нельзя забыть... Но вы были так встревожены событием, что даже не заметили опасности.

— Я не заметила? Как это — я не заметила? Я все заметила!

— Во всяком случае, прошу прощения, — попросил Крот.

— Пожалуйста, — проворчала Брюховецкая, — ездить надо аккуратнее! От этих машин теперь хоть носу не показывай... Штрафовать его будете, товарищ следователь?

Следователь не ответил, но спросил:

— Значит, вы утверждаете, что машина этого гражданина чуть-чуть не задела вас, когда вы бежали с тротуара к месту происшествия?

— А я вам что — жаловалась на него?

— Свидетельница, отвечайте на вопрос — был ли факт опасности для вас в момент перехода проезжей части со стороны машины этого гражданина?

— Вы что меня путаете? — насторожилась Брюховецкая, чувствуя что-то неладное.

— Я вас не путаю, свидетельница! Отвечайте на вопрос — грозила вам опасность со стороны какой-нибудь машины, когда вы приступили к переходу через проезжую часть?

— Они все летели как угорелые! — сказала Брюховецкая на всякий случай.

— Свидетель Крот, — сказал следователь строго. — Выйдите в коридор и ждите. Я вас позову.

Крот пожал небольшими чугунными плечами:

— Пожалуйста.

Он безучастно встал и удалился куда велено, оставив на стуле портфель.

Следователь глянул в дело, нашел имя-отчество Брюховецкой и сказал:

— Марья Петровна, я подозреваю, что этот гражданин — подставной свидетель. В наших с вами интересах доказать это. Он хочет вте-

реться в обстоятельства дела. Разве вы не поняли, что он для этого делает вид, как будто вас узнал? Если он вотрется — нам будет трудно доказать виновность обвиняемой. А она — виновна. А он будет доказывать, что она невиновна. Это ее свидетель!

Брюховецкая выкатила глаза:

— Невиновна?! Как это невиновна? Я сама все видела! Что же, я здесь нахально врала? Откуда он взялся? Я его знать не знаю! Никакая машина мне не угрожала! Я ему это в его хитрую рожу скажу! Нашел дураков!

— Успокойтесь, Марья Петровна. Я понимаю ваш справедливый гнев. Успокойтесь и не мешайте перекрестному допросу.

И встав из-за стола, свидетель подошел к двери:

— Входите. Садитесь.

Крот появился тотчас. Его несколько рассеянное лицо выражало полную незаинтересованность в происходящем.

— Итак, свидетель Крот,— сказал свидетель, садясь,— вы утверждаете, что находились на месте происшествия?

Крот сел, взяв портфель на колени, и сказал:

— Товарищ свидетель, хотите, я вам скажу, о чем вы беседовали с этой дамой?

— Вас не касается, о чем я с ней беседовал.

— Касается. И непосредственно. Вы уговаривали ее не сознаваться в том, что ей угрожала моя машина. Вашей версии необходимо мое отсутствие. И этой даме — тоже.

— Не смейте называть меня дамой! — возмутилась Брюховецкая.— Я вас не знаю! Никакая машина мне не угрожала!

Крот продолжал:

— Так вот, товарищ свидетель, то, что здесь произошло, называется шантажом с использованием служебного положения.

Следователь вскочил:

— Вы понимаете, что вы говорите?!

— Понимаю. И настаиваю, чтобы вы записали все это в протокол. Успокойтесь и выпейте воды...

— Хорошо,— сказал свидетель.— Я запишу. И вы подпишете... И ответите за свои слова по закону! Здесь вам не трали-вали!

Брюховецкая сидела нахохлившись, закипая злобой.

— Умный какой,— сказала она победительно.

Следователь быстро писал. За железными лучами оконного ограждения веселилась голубая весенняя погода.

— Нам не следовало бы ссориться,— примирительно сказал Крот, нарушая тишину.

Следователь писал. Брюховецкая ухмыльнулась.

— Мы могли бы это дело уладить,— сказал Крот почти просительным голосом.

— Что, испугался, аферист? — поинтересовалась Брюховецкая.

— Я прошу вас меня выслушать,— опустил голову Крот и расстегнул портфель.

Уставшее от людских несправедливостей сердце следователя затрепетало. Он видел робкое движение Крота. «До чего доходит нахальство? Что он — о двух головах? Псих? Надо его на экспертизу направить...» И чувствовал кожей, что сейчас произойдет редчайший в следовательской практике случай. Это же не придумаешь, а придумаешь — не поверят! Попытка дать взятку, да еще в присутствии свидетельницы — такой свидетельницы, что дай бог каждому следователю такую свидетельницу! «Ну, ну, давай-давай». И не выдержав напряжения, свидетель метнул взглядом в Брюховецкую. Брюховецкая как теле-сигнал получила! Поняла, возрадовалась и даже присела как перед



прыжком! Надо же! Такое случается раз в жизни! Что там твои детективные фильмы! Вот он сидит — законный взяточник! Сейчас он откроет рот, и все! И хап его за поганую лапу! Надо же! Ведь никто не поверит! Никто! И кому расскажешь? А может, по закону нельзя рассказывать? Ну не томи, окаянный, давай свою взятку, и сейчас мы тебя упечем! Сколько ему дадут? Мало... Расстрелять его на мелкие кусочки!

Следователь довел страницу до конца и, будто ровно ничего не происходило, сказал, веселя:

— Подпишите... Если не согласны — скажите... Вы что-то хотели сказать, свидетель?

Брюховецкая зашлась сердцем, как бы посинела изнутри. «Ой, не спугни! Ой, не дай ему передумать!»

Крот вытащил руку из портфеля — пустую руку, черт! Брюховецкая взяла из сумки платочек. Следователь осмотрел руку внимательно и затосковал. «Неужели не поймаю? Неужели передумал? А может, обыскать? Погоди, погоди, он сам сейчас... Сам...»

Крот запахнул клапан портфеля.

— Я хотел бы кое-что сказать вам наедине.

Брюховецкая ударила себя по коленям: «Ой! Попался!» Следователь сказал с улыбочкой:

— Свидетельница, выйдите... Далеко не уходите... Я вас позову.

И тут она уже и вовсе через силу, не подчиняясь сама себе, воскликнула хрипло:

— Не выйду! Убейте, не выйду!

— Свидетельница, выйдите, — строго повторил следователь, и Брюховецкая поднялась как сама себе чужая... «Выгоняет... Неужели и он?.. А-а... А такой справедливый... Ну-ну... Неужели принять хочет?.. Далеко не уходите... Нет, не уйду! Если и он гад — нет правды на земле! Ой, нет правды!»

Но правда на земле была.

Крот запустил руку в портфель, говоря:

— Впрочем, свидетельница мне не помешает.

Брюховецкая бухнулась на стул. Крот вытащил из портфеля что-то небольшое, вроде пудреницы с металлическими пугóвицами. «Драгоценность! Значит, не деньги? Конечно, не глуп. Деньги можно перенумеровать, а это — перенумеруй! Докажи! Стоп! Надо с этой драгоценности снять отпечатки пальцев!»

— Товарищ следователь! — закричала Брюховецкая. — Быстро снимите с него отпечатки пальцев! Быстро снимите!

Следователь, стараясь быть равнодушным, посмотрел на предмет, понимая, что перед ним какой-то аппарат.

— Что это за техника, свидетель?

— Это дистанционный передатчик, — сказал Крот. — Видите ли, вы так увлеклись, что даже не взяли у меня подписки о неразглашении нашего разговора...

— Такой подписки пока не требуется, — сказал следователь, упирая на слово «пока».

— Тем более, — сказал Крот. — Я ничем не связан... Наш разговор и ваш разговор во время моего отсутствия записан на расстоянии.

Следователь рассвирепел:

— Да пишите что хотите! Вы это что же, угрожать пришли?

— Я пришел давать показания, — сказал Крот. — Я пришел давать показания непредубежденно непредубежденному следователю. Но когда вы меня выпроводили, я сообразил, что вы в сговоре с этой свидетельницей. А это служебное преступление. Я защищался, дорогой мой...

— И, выходя, включили передатчик?

— Именно...

Следователь задумался. Передавал Крот его разговор, не передавал — установить было трудно. Но даже если передавал — тоже не беда: магнитофонные записи пока еще если и служили уликами, так, слава богу, не против следователей. Можно было бы этому Кроту спокойно оторвать голову, не снимая очков. Но опытный следователь понимал также, что этот Крот с его визитной карточкой, на которой ни черта не написано, малый не простой. Следователь понимал, что на такой отчаянный розыгрыш решится не каждый. Если Крот и его дружок с бородкой пошли на эту туфту — они здорово подрепетировали. Связываться с ними следователь не боялся, но и не хотел: это было уже новое дело. Чем они могли помешать? Закрыть дело Сименюк А. И. они не могли, полностью опровергнуть ее виновность — тоже. Ну, скинут ей своими показаниями три года, а справедливость все равно восторжествует.

И следователь решил принять игру.

— Интересно, что это за машинка?

— Это опытный образец... Наш институт испытывает его... Может быть, и вам когда-нибудь пригодятся такие вещи... Чем черт не шутит, когда бог спит.

Брюховецкая смотрела на аппаратик, как на царевну-лягушку, оказавшуюся обыкновенной дождевой жабой. Ей было холодно и тоскливо. Ее пробирал ужас. Но она не соображала, что по сравнению с происходящим детективом поимка взяточника есть не что иное, как тьфу! Она не ценила технику, и единственной задачей ее жизни в техническом отношении была заветная мечта наказать всех шоферов, автостроителей, слесарей — всех, всех, всех, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к этим фырчащим керосинкам, укорачивающим жизнь людям.

Следователь повертел в руке аппаратик, спросил:

— Далеко берет?

— Пока сказать трудно, — ответил Крот как ни в чем не бывало.

— Понимаю, — веско сказал следователь.

— Но мы задерживаем вас, — спохватился Крот. — Итак, я должен принести извинения этой даме за то, что едва не наехал на нее.

— Чего уж, — сказала Брюховецкая, приходя в себя.

### От автора

Вообще-то я хотел купить ему не чиж, а белку.

Мы подошли к зоомагазину перед концом обеденного перерыва и увидели мощную толпу. Я и раньше подозревал, что человек — лучший друг животных, но такой массовой привязанности не ожидал.

Людей, которые любят животных, получается больше, чем животных, которые любят людей.

Я поделился своими мыслями с Федором, и Федор, подумав, сказал, что животным труднее любить людей. Действительно, животные никогда не собрались бы возле какого-нибудь учреждения, чтобы выбрать себе какого ни на есть человека.

Почтительно оглядывая толпу, я подумал, что белок на всех не хватит, и обратился к приличному человеку в ушанке, драповом пальто и шерстяном шарфе.

— Скажите, пожалуйста, вы собираетесь приобрести белку?..

— Я не идиот, — просто ответил приличный человек. — У меня была белка. Она ела с рук и спала в моем рукаве. Я носил ее на работу. Она лазила за пазуху и вела себя тихо. Потом она перепугалась и укусила за нос референта по цветным металлам. Референт обиделся и написал на меня заявление...

Федор смотрел на рассказчика очарованно.

— У меня была белка умница,— продолжал приличный человек.— Она просилась на двор, как собака. Сосед повесил на балкон грибы. Сушить. Так она притащила всю связку. О чем это говорит? О том, что сосед — настоящий грибник. Он собирал только хорошие грибы. Белка никогда не возьмет плохой гриб. Шуму было! Сосед на меня заявление написал. Я эту белку еле-еле сбавил...

«Может быть, он и в самом деле не идиот»,— подумал я.

— Вы хотите купить белку? — спросил он.— Советую купить. Очень умное животное.

— Сейчас сезон,— сказал вдруг человек с острым носом и близко поставленными глазами, как у Гоголя.— Покупать надо пару.

Мы ощутили самое пристальное внимание.

— Видите ли,— проговорил вдохновенный старик с белой шелковой бородой,— белка будет скучать в одиночестве. Особенно в дни весны, когда природа пробуждается и всякое живое существо чувствует свой долг перед нею. Правда, мальчик?

Федор взглянул на старика и потупился.

— Это верно,— сказал вдруг парень в смушковом пирожке,— у меня кобель сдурел. суку ишу. А соседи обижаются.

Шелковый старик застенчиво поморщился. Он, видимо, был идеалистом.

— Видите ли,— сказал он, переводя разговор в более изящную область.— Природа — храм, а человек в ней — жрец, соблюдающий священные ритуалы... Человек чутко слушает веления природы... Белке необходим друг или, соответственно, подруга, чтобы совместно вить гнездо и ожидать детей. Бельчат в данном случае.

— Это верно,— подтвердил парень, в тоне которого явно проступали басовые ноты вульгарного материализма,— у меня у самого, конечно, был кроль. Здоровый, как баран. Его пускали гулять с крольчихами. Так он взял и окотился.

— Потому что сезон подошел,— вставил остроносый.

— А я так думаю,— пояснил обладатель белки,— сезон здесь ни при чем. Просто был он не кроль, а крольчиха. Потому и окотился.

«Нет, он определенно не идиот»,— заметил я про себя.

— Видите ли,— мягко произнес шелковый идеалист,— кролики более других животных склонны... как бы вам сказать... Их трудно различить внешне...

Федор слушал, с великим почтением глядя на говорящих.

— Это верно,— сказал вульгарный материалист,— не куры все-таки с петухами. Или павлины.

— Павлинов я не разводил,— сказал востроносый,— условий нет. А вы хотите белку? Надо пару, чтоб не скучали.

— А где ее сейчас возьмешь? — спросил бывший беличий хозяин.— Тоже, посоветуете! Что он, идиот? Белку надо покупать в магазине. А то сунут ему с рук двух мальчиков или двух девочек — видно, человек еще неопытный...

Федор посмотрел на меня с испугом.

— Это верно,— сказал материалист в пирожке,— в одну клетку нельзя. Я читал, как дерутся олени или морские львы. Насмерть! Нет, нельзя в одну клетку.

— Сравнил! — сказал востроносый.— Это когда сезон. А когда не сезон — ничего.

— Все равно нельзя,— возразил материалист в пирожке,— не привыкнут. Зверь должен перво-наперво привыкнуть.

— Конечно,— сказал востроносый,— не человек все-таки. Ему сезон нужен. Человеку сезон не нужен, а зверю нужен сезон.

Приличный человек обиделся:

— Заладил — сезон, сезон! Я тебе в любой сезон животное приручу! Сезон — это для размножения важно, а без размножения...

— Как же без размножения? — удивился востроносый.

— А так! — отрезал приличный человек и, махнув рукою, ушел. Магазин открылся.

Я посмотрел на Федора испытующе. Отрок переваривал сведения, полученные у дверей магазина.

— Федя, как нам быть?

Федор застеснялся:

— Так вы ж покупаете... Вот и решайте...

— Но это же для тебя все-таки. Ты снимаешь с себя ответственность. Это нехорошо.

— Дядя, — вздохнул Федор, чисто глядя в глаза. — Купим птичку. И выпустим на волю. Чего ей в клетке сидеть?

— Прекрасно, — сказал я, — тем более — весна. Мы приобретем певчего чижа. Я слыхал, будто чижи прекрасно поют.

— Чижи здорово поют, — согласился Федор, — у одного нашего малого есть кенарь. Он здорово поет.

Мы вошли в давку магазина и сразу увидели, что нам нужно.

На клетке было написано: «Чиж-самец». Какой-то очень талантливый чиж пел, как соловей, — громко и вызывающе.

— Чижа решили? — спросил востроносый. — Ну, правильно!

— Вот этого пусть и выловит, — сказал приличный человек.

Публика оживилась.

— Как же его выловишь?

— А его видно — вон тот, рябенький!

Продавщица, сухая старая женщина в железных очках и платке, накинутом на синий халат, усыпанный птичьим кормом, стояла возле вольеры безучастно, к чему-то прислушиваясь, может быть, к пению талантливого чижа.

— Вон тот, рябенький, — повторили в толпе у прилавка.

— Да нет, это не рябенький! Видишь, с зеленой головкой...

— Тоже сказал! Это реполов.

— Какой еще реполов? Реполовы в другой клетке.

— Ну, перелетел... Девушка! Нам надо того чижа — вот который чистится.

— Да этот не пел! Надо ему петь.

— Что же я — слепой?

Продавщица поправила платок, взяла сачок, сунула в вольер и наугад черпнула.

— Его самого! Вот точность! — одобрили у прилавка.

Несомненно, это был тот самый талантливый чиж, который пел соловьем. Чижи в вольере запищали, зачирикали и тотчас выделили из своей среды еще одного талантливого.

Продавщица осторожно порылась в сачке и вытащила оттуда маленькую птичку.

— Он!

— Не он. Тот остался! Слышишь — поет.

Теперь в вольере бесились штук пять талантов, среди которых скромно выделялся даже один гений. Гений мне не достался — было уже ясно. Старая продавщица ласково взяла чижиный клювик в рот. Чиж был напуган до смерти.

— Девушка! — закричали из-за прилавка. — Не сильно! Не сильно! Порциями поить надо! Вот так! Правильно!

— А кроликов поить нельзя,— сказал кто-то.— Им надо только смачивать морду.

— Птица сама пьет...

— Да?! А маленький голубь?

— Сравнил! Маленького чижа тоже родители поят...

Продащица взяла кулечек, сунула туда затихшего чижа и стала загибать края кулечка.

— Дырки сделай! Девушка! Чтобы продувало! Он задохнется.

— Чиж никогда не задохнется. У него, знаешь, какие легкие?!

— Какие же у него легкие?

— А такие... Понял?..

Отрок Федор трепетно принял в руки кулечек. Черты лица индейского вождя приобрели ласковые формы, что вождям никак не пристало. А может быть, наоборот, именно ласка делает беспощадное лицо индейского вождя естественным, когда он принимает в руки живой, прямодушный, теплый комочек природы, которая не умеет хитрить.

Федор подышал в кулечек и взглянул на меня с мимолетной стеснительной признательностью, с благодарностью сурового мужа.

— А корм?! — загудели в толпе.— Корм забыли!

— В другом отделе корм!

И мы пошли вперед, увлекая за собою массы.

Бывают на свете отделы, где продают птичий корм по разрядам и видам крылатых потребителей. Там стоят ящики, и на ящиках написано: «Для чижа», «Для фламинго», «Для ястреба-стервятника», «Для птицы Рокк». Для птицы Рокк продаются сушеные слоны и крокодилы, а для чижа — конопляные зерна.

Корму не было. Что же делать? — спросил меня Федор единым взором.

— Возьмите «Для канарейки», — загудела толпа.

— Возьмите!

— Ничего! Жрать захочет — выберет из канареечного, что ему надо.

Мне хотелось возразить, что, подсыпав чижу канареечного корма, мы обрекаем его на дополнительную деятельность. Я хотел объяснить, что время, отпущенное на пение, будет использовано чижом нерационально, поскольку часть времени, а может быть и все оно, уйдет на переборку корма. Я хотел предупредить, что чиж, поставленный в такие условия, то есть в условия натурального самообеспечения, может быть, вовсе перестанет петь или, по крайней мере, не споеет своей лучшей песни, из-за которой он, собственно, и родился на свет. Я хотел сказать, что чиж, как ученый-специалист, должен быть использован эффективно.

Но я ничего не сказал.

Мы с Федором купили кулек приблизительно чижиного корма и вышли на весеннюю улицу. Мы радовались. Мы ведь не ставили никаких особенных целей. Просто нам как гуманистам захотелось полюбить и прикармливать некое бесхитрое существо. Скажем, гиппопотама или саблезубого тигра. Или же змею, чтобы держать ее на груди вместо грелки. Весна потянула нас в свои магнитные объятия. Нам нужен был весь мир или хотя бы часть его. И чтобы часть эта не морочила голову глупостями, не прикидывалась черт знает чем, не надувалась бы до вола, будучи лягушкой, а была бы тем, чем она есть на самом деле.

Мы шагали по городу, радуясь своему приобретению, и легкие облачка весны плыли над нашей радостью.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Председатель колхоза «Заречный» Иван Ефимович Яковлев считался где надо молодым растущим руководителем. Однако молодости в нем было уже не особенно много — Иван Ефимович проник в пятое десятилетие жизни. Но проник пока еще недалеко.

Когда судьба составляла проект его жизнедеятельности, она готовила Ивана Ефимовича не столько к сельскохозяйственному, сколько к промышленному производству. Поэтому ему всегда было жалко, если трактора понапрасну ломались об землю.

Такая жалость к технике обнаружилась в нем очень давно, когда он еще командовал ремонтным подразделением и имел дело с танками. В то далекое невозвратимое время Иван Ефимович был всего лишь молоденьким лейтенантом технических войск и дальше этого чина-звания не поднялся, поскольку генерал никуда его не выпячивал, нигде им не хвастал и берег как истинного специалиста и от пуля передовой, и от власти начальства, которое могло бы прибрать такого специалиста запросто, если бы о нем узнало. Все, что имел Иван Ефимович, — имел он волею генерала до потолка генеральских возможностей и был доволен. Получил он, как полагается, несколько медалей и — шабаш.

Ремонт же Иван Ефимович производил действительно сверхчеловеческий. Если была мало-мальская возможность вернуть в строй машину, если в ней было хоть что-нибудь непобитое, яковлевские ребята делали все невозможное, за что их и любил генерал.

И вот наступил момент, когда кончилась проклятая война и орлы эти вместе со своим молодым лейтенантом были переброшены на восток, где война тоже вскоре кончилась, так что они вообще остались живые-здоровые.

Но не этот счастливый момент сыграл особую роль в сознании Ивана Ефимовича, а сыграл в нем случай, который оставил след. Пришло время возвращать союзникам кое-какую технику, полученную взаимы по ленд-лизу. Это была такая штука — ленд-лиз: я тебе машину, ты на ней вой, а там поделимся успехами.

Ну — надо отдавать непобитое. И на долю Ивана Ефимовича выпало подготовить к сдаче обратно американцам шестьдесят семь штук «виллиссв».

— Ребята, — сказал им тогда генерал, — дело всемирного значения. Машины, сами видите, пообтрепались...

— Ясно, — ответили орлы, — доведем до дела, краснеть не придется... Какие взяли — такие отдадим...

И они действительно, забыв все на свете, забыв интересоваться демобилизацией и временем, которое сразу после войны потекло особенно быстро и заманчиво, стали доводить эти «виллисы» до внутреннего содержания и внешнего вида.

Иван Ефимович лично не вылезал из ям и другим не велел. Три машины, пришлось разобрать на запасные части, о чем было, конечно, доложено. Где их было брать, эти запчасти? Машины, конечно, списали, но зато было потребовано, чтоб остальные получились как с конвейера.

И они получились как с конвейера.

Они получились как новенькие, ровно на них не только не воевали, а и не ездили. А между тем имелись в них и пробоины, были они и покорежены и раскурочены, а в иных оказались следы не чего-нибудь, а именно крови...

— Пусть знают союзнички, как мы содержим технику,— говорил лейтенант Яковлев в редкие минуты перекура.

— Нехай знают,— отвечали орлы, щерясь от злой работы.

И работали. И на ту работу приезжали смотреть начальники, а однажды и корреспондент с фотоаппаратом «ФЭД». Корреспондент поцокал языком, повздыхал и высказался:

— Жаль, ребята, что это «виллисы»... Политически неудобно так работать на союзничков! Жаль. Были бы наши машины, я бы вас за такой энтузиазм в газете бы распечатал...

Орлы говорят:

— Мы не на союзничков работаем. Мы им уже отработали — кто рукой, кто ногой, а кто и головою... Мы так работаем от злости до работы.

Корреспондент говорит:

— Ваша работа заслуживает огромного общественного интереса. Но в данный момент ее выпячивать — политически неверно.

Орлы говорят:

— Про политику не знаем, а так думаем, что работа есть работа. При хорошей работе и политика хороша...

— Правильно,— хвалит корреспондент.

Тогда старшина Василий Петрович говорит:

— А вы «виллисы» не фотографируйте. Мы их так поставим, что модели будет не видать. Вы наш энтузиазм фотографируйте. Вот вам и вся политика.

Ну, посмеялись, конечно, в том смысле, что пока еще все в военной форме — и читателю будет не ясно, кончена война или все еще нет. В общем, похвалить похвалил, но фотографировать не стал.

И вот колонна была готова.

Генерал осмотрел, заулыбался, стал руки пожимать. Ребята руки ветошью вытирают и генералу протягивают. Генерал довольный ходит.

— Представим к награде,— говорит.— Вы поняли политическое значение вашей задачи, и благодаря вашей работе мы не ударим лицом в грязь. Пусть знают союзнички, с какими мастерами имеют дело! Машины поведете лично на американское судно. Всем побриться, помыться, получить новое обмундирование!

Обмундирование действительно выдали. Двадцать четыре комплекта. Старшина Василий Петрович привез два тюка. Ну, оделись как надо и решили ехать в три ездки. Ехать до порта недалеко — девяносто шесть километров. Пригонят первую партию — двадцать четыре машины. Двадцать штук ставят в рядок, на четырех назад возвращаются и снова ездка...

Первый раз приехали — стоит пароход. Небольшой, черный, в одну трубу. Представители командуют — сюда, мол,— а сами с американцами о чем-то. Американцы смотрят на машины без внимания. Вроде бы не видят качества. Марку держат. Тоже соображают политический момент. Ну, разглядывать союзничков не приходится, надо возвращаться. Не робейте, ребята, еще удивим, а не удивим — хрен с ними, мы свое сделали.

Во второй раз пригнали еще двадцать четыре машины. Поехали за последними.

И тут, при последней ездке, все и началось. К последней доставке спустили американцы на причал здоровенную машину. Иван Ефимович, пока она на борту стояла, думал, что это часть парохода. Оказалось — нет.

Новенькие «виллисы» стояли в ряд — шестьдесят четыре штуки. Помнится, еще солнышко вылезло — поиграть, поблестеть. Но недолго оно играло. Подошли лениво, в развалку, четыре здоровенных негра в

комбинезонах, в пилотках, за щекою — жвачка, жуют по-коровьи и, не глядя ни на кого, ни на сами «виллисы», стали загонять их в машину по одному. Загонят в машину, выйдут лениво-развально и — на следующий «виллис».

И тут поняли яковлевские орлы, что перед ними — пресс. Но поняли поздно, хотя все были правильные слесаря и в технике разбирались. И такой это был пресс, что одним ходом делал он из «виллиса» лепешку, а другим отправлял ее на пароход. И пока он отправляет, въезжает в него следующий «виллис»...

Иван Ефимович обомлел, не сообразил что к чему, а по третьему «виллису» кинулся к представителю:

— Товарищ полковник, разрешите обратиться...

— В чем дело?

— Как же можно это терпеть? Мы же целый месяц жизни не видели, делали их...

Полковник перебивает:

— Вы, лейтенант, устали, идите отдыхать.

А сам глазами крутит на американского представителя. Американский представитель, видать, по-русски понимает, что-то сквозь зубы — другому. Стоят — посмеиваются. Наш майор отводит Яковлева в стонку:

— Ты понимаешь, что делаешь? Трибунала захотел? Где твои гордость и патриотизм? Валяй с глаз и шарагу свою уведи, пока цел!

А ребята, действительно, стоят бледные до изнеможения, и видно по их лицам, что погибают они как побитые, как помятые этим прессом. Яковлев подходит, говорит:

— Ребята, нам здесь делать нечего... Мы свое сделали... Жалость наша тут не поможет. Тут — политика.

Построил кое-как, увел, и правильно сделал, потому что, как только из порта вышли, два слесаря — к решетке и забились:

— Мы же их как малых детей!

Ну, другие оттаскивают. Мол, какая разница, отдать надо было, а что с ними будут делать — нас не касается. Вроде бы не видели.

— Как же не видели, когда видели!.. В три господа бога мать! Это же машины! Это же на них ездить и ездить!

— Вот как капитализм поступает с нашим трудом!

— И негров пустили, сволочи, а? Мол, такая работа, что и негр справится...

Но на негров у яковлевских орлов зла не было. Понимали — подневольные. Приказали им уничтожить, они и уничтожают. Может, он и жвачку жевал, чтобы нервы успокоить: тоже ведь — человек, трудяга, знает, почему работа стоит.

А на американцев, на белых, было зло.

И только старшина Василий Петрович, как старший по возрасту, закурил и сказал:

— Списать надо было... Побили, мол, в борьбе с врагом... И все... Списать надо было...

И при таких его словах все замолчали, закурили, вроде ничего не было. Дело было высокое, недоступное и опасное...

В тот вечер подразделение напилось. Напилось горько, как никогда. Василий Петрович спирту достал, тушенки. Вскроешь банку, а там — розовое, как язык показывает, сволочь.

Конечно, ругали начальство, но осторожно.

— Надо было списать, правильно старшина говорит.

— Неверно! Надо по-честному, без обмана. Занял — отдавай...

— Кровь они нам небось не отдадут? Тоже — занимали...



— Что ж они, сами оставить нам их не могли? У нас — разруха: почему не помочь?

— Жалостливый какой! Помочь! Христа ради, что ли? Мы не нищие. Ты говори, да не заговаривайся, даром что выпил. Тут — классовая борьба. Они бы тебя самого — под пресс, когда бы смогли...

— Это все так, ребята, но машинок жалко... Как он двинет ее, а из нее — масло, как сукровица, и хрустит, как кости ломает... Звери, не люди...

Старшина Василий Петрович возражает:

— Стало быть, выгода есть.

— Какая ж такая может быть выгода — машины плющить на блины?

— А такая выгода. Лом возить на переплавку — выгоднее.

— А им, сволочам, и лому не надо! Для политического фасону!

— Возможно, и для фасону... Ты вот жалостью живешь — над каждым подшипником гряешься. А он — выгодой. Вот тебе и весь фасон. Выгода жалости не признает.

Иван Ефимович Яковлев в разговор не встревал, будучи человеком тихим. Но слушал и думал. Думал он о жалости и выгоде, и было ему от тех мыслей горько. И появилась у него мечта — чем заняться в мирное время. Но уже понимал он, что чем бы ни занялся, одна у него будет забота — наживать государству капитал. Чтоб ничего ни у кого не занимать.

С таким потрясением сознания и начал фактически мирную жизнь Иван Ефимович Яковлев.

И было в его жизни второе потрясение, которое его окончательно закалило.

Случилось оно лет через пятнадцать, когда он уже был директором леспромхоза...

**От автора**

Между Филькой и активным пенсионером Григорием Мироновичем установились дипломатические отношения раз и навсегда. Пес понял, что Григорий Миронович его не одобряет, и решил с ним не связываться.

Активный пенсионер сажился на скамейку у подъезда, садился откинувшись, грея на солнце живот, покрытый коричневыми брючками в белый рубчик. Брюки эти держались пояском под самой грудью, отчего живот был круглым, вроде спрятанного футбольного мяча.

Пес вылетал из подъезда веселясь, однако при виде Григория Мироновича степенел и, несмотря на то, что малая надобность распирала его изнутри, пес терпел, проходя мимо коричневых брюк прилично. Пес волочил свой калеченый задик не то чтобы стесняясь, а как-то скрывая свою недужность. Но проницательный пенсионер недужность замечал и делал из нее соответствующие выводы.

— Зачем вам такая собака? — спросил Григорий Миронович благодушно, ввязываясь в разговор.

— На этот вопрос трудно ответить, — сказал я.

Филька рвался с поводка, мы прошли мимо по своим делам.

Когда мы возвращались, Григорий Миронович сказал, продолжая мысль:

— Собака должна быть красивой... А ваша — некрасивая...

— Неужели? — спросил я. — Филька, говорят, ты некрасив, что ты на это скажешь?

Филька высунул язык, часто дыша. Ему не хотелось говорить.

— Собака должна быть большой и здоровой, — развивал свою мысль Григорий Миронович. — Что это за собака? Собака должна или

сторожить, или работать ищейкой, в крайнем случае ходить на охоту... А ваша собака ни то ни се.

— Ну что вы! Филька — прекрасный собеседник. Когда с ним говоришь — он молчит, что может быть лучше?

— Молчит... Конечно, молчит... Теперь вы с ним мучаетесь... Надо было его убить в детстве. Теперь это делают очень безболезненно. Уколют — и все, щенок засыпает.

— Но его не хотели убивать, Григорий Мироныч...

— И я вижу, что не хотели... И поэтому вы имеете больную собаку...

Филька спрятал язык и слушал, склонив голову к плечу.

— Уродливое надо уничтожать! Это здоровая греческая философия,— пояснил пенсионер.

— Но Филька не знает, что он уродлив.

— Мало что он не знает... Он и не должен знать... Вы всегда занимаетесь отсебятиной... Он у вас зарегистрирован?

Я понял, что погиб. Но судьба моего четвероногого друга толкнула меня на ложь во спасение:

— Зарегистрирован.

— Интересно,— усомнился активный пенсионер,— как это они регистрируют больных собак? Надо проверить. Где вы его регистрировали?

— А вы узнайте сами где. У вас должны быть большие связи.

— Мы боремся за обязательства,— строго, но незлобиво пояснил Григорий Миронович.— Мы приняли обязательство регистрировать кошек и собак.

— Да,— сказал я,— скот мелкий и скот крупный... Давайте выполним обязательства на семь лет раньше срока! Филька, домой!

Начиналась весна.

Начиналась весна — время посева хороших рациональных зерен. Ах, рациональное зерно, набухающее во влаге раздумий...

Мне нравится идея обслуживания, потому что я многого не умею делать сам. То есть я не сторонник натурального хозяйства.

Если бы моя воля — основал бы я такой трест, или мастерскую, или просто забегаловку, где на клиента надевали бы нимб. Такое заведение, скажем, ПВБХ — Пусть Вам Будет Хорошо. Или НБ -- Не Беспокойтесь. Можно также назвать проще, скажем, ВСС — Все Суета Сует.

Повесить на стенку красочные портреты сочинителя Экклезиаста и Эпикура. Этих двух общественных деятелей, несмотря на некоторые расхождения в их взглядах, я всегда считал основоположниками идеи обслуживания населения.

И были бы у меня тридцать три богатыря. Все они были бы равны как на подбор, каждый специалист своего дела. Один чистит, другой шьет, третий ремонтирует что-нибудь. Прекрасно.

С чего же это все началось?

Примерно тридцать лет и три года я вел себя, как Илья Муромец. То есть сидел на печи, болтал ногами и мычал глупости.

О блаженное невозвратное время, когда человек еще юн, невзирая на возраст! Когда он еще совсем отрок, от которого ничего не требуется.

Потом я вскочил. огляделся и путем силы молодецкой побил рати несметные. Сначала я прикончил Идолище Поганое, потом надал Каликам Перехожим и, наконец, стал щелкать Соловьев Разбойников

Работы оказалось неожиданно очень много. До обеденного перерыва я сжигал все, чему поклонялся, а после обеда поклонялся всему, что сжигал.

Я самоотверженно вкалывал. Прошло некоторое время, и я ощутил возможность купить себе автомобиль.

С этого момента, собственно, и началась моя действительная биография. Передо мной стали раскрываться души и характеры. Передо мной открывали души пьющие и непьющие, тяготеющие к лести и не тяготеющие, принципиальные и беспринципные. Будучи, как мне казалось, человеком нелестливым, я стал обнаруживать в себе огромные запасы суетливости. Мой милый, нежный, прекрасный автомобиль оказался ключом к неведомым тайнам человеческих характеров и отпирал эти тайны так, как будто он был не ключом, а универсальной отмычкой.

Шаг за шагом, километр за километром мой автомобиль уверенно уносил меня в стихию подспудного перераспределения материальных ценностей. Я был представлен самою судьбой светлоглазым волшебником, в кармане которых умещались амортизаторы и водяные насосы, катушки и трамблеры, червячные передачи и тормозные колодки. Я был представлен даже одному феномену, который носил за пазухой весь дифференциальный агрегат.

По дороге в стихию мне попадались шоферы, которые запросто отсасывали из своих баков бензин, взывая за это всего четверть цены. Стыд жег мои щеки, но пути назад уже не было. Я уже был в дороге.

Вокруг моего автомобиля постоянно летали трудолюбивые пчелы и таскали в его соты приторный автомобильный мед. Сначала я пытался прорваться сквозь их жужжащий рой к станции обслуживания автомобилей. Но красивые стеклянные станции были взяты в прочную осаду, пробиться сквозь которую не помогали ни дни, ни недели, ни месяцы.

Я откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза и сдался.

Теперь я уже не был хозяином автомобиля. Теперь уже он был моим повелителем и тираном. Он топтал мое достоинство, когда я льстил начальникам гаражей. Он надругивался над моей совестью, когда его заправляли казенным маслом в казенные часы казенные короли и валеты. Он сжирал мое время, когда я стоял на стреме, пока его нечистое брюхо осматривали из казенной ямы официальные лица неофициальным образом.

Воля моя была сломлена, и мне уже ничего не оставалось, как катиться по наклонной плоскости на выключенной передаче.

А ведь так еще недавно я представлял себе, как подъеду с открытым забралом и чистой душой к открытому для всех страждущих автоисточнику, отдам ключ и не буду никому морочить голову, пока автомобиль осмотрят и сделают ему необходимые вливания. Как далек я был от мысли, что мне придется самому добывать детали, не имея точного представления в их назначении и двигаясь на ощупь! И еще я думал, что достаточно только позвонить в такой кристальный ключ — и в ответ придет прекрасный юноша с белыми зубами и чуть-чуть испачканным открытым лицом, и официально возьмет у меня ключ, и унесет мой автомобиль, чтобы вернуть его в точно назначенный срок сытым, обутым, довольным, готовым к дальнейшим странствиям...

Черта с два. Никакой белозубый юноша не придет. А придет Генка и скажет, что днем, пока в гараже нет машин и пока начальник не видит, можно будет делать профилактику по-быстрому. И еще скажет Генка, что мотор они с Борисом перекинут на улице, а вот сваривать дно и красить на улице никак нельзя. Поэтому я должен позвонить Николаю Петровичу, чтобы он, Николай Петрович, звякнул начальнику гаража, чтобы он, начальник гаража, разрешил поставить в гараж мой автомобиль.

— А то на станции техобслуживания — не пробьешься, — скажет Генка. — Там очередь до Конотопа. И запчасти все равно сами будете добывать.

Да, да. Передо мною стали открываться души и характеры слесарей, жестянщиков, начальников гаражей и тех невидимых и недосягаемых Николаев Петровичей, по одному телефонному слову которых начальники гаражей кидались в огонь, в воду и, трубя в медные трубы, впускали меня в свои крепостные ворота.

И я, конечно, позвоню Николаю Петровичу. А вот звякнет он или не звякнет — не знаю. Если звякнет — хорошо. Доступ мне будет открыт. А если не звякнет — беда. Я превращусь в меченый атом, о котором начальник гаража будет знать самое важное — Николай Петрович не велел...

Впрочем, все это пока еще впереди. Пока еще у меня есть осознанная необходимость ничего не предпринимать, отягощая общество своими свирепыми потребностями.

Но весна уже началась. Уже протек потолок у Прибылевича, уже засуетились водостоки и активный пенсионер Григорий Миронович вылез из вынужденного зимнего оцепенения в поисках чего бы запретить.

Весна началась. Я оставался с нею один на один — великий грешник, коего неотвратимо ждет страшный суд под названием Ежегодный Технический Осмотр Автомобилей.

Я оставался один на один с будущим.

Мой кирпичноликий ангел-хранитель улетел на белых крыльях, испачканных солидолом. По слухам, он улетел в те зеленые края, где живет его родной брат, где выгодно разводить коров, где поэтому в бывшем свиномане под видом консервного завода собираются строить станцию технического обслуживания автомобилей.

Он улетел, бросив меня перед лицом страшного суда...

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Яковлев состоял директором леспромхоза длительное время и, несмотря на должность свою, в период поголовного домостроительства оставался цел и невредим, потому что жил по закону.

С момента первого потрясения была у Ивана Ефимовича мечта нажить богатство государству, чтобы в случае чего никак не повторилась та обидная история.

Леспромхоз — дело известное, всем надо, никто мимо не проходит. Все стараются, все печи топят, всем дерево нужно, а дерево — у Ивана Ефимовича Яковлева. И так он вел свое хозяйство, в таком ажуре у него был дебет-кредит, что ни к чему не было возможности придрататься, когда Ивана Ефимовича Яковлева посадили в тюрьму. Не к чему было придрататься при всем адском желании, когда вышло такое мнение — Яковлева судить показательным судом.

А дал толчок делу бывший его же старшина Василий Петрович, который у него шоферил и попался с краденой древесиной. Он попался с краденой древесиной глупо, исключительно по нахальству. Он говорил своему бывшему боевому командиру:

— Списать надо древесину, я строюсь.

— Списывать не будем, — говорил бывший командир, — а отпустим тебе как хорошему работнику с вычетом из зарплаты. Стройся на здоровье.

Но Василий Петрович был уже не тот. Он уже брехал всюду и назывался дядя Вася и искал свою выгоду, не имея жалости. И были у

него темные дела то с покрывками, то с иными запчастями, и ходили при нем неясные дружки. Словом, жил уже человек по выгоде.

И вот он попался и первым делом заложил своего бывшего боевого командира, который ни в чем замешан не был. Дядя Вася сигнализировал, что древесиной торгует налево сам Яковлев, а он, дядя Вася, только доставляет ее за нищие крохи с директорского стола.

Прокурор, конечно, первым делом усек, что бывший фронтовик дядя Вася поставил государственные интересы выше личной дружбы и не мог потерпеть воровства переродившегося и разложившегося начальника.

Адвокат Сорокин Владимир Андреевич с делом познакомился как и полагается адвокату, то есть видя перед собою прежде всего невинного человека. Ибо дело адвоката состоит в понятии, что всякий человек достоин не обвинения, но защиты. Понятие адвоката состоит в том, что человек не рождается вором, а, прежде чем стать таковым, проживает в обществе — значит, искать причину надо в обществе. И еще понятие адвоката состоит в том, что даже если неопровержимо окажется, что человек виновен, то последние часы его должны быть ограждены от унижения другими людьми. Ибо, унижая себе подобного, люди унижают самих себя, а это кладет нежелательную тень на все человечество в целом.

Но тут он, к радости своей, увидел перед собою чистого, голубого человека, который, будучи директором и имея возможность делать чудеса для личного обогащения, никаких чудес не делал, заботясь только о государственных интересах. Тем более к моменту суда дядя Вася, как главный свидетель обвинения, куда-то пропал и остались только его дружки, которые думали, что адвокат — это все равно что прокурор, и потому сыпали разные небылицы. Они, например, говорили, что лично передавали бывшему Яковлеву взятки, чтобы отступился, по семьсот рублей в месяц.

Прокурор говорит:

— Вот видите!

Адвокат спрашивает:

— А где вы брали такие деньги?

Дружки подумали и сказали:

— Ну, не по семьсот, конечно...

— Может, по семьдесят? — говорит адвокат.

Дружки обрадовались — помогает выпутаться.

— По семьдесят, — говорят.

— А может, по семь?

Дружки подумали и согласились:

— Когда и по семь.

Дружки были люди простые, им бы выпутаться и — домой. Этот хитрозадый дядя Вася смылся, заварив кашу, и теперь они сидят тут и отвечают адвокату — век бы его не видать. И всей корысти они имели от дела — это выпить-закусить. И вот пожалуйте — просохли!

Адвокат говорит:

— Так семьсот, семьдесят или семь?

Прокурор вставляет:

— Дело не в размере взятки, а в самом факте, я протестую! Требую оградить свидетелей! Адвокат путает своими ухищрениями простых людей.

Адвокат возражает:

— Если не установлен размер взятки — это влияет на признание факта. Так мы до семи копеек дойдем, а семь копеек — это цена двух сигарет. Может, они сигаретами Яковлева угощали? Обращаю внима-

ние, товарищ прокурор, я вас сегодня сам сигаретой угостил, как это понимать?

Прокурор обрывает:

— Что ж он, по две сигареты сразу курил?

Адвокат говорит:

— Он мог волноваться.

Дружки видят, что тонут. Сгорели бы они все со своими судами, и прокуроры и адвокаты! Кому-то надо Яковлева упечь, а тут отдувайся. И такое зло их взяло, что стали они топить дядю Васю, и это скорее было похоже на правду.

И тогда прокурор зацепился за последний факт, против которого адвокат был слаб. Яковлев, оказалось по документам, продавал лес в смежные области — вот документы! А решением облисполкома этого нельзя делать. Это есть преступление.

— Ну что же,— говорит адвокат,— давайте разберемся. Выручку он себе брал или государству?

Прокурор вопрос отвергает как несущественный:

— Это не имеет значения в данный момент. Нарушил? Нарушил! А нарушать законы мы не дадим.

Адвокат упирается:

— Нет, давайте установим — себе или не себе? Ваши свидетели не вызывают доверия. Им что семь рублей, что семь копеек. Так государственные деньги считать нельзя. А по документам выходит, что государству добывал деньги мой подзащитный. Государству, прошу заметить. А себе — ни копейки. Признаете?

Прокурор ехидно улыбается:

— Ну, допустим.

Адвокат говорит:

— Прошу отметить факт признания прокурором того, что мой подзащитный не присвоил себе ни копейки...

— Это еще неизвестно,— спохватывается прокурор,— брал он себе или не брал!

— Тогда докажите! — говорит адвокат.— Из обвинительного заключения следует только то, что кому-то очень хотелось, чтобы Яковлев брал. Но желание это не осуществилось. Тут одно из двух, товарищ прокурор, выбирайте. Либо Яковлев не брал, либо обвинение построено на соплях.

Ну, конечно, он так не сказал, а выбрал культурное выражение.

Прокурор выражение скушал и отвернулся.

А дальше адвокат Сорокин Владимир Андреевич стал рисовать довольно болезненную картину насчет разницы между деловой древесиной и простыми дровами. Леспромхоз валит лес. Этот лес лежит зиму под снегом и к весне годится только на дрова. Это прямой убыток хозяйству, поскольку оно теряет в двадцать раз. А тут, чтобы не терять убытка в двадцать раз, леспромхоз продавал не дрова, а деловую древесину, которая до зарезу нужна была колхозам безлесных областей. Леспромхоз получал большие деньги плюс к этому безлесные колхозы строили дома и фермы! Так что товарищу прокурору важнее, чтобы дерево сгнило и сгорело в печах или чтобы трудящиеся колхозники жили в культурных избах плюс доход государству? Что есть лес — народное достояние или дрова для дыму?

Прокурор говорит:

— Это демагогия!

Адвокат говорит:

— Это двести семьдесят шесть тысяч четыреста двенадцать рублей шестьдесят восемь копеек прибыли! Мы должны таким хозяйственникам памятники ставить, а вы их в тюрьму!

Публика, конечно, волнуется: все знают — чист директор, настолько чист, что у многих, кому он отказал в бревне-другом, даже зло на него временно прошло за такую его государственную принципиальность. Конечно, жмотничал Яковлев, но если смотреть справедливо — действительно мужик не виноватый. Прокурор на своем:

— А постановление облисполкома?

Тут адвокат говорит:

— Вы, как прокурор, должны болеть за народное добро. А это постановление сдерживает производительные силы. Это вы должны понимать, как марксист. И вы, как коммунист, должны протестовать против этого постановления, продиктованного местническими интересами! В то время, когда действительная прибыль является настоящим стимулом для дальнейшего поступательного движения, вы держитесь не за закон, а за неразумное постановление! Довольно странно для прокурора...

Неизвестно в точности, как было дело дальше, но Яковлева выпустили. Надо полагать, начальство все-таки сообразило, что парень он полезный. Некоторые думают так, что начальство все равно вытащило бы его из тюрьги. Потому что такого бескорыстного парня надо иметь, особенно если назревает необходимость поднимать какое-нибудь проваленное хозяйство. А леспромхоз был хозяйством проваленным, и Яковлев его вытащил, и теперь у начальства на ногах болтался колхоз «Заречный», куда до зарезу нужен был председатель.

Начальство вызвало Яковлева и вроде бы удивилось, что он восемь месяцев под следствием сидел. Мол, знало бы, ни за что не допустило бы. А теперь, мол, Иван Ефимович, дело прошлое, надо работать дальше. Давай в «Заречный», там тебя колхозники председателем выберут, а то Чугунов спился и не тянет. Теперь прибыль — все, а ты ее умеешь выколачивать не хуже иного капиталиста. Это, конечно, начальство сказало для смеху.

Так Иван Ефимович Яковлев стал председателем колхоза, не теряя возникшей дружбы с адвокатом Сорокиным Владимиром Андреевичем.

Владимир Андреевич иногда занимался охотой, но редко. И вот он сидел со своим ружьем в доме председателя, принеся, конечно, бутылку. Прибыл адвокат на тягу весною, и был принят радушно.

Сидели они в жаркой комнате — Иван Ефимович любил тепло, — сидели, сняв сапоги и шевеля пальцами по жару. Жена Ивана Ефимовича, Фрося, тихая женщина, учителька, души не чаяла в адвокате: ведь вытащил! Детки тоже уважали дядю Володю, да и сам адвокат как-то потянулся душою к семейству и, удивительно, защищал безвозмездно. Что заплатят в консультацию — то и лады, больше не требовал. За такое дело другой адвокат шкуру бы содрал.

— Я тебе скажу, Ефимыч, — жевал огурец Сорокин, — нельзя сказать, что я святой. Я свой кусок достану, когда организацию буду защищать. А ты — ангел, тебя самого за деньги показывать надо. Ты меня заинтересовал как экземпляр. При таком деле — и чист! Это же удивительно!

Иван Ефимович, конечно, пропал бы, ибо не имел языка. Он и в последнем слове только одно и сказал: «Прошу снисхождения». Он не умел говорить. Правда что экземпляр. И Фрося была тихая, только и знает — обед сварить, тетрадки проверить.

Но Яковлев, конечно, понимал, что Сорокин получил кое-что для своего авторитета. А для адвоката иметь авторитет — не скажите. Кто спас? Сорокин! Ага, надо иметь в виду. И не взял ничего, и — спас. Сильный человек. Это Яковлев понимал и, умея говорить, сказал бы.

Однако не сказал, а только тихо посмеялся и налил в стопочки. Впрочем, Сорокин по глазам его прочел эти мысли. Прочел, улыбнулся дальней улыбочкой. Мол, знаешь — знай, и я знаю... Приятного ума человек.

Яковлев кашлянул, поднял стопочку. Выпили. Закусили корочкой.

— Совет дай, Андреич...

— Ну?

— Построил колхоз чайную. При дороге. Дорога шумная. Машины. Монастыри кругом. Станцию обслуживания автомобилей, а?

Адвокат закурил.

— Начальство к тебе пока еще не пристает?

— Будто довольны... По первому году, конечно, прибыли не было, по второму — сто тысяч дали, сейчас думаем тысяч четыреста... Но — промыслы... С хлеба не разживешься... Хотел монастырь взять — Спаса на юру... Рушится монастырь... А он на нашей земле... Я бы из него доход сделал... Дадут?

— Надо подумать... Тут важно форму подачи найти. В наше время главное — форма подачи. Надо подсчитать, найти чем насмешить.

— Как так насмешить?

— А так, Иван Ефимович! Улыбку вызвать. Согласие, данное при улыбке, всего дороже. Начальство улыбается редко, ему не до смеха. А тут улыбнется, как солнышко проглянет. И запомнит: что-то такое приятное Яковлев поднес, хороший работник. Тут у тебя тыл обеспечен, орудуй на здоровье. Мешать пока не будут. А как придет пора помешать — глядь, у тебя и прибыль в руке. Тут делать нечего, кроме как опять улыбаться.

— Захотят, так и с прибылью... Того...

— Не скажи! Без прибыли сидел бы ты за свои дрова показательным судом.

Иван Ефимович встал, прошел в другую комнату, принес кальку, разложил на краю стола:

— План монастыря...

Адвокат удивился:

— Когда ты успел?

— Чайную делают мне художники... По договору... Я попросил — сделайте план. Они, конечно: давай деньги. А денег на это нет... Говорю: ребята, за так снимите план... Если дело выгорит — не прогадаете, а не выгорит — значит, не судьба... Сняли!

План монастыря Спаса на юру был чистенький, и нельзя было подумать, что изображал он древние развалины, где каждая стена была разрушена и горы многолетнего хлама завалили кельи.

Яковлев налил стопку себе, выпил.

— Консервный завод мне разрешается строить, а туристический комплекс — нельзя... Закон... Консервный завод... Консервировать мне нечего... Вот тут бы я — гостиницу, тут бы — станцию обслуживания... Предмет старины... Золотое дно... Американцы приедут — у меня к ним счет. Я с них хочу кое за что хоть долларами взять... Под видом консервного завода, а? Посадят, как ты думаешь?

Сорокин заблестел глазами:

— Могут и не посадить. Как представить дело... А хлеб?

Яковлев вздохнул отчаянно:

— Ну, не родит тут хлеб! И не родил сроду. Выгоднее покупать. Мясо можно вдесятеро, овец можно, молоко, картошку... А хлеб не родит... Ну что я могу поделывать, Андреич, если его хоть слезами поливай... Где же это сказано, чтобы жить без выгоды, без учета земли?... Хлеб — в хлебных местах. По четыреста—пятьсот пудов можно брать,



если с умом... А у меня — молоко, мясо, предметы старины... Все — деньги, а?

— А зачем тебе деньги? — спросил адвокат.

— Шутишь, Андреич? Деньги, они — деньги... Не в том, чтобы покупать там себе тряпки, — обойдусь... Деньги есть учет... Одна земля дороже, другая — дешевле, это же от бога, значит, надо шевелиться... Без денег не узнать что почем. Может, эту работу и делать не надо... Может, ее под пресс выгоднее... А время на нее пошло. И труд. Деньги — это труд. А труд без денег — одна политика...

Сорокин, конечно, засмеялся от такой домашней политэкономии. Но Яковлев не обиделся. Он снова повернул на монастырь. Ездил, мол, в город, присматривался в «Интуристе». Сорокин переспросил — когда, мол, ездил, чего не заехал.

Но тут Яковлев как бы в себя ушел. Опустил голову, стал наливать, закуску подвинул.

Ибо было ему что скрывать от Сорокина...

*(Продолжение следует)*



---

---

# О Ч Е Р К И    Н А Ш И Х    Д Н Е И

## НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ВАСИЛИЙ РОСЛЯКОВ

★

### ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

**В** шесть утра были еще в Казани, в половине второго уже в Набережных Челнах. Сначала широким разливом Волги — татары зовут ее нежным именем Идель, — потом, у впадения Камы, Камским морем сорокакилометровой ширины, а уж потом Камой. Один берег гористый, тянется верблюжьими горбами, покрытыми курчавым лесом. К воде горбы обрываются желтыми срезами. Другой берег, Закамье, в бескрайних лесах, равнинный. Вот не думал: вода не бирюзовая, не аквамариновая или там привычно зеленоватая вода. Нет, она мутная охра с красным отливом. Но как много воды. Как она широка, Кама, полноводна. Врешь с правым берегом, вот-вот прольется в лесное Закамье.

Челны становятся теперь знаменитыми. А напротив Челнов, верстах в двадцати от Камы, стоит в лесах Елабуга, славный глухой городок. Там дом стоит Ивана Ивановича Шишкина. Богатырь, подковы гнул, купецкий сын, а дерево рисовать, в особенности хвойное, лучше никто в России не умел. Скрипят под ногами половицы, лестница в старом деревянном доме скрипит. На стенках картины, фотографии, рисунки. А за городом свернешь с дороги — и перед тобой «Утро в сосновом лесу», «Корабельная роща». Вымахнешь на большую поляну — а там ржи стоят, во ржах три-четыре сосны. Вот она тебе и «Рожь». Повсюду его следы.

Тут же, в Елабуге, горемычная могила Цветаевой.

Сперва, когда из моря входишь в Каму, кажется, что все тут не тронато еще никем, елабужская глухомань, медвежья сторона. Тишина на сто верст кругом. А после диковатых заповедных берегов справа далекие дымы, а потом и трубы завиднелись. Не простые трубы, высоченные, как мечети. Это нефтяная, промышленная Татария задымила. А перед Челнами в прибрежной воде пошли земснаряды, на берегу установки сортируют песок, гравий. Высокие стрелы экскаваторов, рев машин. По зеленым полям далеко видны невероятные тут белые каменные кварталы. Жили в Челнах (старый город теперь называется) — не думали, не гадали.

Семьдесят вариантов было. Где ставить завод-гигант? Остановились на Челнах Набережных. И пошло, закрутилось, завертелось вокруг этих Челнов.

Газеты, радио, телевизор сделали свое дело. Тысячи и тысячи всполошились, двинулись к Челнам. Едут, плывут, летят круглые сутки, всеми рейсами. И наш «Метеор», шестичасовой, полон ими, завтрашними камазовцами.

На пристани пестрые платочки, гитарка за спиной, рюкзаки, чемоданишки и просто так, в заднем кармане на молнии, рупь на дорогу да пачка сигареток. Едут налегке, все впереди.

В город надо подняться по крутой деревянной лестнице в два длинных марша. Город на горе. Опустела на время пристань. опустела и крутая лестница. А эти вот приотстали, после первого марша остановились перевести дух. Он с челоч-

кой и детскими веснушками, дите еще, поставил два чемодана, ловит ртом воздух. Она, с грудным младенцем на руках, с узлами, тоже к перильцам притулилась, к малютке заглядывает, как он там. Стоят, отдыхают на середине лестницы: рыжий, в веснушках мальчик, он же отец и муж, худенькая девочка, она же мать и жена. Она на него уповает, на мальчика-мужа, на опору, он на нее, а оба вместе на Челны, на КамАЗ, на великую стройку. Вот доберемся как-нибудь, устроимся, деньжат подработаем, выдвинемся, в передовики выйдем, свой угол добудем, потом, о, потом и квартирка будет, и — не горюй — учиться еще будем... Ах ты господи. И ведь прав же, прав мальчик-муж, все это с ними будет, до всего они дойдут. Но это так, в глаза бросилось, таких, конечно, мало, единицы. В основном же народ тут вольный, не обремененный, а если и семейный, то семья до времени дома, на родине, откуда прибыл строитель, там дожидается.

Кривыми деревянными улочками старых Челнов автобус выходит к чистым каменным многоэтажным домам. Поселок КамГЭСа, улица Гидростроителей. Вот где, вот откуда видна современная стройка. Ее бытовой, так сказать, производственный профиль.

По мостовым, под сенью новых домов, планируют после рабочей смены, спешат в магазины, в кино, на свидание и так далее они, камазовцы. Ребята в расклеванных брючках, в пиджачках с разрезами, по моде буйноволосые. И под битлов, и а-ля рус, кружком, и под Ленского, смесь всего этого вместе. Геологические бороды и бородки ухоженные, домашние. Животы современные, впалые, руки в кармашках брюк. Девочки в мини-юбочках, сверкают круглыми коленками, есть и в брючках всех цветов и оттенков. В пасмурный день тут плащи «болонья», свитера, кофты, лавсан, поролон — все как на Арбате...

Много детей. У подъездов сидят старушки. На базарчике завозной лук, огурцы, помидоры. Бочки с молоком, окруженные женщинами. У бочки с пивом толпятся еще не переодетые после смены работяги.

Крупный универсам, хозтовары, продовольственные. В них всего богато, но толчеи особой нет, магазинов достаточно. Толчея в столовках, их много, но их все еще недостает, народ валит каждый день.

А по центру, по проезжей части снуют современные автобусы. Не то что Братск когда-то. А ведь совсем недавно. Все там было не так. Вспомнишь те палатки на болоте у Падуна, те времянки деревянные, вспомнишь тех парней и девчонок — их тоже много там было. В простеньких ковбойках, в лыжных хлопчатых костюмах и девчонки и ребята, и в столовке больше все гидрокурица одна в меню, то есть камбала во всех видах, да еще кисель. Край суровый и простенькие против этих сверхмодных, нейлоновых, простенькие, небогатые те ребятки, вспомнишь, сердце защежит. И кумир их тогдашний — Женя Евтушенко... Люблю тебя, Братск, чудо XX века!

А тут на каменной стене, повернутой к широкой улице, каменная голова красавицы. Длинная стилизованная шея, ветер резко сбил в сторону ее волосы, ее цветной шарфик. Черные, по-татарски чуть косящие глаза. Красавица Чулпан, утренняя звезда. Роскошный кинотеатр «Чулпан». Это уже другая жизнь.

Когда выбор — где ставить завод-гигант — упал на Татарию, на Челны, когда пришли сюда машины и люди, заложили первый камень будущего гиганта, на этом камне было написано крупными буквами: «Батыр». Завод «Батыр». Говорят, будущий автомобиль будет называться этим именем. Кинотеатр «Чулпан». Как мудро и красиво всесоюзная стройка вписывается в национальные краски и звуки Татарии. КамАЗ. Камский автомобильный завод. Но я на разные лады поворачиваю это слово, и оно уже звучит для меня чуть-чуть по-татарски. КамАЗ, кыз, кумыс. Батыр. Чулпан. КамАЗ.

Газета «Камские зори» выходит на русском и татарском языках. Сидит тут, в газете, тихий поэт Филипп Саночкин, счастливый человек. Хорошо тут начинать поэту. Кроме стихов Филиппа Саночкина, часто мелькают на страницах «Камских зорь» тексты песен о КамАЗе, тексты с нотами. Это Е. Милутка, местный менеджер, поет свои песенки под мандолину. Окончил пединститут, работает плотником-бетонщиком. Еще в газете, в тихом углу сидит дублер, дублирует «Камские

зори» на татарском языке, а кроме этого, помаленьку пишет повесть о КамАЗе. Сначала он работал бетонщиком, стройка перед его глазами разворачивается с самого начала. И повесть его складывается как летопись стройки. Это я сравниваю с летописью. Но на КамАЗе пишется и натуральная летопись. Есть тут свой летописец. Не инок, не сивобородый Нестор, молодой симпатичный парень Юра Котов, недавний заочник Литературного института имени Горького в Москве. Заканчивает Юра второй том летописи. Вот несколько дней из второго тома:

«1 июня. Монтажники бригады И. Н. Швецова из Заинского участка треста Гидромонтаж установили первую колонну торца машинного зала теплоэлектроцентрали Камского автомобильного завода.

ТЭЦ — пусковой объект 1971 года. Проектная мощность ее — 520 тысяч киловатт. Уже в этом году она должна обеспечить теплом, электроэнергией новый район Набережных Челнов, где домостроители Москвы и Ленинграда сдадут в эксплуатацию первые 65 тысяч квадратных метров жилой площади.

3 июня. В адрес Управления механизации строительства Камгэсэнергостроя поступил необычный багаж — книги. Комсомольцы авиационного института и школ Казани прислали в подарок строителям КамАЗа около двух с половиной тысяч книг художественной литературы.

5 июня. В женском общежитии, 4/1 прошел вечер, посвященный поэзии С. Есенина. Девушки смонтировали красочный стенд о жизни и творчестве поэта, подготовили концертную программу из произведений С. Есенина. Зал превратился в березовую рощу, на сцене — большой портрет самого популярного среди молодежи русского поэта.

12 июня. Началась выемка грунта под котлован одного из важнейших объектов Камского автомобильного комплекса — главного автосборочного корпуса. Длина будущего цеха составит около полутора километров, ширина — 700 метров. Первой приступила к работе на этом объекте комплексная бригада коммунистического труда автосборочников У. Наурбиева.

20 июня. Строители Камского автозавода отметили национальный праздник Татарии, посвященный окончанию весенне-полевых работ, — сабантуй. Для многих камазовцев этот праздник был новинкой: ведь на стройку съехались посланцы комсомола со всех концов страны, молодежь 35 национальностей.

Праздничный майдан был раскинут на обширных зеленых лугах, близ Камы. 140 автобусов курсировало по маршруту Челны — сабантуй. В программе праздника — спортивные состязания, национальные игры, конные скачки и, конечно же, татарская борьба. В борьбе главный приз победителя — баран и в придачу телевизор — достался Василию Николаеву.

22 июня. Началось бетонирование фундамента под оборудование нового бетонного завода производительностью 30 кубометров бетона в час.

28 июня. Бригада монтажников И. Ульянова из СУ-190 Главмосстроя установила первый блок в новой части застройки Набережных Челнов. Первенец, двенадцатиэтажный дом № 4—10 на 143 квартиры, москвичи обещают смонтировать за 40 рабочих дней.

За шесть месяцев 1971 года коллектив строителей КамАЗа увеличился на шесть тысяч человек».

А на свежих домах Гидростроительной камнем выложены слова: «Мы строим КамАЗ», «Дадим камский автомобиль в 1974 году».

### О ЧЕМ ПИСАТЬ?

Когда перед тобой такая стройка, то этот вопрос не кажется праздным или простым. Действительно, о чем писать?

Начал я с того, что постарался увидеть, сперва на бумаге, на схеме, как она велика, эта стройка, где у нее что. И вот рука инженера Широких Евгения Кузьмича на моей страничке по самому верху проводит широкую полосу. Это Кама. Слева под ней возникает квадратик — Н. Челны и УС КГЭС. Здесь штаб. Влево уходит дорога на Альметьево. Направо, слегка соскальзывая вниз, идет дорога

через речку Челны, через деревни Красные Челны и Орловку к главной площадке. По пути, перед самой речкой. Евгений Кузьмич еще ставит квадратик — это ЗЯБ, завод ячистого бетона. Главная площадка занимает весь правый нижний угол. Ее размеры шесть километров на семь километров — 42 квадратных километра. Площадка делится еще на квадратики. В одном — промышленно-коммунальная зона, во втором — четыре завода, каждый из которых мог бы существовать отдельно в любой части страны. Автостроительный завод, завод двигателей, пресоворамный завод и кузнечный. В третьем квадрате — ВПБ, временная промышленная база, и ТЭЦ на 520 тысяч киловатт. И наконец, в четвертом квадрате — КВЦ, комбинат вспомогательных цехов, и литейный завод с четырьмя гигантскими автоматическими цехами. Выше этой главной площадки до самой Камы лежит будущий Новый город. Впоследствии он сольется и с нынешним поселком КамГЭС, где знаменитый «Чулпан», и со старыми Челнами. И еще в левом нижнем углу — БСИ, база строительной индустрии, где также мощные заводы сборного железобетона, металлоконструкций, комбинат панельного домостроения и другое.

Вот география. Где живут строители? В каждом доме старого города, поселок КамГЭС с его многоэтажными домами превращен в гигантское общежитие. Живут в вагончиках, сборных домиках, строительные бригады студентов — в палатках. Живут в окрестных деревнях радиусом 40—50 километров.

О чем писать?

Садимся на автобус и целый день ездим по схеме Евгения Кузьмича — через живую речку Челны, через живые деревни Красные Челны и Орловку, по всем этим квадратам. Котлованы, горы сдвинутого чернозема, рыжие глиняные валы, гигантские нитки тепловых труб, фундаменты для колонн, подколонники, а кое-где уже металлические скелеты будущих строений, заводских помещений. А в двух местах, прямо в зеленой ржи, палаточные городки для студентов. «МАЗы», «КРАЗы», режут самосвалы, копаются бульдозеры, скреперы. Больше оживления на первоочередных объектах — на ТЭЦ и БСИ. На ТЭЦ заглянули в котлован, где уже закладывается фундамент под трубу. Труба — 250 метров высоты. Котлован гигантский, полон хитроумно переплетенной арматуры, скоро будет залит бетоном. Где-то здесь работает бригадир гидромонтажников Иван Швецов. Вот о ком надо писать. Большой мастер своего дела, строил Асуанскую плотину. Через него и стройку можно показать. Надо найти Ивана Швецова. Найдем. Но Швецов, строивший Асуанскую плотину, сегодня выходной. Живет далеко от Челнов, в маленьком городке Зай.

О чем же писать? К чему нужно приглядеться в первую очередь?

Полдня носимся по объектам, все ахаем, удивляемся небывалым масштабам стройки, пока вконец не проголодались и не попали на одном из объектов в столовую. Низкое каменное здание, внутри обычная, как и в Москве, столовка, только в два-три раза просторнее. Столики с гигиеническим покрытием, раздаточная, подносы. Самообслуживание. Был как раз обеденный час — и столовка роилась молодыми людьми, гомонила молодыми голосами. Молодые лица, молодые крепкие фигурки девчонок, красивые руки рабочих ребят. Молодость всегда вызывает радость, тут молодость занятая, деловая, рабочая. Это многолюдье было прекрасным. Вот о чем надобно писать. О любви. О большой и чистой любви, рожденной здесь, в этих Челнах. Я вглядываюсь в лица, и каждое из этих мелькающих лиц по-своему прекрасно, по-своему привлекательно, по-своему освещено чистым светом молодых глаз. Сколько глаз! Сколько неповторимых живых душ светится в этих глазах! Надо писать о молодости, о любви.

И я нашел их сразу, влюбленных. Она, прелестница в ладном комбинезоне, в очечках, мыла руки под краном, я стоял за ее спиной в очереди к мойке. Когда она нажала на кнопку электрополотенца, я спросил ее, маленькую, хрупкую и по детски серьезную. Где же она, малютка, работает? — спросил я несмело.

— На дороге.

Ответила она снисходительно и серьезно, едва повернувшись ко мне сияющими стеклами очков.

— Как же вы там? С лопатой?

— Она мастером работает.

Это уже вмешался он, высокий и стройный, словно тополек. Он ответил строго, как бы защищая ее от постороннего, от чужого человека. Его короткий ответ говорил мне: отстань, дядя, займись своим делом. Разумеется, я стусевался, смутился, но про себя подумал: вот они, мои герои, вот они, юные и счастливые, вот о ком я должен писать. Нет, я не оставляю вас, мои герои.

Она просушила руки перед гудящим электрополотенцем, а он достал из своего кармана платок и подал ей. И было между ними что-то тайное и прекрасное.

Потом мы прошли в зал. Я занимался своим делом и следил за ними, не терял их из виду. Он, смуглый и стройный мальчик, пристроился в очередь. Вокруг меня и вокруг них сновали, голпились сотни разноликих молодых парней и девочек, но я ни на кого уже не обращал внимания, смотрел только на этих, и они не обращали внимания ни на кого, заняты были собой. Он, отвернувшись немного от очереди, обшаривал тихонько свои карманы, она снизу вверх смотрела на него через мягкие стекла, ждала. И была между ними гайна, и детская доверчивость, и нежность. Он нашел и подал ей какую-то мелочь, и она тихонечко прошла к буфету, наверно, ей хотелось, кроме обеда, купить себе пирожное, пряник, а может быть, шоколадку. И он знал это, конечно, и понимал ее. Я боялся потерять их, боялся, что они уйдут, в конце концов, из столовки, а я так и не осмелюсь поговорить с ними. Но вот он притащил обед, сел в углу за свободный столик и, ни к чему не притрагиваясь, ждал ее. Момент был подходящий, и я оставил свою очередь и направился к нему в угол. Присел. Мне сразу понравилось, как он спокойно и мягко отнесся к моему вторжению. Извините — я невольно обратился на «вы», — извините, мы прибыли сюда и так далее и так далее. Не скажу вам, но чем-то вы заинтересовали меня и так далее.

— Эта девочка, простите, ваша, как бы сказать?..

— Нет, — мягко и без улыбки ответил он.

— Ваша любовь? Или, простите за нескромность, ваша жена, невеста, или, может быть, вы дружите?

— Нет. — Опять он ответил без улыбки, не смеясь над моим замешательством. — Нет, мы вместе работаем. Студенты, живем в палатках.

Звали его Рашидом. Рашид Гусамов, первокурсник. С лица его не успело еще сойти детское, школьное, и я поверил ему, а платочек, который он доставал из кармана для девочки, мелочь, которую он собрал для нее же на шоколадку, их глаза, как они смотрели друг на друга — все это было от детей еще, и тайна их была детской, потому что оба они вдруг оказались среди множества чужих людей, вдали от пап и мам, от родных, от близких, оказались в большом мире и невольно, как два ребенка, притянулись друг к другу, возмещая один другому нежность и ту ласку, что остались у каждого из них дома.

— Мы просто работаем вместе. Она второе лето, я первое, она уже мастер.

Рашид говорил чистую правду, потому что он не знал еще, не догадывался, это знал только я, старый человек, что между ними уже вовсю хозяйничала любовь.

— Нет, мы работаем на одном участке и учимся в одном институте.

Ну что же, нет так нет, и я распрощался с Рашидом.

О чем же все-таки писать? Хорошо, конечно, о любви, стройка молодежная, но любовь эту надо найти, надо подсмотреть ее, подслушать, а кто же тебе позволит... И я распрощался с Рашидом.

А после обеда я увидел этого Костылева Вячеслава Петровича. Это уже на БСИ было, на базе строительной индустрии. Тут уже не котлованы, тут были уже корпуса, уже крыши выложены. Под крышами работали бетонщики, гнали нулевой цикл, то есть пол бетонировали, оставляя всякие отверстия, ямы, пустоты для размещения будущего оборудования, для монтажа. Вокруг одной колонны было оцеплено, огорожено место, подходить нельзя, оттуда слышались выстрелы. И тогда я увидел этого человека в каске солдата колониальных войск и с большим черным пистолетом в руке. Он прикладывал к бетонной стенке колонны металличе-

скую пластину и выстреливал в нее, пластина оказывалась пригвожденной к бетону. Что это? Это монтажная пристрелка пластин, необходимых для монтажа оборудования. Я впервые видел эту работу. Человек, который назывался оператором, который работал с пистолетом, показался мне интересным.

Все же есть эта косточка. То говорят — военная косточка, а то вот я говорю — строительная косточка. Есть она. Вот Вячеслав Петрович. Даже по внешним фактам его биографии видно эту косточку. Родина его недалеко отсюда, в Мензелинском районе, деревня Дыреевка. Мать там живет. Отец умер от ран после войны. Вячеслав Петрович, когда окончил семилетку, работал в колхозе, потом ушел в армию. После армии и начала беспокоить эта косточка, стал он искать, метаться. Сначала в Сибирь на шахты, в городе Прокопьевске, из шахты ушел в школу механизации, оттуда послали на целину, в Павлодарскую область. Около года поработал на тракторе. Словом, после армии лет пять метался, искал, а дома мать старенькая, одна. Вернулся домой, однако же не усидел и дома, подался на Север, к Архангельску, лес валить. Не у каждого вдруг и просто все получается. Когда Вячеслав Петрович услышал, что начали строить Нижнекамскую ГЭС, он пошел на эту стройку. Стройка. Вот что искал он так долго, а тут еще под боком у родной деревни.

Вот этот поселок КамГЭС, где кинотеатр «Чулпан», где улица Гидростроителей, он-то возводился строителями Нижнекамской ГЭС, которая заморозилась на долгие годы и только теперь ее строительство пойдет в нормальных темпах, потому что Нижнекамская ГЭС входит теперь в один большой комплекс, который ведет эта огромная организация под названием Камгэсэнергострой. Кроме завершения строительства Нижнекамской ГЭС, эта организация должна сдать государственной комиссии уже построенную Зайнскую ГРЭС, закончить строительство Нижнекамской ТЭЦ, из района строительства КамАЗа перенести на новые места села, колхозы и совхозы, построить для них ряд агрогородов. Ну и, конечно, сам КамАЗ.

Сначала конечно, ничего этого Вячеслав Петрович не знал. Он вернулся из Архангельска строить на своей родине Нижнекамскую ГЭС. Поступил на работу в Гидроэлектромонтаж Ленинградского треста. Был электриком, монтажником, электромонтажником, на других работах был и вот уже три года как не расстается с этим пистолетом. Поселился Вячеслав Петрович в поселке, когда в нем был лишь один дом, теперь только Гидростроительная похожа на целый город. Вячеслав Петрович живет теперь в двухкомнатной квартире на этой Гидростроительной. Тут женился, Нина стала учиться, теперь работает сантехником. Когда я пришел к Вячеславу Петровичу домой, супруги только что закончили купание двухмесячной Танечки. Шестилетний Валерка играл на полу игрушками. Сложилась у Вячеслава Петровича на этой великой стройке хорошая семья, налажен быт, и сам он дома выглядит таким мирным, обычным, мягким без этой своей суровой каски и без пистолета. Работа все же интересная, все же она отличается от многих простых работ. В руках боевое оружие, стреляет боевыми патронами, а это, разумеется, всегда содержит в себе элемент риска, элемент опасности. Но это и делает работу оператора не совсем обычной, это Вячеславу Петровичу нравится. В смену разрешается не более ста выстрелов, в этих пределах и держится Вячеслав Петрович. Он отстрелялся, и мы подошли к нему, познакомились. Интересно, можно ли поглядеть на пистолетик? Он еще дымил стволом в руке Вячеслава Петровича. Костылев устало улыбнулся и спрятал пистолет за спину. Нет, в руки эту штуку брать нельзя. Патрон пожалуйста — холостой, конечно, стрелянный. Патрон как патрон, обрезан, правда, наполовину. Зато пуля не совсем обычная. Дюбель называется, похож больше на короткий толстый гвоздь. Он и есть гвоздь — как полагается, со шляпкой. Этим гвоздем и пристреливают к бетонной стенке всякие металлические предметы. В домах, например, когда идет установка оборудования, водопроводного, газового и так далее, вот этим дюбелем пристреливают к стене раковины, мойки и прочую коммунальную утварь. Этим же гвоздем, дюбелем, была убита Настенька Угольникова. Ей было восемнадцать лет и одиннадцать месяцев **жизни**.

Я собрал несколько стреляных гильз и несколько штук этих дюбелей и положил в карман.

Из «Заключения технического инспектора...»:

«17 октября 1970 года на строительстве дома 6/13 выстрелом из строительного-монтажного пистолета СПМ-3М была смертельно травмирована маляр СУ-37 Жилстроя-2 Камгэсэнергостроя Угольниковая Анастасия Ивановна».

Из акта:

«Угольниковая Анастасия Ивановна.

18 лет 11 месяцев.

Штукатур-маляр.

Разряд — третий.

Общий стаж работы — 2 года 2 месяца и 14 дней.

Стаж в данном цехе — 2 мес. 14 дней».

Тот выстрел раздался в 8 часов 15 минут. В 22 часа 20 минут того же дня Настенька скончалась в больнице.

Никто не виноват.

Надо было стольким случайностям сойтись вместе в одной точке, чтобы оборвать Настенькину жизнь. В этот день ей работалось особенно хорошо. Закончили с подружкой отделку одной комнаты, прибежала к мастеру за новым заданием, потом, когда спустилась с верхнего этажа на первый взять козел для работы в новой квартире, когда наклонилась, чтобы поднять с полу этот козел, она не знала, что...

В соседнем подъезде на первом этаже на кухне шла пристрелка арматурного устройства под умывальник. А через стенку, в соседней квартире, как раз и лежал этот козел. Там, в этой квартире, никто не работал, ибо были предупреждены. Настя прибежала сюда с верхнего этажа, ни о чем не подозревая. И когда она наклонилась, то именно в эту секунду последовал выстрел, и именно на этот раз по неслышанной случайности под пулей, под этим дюбелем была пустота. Пустота была оставлена в панели для розетки выключателя. Дюбель пробил пятимиллиметровую толщину металла, пробил остаток панели, одну четвертую всей толщины, и вошел в грудь наклонившейся за козлом Настеньки. Когда прибежала на крик подружка, Настя лежала на полу, стонала, кофточка была разорвана и на груди рваная рана. Настенька просила пить. Ее положили на дверное полотно, под голову подстелили фуфайку, вызвали «скорую помощь».

Вины нет ни на ком. Сошлись все эти страшные случайности: и этот козел, и эта пустота в панели для выключателя, и миг этот, это совпадение выстрела с Настенькиным наклоном. Никто не виноват, но Настя Угольникова, окончившая профессиональное училище, приехавшая на стройку, проработавшая тут 2 месяца и 14 дней, на пятнадцатый день окончила свою жизнь, стала вечным строителем КамАЗа. КамАЗ. У него уже появились свои могилы. Все просто, буднично, случайно. На войне тоже было много случайных смертей, но те, погибшие от случайной пули или случайного осколка, те живут в нашей памяти как погибшие за родину. За что погибла комсомолка Настенька, наша юная современница, за что она отдала свою только что начатую жизнь? Конечно, ее жизнь, ее комсомольское сердце принадлежали родине. Конечно, Настенька Угольникова будет жить в нашей памяти как верная дочь родины, а в славу этой великой стройки войдут не только миллионы вынутых кубометров земли, не только новые корпуса завода-гиганта, не только трудовая доблесть строителей, но также и могилы КамАЗа, также и павшие его бойцы. И я засобирался в комсомольский комитет, чтобы узнать что-нибудь на этот счет или просто хотя бы поговорить, погоревать вместе с комсомольскими вожаками, вспомнить славную девочку, комсомолку Настю, маляра-штукатура.

Первого секретаря комитета не было на месте, был секретарь по оргработе. Розовый, плотный, очень симпатичный парень сидел за письменным столом. Слева от него, в углу, с опавшим бархатом стояли знамена, три знамени, на них золотое шитье. Знамена были разных оттенков, от темного пурпура до яркого карминового. Когда секретарь поднялся, чтобы поздороваться, я заметил: хотя он и



молод был, но все же галию уже потерял, вместо талии намечалась значительная и чуть грузноватая осаночка. Сколько вам лет, товарищ секретарь?

— Двадцать девять.

А величать как?

— Петя.

Петя немного смутился, даже вроде покраснел, но через секунду лицо его опять сияло бодрым сиянием, как и положено ему сиять у комсомольского работника. Мысли, вернее, настроение у меня было печальное, я думал о Настеньке, поэтому Петино сияние показалось мне не очень уместным, не отвечающим моему состоянию. Но Петя этого не знал да и не мог знать, конечно. Тогда я спросил о знаменах, что это были за знамена, Петя с уважением и с гордостью рассказал о каждом знамени и перешел тут же на стройку, которая считалась ударной комсомольско-молодежной. Средний возраст строителей, оказывается, был двадцать три года. Значит, Настенька была из младшеньких, а Вячеслав Петрович, оператор, из стариков, ему уже тридцать два. Но таких стариков по сравнению с молодыми не много. Петя рассказал о комсомольском штабе строительства, об ударных бригадах, о том, что в воскресенье состоится открытие летнего театра, построенного комсомольцами в неурочное время. О себе немного сказал. Но тут разговору помешала посетительница. Она уже несколько раз заглядывала, но Петя коротким жестом давал понять, что он занят и принять не может. Потом кто-то из комитетчиков просто ввел эту посетительницу и сказал Пете, что девушка уже давно ждет. Девушка была, собственно, молодой матерью, на руках у нее лежало запеленатое дите. Лицо у молодой матери совершенно было потерянным и истрадавшимся. Говорила она чуть слышным, робким голосом. Муж ее, то есть молодой негодяй, как только узнал, что становится отцом, удрал с КамАЗа в неизвестном направлении. В общежитии, где живет эта печальная комсомолка, дите никому не дает спать, и девочки, наработавшись за день, не могут выспаться, обижаются. Она просит как-нибудь помочь с жильем, может, угол где-нибудь помогли бы найти.

Она стояла с этой ношей своей, а Петя с неудовольствием посерьезнел лицом, задумался. Нет, он ничем помочь не может.

— А как же?

— Что вы меня спрашиваете? Устраивайтесь сами.

Перегнувшись через стол, я деликатно, почти шепотом попросил Петю подумать, может быть, что-нибудь можно сделать.

Петя сильно поколебался и сказал:

— Послезавтра зайдите. Но не обещаю.

— Сюда?— прошептала мать-комсомолка.

— Сюда.

Послезавтра тоже ничем помочь Петя не смог. Действительно, с жильем тут пока очень трудно.

Когда вышла просительница, Петя долго не мог выйти из тяжелого, неприятного состояния, все это ему ужасно не по духу было. Ругнул таких безответственных. Наделают делов, а потом ходят, пороги обивают. Таких, правда, мало, совсем мало. А вообще-то молодежь прекрасная, замечательная. Потихоньку Петя опять повеселел, разговорился.

— У нас такая молодежь, работать приятно. Скажешь: давай, ребята, двадцать часов в сутки, без сна и отдыха, по-ударному, — и все без слов будут вкалывать двадцать часов.

— А зачем?— не понял я Петю.

— Как зачем?— Теперь Петя не понял меня, но ответить на мой вопрос тоже не мог.

— У нас, знаете, как выразилась одна замечательная комсомолка Галя Филяшина? Она сказала: «Не превращайте свою молодость в жалобную книгу».

Я сказал, что видел в общежитии, в бытовках на стройке этот лозунг.

— Да, мы это распространили, этот лозунг до Москвы дошел. А вот такие, как эта, таких мало, правда, как чуть что, сразу лезут с жалобами. А виноваты-то сами.

— С ней, Петя, может случиться что-нибудь нехорошее. По лицу видно. Она уже дошла.

— Ничего с ней не случится.

Тут еще явилась посетительница, заглянула в дверь, и Петя радостно заулыбался, встал, приглашая ее войти. Оказалось, девушке надо было вручить комсомольский билет, приняли ее в комсомол. Вот тут Петя почувствовал себя хорошо. Это было замечательное зрелище: как он руку жал, сиял свежим лицом, слова говорил вроде и официальные, какие положено говорить в этих случаях, но слова говорились от души, почти нежно. Церемония продолжалась долго, даже устала немного девушка держать на весу руку, которую все жал, все тряс и улыбался Петя.

Вышла и эта, счастливая.

— Вы, Петя, не в общежитии живете?— спросил я, чтобы перебить его, начавшего было объяснять мне то, что и так было понятно: девушку приняли в комсомол и Петя вручал ей билет. Это я все понял и сам.

— Нет,— сказал Петя,— у меня квартира, двухкомнатная. Живем втроем, жена и ребенок.

Я сказал, что это хорошо, что даже в Москве трудно так устроиться. Петя согласился со мной и добавил, что работать ему здесь интересно, что они создадут здесь особенный город, коммунистический, что на стройку уже сейчас не берут никого с разными там пятнами, с подпорченной анкетой. Мы, сказал Петя, создаем чистый город. А тех куда, с разными анкетами? А никуда. Где живут, там пускай и живут.

Почти весь день я просидел в Петинем кабинете. Много интересного я там услышал и увидел. И уже перед уходом сказал, что пришел, собственно, для того, чтобы узнать, какие можно, подробности о Настеньке Угольниковой.

— Член ВЛКСМ?— спросил Петя.

Я сказал ему, что Настя погибла на стройке, она была комсомолкой.

— Не знаю...— Петя задумался.— Ах да, что-то такое было в прошлом году, припоминаю.

Я назвал Пете бригаду маляров, где работала Настя, и он пообещал разыскать этих людей и организовать с ними встречу.

— Дам задание, все будет сделано,— уже бодренько сказал Петя.

Ничего, Настенька, тебя помнят твои подружки, твои девчонки-маляры, которые хоронили тебя прошлой осенью, тебя помнит стройка, и, поверь мне, тебя не забудет родина, ты была хорошей, милой ее дочерью, но несчастливой. Пусть будут счастливы твои подружки, Настенька.

### КТО ОНИ ТАКИЕ?

Не сразу ухватишь это главное, в особенности с первого раза, с первого приезда. Мы еще не один раз приедем сюда, думал я, и тогда постепенно дойдем до главного. А сейчас пока будем искать ошупью, будем ходить, смотреть, думать.

Вот я и думаю: кто они такие, о чем они думают, как себя понимают, к себе относятся, к своему делу, к нам, старшим, к человечеству, к любви, к справедливости, да мало ли к чему? Ну хотя бы вот этот, с космами до плеч и с бакенбардами, похожими на две кривые сабли, такие баки раньше я видел только в иностранных фильмах. Или вот эта блондинка, крашенная блондинка, с черными, подведенными на азиатский манер глазами, идет просто и гордо, как, возможно, ходят кинозвезды, которых вблизи я никогда не видал. Красивая и совсем юная. Как она, о чем она думает, например? Я хожу по этой Гидростроительной, где много этих молодых, не совсем понятных мне девчонок и парней. Слишком резко они поменяли свой внешний вид, поэтому я еще резче чувствую, что совсем с ними незнаком. Внешний вид много значит. Стою с ними в одной очереди в столовках, толкнусь в магазинах, иду в одном потоке на мостовой, а кажется мне, что они отдельно, я отдельно, я не знаю их, незнаком с ними, и все же хочется понять,



За оконную рамой  
Комсомольская стройка.  
Четко слышно, как краны  
Окликаются звонко.

И рычит в котловане  
Экскаватор-обжора,  
Угрызая зубами  
Многотонные горы.

Он в объемистый кузов  
Шлет обвал за обвалом,  
И под тяжестью грузов  
Слышен стон самосвалов.

И гудит, и грохочет  
Комсомольская стройка  
И в объятиях ночи  
Не стихает нисколько.

Пыль лавиной горбатой  
Поднялась до предела...  
Понимают ребята  
Важность  
этого дела.

Вот такой Женя Кувайцев. Все поэты знают друг друга, но слушают заинтересованно, видимо, сверяя свои стихи с чужими, свои переживания с переживаниями других. Тамара Ермакова из техникума попала на такую большую стройку. От одного этого закружится голова. Она вся кажется в ореоле сияния. Светится легкая копна волос, сияют круглые пылающие щеки, светятся крупные восторженные глаза. Она слушает стихи товарищей как чудо, прислушивается к своим стихам тоже как к чуду. И жизнь для нее чудо. Техник производственного отдела — одно очарование. Читает Тамара бесстрашно и восторженно, хотя только начинает писать стихи, они ее пока не слушаются, слова не подчиняются, строчки расплзаются, но Тамара — истинный поэт.

И снова душа в волненьи,  
Я странна в этот миг.  
В прекрасное мгновенье  
Рождается мой стих.

Гляжу, слушаю, очарованный, и думаю почему-то детскими стишками: «Там, в лесу глухом, под корявым пнем мох зашевелился — гриб на свет родился». На глазах рождается что-то, если еще не стихи, то полный восторг перед жизнью, перед счастьем любить, ходить по земле.

Такая торжественность сердца!  
О берег плескалась волна.  
Никак не могла наглядеться  
Землею-дикаркой луна.  
Сверчки голосили оркестром,  
И звезды фейерверком зажглись.  
И стала куда интересней,  
Прекрасней и радостней жизни!  
Надолго запомнится вечер  
За яркие краски свои.  
Пусть праздник любви будет вечен,  
Исчезнут пусть будни в любви.  
А сегодня в тебе столько величья,  
Ну как будто ты символ красоти!  
И нет на земле человека  
Счастливей тебя в этот год.

Прочитала и смотрит открытыми глазами, что произойдет, сама не верит, что это в ней рождается стих в это прекрасное мгновенье.

Тамара еще сияет, еще прислушивается к себе, но уже читает другой, читает плотник-бетонщик Василий Шаманов. Он уже побывал в армии, прошел суровую армейскую школу, он еще живет армией, армейским бытом.

Мы шли усталые с учений,  
Нас зной воскресный утомлял.  
И после долгих дней мучений  
Нас ротный к песне призывал.  
Но песня, в небо поднимаясь,  
Была тускла и холодна.  
Она, над полем расстилаясь,  
Совсем не в ногу с нами шла.  
И в пыль вбивая гири-ноги,  
Мы шли, потупясь от жары,  
Но вдруг мы видим — у дороги  
Стоят подгнившие кресты.  
А между них, белея властно,  
Застыв навек и грусть тая,  
В руках опущенная каска,—  
Стоит солдат, войну виня.  
Мы видим женщин. Поклонившись,  
Стоят, чернея у плиты.  
И вдруг, их скорби подчинившись,  
Мы в ногу с песнею пошли.  
Мы шли усталые с учений,  
Нас зной воскресный утомлял.  
И после долгих дней мучений  
Под песню с нами мир шагал.

Потом читала Валя Вибе. Она ершисто, исподлобья поглядывала на нас и как-то нехотя, сдавленно бросала слова. Крепенькая, невысокого росточка, с каштановой челкой на глазах, Валя была замкнута в себе. В ее стихах угадывалась пережитая драма. О юность!—думал я, самое прекрасное время для драм, для несчастливой любви, как и для восторгов перед жизнью и для счастливой любви. У Вали переживания серьезные, серьезен у нее и счет к себе и к людям.

Пусть порой  
                                  как будто бы нарочно,  
Как-то не по-божески, непрочно  
Говорю не то,  
Живу не так.  
Только ведь все это неспроста.  
И беды своей совсем не прячу.  
Так живу и не могу иначе.  
Горько иногда мне и обидно,  
Только никогда не будет стыдно.

А потом вошел высокий худой лысеющий старик. Ну, не старик, конечно, а человек, захвативший войну, воевавший, — одним словом, свой человек, моего поколения. Он переводил дыхание, спешил, видно, не успел даже переодеться после смены. Да, говорит, опоздал, жалко. Сесть ему было негде, и он остался стоять. Александр Еськов, плотник. Не просто плотник, это он подчеркнул, а плотник-строитель, всю жизнь на стройках. Стихи стал писать давно, лет двадцать, правда, был перерыв, ничего не писал, теперь вот попал на этот КамАЗ, в эти Челны, опять взялся за поэзию. Прочитаю, говорит, первый стих, который написал после двадцатилетнего перерыва. Пригладил реденькие волосы, кашлянул в кулак.

— «Одиночество», — сказал он и пояснил: — Дело в том. Жене надоели мои стройки, и сюда она ехать отказалась, хватит, говорит, живи один. Я устоял перед этой угрозой, все равно уехал, поработал, получил квартиру, написал жене: мол, приезжай. Нет, все, пишет, не приеду, живи сам, и мы сами. Тогда я написал стих.

Я сегодня палубу отдраил  
Так, что пот струился по спине.  
И присел на собственном диване  
Первый раз в квартире, даянной мне.

И вокруг так стало пусто-пусто,  
 Нет тебя, и я один — бобыль.  
 Душу затаило томной грустью,  
 Стены будто раздалися вширь,  
 Свет померк, хотя и день воскресный,  
 На сердце щемящая тоска.  
 Не вина испил — водицы пресной,  
 На вино не поднялась рука.  
 День пройдет, настанет мрачный вечер,  
 Черной тенью ляжет снова ночь...  
 Я бы, кажется, расправил плечи,  
 Если б рядом были ты и дочь.

— Вы бы, — говорю, — товарищ Еськов, эти стихи послали бы жене, уверен, не устоит она перед силой поэзии.

— Я так и сделал, — сказал Еськов. — Правильно вы говорите, приехала она, насовсем, с дочкой.

Молодежь, то есть молодые поэты, дружно засмеялись.

Спасибо этому летописцу, Юре Котову, руководителю кружка поэтов, спасибо за то, что теперь я их лучше понимаю и меня больше не мучает отчужденность. Я теперь знаю, молчат в столовках, в автобусах, на улице и там, в котлованах, ходят, работают, молчат, смеются если не точь-в-точь Русланы Галимовы, Васи Шамановы, Тамары Ермаковы, Жени Кувайцевы, Вали Вибе, то, во всяком случае, ребята и девчонки, очень похожие на них, на этих хороших, понятных и, в общем-то, близких мне людей. Я уже не говорю про таких, как Александр Еськов, мой сверстник и товарищ по военной судьбе.

### СЛУЧАЙНЫЙ РАЗГОВОР

Между прочим, на КамАЗе, в Челнах, можно купить то, чего в Москве вот так просто не купишь. Например, магнитофон «Астра-4». Мой товарищ, писатель, тут же и купил эту «Астру». Что бы такое записать на пробу? Ну, себя записал, спели мы все по очереди. И тут объявился этот Сашка. Он из Москвы, только что закончил десятилетку, получил аттестат и махнул на КамАЗ.

— Скажи, пожалуйста, Саша, — начал записывать мой товарищ этот случайный разговор с Сашей, — почему ты приехал сюда, в Челны?

— Как почему?

— Ну, цель твоего приезда?

В комнате находились еще другие люди. Был тут один инженер из управления, мы его называли Володей, была дама одна и другие прочие, мои товарищи.

— Цели особой нету, — сказал Саша, свободно и торопливо затягиваясь сигареткой вдаль от родителей, которые там, в Москве, пресекали его курение. — Что-то, конечно, привело меня на стройку. У меня есть товарищ, учились вместе, он не один такой. Этот товарищ мечтает получить тихую специальность и тихо где-нибудь жить, потому что он ни во что это не верит.

— Во что это «ни во что»?

— Вообще, — ответил Саша, — ни во что, в общее дело не верит. И хочет жить в стороне от общего дела.

— Ну, а сам ты?

— Я хочу проверить, поглядеть.

— Кого проверить? Себя?

— Нет, общее дело.

— За этим и приехал?

— Да.

— Это он ерунду говорит, — вмешался инженер Володя, — лично я приехал на стройку из-за карьеры, сделать карьеру. Возможностей у меня больше намного, чем от меня требовала прежняя моя должность, мое положение, тут, на большой стройке, я смогу показать себя, продвинуться в соответствии с моими возможностями. Это цель моего приезда и вообще цель моей жизни.

— Цель жизни, ее смысл — в деньгах, — сказала дама. — Будут деньги — значит, будет свобода, справедливость, удовлетворенность жизнью и все вообще, к чему стремится человек.

— А что ты скажешь, Саша?

— Пока ничего. Я приехал все это проверить.

— По первым дням еще нечего сказать?

— Пока нет.

— Ну, а вообще на стройке нравится?

— Да.

— Где ты живешь?

— На БСИ, в вагончиках, а точнее — в «Отцах».

— В каких «Отцах»?

— У нас на вагончиках крайнего ряда, чтоб всем видно было, написан лозунг: «Наши отцы строили Магнитку, мы строим КамАЗ». Слова растянулись на много вагончиков, я живу в том, на котором написано «отцы». Живу в «Отцах».

— Это хорошо, — сказал мой товарищ.

— На стройке вообще любят писать, вы заметили, работяги на спецовках, на спине, на груди пишут, ставят клейма. Например, «Воронежцы», это наша бригада бетонщиков. Пишут «Москва», «КамАЗ», изречения разные пишут на спинах. Мне, например, это нравится.

— Хорошо, Саша. Вот ты работаешь бетонщиком. Скажи, как ты относишься к черной работе?

— В зависимости от того, что вы имеете в виду под черной работой.

— Ручной труд, не механизированный, — объяснил инженер Володя.

— Ручной труд, — сказал Саша, — я не считаю черной работой. Вот я работаю руками, лопатой, но голова у меня в это время свободна, я работаю и мыслю, размышляю, думаю, лопата в этом не мешает мне. Это не черная работа. Если бы меня заставили в конторе что-нибудь писать, это была бы для меня черная работа, писать скучные вещи, и голова к ним прикована, мысль порабощена скучными цифрами или там другой писаниной. Так что в зависимости от этого...

— Оригиналы, — сказал мой товарищ.

Саша в кожанке, в домашней, в московской, на ногах же сапоги, камазовские, нравятся ему, он не снимает их и после смены.

Не знаю, оригиналы или не оригиналы, но вообще и за поэтами и за этим Сашкой что-то угадывается. Работаю лопатой и мыслю, думаю. А что? Интересно, а главное — приятно, все наше. Когда мы в десятый или в пятнадцатый раз входили в управление, я обратил внимание: внизу, в холле, были изменения. Бросилось в глаза. Раньше тут на щитах под названиями «Информация», «Пресс-центр» и «Народный контроль» висели разные объявления вроде: «Товарищи, кто оставил зонтик в кинотеатре «Чулпан» 5/VI-71 г. на сеансе 19 час., обратиться по адресу...» Или разные списки вывешивались. Теперь оттуда кричат восклицательные знаки:

#### МОЛНИЯ!

Начальник растворного и бетонного узла КОСЯКОВСКИЙ ЕВСЕЙ ЕВСЕЕВИЧ не обеспечивает выполнения заявок на бетон по участку № 4, ТЭЦ-1, СУ-421

#### МОЛНИЯ!

Ответственный за поставку автокранов ГОЛЬДМАН не обеспечивает поставку техники!

А под «молниями» черной тушью: «Товарищи, вы срываете работу студбригады!»

И еще:

КамАЗу — зеленую улицу!

Орган комсомольского штаба на Всесоюзной ударной комсомольской стройке:

## ТРЕВОГА III

**Руководители трестов и подразделений УС Камгэс-  
энергостроя отказываются принимать рабочих!!!**

Теперь я узнал их сразу. Это они, вот те, с гривами волос, с баками и без бакенбардов, в узких брючках, с сигаретками. Тут, на этих щитах, как они похожи на тех далеких уже от нас комсомольцев Магнитки, ударников первых пятилеток.

**ДОЖДЬ**

Третьи сутки льет проливной дождь. Хоть бы на пять минут остановился. Ночью высунулся на балкон: шумной, нахлестывающей стеной гремит с неба дождь. И развиднялось, и утро хмурое расползлось, а он все льет. Каждый раз, когда мы просыпались, внизу хрипло, но радостно пел горн, а потом раздавалась барабанная дробь. Однажды я увидел их. Двое огольцов ходили меж домами по траве сквериков, один, с мокрой головой, трубил в трубу, в пионерский горн, другой поддерживал барабанной дробью.

— Чего трубите? Кого сзываете?

— Да сводный отряд.

— Чего делать?

— Да физкультура и разное. Сбор.

— А голова чего мокрая?

— Да умывался.

И пошел, и затрубил хрипло и радостно.

Никого нет — ни трубача, ни барабана. Один он на всем свете. Кирпичные глыбы домов, Гидростроительная, все утонуло в дожде. Натянул я плащик, на голову нечего надеть, ладно, голова не размокнет. На остановке сел в автобус. Надо же мне когда-нибудь разыскать этого Ивана Швецова. Строил Асуанскую плотину, человек знатный. На ТЭЦ, где работает Швецов, автобус не идет, доберемся на попутных.

Мокро, стекла так закиданы, залиты грязью, что в автобусе ничего не видно, слышно, как бухает он на выбоинах да трещит под колесами жидкая грязь. А по крыше лупит дождь.

Не едем, а плывем, за деревней Орловкой я не вышел, чтобы пересесть на попутную машину, давай до конца, до Городка энтузиастов. Развернулся в конце автобус, остановился. Выбрался я на асфальтовый пятачок. За скатом по скользкой тропинке две-три фигурки потянулись в Городок. В большой лощине, посреди степи, утонувшей в дожде, стоял этот Городок энтузиастов, словно спичечные отсыревшие коробки, мокли вагончики без колес, плотно прижимаясь друг к другу. А дождь, как из ведра, поливал по унылому этому городку, висел желтоватым дымом над неприятной унылой степью. Горизонты близко обступили со всех сторон, мир стал тесным, мутным и мокрым. Раньше, по погоде, отсюда напрямик, степью, можно было быстро дойти до ТЭЦ, теперь же в ботинках не дойти, не дойти и в сапогах, да и сапог этих нет. Придется кругом, дорогой. Снова везет меня автобус до той развилки. Довез, высадил и зашлепал в поселок. Теперь я один. Ни автобуса, ни живой души. Поглядываю в мутную даль, жду попутки, а он все льет, хлещет по мне, течет с головы по лицу, заливает глаза, трудно глядеть. Вдалеке серая деревенька чуть видна, словно под водой, и неровная, холмистая степь: там рожь мутнеет, там черная вспоротая земля, там за плотной сеткой струй тонут высокие стрелы экскаваторов, металлические скелеты корпусов. Давно уже промок я до последней нитки, начинает бить противная дрожь, но злая радость разгуливает в крови. Ну, давай, жги меня, нахлестывай, полоскай, вымачивай до костей, заходи с ветром, жми, дави, бей в лицо, раствори в этой мокрой степи, мне все равно хорошо, нет никого кругом, чертов потоп заливает землю, зеленую рожь, дороги, деревеньки дальние и новые камазовские дома, я дрожу, но мне все равно хорошо, потому что я терплю, могу терпеть, хочу, чтобы и на



мою долю досталось немного от этой великой стройки, от этого дождя с ветром, от этого одиночества под открытым льющимся небом. У меня была война, моя молодость осталась там, на той войне, но я хочу взять малую каплю от главного дела новых поколений. Я знаю, что глупо в этот ливень, на трети сутки сплошного дождя садиться в автобус, выходить на мокром открытом перекрестке и ждать попутную, добираться куда-то, искать Ивана Швецова, строившего Асуанскую плотину, которого можно найти и в солнечную погоду... Глупо и никому не нужно, кроме меня одного. Это мне нужно. Я хочу быть под одним дождем с этими ребятами, камазовцами, под одним дождем с молодой могилой Настеньки Угольниковой.

С утробным ревом взревел «МАЗ», остановился. Открылась дверца, и я поднялся в кабину. За рулем сидел молодой черноглазый татарин, рядом напарничек, симпатичные ребята. Тепло у них, уютно, «дворники» рукасто гребут по стеклу. Кругом потоп, а тут, в кабине, замечательно хорошо. Потихоньку унимается дрожь, согреваюсь и тихо радуюсь, что дождался этой машины, что сижу рядом с простыми, милыми ребятами, которые гонят ревуший самосвал сквозь дождь по мокрой бетонке, через ухабы, через мутные моря, затопившие в низинках дорогу. Ребята везут гравий. Вот и нитка гигантской гусеницы-трубы потянулась слева, это ведут тепло от не построенной еще ТЭЦ, ведут жизнь к новому, еще не построенному городу, к будущим заводам, цехам и квартирам.

Остановились перед въездом на территорию ТЭЦ. Нет, не пройди мне туда через эти реки, по колеям от «МАЗов» и «КРАЗов», в которые могу уйти с головой. Завертели колесища, заревел наш самосвал, прошли, не завязли. Спасибо, ребята. Будьте здоровы. А ребята закурили сигаретки и уехали по своему маршруту.

Огляделся: справа двухэтажный корпус строится, слева длинный барак. На нем плакаты какие-то. Значит, контора. Вокруг горы вынудой глины, трубы по козлам тянутся, котлованы и степь. А над всем этим дождь. По лужам, по мокрой кирпичной крошке, по жидкой грязи перебежкой в барак. В коридоре побил ногами об пол и вошел в первую дверь. Нет, не контора. В ряд стоят пять железных коек, на колышках висят робы, сапоги стоят. Голые по поясу, валяются на кроватях ребята— русые, чернявые, бородатые, безбородые, нынешние ребята, теперь уже не такие чужие да незнакомые, как в первые дни. Здорово! Здорово. Приподнялись, место предлагают. Один встал, подошел к плитке. В цинковом ведре варилось варево, концентраты варили ребята, перед получкой последние запасы поскребли. Откуда прибыли? С Кубани. Далеко залетели. Чем занимаетесь? Шабаши, дождь, работа стоит. Вот адреса переписываем, раньше некогда было заняться этим. Вижу, один старательно переписывает что-то в свой блокнотик из чужого блокнотика. Что? Так, афоризмы разные, высказывания умных людей. Интересно.

Познакомились. Прибыли ребята по комсомольской путевке, работают бетонщиками. Ничего, в порядке, конечно, скучают по Кубани. Тот, что афоризмы переписывал, в мой блокнот записал на память фамилии:

Сазонов Владимир Андр.  
Тырин Виктор Ал.  
Мишин Юрий Ал.  
Клипенштейн Борис Бор.

Один из них помог мне в коридоре выжать воду из моего плаща. Спасибо, ребята. Я пошел. Мне нужно найти Ивана Швецова.

Первый этаж корпуса был еще без рам и стекол, в проломах окон виден кирпич, мусор. Мимо прошли в заляпанных брезентовых куртках маляры-штукатуры с носилками. Как войти в корпус? Круглощечие и смуглые татарочки подозрительно, со смешком в глазах оглядели меня, мокрого, и одна из них показала рукой в торец корпуса. В окно на второй этаж. Скрываясь за углом, они смеялись чему-то. Никогда еще не входил я в здание со второго этажа, да еще в окно. Но выйдя к торцу, увидел там скорченную лестницу с перилами, приставленную к

глухой стене, к коридорному окну второго этажа. По ней и поднялся в эту комнату. Да, второй этаж был уже отделан, настелены полы, застеклены окна, работало электричество. В комнатах, однако, никого из начальников объекта не было, какая-то сотрудница подогрела на электроплитке чайник. Ивана Швецова она не знает.

От корпуса, вылезши по лестнице, я двинулся к мокрым кустам, за которыми поднимались горы земли, сооружения. Там, вспомнил я, заложен фундамент трубы. Впереди грязь, лужи. Но теперь отступать было поздно. Ботинки мои давно размокли, раскисли, вот-вот расплзутся, как мокрая бумага, при каждом шаге в ботинках чавкало. Давай, писатель, жми напрямик, шагай по лужам, принимай на себя тяжелые струи дождя, размокай уж до конца, никому это не нужно. Это нужно тебе одному.

Остановился перед желтой насыпью, дальше идти некуда. А справа, когда оглянулся, увидел под сенью обшмыганных кустов, бузины что ли, низенькую бытовочку-временочку. Дождь лил над этой желтой насыпью, над кустами без перерыва, и было безлюдно вокруг и шумно от дождя, и эта бытовочка показалась мне заветной находкой, долгожданным причалом после долгого, изнурительного плавания по водам. И вся она была облеплена объявлениями, плакатами, лозунгами. Любят тут это дело. Конечно, если даже на спинах, на своих робах пишут. Прочиталось первое попавшееся, самое броское: «Не берись за голый провод, опасно для жизни», «Комсомольско-молодежная бригада. Бригадир такой-то, комсорг такой-то». И много разного прочего, живого места не было на стенках бытовки. Я спустился по скользкой глине и открыл дверь. В сумрачном теплом свете сидела тут и стояла комсомольско-молодежная бригада, бригадир такой-то, комсорг такой-то. Пахло тут свежим деревом. Струганные тесовые стенки, конечно, были заляпаны наглядной агитацией, лозунгами и плакатами. И это хорошо, эти картинки на плакатах и красочные строчки слов, эта типографская продукция как-то сближала бытовку, затерянную под дождем в прикамских степях, сближала с большим и шумным, благоустроенным цивилизованным миром. От этой наглядной агитации веяло близостью больших городов. И это было хорошо.

Стол тоже сколочен из тесовых досок, скамейка также, из досок потолще. Все тут из дерева. И деревом пахло.

Всех крупней, всех заметней, всех разговорчивей был тут крепкий круглолицый парень, стриженный по-старому, под полечку, но с короткими густыми полубаками. Он острил, шутки шутил, охотно вступал в разговор, за всех отвечал на вопросы. Сидели с ребятами две девчонки в спецовках, с хорошенькими личиками. Одна прижималась к плечу белобрысого паренька, они только что поженились.

Третьи сутки ребята ждут погоды, выходят на объект и ждут: гляди, может, перестанет. Но дождь не перестает. И теперь уже дело перевалило за обед, ждать бесполезно. Стали собираться по домам. Бригадир не было, комсорга Риты Микляевой тоже не было, поэтому сказал Сашка: поехали.

Вместе с ребятами и я вернулся на «вахтовке», на дежурившем автобусе, в поселок КамГЭС. А как же Иван Швецов? Какой там Швецов? Не видишь, стройка стоит. Только «МАЗы» да «КРАЗы» возят гравий, железо, бетонные плиты. И те только возят, у которых объекты досягаемы, можно близко подъехать, места выгрузки не затоплены.

Вечером в общежитии я попросил Сашку, Александра Родиченко, назвать мне тех, кто в бытовочке был тогда, там я не смог записать, все у меня размокло и неудобно было вдруг начать записывать. Был там Мазгар из Башкирии, Женя Абрамов из Москвы, Валерка (Сашка не знает, откуда Валерка), Рушенье, зовем ее просто Рая, фамилию не упомянуть, другую татарочку зовем Аннушкой. Тут, в комнате общежития, ребята были другие. Сашкина бригада — кровельщиков. Покрыли они столовку на ТЭЦ, химводоочистку, мазутку (мазутное хозяйство).

Рассказал Сашка про себя, про Воронеж, где живут отец с матерью.

— Отец у меня будь здоров, на спиртзаводе работает начальником пожарной охраны.

Как женился рассказал. Трогательно, хорошо. Когда Сашка про свою любовь

рассказывал, тут его перебил дружок по комнате, Зенонас Романаускас из Литвы. Иду, говорит, домой вот только что, гляжу, стоит под дождем девочка, плачет, промокла уже вся. Ты чего, говорю, плачешь? Она обрадовалась мне, стала быстро все рассказывать. Не послушалась, говорит, маму, кончила десятый класс, аттестат получила и вот приехала, а тут негде ночевать и не знаю, куда идти дальше, в конторе сказали — жить негде, на работу не берут. Говорит, а сама ревет и на меня как на папу своего смотрит.

— К Тamarке бы отвел,— сказал Сашка.

— Я и отвел к Тamarке. Это у нас в кадрах работает,— для меня сказал Зенонас.— Взяла Тamarка к себе ночевать, потом устроит как-нибудь.

Сам Зенонас из детского дома. Из каждой полочки посылает в детдом 60 рублей, там деньги берегут для него, потому что Зенонас учится на медицинском. Поработает, соберет денег, поучится, потом опять поработает. Теперь уж на третьем курсе.

Сашка проводил меня.

— Приезжайте. Если поменяю жительство, спроси Сашку-боцмана, каждый тебе покажет.

Так и не встретил я Ивана Швецова. Все его искал, а встречал на пути других, а теперь вот и дождь сильно помешал. Ладно, до другого раза.

Никакие самолеты, конечно, не летали, и мы уезжали опять на «Метеоре» до Казани, а оттуда домой поездом. Три дня тогда стояла стройка. Заливало котлованы, а их заливать бы не должно, чего-то недоглядели руководители. Вот где можно бы разгуляться писателю-проблемнику. Тут во время дождя затяжного все промахи, все минусы вылезали наружу, стали еще видней. Вот бы, думал я, сюда этого писателя. Когда нет проблем, он, бывает, прямо чахнет, на глазах тает, горюет, но потом все же придумает проблему и пойдет шуметь, пойдет резать правду-матку, пойдет государство выручать от всяческих потрав, пойдет себя уважать. Я любил их когда-то, проблемников. Теперь надоели они мне. Не хочу больше слушать, куда и как должен читатель гвозди вбивать. Пусть он, читатель, сам про это знает, пусть он, читатель, станет грустным или веселым, будет радоваться в душе или печалиться, от всего этого он больше станет любить жизнь и людей, станет умным и добрым, и если, случится, недоглядит, не туда вобьет, поправится, его прораб подскажет ему, прораба учили по этой части. Зачем хлеб у него отбивать. Для этого газеты есть, где научат, пропесочат не только того, кто вбивает, но прораба научат чему надо. А я, занявши место в «Метеоре», смотрел на опустевший дебаркадер, плавучую пристань. Там корявенький, лысый мужичонка прощался с двумя отъезжавшими, а точнее, они, красавец мужчина и молодая женщина, прощались с этим мужичком. Пожимали ему руку, то и дело обнимали его, тшались поцеловать в щеку и все повторяли, что к сентябрю возвратятся, назад придут. Они прощались, а мужичонка рыжей узловатой рукой отстранял их от себя и все пел. Глядел поверх голов женщины и красавца, по-лошадиному оттягивал верхнюю губу и прекрасным, изумительно чистым и верным голосом пел:

Эх вы, зори, веселые зо-ори-и  
Над широкою Камой-рекой...

И как только подходил к этому месту, где упоминалась Кама, узловатой рукой показывал с плавучей пристани на широкую Каму. Эх вы, зори, весе-о-лые зо-о-ри-и над широкою (и тут же руку в сторону), над широкою Камой-рекой.

И трап убрали, и сбежали на палубу те двое, уж «Метеор» задрожал, стал отчаливать, а мужичок все пел и все показывал рукой на желтоватую, взрытую ветром, широко разлившуюся Каму, благо что она лежала у него под рукой.

До свидания, Челны, до свидания, КамАЗ, до скорого свидания, ребята.



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. ПАСТЕРНАК

★

## ЛЕТО 1903 ГОДА

*Мы публикуем главу из воспоминаний Александра Леонидовича Пастернака, названных им «Из записей о далеком прошлом». А. Пастернак — сын известного русского художника, академика живописи Леонида Осиповича Пастернака — рассказывает в этой главе о встречах с замечательным русским композитором Александром Николаевичем Скрябиным, столетие со дня рождения которого ныне отмечает советская общественность.*

**Л**ето девятьсот третьего года запомнилось мне по многим — то радостным, то горестным — событиям, но главным же образом тем, что оно было первым нашим летом не на юге, а в Подмоскovie. Мы провели это лето в ста верстах от Москвы, в некоем имении, в местности исключительной красоты, холмистой, с большим разнообразием пейзажей. Имение находилось под Малоярославцем. Полустанок железной дороги был последней остановкой перед Малоярославцем только для дачных и товарных поездов: другие, не задерживаясь, вихрем промахивали платформу, обдавая дымом, тучей пыли и обиднейшим презрением.

В усадьбе имения, принадлежавшего одному из князей Оболенских, стояло всего-навсего три небольших деревянных дачи, сдававшихся в наем. Ни барского дома, ни служб, ни крестьянских дворов, ни подобия жизни хозяев и крестьян тут не существовало уже давно. Об имении говорили только наименование — да и то неофициальное — полустанка: Оболенское. Значился же он официально — Сотая верста. Тем не менее усадьба существовала, существовали и дачи в ней. Мысом довольно высокого холма она входила, как корабль, на открытое пространство поймы реки, лугов и пашен, простиравшихся до самой железной дороги. Холм зарос сосняком; некогда тут был разбит хорошей планировки парк, но сосны давно вытеснили неприродную красоту старых лип, завладев сухостью почвы. По этим соснам небольшая площадь заросшего парка стала громко, не по чину, именоваться бором, даже «оболенским бором», что звучало особенно ходульно и неправдоподобно былинно.

Тем не менее даже и такой оминатюрный бор во время бурь и сильного ветра, гулявшего по вершинам сосен, ревел и гудел большим органом, вызывая в памяти знакомый нам ровный и непрекращающийся гул расшвирипевшего моря. Тогда нам чудились разные бриги и корветы, вой и свист натянутых, как гигантские струны, канатов, скрип мачт и хлопанье вздувшихся по ветру парусов. Но и в спокойные, солнечные дни в наличии были все признаки подлинного бора: сухая, скользкая, порыжевшая игла выстилала ровным, толстым и пружинящим тюфяком землю; повсюду большие конусы муравейников, сложенных из той же чернорыжей иглы; множество белок, обитавших высоко, в вершинах сосен, — нас они вовсе не боялись, осыпали резким таратором ругательского цоканья, огрызками шишек и шелухой семян; множество грибов, какие водятся в сосновых лесах.

Бор этот — и три дачи по его опушке — находился на довольно крутом холме, почти на его кромке. Слева вытекала и вдаль уходила неширокая, но быстрая,

изумительной чистоты и прозрачности речка со странным названием Лужа. Железная дорога пересекала ее мостом ажурного плетения, на высоких кирпичных быках. За линией виднелись деревеньки, чьи-то имения, какие-то дома...

По широкому раздолью местности тут было довольно безлюдно и захолустно. Дачные поезда доставляли сюда одного-двух пассажиров за день, а чаще даже ни одного. Дороги от полустанка до нашей дачи я не помню, но, очевидно, это был обычный проселок, в сухое время чрезвычайно пыльный, но непролазный в дождливые дни. Вероятно, мы проезжали через деревеньку, этого я не припомню. Дача же, которую мы первыми сняли, была расположена как раз напротив моста: с нашей веранды открывался широким веером вид на всю луговину, на щетки каких-то лесов по горизонту. Солнце вставало где-то за железнодорожным мостом, а садилось за спиной, так что вся панорама перед нами была крайне разнообразна, смотря по солнцестоянию. Особенно красив был пейзаж в вечернее время, когда все насыщалось как бы красной лессировкой. Ночью же, при луне, туман, поднимавшийся с реки и постепенно заполнявший всю низину под нашим холмом, показывал нам, как все место преображалось зимой, под глубоким снегом, искрящимся в лучах лунного, этого неживого и таинственного, к себе приковывавшего света. Тогда безбрежность ровной белой пелены, вероятно, была особо ощутима и величественна.

Все три дачи хотя и стояли на открытых лужайках перед лесом, однако расстоянием и изгибом холма и опушки друг от друга изолировались настолько, что поначалу мы и не подозревали о существовании других, кроме нашей, дач. Обнаружились все они лишь значительно позже; оказалось, что и другие две, подобно нашей даче, расположены на небольших своих участках, обнесенных такой же оградой, обычной в деревнях, из двух длинных горизонтальных слег, зажатых в концах меж стояков. Все дачи были засыпные, легкие, обшитые тесом, холодные, то есть неоттапливаемые.

Я задержался столь на описаниях места и характера дач по той причине, что происшедшее здесь одно из событий лета—знакомство с композитором А. Н. Скрябиным и его семьей—было связано, а отчасти даже и вызвано особенностями местности.

Почти с первых же дней пребывания на даче брат мой и я каждодневно совершали все новые открытия. Брат должен был по гимназическому заданию собрать гербарий, что он весьма методично и пунктуально выполнял, составляя его очень красиво; я же, лишь из подражательства, составлял свой, далеко не такой красивый и полный. Эти сборы травы и цветов уводили нас иной раз в более отдаленные и незнакомые места. Тогда мы чувствовали себя какими-то следопытами, Кожаными Чулками, Зверобоями и прочими индейцами, точно следуя их приемам незаметности и скрытности, хотя глупо было скрываться, когда далеко вокруг ни души в это время не было вовсе.

В жаркие же дни и часы мы предпочитали открытым пространствам постоянную, даже при ярком солнце, сумрачность и свежую прохладу заросшего бора. Тут гербарий уступал место наблюдениям за лесной жизнью, более интересной, чем травы. Тут и индейство наше обретало, пожалуй, большие права на правдоподобное существование. Гуляя так по бездорожному лесу, не имея никакой определенной цели, не ища ничего специально, шли мы однажды по еще не изведанному направлению. Внезапно среди царившей тишины, которую только усиливали редкие трельки каких-то птичек да цоканье белок, мы услышали очень издали отрывочное, с перебойми, звучанье рояля. Мы с уже привычными навыками краснокожих индейцев стали продираться сквозь чащобу к звукам музыки, сами беззвучные. Так набрали мы на источник музыки—и замечательной.

На опушке леса, куда мы дошли, нас задержала почти непроходимая заросль кустарника. Сквозь кусты виднелась на залитой солнцем лужайке дача, подобная нашей. С этой-то дачи и раздавалась музыка, похожая на разучивание: но для разучивания она шла странно, необычно, без застревания в трудном месте, без заминок. Остановившись внезапно на каком-то месте, она обрывалась, затем слыша-

лось какое-то невнятное бормотанье с повторами одной или двух нот, как для разбежки. Так иногда настройщики пробуют отдельные струны и проверяют будто бы себя самих. Затем прерванная фраза возобновлялась с прежней быстротой и безошибочностью, немного уходя теперь вперед; бормотанье же, бурчанье и проверка настройщика передвигались на новое, дальнейшее место, и музыка все бежала и бежала между такими перерывами вперед. Брат, более меня понимавший, сказал, что там, несомненно, с о ч и н я ю т, а не разучивают и не разбирают новую вещь.

Так с того дня мы установили место, где нас никто не мог обнаружить, благо на даче не было собак; мы же оттуда наблюдали и слушали безнаказанно и преоотлично. Подглядывать и подслушивать входило в железный закон жизни краснокожих. В столь же железный закон бледнолицых входило обратное — что и подглядывать и подслушивать одинаково нечестно и постыдно. Все это — и то и другое — мы отлично знали, но ни то и ни другое в данном случае не руководило нами. Обосноваться в укрытии и оттуда невидимками слушать заставила нас сила самой музыки: ведь музыка с самого дня нашего рождения шла рядом с нами и только и делала, что приучала нас состоять при ней — ее слугами и верными поклонниками одновременно<sup>1</sup>.

Однажды отец, ежедневно совершавший дальние свои прогулки по Калужскому тракту, красивою и почти всегда пустынною, вернулся домой в особо веселом настроении. Со смехом рассказывал он, как ему повстречался какой-то чудак: он спускался с высокого холма, куда по тракту должен был подняться отец. Тот не просто спускался, но вприпрыжку сбегал вниз, странно маша при этом руками, точно крыльями, будто бы желая взлететь, как это делают орлы или грифы и другие большие грузные птицы. Если бы не абсолютно прямая линия его спуска, можно было бы предположить в нем взрывзг пьяного человека. Да и по всему обличью и по телодвиженью ясно было, что это отнюдь не пьяный, но, вероятнее всего, чудаковатый, может быть, и «тронутый» человек.

С этого дня они изредка снова встречались, и незнакомец был верен своим чудачествам. Наконец, после уж которой встречи, они, естественно, заговорили друг с другом. Быстрый бег с подскоками и махание руками продолжались и после знакомства. При первом же разговоре выяснилось, что он такой же дачник, как и отец; что их дача — вон на опушке того леса, — и рука протянулась почти к нашему месту; что он тоже москвич, и фамилия ему — Скрябин; что он музыкант и композитор и что сейчас на даче в это лето занят сочинением своей Третьей симфонии, которую чаще называл в разговоре «Божественной» не как определением, а как заглавием, названием вещи. С этого момента свершилось знакомство отца, а затем и матери нашей, с семьей Скрябина. На том и закончилась наша таинственная и кустами засекреченная связь с музыкой, поистине завораживающей. Мой брат описал ее дважды — в своей «Охранной грамоте» через тридцать почти лет и, во второй раз, в опыте «Автобиографии», уже в пятидесятых годах. Как камнетес или скульптор, отсекая и отбрасывая все лишнее и ненужное от глыбы мрамора, добираясь до самой сути, так скупно и сжато брат мой в крепчайшей концентрации свел читателя с музыкой ошеломляющей. Рассиропливать его рассказ водичей слабой редакцией мне ни нужды, ни смысла нет. Оно даже и опасно.

Мне остается только добавить немного о последующем, что стало прямым следствием этого лета и что опущено моим братом.

После переезда обеих семей с дачи в город сближение родителей со Скрябинскими росло и крепло. Еще с Оболенского я стал испытывать восторженную преданность Вере Ивановне, жене Скрябина. Милейшая и какая-то особенная, она была воплощением доброты и душевной мягкости. Как положено десятилетнему, я питал к ней глубоко скрываемые чувства детской влюбленности, нежности и палатинства. В Москве это возросло.

В их семейном конфликте, достаточно уже понимая сложность событий, я

<sup>1</sup> Моя мать была в свое время известной пианисткой, ученицей профессора Лешетичского. Она много и с большим успехом концертировала до замужества. Дома она постоянно и много играла почти до самой смерти своей в 1939 году.

стоял, естественно, на стороне Веры Ивановны, однако сохраняя мою очарованность скрябинской музыкой. В разговорах с моей матерью и касаясь больных мест, Вера Ивановна умела прекрасно, почти героично, полная высокого достоинства, не допускать какой-либо жалости к себе со стороны матери. Напротив, скорее получалось так, что в этих разговорах она сама проявляла будто бы жалость к матери, как если бы не она, а наша мать была страдающей стороной.

На судьбе Скрябиных я ощутил тогда и понял уже навсегда всю остроту семейного конфликта людей хотя и любящих друг друга, но отданных творчеству по своему призванию; то есть более преданных своему искусству, чем тихой радости и счастью в семье.

Потом, и не раз, мне приходилось в этом убеждаться.

Удар, наступающий расходящиеся пары людей обычных, заурядных, сам по себе очень тяжел; тем тяжелее он, когда падает на пары, отмеченные высоким артистизмом и сильными творческими характерами.

Поначалу Скрябины бывали у нас запросто и всегда вдвоем, бывали с детьми. По мере развития конфликта стали приходиться, и все чаще, порознь. Когда же разрыв произошел, Скрябин, словно бы всех спасая, как в изгнание, как в одиночество, уехал — и надолго — за границу. Вера Ивановна оставалась с детьми в Москве, бывая по-прежнему у нас. Она много и с успехом концертировала, постепенно ограничив свой репертуар исключительно произведениями только Скрябина.

Сама прекрасный музыкант, пребывавший долгое время в орбите скрябинской игры и музыки, а также его прямых высказываний и указаний, она, несомненно, достигла какого-то совершенства в передаче характерных особенностей игры Скрябина, главное же — скрябинского понимания задач и смысла его творчества.

Вот почему Вера Ивановна, пока Скрябин жил за границей, была, пожалуй, единственной из московских пианистов, кто, исполняя скрябинскую музыку, играл поистине по-скрябински.

Я передаю вовсе не только мои впечатления. Им можно бы и не доверять, конечно; но многие замечания, мною уже тогда услышанные от людей, хорошо знавших игру самого Скрябина и его жены, говорили о том же. Я могу только добавить, что тогдашние исполнители Скрябина, например К. Н. Игумнов, не говоря уж о моей матери, считали для себя образцом интерпретации скрябинских вещей именно игру Веры Ивановны, не скрывая этого.

Девятьсот шестой год мы всей семьей провели в Германии. За время тамошней жизни связь с Верой Ивановной родителей, несмотря на взаимную переписку, как-то ослабла. По возвращении же нашем в Москву эта связь, вначале как бы восстановившаяся, вскоре стала убывать и в конце концов сошла и вовсе на нет.

Через несколько лет отсутствия вернулся в Москву и Скрябин. Он показался родителям — да и нам — каким-то другим, новым, по меньшей мере обновленным. У него ясно обозначились, вероятно, уже там установившиеся новые художественные и философские (теософские) мысли, новые взгляды на будущее искусство, ясные образы будущих его произведений. К этому времени, как записал мой брат, «он приехал, и сразу же пошел репетиции «Экстаза»».

«Поэма экстаза» была написана за границей. Мы ее, конечно, не знали. Симфонию же, ту, с рождением которой судьба свела нас в кустах Оболенского, исполнили в России впервые в зиму 1906 года, когда мы жили в Берлине. Позже мы слышали ее уже довольно часто, я ее знал почти что наизусть; ее первым дирижером был Эм. Купер. Первые исполнения «Экстаза» шли также под его управлением. Через несколько лет дирижировать «Экстазом», не столь удачно, стал С. Кузевский. Думаю, хотя и не берусь утверждать, что Купер штудировал партитуру «Экстаза» при непосредственном участии, а может быть и под руководством, Скрябина. Вполне естественно, что столь новая музыка требовала к себе особого отношения, и предположение об авторском руководстве не умаляет, а только усиливает уважение к талантливому и многоопытному дирижеру.

На все репетиции «Экстаза», начиная с самой начальной, мама ездила со мной, и часто с нами ездил брат. Эти репетиции проходили по утрам или в дневные часы, когда большой зал консерватории был свободен и пустовал. Слушателей первых репетиций было всего несколько человек, кроме нас. В своей непривычной пустоте, дневной сумеречности зал казался необъятно громадным. Гулкость и малая освещенность зала давила и заставляла пребывать в застенчивой робости; малейший шорох, казалось, вызовет обвал или какое-то потрясение тишины зала. Эта особая гулкость зала возникала, казалось, и подчеркивалась обстоятельством, также несвойственным залу в часы концертов: не зажигали электричества, а солнечные лучи ложились яркими косыми арочными пятнами на овалы портретов на противоположной стене. Очень медленно эти светлые арки переползали с портрета на портрет. Через весь зал, наискосок, протягивались от окон к стене как бы выпиленные брусы мерцающего воздуха; в эти брусах, все время в движении, танцевали искорки освещенной пыли. Световая игра этих брусьев принадлежала и музыке и залу.

Первые репетиции интересны своими перерывами; за сухим и нервным треском палочки дирижера о попитр, в наступающей разом тишине, раздается слабый после звучания оркестра и тем не менее очень внятный голос человека. Он обращен к кому-нибудь из оркестра и разъясняет, как следует понимать и исполнять только что отзвучавшее место текста, в чем недостаток, из-за чего оркестр умолк, затем указывает, с какого такта надо начать снова, — и все приходит в движение, музыка овладевает залом до следующего раздраженного стука дирижера.

В этом чередовании игры, голоса одинокого человека, полной тишины враз застывшего оркестра и последующих увещаний раскрывалась как бы идея музыки. Все имело свое начало, развитие и разрешение, отдельные куски срастались в целое, и оно всегда имело свое определение. В данном случае это была «Поэма экстаза», сиречь э к с т а з м у з ы к и. Брату моему это название впоследствии казалось претенциозным, музыка была выше и серьезней этого названия. Но тогда, в то время, это название, как доподлинный экстаз творческих стихий, говорило всем именно то, что т р е б о в а л о с ь самой музыкой. В описаниях самой музыки Скрябина брат был, конечно, прав. Когда я с матерью впервые на начальных репетициях слушал «Экстаза» (впрочем, как и ранее, слушая из кустов фортепьянное зарождение Третьей симфонии), то действительно все было как бы в хаосе только что обвалившегося здания — в пыли и грохоте. Но тут же пыль оседала, воздух очищался и становился вновь прозрачным, а из хаоса разрозненностей каждый отдельный кусок занимал нужное ему место, и, к нашему счастью и радости, здание, то есть музыка, начинало ощущаться как единое целое по замыслу и плану построения. И чем дальше мы вживались в дело распада и воссоединения, чем реже стук палочки прекращал очередное возникновение хаоса, а мниморазрозненное тут же сращивалось в целое и неразделимое, тем яснее раскрывалась глубина и сила музыкальной новизны поэмы.

Так, по мере подготовленности почвы, одновременной обработки оркестра и слушателей, «Экстаз» покорял и более уже не отпускал.

В то время я стал уже пятнадцатилетним. Музыку я очень любил и много слушал. Но — знал ли я ее? С другой стороны — не все ли равно, какие картины природы или фантазии возникали в душе такого пятиклассника, в этот момент слушавшего репетиции «Экстаза» и им побежденного и поверженного? Сила самой музыки, как сила любого вида искусства, ее оригинальность, новизна и существенность рождали во мне ощущение радости, или гордости, или счастья в тут же возникавших картинах моей фантазии. Конечно, я знаю, что слишком уж смешно принимать ощущения пятнадцатилетнего за нечто определяющее; вместе с тем даже и сейчас, слушая через много десятков лет исполнение «Божественной симфонии», или «Экстаза», как только зазвучат определенные музыкальные фразы, так я невольно вздрагиваю, и тотчас же мною овладевают образы, еще тогда в моем сознании возникшие и утвердившиеся. Тогда мне почудилось, скажем, звучание низвергающихся масс воды, каких-то водопадов потопа; или возникали видения в буйной радости резвящегося создателя, во весь голос орущего — «я



есмь»; или в резких, как бы прерывающих все предшествующее голосах тромбонов возникали какие-то материальные архитектурные построения или переплетающиеся орнаменты; или — в финальных кусках «Экстаза» — слышалось явственное преобразование звуков валторн, вдруг взметнувшихся своими раструбами кверху, в чистый хор женских голосов, поющих в унисон; или когда уже весь полный оркестр во всю свою мощь, громадным кораблем, на всех парусах, шел напролом, сквозь бурю и волны — вдруг раздавались первые удары колокола, а затем он волнением благовеста разливался поверх оркестра по всему залу, преисполненный и величия, и радости, и утверждения жизни...

Сколько бы раз я ни слышал исполнений этой музыки, уже наперед зная, где и какой инструмент должен сейчас вступить и как разовьется далее музыкальная фраза, я прихожу к финалу в дрожи и облитый очистительным потом, как после труднейшей, но радующей работы.

Следует ли отметить, что после Купера и Кусевицкого все дальнейшие исполнения в чем-то, в каких-то крупницах, постепенно отодвигались от изначального, данного, вероятно, самим автором тону трактовки и звучания поэмы. Уже и колокол заменен, увы, металлом стержня, и валторны не звучат уже женским голосом, и — увы — нет того корабля, несущегося в бурю, напролом, вперед...

Мои впечатления о музыке, как бы хорошо они ни запомнились, остаются всего лишь записью не музыканта, а профана, хотя и имеющего открытые уши и глаза. В эти годы я особенно увлекался музыкой, сам немного играл на скрипке, ничему, однако, не научась; я посещал почти все тогдашние концерты, да и дома постоянно слышал прекрасную музыку.

Мне выпало на долю большое счастье — ныне сказали бы «мне довелось» — слышать игру трех пианистов, гигантов пианистического исполнительства, — Рахманинова, Бузони, Скрябина. Все трое были чрезвычайно разные; не греша против истины, можно сказать — они были антиподами друг другу. Антиподами во всем: в поведении, в характерах, в любви к тем или иным композиторам, в понимании сути их творчества, наконец, в программах, свойственных каждому. Их игра, собирающая эти качества воедино, утверждала их полное различие, оставаясь на уровне гениальности.

Рахманинов всегда был как бы суров, неулыбчив и до крайности серьезен. В движениях был необычайно прост, строг и скуп. Он одинаково хорошо играл как свое, так чужое, притом так, как если бы исполнял некую службу, скорее церковную, нежели гражданскую. В те времена сказали бы даже не «службу», а «служение», имея в виду серьезность и аскетичность его игры и его отношения к игре.

Его духовная сила и сила его нежности, весь склад и облик его — человека, композитора, пианиста и дирижера — выражены были в скупой, суровой, многозначущей и глубочайшей простоте исполнения.

Если не ошибаюсь, он выступал не как обычно, во фраке, а в очень строгом, классическом сюртуке (впрочем, так выступал и дирижер А. Никиш).

Игра Рахманинова всегда поражала своей мужественностью, она была какой-то «тяжело скачущей». Громадность его кисти была всем известна, музыканты завидовали ее растяжению.

Менее всего ему удавался, на мой взгляд, Шопен, которого исполнять по-шопеновски — а кто знает, как он сам играл? — вероятно, мало кому дано.

Обычно характер исполнителя выдает его посадка перед инструментом. За роялем Рахманинов сидел с той же серьезностью и столь же просто, как сидел бы за своим рабочим столом или даже за обеденным, за тарелкой супа, то есть столь же прозаически просто, как бы забыв, сколько пар глаз устремлено в этот миг на него, на его руки, пальцы, на голову, на педали. Таким, прямо сидящим, с несколько склоненной головой и почти неподвижным торсом, запомнился он мне. Вся сила удара сосредоточивалась у него в руке; торс как будто не участвовал в этих необычайных фортиссимо.

Полной противоположностью ему был Бузони. На эстраде за роялем я ощущал его восторженным маньяком от музыки и ее преданнейшим паладином. Музыка им, а не он музыкой, владела безраздельно. Каким он был вне эстрады и не в музыке, я не знаю, но думаю, что вне музыки он не мог быть — даже во сне.

Когда он сидел за роялем, а вернее, вовсе чуть не лежал на нем, он совершенно уходил в мир исполняемой музыки, забывая все, что его окружало: и зал, и публика, и он сам — не существовали более для него. Он вел себя в это мгновение непосредственно и по-детски наивно. Он сопел, хрипел, достаточно громко; в особо патетических местах он подпевал настолько явственно, ничего не замечая и себя не слыша, что заражал этим и публику, которая, отлично слыша все эти дополнительные ненужные звучания, все ему прощала, очарованная его игрой и передачей музыки. Ему прощалось и то, что он, по-видимому, вовсе не интересовался эффектом своей игры: он стремительно уходил в артистическую, одним поклоном головы выражая, что он принял к сведению овации зала. Поскольку это стало привычной известностью, у рампы не собирались гирляндой восторженные слушательницы, обычно вызывающие и называющие любимых авторов или их произведения на «бис».

Чудесно исполнял Бузони Баха. Особенность звучания и одновременно богатство тембра, извлекаемого из инструмента, вызывали представление органного исполнения. Играл он Баха, точно сам импровизировал, с каким-то особым настроением и медленнее, чем исполняется Бах другими пианистами.

И — Скрябин!

Прежде чем говорить о Скрябине, Скрябине-исполнителе, я несколько отвлекусь в «историю». Можно вполне представить себе, что музыкант-исполнитель будет играть, скажем, как Рахманинов, хотя рахманиновской игры никогда и не достигнет, или как Эгон Петри, или как Бузони — с той же оговоркой. Это «как» приложимо ко многим корифеям, хотя их совершенств никто из повторявших не достигал. Я вспоминаю, например, как играл И. Гофман; он покорял аудиторию и царил, признанный и с к л ю ч и т е л ь н ы м шопенистом. И ему многие тщетно подражали в игре.

Играть, к а к Скрябин, было абсолютно немислимо и невозможно. В своей игре он был уникален; это не была обычная игра на рояле, которой можно подражать, то есть извлекать те же звуки, тембры, силу, слабость и т. д. У Скрябина все это было, конечно, но оно составляло как бы второй план исполнения. Первым же планом было совсем особое отношение к инструменту, которое и было неповторимой тайной одного Скрябина...

Странно — я не помню Скрябина на эстраде, хотя и не раз слушал его в концертах. Но я прекрасно запомнил все, что касалось его игры, когда он исполнял свои вещи у нас в гостиной. И вот тут-то меня поражало: какие бы вещи он ни исполнял, в каких бы отвлеченных настроениях он ни пребывал, всегда одно и то же — именно то, что я ни до, ни после Скрябина ни в чьей игре не ощущал т а к о й с к р я б и н с к о й интерпретации. Конечно, дальнейшее в моем изложении может оказаться только моим, случайным определением немусыканта. Возможно, что слушавшие его игру музыканты и знатоки фортепианного исполнительства не ощущали того, что производило на меня впечатление и с к л ю ч и т е л ь н о с т и игры Скрябина.

Мне, профану, трудно точно музыковедчески объяснить, что я имею в виду. Но как только возникали звуки его игры на рояле (даже если я сидел с закрытыми глазами, не глядя на руки и пальцы), тотчас же я ощущал и понимал, что пальцы его извлекали звук, не п а д а я на клавишу, не ударяя по ней, что фактически происходило, а наоборот, о т р ы в а я с ь от клавиши и легким движением взлетая над клавишей. Создавалась полнейшая иллюзия, что он своей рукой и пальцами как бы в ы т я г и в а е т звук из инструмента, звук столь же легкий, столь же отрывистый, но и столь же сильный.

Недрузи Скрябина говорили, что это вообще не игра пианиста, а какое-то ще-

бетанье птичек или мяуканье котят, имея в виду и характер исполнения, и звучание инструмента.

Однако в легкости и прозрачности его звука форте звучало не менее чем три форте обычного пианиста, однако без всех тех ухищрений, нужных для обозначения всей трудности игры, без лишнего грохота, усиленной педализации и т. д. Достигалось это только контрастом между его легким, колокольчатым звучанием игры и его «скрябинским» форте, контрастом, который при его манере был столь велик, что достигал нужного эффекта.

В его игре отображалась и вся его одухотворенная легкость, столь для него характерная во всех его проявлениях: в походке, например, в движениях, в жестике, куляции и вскидывании головы — в разговорах. Все это было его естественной сущностью и исключало любое ощущение театральности и наигранности. Наоборот, весь его вид, его костюмы, галстуки и характер «подачи» себя были направлены скорее к обратному, менее всего «артистичному» облику. Но вернемся к его игре.

Проще и вернее всего сказать — да простят мне музыковеды, — что характер его игры был неотделимо связан с характером посадки его за инструментом. Он всегда сидел на несколько большем, чем обычно, отстоянии от клавиатуры. Он сидел, откинув торс и вздернув голову. Вот тут-то и казалось, что пальцы его не падали на клавиатуру, а как бы порхали над ней. Все, вместе взятое, обеспечивало ту легкость звучания, которая составляла главное качество и прелесть его игры и то «щелбетанье птичек», столь для Скрябина нужное.

Хотя очень многие первоклассные пианисты исполняли прекрасно скрябинские произведения — например, Софроницкий или Нейгауз, — однако их игра не создавала, да и не могла создать впечатление той легкости, «порхающей» игры, которая так запомнилась мне по сей день. Между тем Софроницкий знал, конечно, характер игры Скрябина. Нейгауз не мог ее слышать, он появился в Москве много лет спустя после смерти Скрябина.

В некоторых вещах, например в Четвертой или Седьмой сонате, в «Загадке», «К пламени», в «Хрупкости», Ст. Нейгауз достигает почти скрябинской «разрозненности» и нервности игры, что было также характерно для Скрябина.

Мне хочется отметить еще одно обстоятельство, само по себе, может быть, и ничтожное, но в связи со Скрябиным, с рождающейся Третьей симфонией обретающее свое значение. Тут мы возвращаемся к лету 1903 года.

Последнюю из трех дач Оболенской усадьбы, находившуюся в некотором отдалении от дачи Скрябиных, сняла группа каких-то учеников не то приютских, не то сиротских домов или семинарских школ. Более всего напоминали они воспитанников бывшей бursы. Идя табунком, как на водопой, купаться в речке, одетые в летние форменные темно-серые косоворотки, с ременными, как у нас, гимназистов, черными кушаками и медными бляхами, они встречались изредка с нами. Это были безобидные, здоровенные и мрачные парни; они, оказалось, составляли свой школьный духовой оркестр. С ними на даче жили их надзиратель, регент и служитель.

Часто, слушая в «наших» кустах игру А. Н. Скрябина и постепенное вырастание «Божественной симфонии», отрываясь начисто от оболенской действительности и уносясь в мир моей фантазии, я от испуга чуть не валялся на землю, когда в дачную красоту, никого не спросясь, нагло вторгался бычий рев геликон-баса, поддержанный звоном тарелок и большим барабаном, — оркестра соседских оболтусов.

Тогда игра на даче обрывалась мгновенно. Но и энтузиазм оркестра прекращался так же внезапно, как возникал. Наступала обоюдная тишина, усиляемая нежностью чирикания какой-то птички, — а затем «Божественная» снова владела миром; и нами в нем.

В таких-то условиях, как будто бы исключавших всякую возможность тонкой работы ума и рук, проходило рождение новой музыки.

И вот впоследствии, слушая симфонию в ее уже завершенной оркестровой форме, я каждый раз вздрагивал, когда столь уже знакомый замечательный ход басовой трубы, радостно-торжествующий и самого себя утверждающий — «я е с м ь!», вступал, надстоящий над всем оркестром. Невольно и моментально вспыхивали в сознании яркие, свежие утра, кусты, звуки рояля — и этот всеуничтожающий рев меди. Тут мне приходит на ум невольно почти кощунственная мысль: не та ли семинарская дача внушила художнику ход этого баса в симфонии? Не является ли глубокое, сумрачное трубное вступление, мрачное, как напоминание о Страшном суде, затем развитое, просветленное, в повторениях, — не является ли это каким-то откликом? Ведь оно появляется и в утверждении бытия, и в провозглашении радости борьбы и победы, и в вакханалии веселья божественных игр, и в блаженстве отдыха после прекрасного труда.

Не превращение ли это бессмысленного вопля геликон-баса за леском, противоставшего против рояля на даче? Не преобразование ли это слепой и грубой бычьей силы в полную себе противоположность торжества разума и воли, в большую новую идею, выраженную творчеством гения? Не мне это решать. Но я ясно представляю себе это к а к н е ч т о, имеющее неоспоримое право и место в действительной жизни замечательной музыки.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. ЧУДАКОВА

★

## ЗАМЕТКИ О ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ

**М**олодая проза последних полутора десятилетий уже имеет свою, хоть и короткую, историю. Она обнаруживает определенные закономерности — можно заметить, например, как сменяются излюбленные ее герои, как входит в поле зрения читателя то один, а то совсем иной пласт жизненной реальности, к которому обнаруживает эта проза свой преимущественный интерес.

Разумеется, литературный процесс истекшего времени был много шире тех явлений, которые послужили материалом автору этой статьи. В годы, когда появилась и быстро привлекла к себе внимание читателей и критиков повесть «о молодом человеке», связанная с именами В. Аксенова, А. Гладилина и с только что открывшимся тогда журналом «Юность», в литературе интенсивно работали такие разные и давно сложившиеся писатели, как К. Федин, М. Шолохов, Л. Леонов, В. Каверин, В. Гроссман, Л. Соболев, В. Панова, В. Некрасов, В. Кожевников и другие. В это время резко расширял границы тогдашней литературы «деревенский очерк», связанный с именами В. Овечкина, Е. Дороша, Г. Троепольского, и на смену диспутам вокруг романа Л. Леонова «Русский лес», романов В. Пановой, повести В. Некрасова «В родном городе» пришли споры вокруг этого очерка, вокруг его героев и их понимания современной жизни. Почти одновременно появились молодые писатели, стремившиеся заново осознать неисчерпаемо сложный опыт минувшей войны, пройдя по живым еще следам собственного в ней участия, — Ю. Бондарев, Г. Бакланов, В. Быков; выходили одна за другой повести В. Тендрякова с их во многом новой трактовкой проблем современной общественной жизни, рассказы С. Антонова, Ю. Нагибина и других.

Словом, литература осваивала современ-

ную жизнь во многих направлениях сразу, когда появилась молодежная проза конца 50-х — начала 60-х годов, вызвавшая особенно острые споры, встретившая разные и часто резко противоположные оценки читателей и критики. И именно о ней, а затем о тех молодых литераторах, которые семь-восемь лет спустя пришли ей на смену, будем мы говорить, почти полностью оставив в стороне работу многих зрелых мастеров, го есть тот художественный опыт, который для будущих историков литературы, быть может, в первую очередь и ярче всего определит литературную картину истекших полутора десятилетий.

Наша задача иная — рассмотреть некоторые тенденции в развитии одной лишь «молодой» прозы этих лет, обозначить ту смену одного ее гечения другим, которая вот уж пять-шесть лет как наметилась, а сегодня — явственно определилась. Речь будет все время идти, таким образом, лишь о какой-то малой части развертывающихся перед глазами современного читателя литературных явлений. Но и сами эти явления будут рассмотрены лишь в одном, узком и определенном, аспекте — со стороны изменений, происходящих в сфере слова, в самом повествовательном облике молодой прозы последних лет: изменения эти, быть может, не столь наглядные, как смена героев, не менее важны, однако же, для понимания литературного развития.

О том, какими общественными обстоятельствами была вызвана к жизни молодая проза конца 50-х годов, о ее героях и жизненных явлениях, послуживших им прототипами, много писала в свое время критика — А. Макаров («Серьезная жизнь» — «Знамя», 1961, № 1; «Через пять лет» — «Знамя», 1966, № 1), Б. Сучков («Движение жизни — движение литературы» — «Литературная газета», 15 ав-

густа 1961 года), Л. Лазарев («К звездам (Заметки о молодой прозе)» — «Вопросы литературы», 1961, № 9) и другие. Производились даже попытки очертить воображаемый круг читателей этой прозы и выяснить степень близости этих читателей к ее героям и к автору. «...Очевидно, что, как ни обширны слои читателей Аксенова, все же они не безбрежны — это некоторые слои образованной городской молодежи — молодые специалисты, студенты, старшеклассники... Для всей этой довольно разнокалиберной массы характерны общие черты — в конце пятидесятих годов она весьма оживленно спорит, дискутирует и словами и поведением о том, какова она есть и какою должна быть. И споры эти найдут отображение в творчестве Аксенова, кровно связанного с этой средой, остро улавливающего ее колебания, только не со стороны, не взглядом стоящего над, а изнутри...» (А. Макаров). Определенная сфера духовных интересов, к которым приковано было внимание молодых авторов, не отражала, разумеется, всесторонне духовную жизнь нашего общества тех лет. Границы внутренних ресурсов этой прозы определились очень рано; довольно скоро на смену ей пришли новые молодые авторы, попытавшиеся заговорить совсем о других героях, другими словами, в иной авторской интонации.

Проследить эти происшедшие за полтора десятилетия перемены и попытаться осознать задачи, поставленные перед собой сегодняшними молодыми авторами, кажется нам возможным и необходимым.

Перемены в художественном языке связаны обычно с появлением в литературе новых героев и новых проблем, не занимавших «прежних» авторов или совсем по-иному ими воспринимавшихся.

Связь эта, однако же, не проста и не однозначна; она не может быть определена немногими словами; в дальнейшем мы будем отмечать лишь некоторые ее аспекты, не надеясь исчерпать проблему своими объяснениями. К тому же многие существеннейшие связи и причины, по нашему мнению, откроются не критику — современнику событий, а лишь историку литературы: только ему суждено увидеть общественную и литературную ситуацию определенного времени в ее завершенности, когда сотрутся одни ее черты и станут явными и важными другие.

Но зато современник всегда живо восприимчив, особенно чуток к тем изменениям самого авторского тона, самой «личности» повествователя с его социально-культурной позицией и словесным ее воплощением, которые происходят в окружающей его сегодняшней литературе. Эту смену тона читатель-современник замечает, может быть, ранее всего, отнесшись же к этому «новому» тону он может как угодно — и одобрительно и враждебно.

Речь идет здесь опять-таки не об индивидуальном опыте больших писателей, а о том, что периодически в течение каждых пяти, десяти или более лет развитие прозы вырабатывает некую повествовательную норму, к которой тяготеет большая часть написанных в эти годы романов, рассказов и повестей. Разумеется, за пределами этой нормы остается обычно опыт тех писателей, которые в меньшей степени, чем другие, испытывают на себе влияние возобладавшей стилистической тенденции, а напротив — часто прокладывают ту глубоко отличную от всех словесную тропу, по которой вскоре устремляются многие, иногда превращая эту тропу в широкую, всем доступную дорогу. Но не всегда дело происходит именно так. Бывают и такие литературные времена, когда художественные поиски разных писателей в известном смысле независимо друг от друга выводят их — иногда для них самих неожиданно — на одну дорогу, и опыт их приобретает очертания некой единой школы, одна манера становится вдруг общей многим сразу, распространяется вширь и оказывается, в свою очередь, вытесненной новым художественным опытом, новым словом. Слово это может на первых порах звучать не слишком вятно и даже отдавать косноязычием, но с течением времени получить свое оправдание.

## 1. САМОУТВЕРЖДЕНИЕ

«Отсутствие иронии и юмора всегда отличает детское состояние литературы».

*В. Г. Белинский.*

Десятилетие, истекшее к концу 60-х годов, тоже имело свой, то есть наиболее притягательный для молодых литераторов беллетристический язык. Со временем легко будет читателю, натолкнувшемуся на такой, например, отрывок, отнести его ко вполне определенному времени: «На вокзале в ка-

душках стояли пальмы. Из раскрытых окон ресторанной кухни веяло меланхолией и свежей бараньей кровью. По перрону, пряча глаза в букеты, прогуливались вразнобой пятеро мужчин в возрасте. Мне странно было видеть, что они гуляют вразнобой. Помоему, они должны были бы построиться друг другу в затылок и маршировать».

Сейчас эта манера — энергичная по самому своему строю, неизменно окрашенная авторской иронией, легко и свободно прибегающая к разговорным оборотам речи, литературой еще не зафиксированным, — всем хорошо знакома и привычна. Но десятилетие назад она казалась новой и необычной и, главное, была необходимой.

Среди прочих своих задач молодая проза конца 50-х годов имела в виду резкое обновление художественного языка, вошедшего в слишком тесное русло шаблонизировавшейся, расхожей, среднелитературной речи, недопустимо резко разошедшейся в те годы с речью устной — сферой живого развития языка.

Необходимость сузить этот разрыв периодически возникает как насущная для литературы потребность. Иногда она насыщается на время потоком городского просторечия, бурно вливающегося вдруг в литературу. В других случаях пополнение ресурсов языка литературы происходит за счет глубинных, с трудом достигаемых пластов народной речи. Раньше всего эта «новая речь» начинает обычно звучать в устах новых для литературы героев, и в случаях «предельных» голоса этих героев могут вовсе заместить собою авторское слово («Бедные люди» Достоевского). Перемены этого рода в собственно авторском повествовании наступают обычно позже.

Нельзя сказать, что язык, который мы услышали немногим больше десятка лет назад, был «открыт» теми, кто им охотно пользовался, вполне самостоятельно, что он целиком порожден был концом 50-х годов.

Еще в 1946 году в повести В. Пановой «Спутники» активно осуществлялось это сближение «книжной» речи с бытовой устной речью тех лет. В разговорах героев Пановой читатели слышали свой собственный голос с его обиходными интонациями. Интонации эти проникали и в само авторское повествование и впоследствии особенно явственно прозвучали в рассказах 1959 года — «Валя» и «Володя».

Более того — в языке «молодой прозы»

конца 50-х годов угадывались черты той беллетристической манеры, которая сложилась несколькими десятилетиями ранее, но впоследствии почти лишилась влияния.

В 20-е годы манера эта не была обязана своим появлением чьему-либо одному индивидуальному опыту. Она складывалась в результате усилий многих писателей сразу — усилий, сознательно направленных к обновлению языка литературы в целом. Обновление это было обусловлено решительными переменами в самой жизни общества — революцией, войной, последующими радикальными преобразованиями, поднявшими к активной деятельности огромные массы людей. Устоявшаяся литературная традиция, «средняя норма» беллетристического языка предшествовавшего десятилетия, не могла вместить этого нового материала — он неминуемо должен был прорвать истончившуюся словесную ткань.

Необходимость сближения языка литературы с языком «улицы» по-разному, с разной степенью остроты была осознана каждым из участников литературного процесса тех лет.

Одним из самых решительных опытов такого сближения стала поэма Блока «Двенадцать». Вульгарная речь была предложена в ней не отчужденно, не как заведомо очевидное для автора «нарушение», а как нечто необходимо новое, резко приближенное им к его собственному слову («И Петруха замедляет торопливые шаги... Он головку вскидывает, он опять повеселел»). Поэма Блока, обращенная к языку улицы, сняла многие запреты. Страшные слова («Что, Катка, рада? — Ни гу-гу... — Лежи ты, падаль, на снегу!») зазвучали в ней почти патетически; это раскрепощение слова не осталось без последствий и для поэзии и для прозы первых революционных лет.

В 1920 году Михаил Зощенко, еще никому не известный как писатель, задумывает большую литературно-критическую работу. Он пишет о литературе целого десятилетия (1910—1920 годы), в которой более всего его раздражает реставрация ситуаций, круга героев и особенно языка беллетристики начала века. Язык этот ощущается им теперь как мертвый, шаблонизировавшийся, разорвавшийся с живою жизнью слова. Он отмечает в этой прозе слова и целые фразы, которые, по его мнению, потеряли право на литературную жизнь и должны быть выведены из обихода (сердце, «не согретое хо-

лодным равнодушием надменного супруга», «сверкнув на герцога огненными глазами» и т. п.). Его собственная проза почти с первых ее шагов заговорила иначе.

Перемены в отношении к языку литературы назревали еще раньше. Уже в 1914 году Маяковский называет имя Чехова как имя писателя, давшего «новые формы» выражения мысли, сдвинувшего слово «с мертвой точки описывания». В этом смысле Чехов как бы опередил свое время — открыл пути, по которым охотно пойдет впоследствии новая литература.

Любопытно, что важным признаком нового прозаического языка оказалась для Маяковского длина фразы: «И вот вместо периодов в десятки предложений — фразы в несколько слов». Рядом с ними «витиеватая речь стариков, например Гоголя, уже кажется неповоротливым бурсацким косноязычием».

Это ощущение письменной речи прошлого века как «неповоротливой» сообщилось впоследствии многим, в частности и Зошенко, определив многое в его художественной манере и не раз прямо выразившись в его статьях. «Мне просто трудно читать сейчас книги большинства современных писателей. Их язык для меня почти карамзиновский. Их фразы — карамзиновские периоды...

Может быть, единственный человек в русской литературе, который понял это, — Виктор Шкловский.

Он первый порвал старую форму литературного языка. Он укоротил фразу. Он «ввел воздух» в свои статьи. Стало удобно и легко читать.

Я сделал то же самое.

Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным.

Может быть, поэтому у меня много читателей».

Эти признания человека, довольно скупого на теоретические обобщения своей и чужой литературной работы, показательны. «Старая» школа связывается, как видим, в первую очередь с длинной, разветвленной фразой; многословие кажется косноязычным, необходимость писать «сжато» — очевидной.

У Шкловского и Зошенко фразы укорочены по-разному и по-разному между собою связаны, но некоторые общие свойства обоих писателей в отношении к «старой форме литературного языка» очевидны, и, кроме того, Зошенко, несомненно, прав, указывая на роль Шкловского.

«Укороченная» фраза, обилие «воздуха» на странице, резко расчлененной многочисленными абзацами, — эти внешние, казалось бы, но очень заметные признаки прозы Шкловского были своеобразным поветрием времени. Когда, например, в августе 1922 года несколько тогда еще очень молодых писателей напечатали свои автобиографии, почти каждая из них обнаружила сходство с подобной прозой. «Родина моя — Саратов. Детство — окружные деревеньки — Евсеевка, Синенькие, Увек, Поливановка, Курдюм и Разбойщина. Зброшенные сады, рыбацьи дощанки, бункеры, крепкий анис.

На лодке катал меня реалист Балмашев» (К. Федин).

«Закваска у меня — анархистская, и за нее меня когда-нибудь повесят. Пока не повесили — пишу стихи.

Искал людей по себе — нашел: Серапионы» (Н. Тихонов).

Такая короткая, отрывистая фраза, «смонтированная» с соседней фразой без помощи опосредствующих звеньев, несомненно, играет в 20-е годы очень заметную роль в преобразовании литературного языка как языка не только художественной литературы, но и статей, газетных жанров, самых разных видов письменной речи.

Однако в узкой области самого расположения текста короткой статьи или фельетона на пространстве бумажного листа и, условно говоря, «фразораздела» здесь были свои предшественники. Один из них сошел со сцены за несколько лет до появления в литературе не только Зошенко, но и Шкловского.

В неопубликованных воспоминаниях Н. В. Дорошевича, дочери Власа Дорошевича (интересных не только в документальном, но и в литературном отношении), рассказано о резком переломе в работе известного фельетониста 1890—1900-х годов В. Дорошевича, совпавшем с его переездом в Одессу. «И вот неожиданно в этом таком несчастливом для него поначалу городе открылся и расцвел яркий и оригинальный дорошевичевский талант. В газетной технике, к тому времени уже весьма совершенной, Дорошевич сделал блестящее открытие: он изобрел короткую строку. С полным пренебрежением к правилам грамматики он резал фразу по середине. Точка оказывалась на месте запятой, глагол убегал от существительного в следующий абзац. Если бы оплачивать его фельетоны стал издатель, не платящий за



«чики» (занимающий отдельную строку конец слова, после которого начинается абзац.— М. Ч.), Дорошевичу не причиталось бы за них почти ничего».

Чтобы понятны стали эти яркие характеристики, напомним читателю начало хотя бы одной из его статей того времени, когда он был уже фельетонистом в Москве, в сытинском «Русском слове»:

«Словно лес осыпается осенью.

Осыпается жизнь.

Даже Париж становится неинтересным.

Умер Анри Рошфор. Нет Жюль Кларти.

Приехав в Париж, я не буду в пять часов за чаем читать статью Рошфора.

Любоваться восьмидесятилетним старцем, пишущим ежедневно».

Влияние работы фельетониста на язык публицистики и некоторых жанров литературы первого десятилетия века, да и последующих лет было, по-видимому, довольно широким, хотя в силу многих причин этот факт быстро забылся.

«Короткая строка» Дорошевича (наряду с языковым опытом Чехова) с очевидностью просвечивает, например, в языке ранних статей Маяковского. По-видимому, именно она показалась поэту необходимо новым способом прозаической речи, разрывающей со старым «витиеватым косноязычием». Есть тому и почти прямые подтверждения. Н. Дорошевич вспоминает: «Маяковский как-то сказал мне: «А ведь ваш отец, с его короткой строкой, в свое время имел на меня большое влияние. В газетный подвал, место привилегированное, оккупированное писателями, он ввел язык улицы». «Язык улицы» — то есть короткие, недоговоренные реплики живого уличного диалога.

Итак, уже в предреволюционные годы, а особенно в первые годы после революции, необходимость демократизации языка литературы и больше того — сближения его с «языком улицы» стала предельно очевидной. Стремительно обновлялся при этом не только словарный состав литературы, но и строй фразы, абзаца. Слова Зошенко о прозе, которую «стало удобно и легко читать», — не поза мнимой наивности, а констатация того очевидного факта, что в 20-е годы явилась проза нового толка, нового строя, на который, среди прочего, немало повлияла адресованность этой прозы к массовому читателю.

К началу 30-х годов значительная часть прозы заговорила на языке, резко отличном

от того, который строился на длинном, разветвленном синтаксическом периоде, на неторопливых, обстоятельных описаниях, исходивших от автора, уверенного в добросовестном и длительном внимании своего читателя и не прибегающего к специальным приемам «интенсификации» этого внимания. В «новой» прозе не только фразы стали заметны короче — само повествование велось в ином, энергичном темпе, резко, без опосредствующих звеньев переходя от предмета к предмету, от впечатления к впечатлению.

«Санные колеи и трамвайные рельсы блистали на поворотах сабельным зеркалом. Через дорогу под барабан важно переходил отряд пионеров. Рабфаковцы в пальтишках на рыбьем меху перескакивали с ноги на ногу или лепили друг другу в спину снежками. Под деревьями бульвара мелькали пунцовые платки и щеки. Звенели и слипались, как намагниченные, коньки» (В. Катаев).

Темп мог замедляться, делаться элегическим — но сохранялась сама «укороченность» фраз и способ отношений между ними. «Была осень, но в саду вокруг флигеля все еще цвели розы и мальвы. С легким стуком падали на землю яблоки. Шли спокойные и теплые дожди» (А. Роскин).

«Мы поползли к берегу озера. Туман шуршал в траве. Над водой неторопливо подымалось огромное белое солнце» (К. Паустовский).

К концу 30-х годов результаты стилевых поисков многих писателей (понятно, далеко не всех) приобрели уже очертания едва ли не универсального художественного языка.

Это было время, когда литературная учебка стала приносить наконец свои плоды, когда «секреты мастерства», к раскрытию которых требовательно призывала писателей гоглашняя критика, понемногу раскрывались — в статьях, в интервью, в литературных кружках, — и это мастерство оказалось наконец доступно сразу многим.

«Короткая фраза», по-разному явившаяся в прозе самых разных писателей 20-х годов, оказала сильное влияние не только на прозу последующих десятилетий, но и на все решительно письменные жанры — на язык газетного очерка, фельетона, критической и всякой другой статьи. Теперь это уже засвидетельствовано наблюдениями лингвистов. В изданном недавно Институтом русского языка АН СССР социолого-лингвистическом коллективном исследовании «Русский язык и советское общество» отмечено

и подробно описано явление так называемой парцелляции. Оно встречается еще в литературном языке начала XIX века, но интенсивнейшим образом распространяется именно в авторской письменной речи нашего времени. Что это за явление, поясняют примеры, приводимые авторами:

«Да, есть моменты, когда хочется плакать.

Потому что красота и гармония заставляют слезы подступать к горлу» (Дорошевич).

«Мы хотели стрелять. Бить стекла» (В. Шкловский).

Единая по смыслу и синтаксическому строю фраза расчленена — точкой или абзацем — на более короткие отрезки.

Жаль, что в книге этой нет примеров из прозы Зощенко, хотя их можно было бы брать в буквальном смысле с любой его страницы:

«Побежал с марками обратно до своей заказной очереди. Встал в затылок. Стою. Отдыхаю» («Выгодная комбинация»).

Языковедение объясняет, что в основе этого синтаксического приема «лежит подражание естественному разворачиванию разговорной речи, когда речь формируется по мере течения мысли, а не является заранее обдуманной и вмещенной в готовые, законченные формулы». Благодаря этому приему «облегчается, упрощается синтаксическая конструкция».

Исследователи находят и объяснение активизации этого приема в письменной речи нашего времени — это связано, говорят они, с «ростом в наше время адресованности письменной речи к массовому читателю и слушателю». Когда одна часть фразы отделена от другой «паузой точки», тем самым «достигается большая доходчивость и большая эмоциональная насыщенность сообщаемой информации».

Лингвистика зафиксировала в XX веке два периода «налива», интенсификации этих конструкций: 20—30-е годы и затем, «после известного перерыва, характеризовавшегося в основном господством «спокойной», «гладкой», «правильной» прозы, в 50—60-е годы...».

Критика и история литературы могла бы дополнить эти наблюдения разнообразным материалом прозы конца 50-х годов, необычайно охотно прибегнувшей вдруг к всевозможным синтаксическим и лексическим вольностям и среди них — к резжому, почти забытому в письменной речи предшествующе-

го периода «фразоразделу», условно говоря, зощенковского толка.

«Французы делают так: наливают коньяк, плюют в него и выплескивают таким вот типам в физиономию. Разным там коллаборационистам». (В. Аксенов).

Манера «парцеллированной прозы» 20—30-х годов была столь основательно забыта, что теперь ее разнообразные перепевы воспринимались как нечто вполне правомерное и литературно ценное и даже, пожалуй, как некая дань уважения первоисточнику — своеобразное оживление угаснувшей было литературной традиции (хотя на совсем ином материале и с другой авторской позицией). Так, заметное влияние Зощенко ощущалось, например, в детских рассказах В. Голявкина, но не мешало их восприятию: «Полезно собирать книги. Про книги и говорить нечего. Тут пользы — масса. Опять-таки если читать их. А если так, на полке стоят, пользы тоже не много». Нить, условно говоря, «зощенковской манеры» оказалась прoderнута через всю ткань фельетона Л. Лиходеева начала 60-х годов, ткань довольно сложного плетения (в последние годы, к сожалению, сильно упростившуюся и обесцветившуюся), и это никак нельзя было бы назвать простым подражанием.

Вообще, не будем спешить с оценкой такой далеко не элементарной зависимости литераторов этого времени от опыта их старших современников, стремившихся в свое время противостоять разрыву между языком литературы и разговорной речью, тенденции к сглаженности, нейтральности, «правильности» языка художественной литературы и вообще письменных жанров. Этот разрыв к концу 50-х годов оказался довольно заметен. Тем более бурным было стремление молодой прозы этих лет его преодолеть.

Новые стилевые тенденции оказались связаны с заметным обновлением самой композиционно-повествовательной формы. Привычная форма рассказа «в третьем лице», прочно устоявшаяся в прозе предшествующего периода, теперь отступила назад. В рассказах и повестях этих лет безличного автора внезапно сменил живой, участвующий в действии рассказчик. Если это был не сам автор, так близкий к нему герой — автор в детстве или в молодости, друг его юности. Едва ли не вся молодая проза тех лет заговорила от первого лица. Тогдашняя критика стремилась найти свое объяснение этому для всех очевидному литературному

факту; она видела в этом «стремление к достоверности», желание молодых прозаиков «чуть ли не документировать свои произведения, внушить читателю мысль о своем личном участии в происходящем, о том, что они — очевидцы, свидетели, а чаще всего и активные участники происходящих в рассказе или повести событий. Отсюда во многом — и стремление вести рассказ от первого лица, отождествляя автора и героя. Отсюда — правило, характерное для молодой прозы: писать только о том, что пережито и изведено» (Ф. Кузнецов, «Каким быть...»).

Эта проза зазвучала как энергичный монолог, обращенный прямо к читателю, ожидающий непосредственной его реакции, рассчитывающий на нее, — и понятно, что эти тяготеющие к диалогу монологи выбрали в себя в таком количестве обороты разговорной речи, всевозможные «неправильности», способные наиболее непосредственным образом передать экспрессию автора, правда автора совершенно определенного типа, заявившего о своей принадлежности к сравнительно «молодому» поколению, к специфически городскому быту — словом, автора непривычно конкретного, вставшего рядом со своим читателем.

Каждой фразой эта проза переоценивала окружающий мир. Ни один предмет, вовлеченный в рассказ, и ни один человек, появившийся в поле зрения главного героя, не оставался без незамедлительной оценки; ничто не избегало энергичного и краткого авторского приговора.

«И только за столом стало выясняться, что вечер не получился. То есть это был оживленный веселый вечер, много музыки, много вина, остроты сыпались и новые анекдоты, и уже зашумело в голове, но — это был не тот вечер».

«Там на скамейке у входа сидит и читает «Огонек» замечательный старик. Бритый, жилистый и сильный, он похож на старого спортсмена...» (В. Аксенов).

Святое право на «личное мнение» по любому, и общему и особенно частному, поводу герои осуществляли бурно, самозабвенно.

И неожиданное, не вполне литературное членение фраз — явное свидетельство авторского своеволия — было утверждением того же права. Сам синтаксис оказался проникнут подчеркнутым самоутверждением авторской личности или личности любимого автором героя. Новизна этой манеры в те годы была несомненна. Она оказалась при-

тягательной и для читателей и для писателей. «Оживить» уже однажды бывшую в употреблении манеру оказалось много легче, чем когда-то конструировать ее впервые. На этот раз путь к всеобщей умелости был пройден гораздо быстрее, чем в начале 30-х годов. Уже в 1960 году критика писала: «И еще одну особенность молодой прозы нельзя не отметить — уровень литературной культуры. Речь идет не о талантливости (само собой разумеется, молодые прозаики одарены не в одинаковой степени), а об общем высоком уровне литературной культуры... Читая их книги, мы ясно видим, что это пишется после Чехова и Горького, Л. Толстого и Бунина, крупных современных советских и западных художников» (Л. Лазарев, «К звездам»). И в ближайшие же годы выяснилось, что проза не может долгое время существовать на одинаковой для всех умелости.

Был момент, когда манера эта очень прочно вошла в литературный обиход. Потом, примерно в середине 60-х годов, в ней стали обнаруживаться явные признаки застылости. Чем большее литературное пространство она захватывала, тем эти признаки становились очевидней. Чтобы не подыскивать новых слов вместо однажды уже сказанных, воспользуемся цитатой из статьи 1967 года: «Иронически-пародийная манера вести рассказ в последние годы все больше теснит манеру «положительную». Она становится нормой. Выделяться стали, напротив, случаи ровного повествовательного стиля, а оживленный, игривый стиль, интенсивно окрашенный авторским чувством юмора, стал основным «наполнителем» любого повествования». Далее говорилось, что эта манера становится как бы визитной карточкой «современного стиля» — знаком стиля «приличного», пристойного в настоящее время. Стиль этот стал «средней нормой», показателем литературности. Произведение, сделанное по его правилам, такое, которое легко читать, уже одним этим как бы включается в литературу.

«...Возникает не редкая в истории литературы ситуация — обретая некоторые новые качества, литературная школа задерживается на «переходном этапе», увлекшись эксплуатацией своих завоеваний, не чувствуя исчерпанности раз найденных путей»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> М. Чудакова, А. Чудаков. Современная повесть и юмор («Новый мир», 1967, № 7, стр. 232).

Сейчас на наших глазах этот «переходный этап» закончился. Та литературная манера, о которой шла речь, заскользила с гребня литературы — с той высокой точки, на которой она удерживалась на протяжении нескольких лет, а также и с той более ровной площадки, на которой держалась она еще совсем недавно, — вниз, вбок, в третьестепенные жанры.

Косвенным, но верным показателем этого «утомления» литературы от иронического слова явилась совсем недавно сформировавшаяся особая разновидность — «ироническая проза». Так названа специальная рубрика «Литературной газеты», для которой выделено постоянное место на последней ее полосе, — свидетельство того, что читатель уже не ожидает встретить эту прозу на других страницах той же газеты. Под этой рубрикой, к стати говоря, сейчас уже печатаются и те авторы, которые совсем недавно были главной силой иронической прозы, еще не заключенной в кавычки, не спустившейся в периферийный жанр.

Кроме того, манера эта нашла себе вполне специализированные сферы применения, и среди них — короткий газетный фельетон на конкретную тему, который уже много лет ведется в «Известиях» за подписью Пантелеймона Корягин. Там используются и типовые начала зощенковских рассказов («Один человек приехал по служебным делам в другой город»), и уже знакомый читателю способ членения фраз: «С цементом у нас хорошо. Цемент есть. Но его еще не всегда всем хватает». Узнается и сам способ вести рассказ — выбор слов, деталей сюжета, в какой-то степени и авторское несколько резонерское отношение к самой теме, к поведению персонажей, особенно характерное для Зощенко середины 30-х годов. Иногда эти приемы перенимаются фельетонистами лишь в самом общем, приблизительном виде, иногда же зощенковская манера воспроизводится довольно скрупулезно: «А баран орет все сильней и сильней. Причем приходится только удивляться, откуда у него берутся для этого силы. Он стоит и непрерывно орет, а у людей, живущих в этом доме, а также в соседних, начинается нервное вздрагивание. А некоторые даже теряют аппетит и сон». Само название рубрики, под которой печатаются эти фельетоны — «Удивительные истории», — тоже имеет явную связь с рассказами и фельетонами Зощенко, с обычным их началом или концовкой типа:

«Вот какая удивительная история произошла с нами на транспорте». Тем самым заимствован сам каркас (но не более!) отношением автора с избранным им материалом — так сказать, отношение наивного удивления.

Эти фельетоны не стилизация и даже не подражание. Это то откровенное заимствование наиболее удобной формы предмета, когда ссылка на первооткрывателя необязательна. Легкий налет этой заимствованной манеры, твердо закрепленной за таким фельетоном, служит как бы опознавательным знаком жанра, настраивая читателя на вполне определенные ожидания, обещая ему тот же самый подход к материалу (при постоянном обновлении самого материала), что и в предыдущем номере.

Еще одно частное применение этой повествовательной манеры — очерки-путешествия, которые складываются, как правило, из двух основных компонентов — фабула, вытянутая вдоль маршрута очеркиста, плюс уже описанная организация фразы и абзаца.

Вот как комментирует эту перемену функции определенной языковой манеры лингвистика: «Наплыв» парцелированных построений характеризует не только современную художественную прозу, но и публицистику. Эти построения... становятся устойчивой чертой таких публицистических жанров, как фельетон, репортаж, корреспонденция, «зарисовка», очерк, рецензия (на книгу, спектакль, кинофильм и т. п.), рассуждение (на бытовые, морально-этические и другие темы)». Дальше приводятся примеры из газет 1964—1966 годов: «И представим, что на вас свалилось несчастье. Свалилось самым форменным образом. В виде обыкновенной ржавой водосточной трубы». И следующий пример — по-видимому, уже не из фельетонов, а из рецензии: «С горящим факелом в руке идет он на зов короля. Это уже открытая дуэль. И не только с Клавдием. С веком».

Как видим, один из двух авторов преследует иронические цели, другой — нет, но оба прибегнули к одному и тому же речевому приему, прибегнули, почти не замечая этого, как прибегают в письме к обычной эпистолярной концовке.

Итак, «короткая фраза» ушла из литературы в периферийные жанры — в иные виды письменной речи, близкие к литературе и все же отдельные от нее. Она стала как бы наиболее удобным способом изложения в

тех случаях, когда автор преследует довольно узкие цели — фельетонные, репортажно-информационные (как в очерке-путешествии) или элементарно-оценочные (определенные виды рецензий).

То, что было сначала индивидуальной художественной манерой, потом — приметой определенного литературного течения, становится постепенно одним из функциональных стилей письменной речи. Он уже не выражает индивидуальности автора, не обещает читателю никаких неожиданностей, никакого художественного эффекта, а скромно исполняет отведенную ему утилитарную роль.

Плоды перемены, произведенной в 20-е и 30-е годы в русской литературной письменной речи, сейчас налицо. Предложенные в то время «облегченные» и сближенные с разговорной речью приемы письма закрепились и добросовестно работают — до нового, столь же существенного обновления синтаксиса и фразеологии.

Из художественной же прозы этот прием уходит или, что одно и то же, распространяется в ней слишком широко. В словах этих не: ничего парадоксального. Эта манера сходит с литературной сцены, не выдвигнув в последние годы ни одного значительного литературного явления — ни нового автора, ни новой вещи автора известно, — разошедшись по всем рукам.

Это нельзя воспринять как литературную неизбежность. Напротив, в истории литературы достаточно примеров, когда какая-либо литературная школа порождает (или, так сказать, выталкивает из своей среды) какого-то значительного писателя и лишь тогда угасает, вырождается, переходит в нейтральный журнально-газетный фон.

Сейчас, к сожалению, мы наблюдаем иное: те, кто был впереди этой прозы, кто дал наиболее примечательные ее образцы, за последние годы не вышли за пределы лучших своих вещей.

Причины этого многообразны и коренятся, естественно, не только в сфере языка. Не касаясь их, отметим только неоспоримый факт: веселая, уверенная ироническая и пародирующая проза с ее особым синтаксисом, особым словарем уходит из «первых рядов».

Кто же претендует на ее место? Кто те «новые», кто входит в литературу и готовится занять наиболее заметные позиции в молодой прозе?

## 2. САМООПРАВДАНИЕ

«Надоела мне между прочим судорожная ирония, с какою с некоторого времени обо всем пишут...»

В. Кюхельбекер.

Первые из этих «новых» прозаиков появились тогда, когда ироническая проза была еще в своем зените, — в 1962—1963 годах. Новизна их не была, правда, столь определенно очевидна, как у их предшественников; очертания новой стилистической манеры проявились лишь постепенно.

Десятилетие назад, листая страницы повести молодого автора, прежде всего мы замечали новый, необычный для тогдашней литературы состав и строй авторской речи (примеры этого рода — в предыдущей главе). У тех, кто пришел в литературу несколько лет спустя — с совсем другим, как увидим, жизненным материалом, с иным кругом проблем, — прежде и громче самого автора заговорили герои этой новой прозы, заговорили сначала так, что трудно было и разобрать.

«— Клуб есть?»

— Клуб? Ну как же!

— Сфотографировано.

— Что?

— Согласен, говорю! Пирамидон.

Прохоров заискивающе засмеялся» (В. Шукшин, 1963).

Потом среди этой осыпи реплик стали выделяться, поблескивать наиболее любимые автором слова.

«— Чо, неправду я говорю? Чо я такого сказала, подумаешь! Ничо я и не сказала, какие там намеки. Я режу напрямую» (В. Лихоносов, 1966).

Дальше речи стали длиннее, у героев стало хватать дыхания на длинные монологи. В повести В. Лихоносова «На долгую память» и Физа, и Никита Иванович, и Демьяновна — все говорят долго, не умолкая, и автор с явным удовольствием выслушивает не всегда внятную, но неизменно напористую эту речь: «Давай поборемся. Не таких быков валил. Женя! Нарисуй мои мускулы. Да вообще-то они босяки, — засмеялся он. — Женя, ну ты, сынок, ты вообще бы изобразил чо-нибудь перед отцом. Чо-нибудь представил нам в порядке Малого театра. Под Жарова чо-нибудь. Я Жарова два раза видел на фронте. Уморил от и до. Ты в драмкружке играешь, а я тумак, шофер первого

класса. А вообще-то я вас люблю. Дети! Не верите? Гадом быть, чтоб мне не сойти с этого места. Ну, где я вам чего достану? Разве я не хочу, чтобы вы были лучше всех! — Он даже заплакал. — Отец выпил, подумаешь. Больше нашего пьют, и то ничего. А я простой русский Иван, кончите экзамены — покупаю велосипед!»

Так беспорядочно многоречив этот герой, что возникает впечатление дословной стенографической записи.

Не то чтобы этот голос был совершенно нов. Нечто похожее доносилось изредка еще со страниц прозы В. Аксенова, хотя в целом она строилась на другом словесном принципе: «Рядом с нами сидел человек в бедной клетчатой рубашке, но зато в золотых часах. Он склонил голову над пивом и что-то шептал. Он был сильно пьян. Вдруг он поднял голову и крикнул нам:

— Эй, вы! Черное море, понятно?.. Севастополь, да? Торпедный катер...

И снова уронил голову на грудь» («Завтраки сорок третьего года»).

«Сидевший за соседним столиком сумрачный человек в кепке-восьмиклинке тяжело поставил кружку на стол, сдвинул кепку на затылок и заговорил, ни к кому не обращаясь:

— Сам я приезжий, понял?.. Не здешний... Женщина у меня здесь, в Москве, баба... Короче — живу с ней. Все!

Он стукнул кулаком по столу, надвинул кепку и замолчал, видимо, надолго» («Папа, сложи!»).

Теперь эти герои не замолкают так быстро, им дают высказаться. Что еще важнее: авторы слушают своих героев с жарким сочувствием — серьезно и даже порою истово; в области «прямой речи» видят они теперь свои главные интересы.

У Шукшина, например, авторская речь обычно низведена до уровня ремарки: «Игнатий захохотал», «Васька нахмурился и пошел к воде».

Как только эти ремарки пытаются развернуться во что-то более продолжительное, получается нечто не совсем понятное, с изображаемой жизнью вроде бы идущее вразрез.

«Прошла неделя.

Все так же лился ночами лунный свет в окна, резко пахло из огорода полынью и молодой картофельной ботвой... И было тихо» (В. Шукшин, «Думы»).

Или: «Из избы вышла Нинка в одной станине (спальной рубашке), босиком». Чего же ради употреблено «местное» слово, если оно тут же потребовало от автора комментария? И что же более естественно для самого автора, что ему ближе — «становина» или «спальная рубашка»? Что является более подходящим строительным материалом для его прозы?

Иногда даже закрадывается мысль, что автор нарочно, для каких-то нам неведомых целей старается разрушить целостность, органичность своего повествования, прежде чем она успела объявиться: «А Матвей все силялся опять вспомнить ту черную чарующую ночь». Такими словами — и при этом вполне в серьез! — говорит о деревенском старике... Еще удивительной концовка этого рассказа: «А над миром все сиял и сиял месяц. И было тихо. Даже собаки почему-то не лаяли». Это уже сильно напоминает концовку пародии Зоценко на святочный рассказ 1913 года: «А там, вдали, за окном плакал чей-то полузамерзший труп ребенка, прижимаясь к окну. Колокола гудели».

Впрочем, повторим — в своих рассказах Шукшин почти не претендует на то, чтобы слушали его самого. Он более всего озабочен разговорами своих героев; он дает нам возможность выслушать все междометия, которыми обмениваются эти герои, переждать вместе с ними все паузы — словом, присутствовать при их частном разговоре за семейным столом ли, у реки ли, в разговоре, который, кстати сказать, чаще всего ни к чему не ведет и обрывается как бы невзначай, волею автора, и кажется, что герои все еще договаривают между собой на чудноватом своем языке и тогда, когда мы с ними уже расстались.

Иное дело Лихоносов.

В его прозе размышлений, сентенций, эстетических восклицаний самого автора не меньше, чем «прямой речи» героев.

Напомним, что через все повести и рассказы В. Лихоносова под разными именами — Витя, Миша, Митя, Женя — прошел один главный герой — любимец автора, его второе «я», соглядатай и оценщик чужих жизней. Авторское внимание к этому герою во всех повестях явно преобладает над интересом к другим персонажам. Все пропущено через этого героя. Других мы только слышим — о нем же нам постоянно рассказывает сам автор, настоятельно предписывая

жалеть этого героя, любить, сочувствовать ему, прислушиваться к его оценкам и по возможности разделять их. Между тем сама личность этого героя совсем не так определена, как это было в прозе Аксенова и близких ему молодых писателей. Намерения автора явно обгоняют здесь их реальное воплощение. И нужно долго прислушиваться к словам героя и автора, чтобы увидеть наконец, в чем несомненная, хотя и не слишком ясная в своих очертаниях новизна задач, которые ставит перед собой эта проза.

Само авторское повествование в прозе Лихоносова как бы равно принадлежит герою и автору. Та несобственно-прямая речь героя, из которой оно и состоит главным образом,— это речь особенно важная для автора, дорогая ему, речь полемическая, противостоящая одним ценностям и жарко защищающая другие.

Язык, на котором строятся повести Лихоносова «Чалдонки», «Родное», «На долгую память», а в самое последнее время — «Люблю тебя светло» и «Осень в Тамани», привлекает наше внимание еще и потому, что перед нами — автор, постоянно занятый проблемами языка. Устами любимых своих героев он провозгласил преданность «настоящему» русскому слову. В отличие от недавней «молодой» прозы перед нами — автор, серьезно помышляющий, как это можно заметить, о построении прозы, корнями уходящей в толщу народной жизни и народной речи.

Каков же словесный строительный материал прозы В. Лихоносова?

Обратимся для примера к повести «На долгую память», к тем ее страницам, где мысли любимого автором героя выражены особенно остро, где они звучат почти патетически.

Попробуем понять эти мысли, прислушавшись к слову, их «облекающему».

«Дремучий быт», — скажет позже товарищ его, студент, осенним деревенским вечером, после того как они вышли из одной избы от пожилой женщины, вспоминавшей свою судьбу. И пока они слушали ее, Жене было вроде бы даже неловко перед скупавшим товарищем, воспитанным на чем-то отрешенно-высоком и умном. Вот еще, думал он затем, одна наша черта: чувствовать себя виновато и стесненно даже тогда, когда надо гордиться. Позже он не стыдился и, повидав со временем

всякое, стремился душою к материнскому простодушию, к быту, который достался им в наследство, к привычному старому кругу жизни — повсеместному и всегда дорогому».

Сразу же сталкиваемся мы здесь с некоторыми трудностями восприятия — и трудностями, пожалуй, неразрешимыми.

«Товарищ его, студент» после первой и единственной своей реплики навсегда исчезает со страниц повести, оставляя читателю множество неясных вопросов, например — на чем же все-таки «отрешенно-высоком» был он воспитан? Не то чтобы нам очень хотелось узнать о нем гораздо больше. Важно здесь другое — несомненная уверенность автора, что им все сказано о герое. Словесная ирреальность кажется ему доподлинной реальностью, код — живым словом.

Читая фразу за фразой, видишь вместо реального, живого слова некий шифр. В руках читателя очень быстро оказывается тонкая ниточка абстракций, держась за которую, должен он идти по лабиринту, выстроенному автором.

Как легко являются на язык герою и автору сугубо логические определения — некие экстракты реальных ситуаций: «...из одной избы...», «от пожилой женщины, вспоминавшей свою судьбу...», «повидав всякое...» И как часто возникают в этой повести всевозможные языковые — лексические и синтаксические — загадки. «Повсеместному и всегда дорогому» — что означает здесь слово «повсеместному»?.. «Давайте по первой,— пригласила она, подняв рюмочку с водкой, и Жене немножко показалось, что она сидела со странным соединением настоящего чувства и желания выпить».

Читать эту прозу трудно — как смотреть фильм с неотлаженным фокусом. Авторское отношение к герою и само слово, которым о нем рассказано, явно не скоординированы. «С походкою и вниманием гостя глядел Жена на уголки своего района, интересовался новым базаром...» «С походкою гостя... глядел», «глядел на уголки...» — все это не совсем грамотно, однако же вполне серьезно, истово употреблено автором, как и расхожее, но уж никак не народное словцо «интересовался». Здесь и в смысле слов, и в самом строе речи — позиция человека, явно отчужденного от «уголков своего района», гостя, туриста. Но автор видит в своем

герое явно что-то другое. Он все время декларирует его привязанность к этим «уголкам», кровную с ними связь. И всякий раз ему не хватает нужных слов, чтобы уверить в этом читателя.

То и дело мы слышим клятвы в верности «старому другу», обещания «никогда не забыть», встречаем новые и новые ряды абстрактных понятий: «Но иногда он будто смущался своей простоты (да где она, эта простота? Ее никак не удается ощутить, почувствовать. Напротив, преобладает мучительная рефлексия.— М. Ч.) и обычной любви своей, торопился угнаться за высшим, что уже само по себе давало его друзьям какое-то превосходство и что мешало ему порою защищать родную основую древней жизни, а она ведь жила в нем, и он только стеснялся ее обнаружить».

Но что же это за «высшее», которое гуляет по этой прозе нераскрытым, зашифрованным с самого первого еще рассказа («Вот уеду, буду до поры до времени гулять по городу, толковать о высоких вещах, и вдруг скучно мне станет...»)? И что это за «родная основа древней жизни»? Одна неясность противопоставлена другой. И как вообще неточны, выпренины эти слова — «древняя жизнь»! Они применимы к любой древности любого народа, все конкретное, реальное, только к этому народу, к его истории относящееся, из них выхолощено. Удивительно это постоянное обращение к отвлеченности именно там, где более всего ожидаешь необходимо точного слова, разом перебрасывающего мост в прошедшую историческую эпоху, «налаживающего связь» со столь дорогим автору временем и бытом. «На бабушку Женя глядел зачарованно. В древнем человеке, как и в старинных годах его родины, скрывалась какая-то особенность... Добрые молебные бабушки плачевным напевом сказывали перед сном детям непонятные и оттого удивлявшие душу истории». Даже для бабушки, которая уже до последней морщинки должна быть знакома герою, не нашлось ничего, кроме слов «древний человек»... И что же это за «молебные» бабушки? В каком значении употреблено здесь слово, известное в русском языке лишь в двух значениях — относящийся к молебну (молебный) или просительный, — но ведь, кажется, ни одно из этих значений здесь не подходит? Быть может, автору хотелось сказать

нечто вроде «приверженные к молитве»? В таком случае это его неудачный неологизм.

И «старинные годы» — это такой «поэтизм», такое изящное выражение, которое сразу напоминает о «старинных часах», «старинных замках» и опять все затуманивает общим, зыбким впечатлением «древности»...

Так собственным словом автор невольно опровергает все декларации своего героя.

Раньше, в журнальном варианте повести, эта двойственность была заметна лишь изредка. Теперь она присутствует почти на каждой странице. Слово не дается писателю, противоречит его замыслу, его замаху. Он ходит в кругу одних и тех же слов, причем слов, уже в значительной степени стертых, обезличенных книжной традицией. «Простой», «простонародный», «старый», «древний», «старинный» — одними этими словами еще нельзя передать свою любовь к чему бы то ни было.

Но писателю, как видно, с лихвой хватает умозрительных понятий, и кажется, будто он вовсе не стремится выбиться в круг иной — тот, что он с такой страстью провозглашает наиболее ценным для него самого и для его героя. Ни его герою, ни ему самому не удастся не только защитить «родную основу древней жизни», но даже выразить ее. А ведь заговори автор на языке, способном воплотить — пусть опосредствованно, преломленно! — ту самую систему чувствований и мыслей, которую несут в себе, сами того не замечая, некоторые из его излюбленных прототипов (хотя бы те же брянские старики), ему поверили бы без всяких деклараций.

Но нет, все строится на очень скромной системе понятий, на бесконечной игре одними и теми же словами. Вот Женя вспоминает, как ходил с отчимом в баню. «Тут еще тогда, совсем не осознавая, Женя находил редкую родную простоту. В том, как стояли, рассказывали, как обмахивали лица мокрыми полотенцами, одновременно держа в руке кружку с пивом, в том, как светилось в отдохнувшем лице некое маленькое счастье, в том, как узнавали друг друга по бане, сближались, шутили, да и в самом ожидании субботы, а потом очереди было много прекрасного, простонародного».

Особенно замечательно это «было много прекрасного, простонародного»! Невозмож-



но, кажется, сильнее выразить отстраненность от описываемой жизни, чем в таком умиленном, экзальтированном вздохе. Сам синтаксис непреложно выразил эту отстраненность — строй фразы живо напомнил что-то вроде «ах, там было много волнительного!».

Как много говорит язык! Сколько неопределенности заключено, например, в столь обычных для этой прозы непременно двух эпитетах к одному особенно важному для автора понятию — двух эпитетах, которые оба зыбки, неясны и потому вынужденно подпирают друг друга: «редкую родную простоту» — «редкую» в смысле редкостную?.. Не ясно, неизвестно, но несомненно создает туманное впечатление чего-то «прекрасного, престолярного»...

В этой прозе слово многозначительное явно предпочтено многозначному. Нет настоящей нужды в слове — в «соке» слова, в точном оттенке речи.

Вместо целостной, органичной речевой ткани — нечто «сшивное», сплетенное из разнородных элементов.

Повести Лихоносова рассчитаны на чтение беглое, небрежное, при котором эти «сшивы» останутся незаметны, разностилица сойдет за стиль. Но попробуем читать их медленно — мы увидим странные вещи.

«На востоке за базаром точно подтаивала светом окраина неба». Даже эта довольно «гладкая» фраза медленного чтения не выдерживает — слова начинают топорщиться, обнаруживая свою непрлаженность друг к другу. «На востоке за базаром...» — чей это способ речи, виденья, мышленья? Нет, во всяком случае, в этом пояснении следов привычной для местного жителя «топографии». Этот оборот речи явно никому не принадлежит, а, как временный помет, сколочен на случай. Да и «окраина неба» — пара явно случайная, соединенная холодноватой волей автора и лишенная убедительного согласия.

Не надо понимать это так, что фраза не отделана, «не дотянута» до нужного совершенства. Тут другой вопрос — откуда «тянуть»? Хватит ли материала, чтобы «натянуть»? В прозе Лихоносова это вопрос главный. На той странице, которую мы сейчас читаем, точка опоры вроде детзвана — герой хочет взглянуть на свое детство «не своими» глазами, а глазами матери; он подстраивается к восприятию человека, оставшегося жить тою жизнью, которую он сам по-

кинул. Будем читать дальше про деревенское утро. Пока просыпались по дворам, «хлопая ладошками по спинам своих Зорек, Катек, Буренок, свет разливался и уже проникал в пасмурные, с примятыми постелями комнаты. Столько места занимали в жизни коровы». Так на глазах читателя автор срывается с избранной им для героя «простонародной» точки зрения... Кто же скажет так из тех, у кого и правда «занимали место?»..

«...В те первые наезды Женя, даже сочувствуя матери, не мог целиком присоединиться к суровым ее словам».

Этих обескровленных, лишь для протокола пригодных слов сам автор явно не слышит, то есть не воспринимает их как мало-подходящие, во всяком случае, для того, чтобы к ним можно было ему безоговорочно «присоединиться». Ими, этими словами, автор хочет рассказать, как герой его близок к «родной основе древней жизни», а рассказывает о том, как далек этот герой от такой «основы».

«В дальней дороге, на воздухе, невольно думается о прожитом». Это насквозь «городское» словцо тоже не замечено автором и снова нарушает его расчеты.

Да и мать, Физа Антоновна, чью речь так ценят и герой и автор, никак не оправдывает их доверия. «А место, где они косили несколько раз подряд, всем очень нравилось. «Курорт! — восклицала мать. — Настоящий курорт». И с этим-то мецанским просторечием и связывает автор свои серьезнейшие литературные надежды.

Несомненно его желание заговорить на новом, еще неслыханном языке — самим словом сообщить читателю ощущение новизны и значительности того круга идей, с которыми стремится он войти в литературу. Но средства, с которыми подступает он к выполнению своей цели, оказываются недостаточными. На страницах его прозы появляется то слово народно-песенное, то полупросторечное, а то и просто книжное, но редко употребляемое и именно из-за этого, по-видимому, и показавшееся автору пригодным наравне со словами «народными».

И каждое из этих словечек не вправлено в контекст, а явно выдвинуто из него, предпочтено всем своим соседям, окружено авторской любовью. Правда, более точным здесь будет другое слово, «любованье», — как раз то самое чувство, которое стирает

важные оттенки, все заливая волной одной несложной эмоции. Слово так нравится автору, что тонкости его значения ему как бы уже и безразличны.

«Жизнь менялась год от году, но все же неизменно было ее повторение в чем-то». Слово звучит вроде бы свежо, но очевидна неточность, даже прямая неправильность его употребления: тот оттенок чего-то отягчающего душу, горестного, того, от чего хотелось бы, но невозможно освободиться (неизменно горе, печаль), который «заложен» в этом слове, здесь оказывается совершенно излишним. В языке это слово работает, не дублируя другие слова, а здесь весь объем его значений, так сказать, сдвлен, расплюсн в тонкую пластинку. Слово оказалось употребленным «для красоты» — как более изысканный или более «свежий» синоним слова «неизбежно».

Это неизменно (или неизбежно) орнаментальное отношение к слову во многом определяет языковое «лицо» прозы Лихоносова.

Слова с легкой просторечной или расплывчато «народной» окраской всплывают в этой прозе на поверхность сугубо книжной, плоской речи, составляющей ее основу, — и потому, наверно, всплывают не совсем удачно, косовато, одним лишь боком, не согласуясь со своим окружением. «Никто никогда не чувствует под землей, как думают о нем, зовут и, скоротав век, сами уходят туда же, опять не зная, что станет под солнцем без них». И когда вслед за этой несколько неуклюжей (см. эту неожиданную подмену одной синтаксической конструкции другой, личной, — «сами...»), но совершенно «книжной» фразой появляется другая — «Двадцать лет развиднялось без отца с востока, лили дожди...» и т. д., — то нельзя не почувствовать, как фальшиво здесь положение слова «развиднялось». К нему волею автора оказывается привлечено исключительное внимание читателя, и тогда уже у читателя начинаются сомнения: действительно ли, например, это слово требует уточнений — «развиднялось с востока»? Словом, текст колеблется, ползет, распадается, вместо того чтобы быть собранным в нечто единое, действующее не по словечку, а всю вместе словесной массой.

Интересно, что дальнейшая работа автора над текстом привела не к улучшению, а ухудшению его. Так, в повести «На долую

память», вошедшей в сборник 1969 года («Чалдонки»), языковых неточностей много больше, чем в журнальном варианте; становится ясно, что именно эти странные соединения слов особо важны и дороги автору: «Лезут со всех веков в голову сказки, встают из могил лица покойников, провожают глаза прошлые дни...» Появляются и совсем гуманные фразы, как бы слепленные из одних лишь полюбившихся слов, за которыми вовсе пропадает реальная основа авторской мысли: «Мысли перескакивали с одного на другое, и наконец одолевала тягучая влекущая дума о заветном и всплывали картины, слова, чувство росло и уединилось, сердце билось горячей и откровенной». Подчеркнутые здесь слова — это то, что было внесено автором в отдельное издание и говорит, следовательно, о самом направлении его работы над освоением слова. Становится очевидным, что орнаментальное его отношение к слову не только сохраняется, но будто сгущается, что и те немногие «народные» слова, которые встречаются в этой прозе, не укоренены в ней, а будто воткнуты там и сям наудачу — авось приживется. Однако они не приживаются и порою как бы даже мстят писателю за легкомысленную надежду легко решить сложнейшую языковую задачу... Тогда из-под пера автора появляется такая, например, фраза: «А крестником моим был Юрий Казаков». И смущенный читатель недоумевает и догадывается наконец, что «старинное» словечко, подхваченное на лету, упорегрено всуе, что, конечно же, не «крестником» Лихоносова был много раньше него вошедший в литературу Казаков, а крестным отцом.

...Потому только пришлось так много говорить здесь о литературном опыте одного писателя, что опыт этот и характерен, и в каком-то смысле поучителен.

В. Лихоносов — один из самых первых и самых плодотворных литераторов, заговоривших в отличной от иронической прозы тональности, понытавших резко изменить сам материал новой молодой прозы, повернувшихся лицом к «забытому и родному». Всех их сблизило настойчивое желание говорить «всерьез», искренне, не боясь ни лирики, ни даже сентиментальности.

Напомним еще раз ту прозу, от которой они уходили, которой они противостояли.

«Мне нравился Скачков. Я понимал, что он над собой издевается. Есть такие люди,

что постоянно играют сами с собой... Казалось, что все его улыбочки и ухмылки относятся к нему самому и имеют совершенно определенное словесное выражение: «спошил», «ну и гип», «разнюнился», «вот дает» и г. д. Скачков был спокоен и ироничен. Я чувствовал, что это философ. Честно говоря, я немного восхищался им и думал, что в дальнейшем буду таким, как он. Прямо скажу — я совершенно серьезно относился к своей зеленой рубашке. Скачков был старше меня на шесть лет. Мне было двадцать четыре года, а ему тридцать» (В. Аксенов).

Можно понять восхищение молодого героя этими качествами Скачкова — и не меньше понятна неизбежность наступающего в литературе утомления от иронии и самоиронии. Являются новые задачи, которые не решить старыми средствами. Появляется герой с «новой» биографией и даже, может быть, расчет на иного, прежней литературной школой не удовлетворенного читателя: писала же критика о том, что в прозе Аксенова (и, конечно, не его одного) автор и его герои близки были такому читателю, «детство и юность которого связаны не с ширью лугов и шумными дубравами, а с теснотой городских переулков, гулом школьных коридоров и институтских аудиторий, шелестом книжных страниц. К этому читателю пришел его писатель и был встречен восторженно» (А. Макаров).

Герои «серьезной» прозы как раз и были те самые, чье детство и юность «связаны с ширью лугов и шумными дубравами». Если герои Аксенова засомневались и в детстве своем и в юности и захотели едва ли не родиться заново, то герои Лихоносова, будто опомнившись, обратились к своему детству и юности, которым не нашлось, видимо, равнозначной ценности в последующей «городской» их жизни.

Герои «серьезной» прозы перестали над собой посмеиваться, но не потеряли при этом вкуса к самонаблюдению. Как двадцатичетырехлетний герой аксеновского рассказа, они отнеслись к себе совершенно серьезно, с особенным вниманием стали вслушиваться в то, что говорят о них другие, и сами заговорили о себе в новой интонации.

«Два года ходил к ним, привечали, как сына, говорили: напоминаю им чем-то их младшего Мишу, даже рука у него такая же «кашечая», и ест он так же мало, и разговаривает тихо, и вообще здорово мы с ним

схожи» (В. Лихоносов. «Брянские»). Как бережно передает он слова стариков, как истово складывает из них собственный облик!

«Любил он старинные места и в отпуск обязательно куда-нибудь ездил, всегда один, тихий и сосредоточенный, пренебрегая веселыми туристскими группами, в которые его, до сих пор не женатого, старались вовлечь симпатичные женщины» (В. Лихоносов, «Родные»). Это уже сам герой словами автора говорит о себе, и опять как серьезен и сосредоточен его обращенный на себя взгляд! Герои Аксенова (и тех, кто был близок к этой недавней литературной традиции) смотрели на себя иначе.

«Я бросил письма обратно в тумбочку и встал. Увидел свое лицо в зеркало. Сейчас, что ли, ее сбрить? А как ее брить, небось щеки все раздерешь. Я растянул себе уши и подмигнул тому, в зеркале.

— Катись же ведь по наклонной плоскости,— предупредил я его.

— Хе-хе.— ответил он и ухмыльнулся самой скверной из своих улыбок.

— Люблю тебя, подлеца.— сказал я ему. Он потупился» (В. Аксенов, «Апельсины из Марокко»).

И опять повторим — понятна тоска по «серьезному» после этого потока иронии, после вереницы этих искажающих зеркал, в каждом из которых лицо героя, избегающего серьезности, отражается всегда более или менее измененным. Зеркала эти непроницаемы, в сущности, для глубинных свойств личности. Но зеркала не должны и льстить. Не так-то просто пробиться к серьезности без искажения в сторону ли самоиронии или самовлюбленности. «И когда Женя глядел вслед вечеряющей красоте полей, млея от чудесного соединения с окружающей обстановкой (как легко, однако, проскальзывают в эту прозу явные канцеляризмы! — М. Ч.), звездами, лесом и светлячками сбоку дороги, было тоже совестно вскрикнуть при всех и распустить руки: «Ой, как хорошо, прекрасно жить!» Но Женя молчал, и можно было подумать, что ему скучно и плохо».

Слова эти существенны для понимания пути, по которому направилась молодая проза последних лет. Герои ее заметно озабочены тем, чтобы читатель не подумал, что им скучно и плохо. Но литература была бы совсем простым, всем доступным делом, если, чтобы выразить в полный голос **высо-**

кие «нейронические» чувства, достаточно было бы крикнуть погромче. Эти чувства предъявляют, в свою очередь, высокие требования к автору, требуют особой поэтики и даже особой этики.

В одном из самых серьезных разборов прозы Лихоносова как первое, наиболее заметное ее качество называлась искренность. «Бывает искренность тщеты, откровенность зла. Искренность Лихоносова не мелочна, не суетна, незлобива, она открывает в нем талант, вовлекая нас в мир его личности, приобщая к ее ощущениям, вере и заблуждениям. Такая искренность обаятельна, она всегда способна расположить нас к себе» (статья В. Дедкова в «Новом мире», 1969, № 3). Говорилось это главным образом в связи с первым рассказом Лихоносова «Брянские» и было, пожалуй, по отношению к нему вполне справедливо. Но в позднейшей редакции этого рассказа появилась новая фраза — только одна, но на легко обозримом поле маленького, в три с половиной страницы, рассказа она изменила акценты.

«— Иванович! — кричит дед. — Молодой ты еще, а мы время прожили.

Молодой я еще, но близки мне слова его: я вырос среди таких, и мать моя такая, и соседи были такими, и всегда я буду привязан к ним».

Искренен ли герой — второе «я» автора — в этих своих признаниях? Бесспорно! Так же, как искренен в предисловии к своему сборнику «Чалдонки» сам автор, говоря теперь об этом своем рассказе такими словами: «Стройности, гармонии и успеху (как после говорили) способствовали герои... Они дали мне мелодию, высоту, естество... Рассказ спелся легко, как песня». И искренне говорит он о своей матери: «Я благодарен ей за внутреннее мне широкое отношение к жизни и людям». Так же, как искренен его Женя в своей любви к бабушке («На бабушку Женя глядел зачарованно»), к отчиму («И все таким же бы чудесно-забавным летел перед ним образ Никиты Ивановича, русского мужика, которому хотелось во всем подражать»), и тем более в любви к матери. Но сколько слов, не выверенных литературным вкусом, сказано в повести об этой любви к родным! Как приподнята эта любовь — до уровня чувства, не всякому свойственного, чувства, которое, **требуется озираясь** вокруг, ожидает зрителей,

их умиления. Но решительно всякое чувство, оставаясь искренним, может стать неприятным — этот литературно-психологический эффект наглядно и не раз продемонстрировал Чехов.

«— Люблю я своего батьку, — сказал Андрей Андренч и потрогал отца за плечо. — Славный старик. Добрый старик.

Все помолчали. Саша вдруг засмеялся и прижал ко рту салфетку» («Невеста»).

В повести Лихоносова Женя все время говорит и думает о своих близких примерно такими же словами и так же искренне, так сказать, не таясь, заявляет о своей любви к ним, но там, в этой повести, нет такого героя, кто «вдруг засмеялся» бы над этим. Напротив — читатель чувствует в этих искренних излияниях жесткий авторский диктат, предписывающий ему, читателю, благоговейное их восприятие.

Мгновенная потеря чувства иронии, характерная для прозы самых последних лет, оказалась по-своему катастрофична.

Задумав рассказать всерьез о новых героях, вызвать к жизни проблемы и чувства, остававшиеся до сих пор в некотором небрежении, молодая проза оказалась не совсем готова к выполнению той художественной задачи, которую она себе поставила, и быстро и незаметно для самой себя заскользила к самопародии — уничтожающему сигналу несоответствия цели и средств... Как всегда, это наглядней всего засвидетельствовали жанры вспомогательные — в частности, характерный для наших дней «очерк-раздумье».

«...На каком основании вообще человек садится писать? Я, например. Меня же никто не просит... Почему же хочется писать? Почему так сильно — до боли и беспокойства — охота писать?

Вспомнился мой друг Ванька Ермолаев, слесарь. Дожил человек до тридцати лет — не писал. Потом влюбился (судя по всему, крепко) и стал писать стихи...

Итак, хочется писать».

Нужно сделать над собой усилие, чтобы понять, что этот отрывок не перенесен нечаянно из другого жанра, что это начало серьезного очерка одного писателя о другом, а не литературного фельетона, что это сочувственное и вполне серьезное цитирование автором рассказа своего друга.

«На этой самой кухне Макарыч и прочитал мне недавно один из тех рассказов. Я его сам попросил: «Ты только самый лучший который, ладно?..»

Он засерьезнел, снял с настенного холодильника здоровую папку, пошелестел страницами и выбрал. Надтреснуто так сказал:

— «Жена мужа в Париж провожала. Называется так. Дорогая мне штука. Послушай...

Слушал. Читает Макарыч без дураков, хорошо». «К концу рассказа, к точке последней (Колька убил себя), мы с Макарычем да же заморели глазами...» (очерк Ю. Скопа о Шукшине. «Советский экран», 1971, № 1).

Если бы это была не публицистика, а литература, к которой счет иной, то после этих слов читатель, пожалуй, огро ощутил бы потребность в некоторой дозе иронии. Ему захотелось бы, пожалуй, чтобы или сам «Макарыч», или друг его — автор этого очерка — вдруг взял бы и нашел всему этому им самим сказанному совершенно определенное словесное выражение: «спошил», «ну и тип», «разнюнился» или что-нибудь другое в этом же уже полузабытом литературном роде.

Так мы убеждаемся, что стремление стать «серьезным» и искренним не ограждает от возможности оказаться в положении смешном и фальшивом.

### 3. САМООТРЕЧЕНИЕ

Итак, что же произошло, какая литературная коллизия развернулась на наших глазах в молодой прозе последних лет?

На смену «иронической» школе приходят молодые литераторы, первыми же своими рассказами и повестями заявившие о тяготении к иной, глубоко «серьезной» авторской интонации, к иным, лежащим в стороне от городского жаргона и молодежного сленга словам и речениям. Они заявили о своем намерении писать о той же современности, но уже не о суеточной, быстро и бурно меняющейся жизни больших городов, которая преимущественно интересовала их предшественников, и не о современном молодом человеке «городской» складки, быстрой и энергичной походкой расшедшем по страницам столь многих рассказов и повестей недавних лет. Герой сегодняшних молодых литераторов замедлил свои шаги, чтобы оглядеться и оглянуться на те «родные углы», которые он оставил. Новая проза окрасилась, как мы видели, смутной, но настойчивой тенью к чему-то «родному

и древнему», для самих авторов не вполне еще определившемуся.

Не столько сам материал, сколько это новое «серьезное» и даже истовое отношение к нему сблизило сегодня многих литераторов и определило некоторые общие черты художественного языка современной «серьезной» прозы. Очевидно, что «один и тот же» деревенский старик в разные литературные времена и разными писателями может быть увиден и как забавный экспонат, на который автор глядит, посмеиваясь, и как сложный человеческий характер, который автор пытается постигнуть «на равных», и как мудрец и прорицатель, перед которым автор спешит склониться с ребяческим смирением.

В сегодняшней «серьезной» прозе пока еще более всего декларативности, авторы ее — и от имени своих героев, и от своего собственного — еще стремятся, как можно было увидеть на примерах, приведенных нами во второй главе, главным образом оправдаться в том, что это «родное и древнее» было надолго ими забыто, и торопятся сказать о своей причастности к этому замеченному ими вдруг миру, прежде чем они уяснили себе сами этот мир, свое в нем положение и реальные возможности своего слова об этом мире.

Эта потребность самооправдания понятна и объяснима. Она, однако же, знаменит лишь начального этапа в освоении литературой новых «географических» пространств и новых героев. Главная сложность положения многих сегодняшних литераторов — сложность, ими самими, возможно, еще не почувствованная, — состоит в том, что им кажется: от осознания своей литературной задачи до ее воплощения расстояние коротко, его можно преодолеть без отдыха, единым маршем. Однако одного желания быть серьезным оказалось недостаточно. Об этом безошибочно свидетельствует слово Две последние повести В. Лихоносова — «Люблю тебя светло» и «Осень в Тамани», — написанные от первого лица, с очевидностью это показали. Когда исчезли обычные герои Лихоносова, чалдоны и чалдонки с их речью, где, кажется, прямо над строчкой высказывали все эти «что» и «ишо», обнаружилось, что собственно авторская речь вышла ничуть не измененной из такого резкого столкновения с довольно характерной, колоритной языковой стихией героев, в которой оказалась она в первых повестях молодого литератора. Соприкос-

нувшись с этой стихией, она осталась ею незатронутой. Оказалось, что «о своем» автору по-прежнему легче говорить «своими словами», что в авторском его повествовании по-прежнему господствует сугубо «книжная» разностилица. Из накопившегося литературного опыта самих молодых писателей, уже переставших быть к этому времени молодыми и начинающими, постепенно становится ясно: для того, чтобы передать свое представление о целом слое, имеющем довольно прочную опору в способе мышления, практического поведения, в языке, с необычайной полнотой и адекватностью зафиксировавшем и этот способ мыслить, и «способ жить», — для этого автору самому необходимо принадлежать к какой-либо определенной и целостной культуре, особенно языковой. Здесь уже не может выручить та колоритная бесстилица, которую так умело использовал недавний «иронический» автор, заранее, строем первых же фраз оповещавший читателя о том, что ни одно его слово не нужно принимать до конца всерьез.

«Иронические» авторы ввели в свое повествование самые разные голоса современности. Это были диалоги и монологи героев, это была авторская речь — неустойчивая, то и дело соскальзывающая то к обиходным разговорным конструкциям, то к жаргону, то к пародии. Она не могла дать той основательной языковой почвы, в которой так нуждается сейчас современная проза, но она и не претендовала на это. Зато она решительно перелопатила всю прежнюю почву, основательнейшим образом расшатала те уже потерявшие прочность опоры, на которых по инерции держалась проза, скользившая по среднелитературному слову, утерявшая сцепление с живым языком.

В «серьезной» прозе языковая задача принципиально иная. Здесь автор уже отвечает почти за каждое слово как за «свое», непосредственно от него самого исходящее. Он не передоверяет его героям и не пародирует от собственного имени какие-либо языковые пласты.

Сегодня на наших глазах возникает проза, которая как бы заново собирается, но не по словечкам, не по обрывкам чужих интонаций — не важно, литературных или подслушанных «в жизни», — а в трудных усилиях постижения некоей целостности, постижения, которое требует сейчас от писателя забыть о скором и легком проповедо-

вании едва постигнутых истин, пожертвовать быстрым приобщением к готовым и влиятельным концепциям, пожертвовать даже, как увидим, своей уже сложившейся, быть может, литературной умелостью.

Проза эта — в литературном опыте лучших из ее «основателей» — поставила себе целью не одни только уверения в преданности тем глубинным слоям народной жизни, которые литературой еще так мало исследованы, — она ищет возможно более полного постижения этой жизни. И перед нею как новая цель встала необходимость полноты и целостности изображения героев.

Мы говорим о новизне этой задачи, естественно, не для литературы вообще, а лишь для прозы последнего десятилетия. Еще сравнительно недавно в молодой прозе ощущалась как новая совсем иная задача: в ней являлся герой, личность которого автор совсем не стремился исследовать «до точки», не стремился свести в изображении этой личности концы с концами. Напротив — герой мог быть явлен как некий конгломерат его собственных разноречивых суждений и столь же, может быть, разноречивых суждений о нем других героев и автора. Начаты автором линии не сходились в центре. Иная задача его занимала — сделать важным не важное прежде, дать зазвучать голосам, в литературе еще не звучавшим, дать выход в литературу словам и оценкам, витавшим на многих устах, переполнявшим внелитературное пространство. Вспомним, как легко и весело было по двум-трем словам узнавать тех самых молодых людей, которые сновали мимо нас по улицам городов! Как покоряли читателей любые, пусть немногие и случайные, приметы живой и ежедневно менявшейся современности, столь новые тогда для литературы! Ведь это была не современность в широком смысле слова, охватывающая десятилетия, а этот именно год, едва минувший день.

Авторы, обратившиеся сегодня к деревенской теме, встали перед иными задачами, их предшественникам незнакомыми. Те, кого избрали они своими героями, не узнавались походя, не открывались боковым зрению. В той сфере жизни, которая была их каждодневностью, не было столь быстрых и броских перемен, которые улавливались бы сразу. Голоса же их были тихи, и в них надо было вслушиваться. Одна-две фразы, успешно служившие прежде опозна-

вательным знаком целого характера, здесь были недостаточны. Потребовалось возвращение к «старой» задаче целостности изображения героя.

В отличие от безусловно новых для литературы героев иронической прозы эти герои были не новы. Пожалуй, не было в нашей литературе времени, когда она не обращалась к изображению деревни, к постижению народного характера.

Тем труднее оказалась задача сегодняшних молодых писателей, ступивших на эту традиционную для русской литературы дорогу. Правда, в литературе нашей были периоды, когда герои ее явно омолаживались, — таким временем был, например, конец 20-х — начало 30-х годов, когда герой-спортсмен, молодой человек лет двадцати — двадцати пяти, был, пожалуй, наиболее желанным гостем в беллетристике. А в конце 40-х — начале 50-х годов была заметна литературная ориентация на героев, так сказать, возраста зрелости, достаточно долгого житейского и профессионального опыта. Главные герои тогдашних повестей и романов были обычно люди тридцати пяти — сорока лет. Потом литература резко омолодилась, что тоже у всех на памяти. И очень скоро после этого в ней начали появляться герои резко постаревшие — деревенские старики и старухи, — сначала где-то с краю, а потом и в центре рассказов и повестей. Они были изображены теперь с тем вниманием, которое им долго не выпадало; с ними связывались важные для авторов этически-социальные и философские категории.

Едва ли не первым подошел к этим новым героям Юрий Казаков — писатель, чей литературный опыт оказался вскоре так важен для многих молодых прозаиков. И здесь оказались особенно заметны некоторые характеристические черты его прозы. К каким бы героям ни обращался Казаков, он всегда оказывается увлечен потоком литературной традиции, которую он остро ощущает, но не пытается преодолевать. Традиция эта не второсортна — она всегда «высокого класса», всегда очевиден тонкий литературный вкус писателя. Но влияние этой до тонкостей прочувствованной традиции всегда оказывается в нем сильнее, чем стремление пойдти к новому материалу заново, заразившись только его собственными свойствами.

«Еще шагов через двести он оборачивается. Мать потихоньку бредет следом, держа руку козырьком. Илья останавли-

вается, вынимает платок и машет матери. Но мать не отвечает. «Не видит!» — строгонно думает Илья, вздыхает и идет дальше.

В то время как он идет все быстрее, все шире и решительней, мать останавливается и с радостной улыбкой машет ему рукой. Ей кажется, что сын повернулся и смотрит на нее. Она даже различает его лицо. И ей удивительно, как это она сквозь слезы все хорошо видит».

Здесь явственно ощущается интонация прозы позднего Чехова — и не одна только интонация. Литературно знакомым оказывается само размещение героев в пространстве рассказа:

«Затем он идет по улице в гимназию. сам маленький, но в большом картузе, с ранцем на спине. За ним бесшумно идет Оленька.

— Сашенька-а! — окликает она.

Он оглядывается, а она сует ему в руку финик или карамельку. Когда поворачивают в тот переулочек, где стоит гимназия, ему становится совестно, что за ним идет высокая, полная женщина: он оглядывается и говорит:

— Вы, тетя, идите домой, а теперь уже я сам дойду.

Она останавливается и смотрит ему вслед, не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии».

Еще в 1957 году в одном рассказе Казакова появилась девяностолетняя старуха Марфа — едва ли не первой среди многочисленных ровесниц, последовавших за ней через несколько лет. Но автор не столько слушал ее, сколько задавал ей вопросы, продиктованные литературой, готовыми ее образцами: «О чем думала она, о чем мечтала в эти вечера, когда свистел и гудел ветер, гнал колючий сухой снег, задувал в окна, выл в печной трубе, когда гулко и грозно ломало прибрежный лед и страшно было выйти на двор, в черногу полярной ночи?» И не дожидаясь ее ответа, автор отвечал на эти вопросы сам, мастерски выдерживая интонацию Бунина или Чехова, с настоящей виртуозностью удерживаясь в пределах этого отобранного, очищенного за более чем вековое развитие, нормативного, отточенного и дошедшего как бы до края своего в этой отточенности языка русской литературы, как он сложился к началу этого века и полнее всего при этом выразился в прозе двух этих писателей.

У Лихоносова, самым «складом» авторской речи усиленно подражавшего некоторое время Казакову (особенно заметно это в первом его рассказе «Брянские», и сам он связи этой не скрывает), обнаруживается сходное отношение к своим героям — не к тем, кто выражает как бы авторское мироощущение, а к тем, кто служит для него воплощением той «родной простоты», к которой автор так напряженно стремится. Вот этих-то своих героев автор никогда не дослушивает до конца. Он сбивается на собственные (или устами главного героя произносимые) оценки их речи, прежде чем мы ее услышали, или вместо того, чтобы дать нам ее услышать («музыка бабушкиной речи запомнилась навсегда» — самой же речи почти не слышно, и музыки в ней тоже мало), или, наконец, вразрез с тем, что мы только что слышали (как было замечено А. Марченко, язык матери в одной из его повестей явно не выдерживает наименования «великого и могучего»).

В повести «Люблю тебя светло», делаясь с читателями своими размышлениями о смерти Н. Н. Гусева — секретаря Льва Толстого, автор напоминает по ходу дела еще один известный ему факт.

«В тот же день умерла простая старуха. Ей было 166 лет, и я тут же прикинул, кого и когда она могла бы видеть, и слышать, и знать.

Она мыкалась где-то в деревне, молотила цепами, таскала детей, и мир ее был замкнут околицей».

О том, что у Лихоносова уложилось в одну фразу, исполненную снисходительного сочувствия, у писателя, о котором речь пойдет дальше, оказалась написана целая повесть.

Но послушаем дальше эту эпитафию старухе.

«На Псковщине она могла бы встретиться Пушкину, в орловских полях напился бы из ее кружки охотник Тургенев, а в Ясной ходила бы она жаловаться к Льву Николаевичу. Как-то невольно, по-детски думается об этом, когда вспомнишь, что Россия полтора века влекла ее за собой. И если бы я подошел к ее изголовью и спросил, знает ли она, каких великих сынов пережила, она бы никого, кроме царей, господ и соседей, не вспомнила. Какая печаль».

Как видим, обозначившаяся лет десять назад традиция не прерывается. Вопросы, которые мог бы автор задать этой старухе,

заранее подготовлены, мало того — заранее известен ответ, который мог бы быть на них получен. «Тема деревни» — душевного мира целого слоя людей, которые сейчас ежедневно нас покидают навсегда, унося с собой для одних интересный и близкий, для других далекий, безразличный или вовсе не известный, но несомненно неповторимый уклад быта и мышления, — тема эта оказывается исчерпанной прежде, чем писатель успел в нее вжиться и вдуматься. «Какая печаль», — вздыхает рассказчик. Но читатель не спешит печалиться вместе с ним, услышав «ответ» старухи, предвосхищенный автором; его охватывает печаль иного рода.

«...Никого, кроме царей, господ и соседей...» Какая малость, не правда ли? Но если бы старуха жила близ усадьбы Толстого и к нему «ходила жаловаться» или даже к Тургеневу, разве тогда она ходила бы к ним как к великим писателям? По-видимому, все же как к господам? И пожалуй, и вспоминала бы их не как «великих сынов», а как «господ». И разве ее воспоминания утратили бы от этого свою ценность?

Пожалуй, печалиться тут нужно о другом. Можно так поставить вопрос, подойдя к изголовью, что никакого ответа вообще не получишь (живо можно себе представить, как смутил бы старуху этот вопрос: «Бабушка, каких великих сынов ты знала?»).

Достоин сожаленья, что автор пренебрег указанием тех мест, где прожила свою жизнь эта старуха, и ограничился небрежными словами «где-то в деревне». Мы беремся утверждать почти с полной уверенностью, что за 166 лет ее жизни, прошедшей хоть и вдали от Толстого и Тургенева и потому лишившейся всякого интереса для автора повести, в усадьбах, расположенных вблизи ее деревни, жила и бывали такие «господа», архивы которых тщательно берегаются в архивохранилищах и давно уже служат драгоценным источником для изучения истории русской культуры, — тем, кто подходит к ней, к этой истории, не с торопливыми и шаблонными вопросами, а умеет вглядываться в нее без предубеждения, без суетной занятости собой. Скорее всего старухе, прожившую 166 лет, было о ком расспросить и помимо двух-трех имен, которые на устах у любого школьника.

Да, ответы зависят от умения поставить вопросы.



Автор, подошедший вплотную к изголовью другой, тоже довольно древней, старухи, не держал наготове репортерских вопросов: «Знали ли вы такого-то?»

Он не встает в позицию журналиста-интервьюера, не пытается взять новый материал приступом, с ходу. Он замедляет шаги, прислушивается к своим героям без спешки, без жадности, без заглушающих собственный их негромкий, не сразу различимый голос восторженных восклицаний.

В повести В. Распутина «Последний срок» автор дает своей героине высказаться. Он слушает ее не перебивая, не торопя, не собирая ее речь вокруг того, что кажется ему самому главным и важным, а оставляя ее в согласии с ее собственной меркой ценностей. Читая повесть, невозможно избавиться от странного ощущения, что автор не «создатель» речи своей героини, а слушатель ее, что вместе с нами он следит за этой речью с неослабным вниманием, напрягая слух.

«— Приехали,— успокаиваясь, повторил старуха.— Дождалася.— Она сказала это тем доверчивым, облегчающим душу голосом, каким разговаривают немолодые. много лет знакомые люди, со вниманием помолчала и, все так же не открывая глаз и не меняя голоса, продолжала:— А я пробудилась и ничё понять не могу, то ли я это, то ли уж не я. Я ить совсем себя не чуяла, ни рук на мне, ни ног. Одна душа, и та заблудилась».

Иногда в повести говорят две старухи, но одним будто голосом.

«— Она пошто так пьют-то? Какая им доспелася нужда? Они ить себя только гребят, боле ничё...»

— Так, старуня, так. Понужнули бы раз, другой, глядишь, быстренько отпала бы охота в ём купаться. А то ить никакого с их спросу, никакой им кары...

— Дак нет, девка, я когда радиу-то эту слушала,— старуха показала на тумбочку, где стояло радио,— так там про пьянку эту говорят, что она пьянка, боле ничё. Там ее тоже не хвалят».

Автор повести целиком поглощен своей героиней. Он вглядывается в ее лицо, он неотрывно следит за движениями то оживающего, то вновь обмирающего ее тела, пожалуй, внимательнее, чем собравшиеся у ее постели дети. Он явно ставит себе задачу увидеть и услышать все до конца, до слышать каждое слово героини, каждый

вздых, слетевший с ее губ, вчувствоваться в ее внутренний мир до предела — и развернуть перед читателем возможно более полную картину этой уже не разделяемой более, слившейся воедино душевной и физической ее жизни, уплывающей к последнему рубежу.

«То, что ей удалось посадить себя, обрадовало старуху. По спине, по рукам, по ногам, приятно ноя, опускалась накопившаяся за долгое лежание и чуть совсем не закаменевшая немота. Глазам так легче было смотреть, они глядели прямо перед собой, и их не надо было закатывать вверх; за вчерашний день глаза у старухи чуть не оторвались — до того она их надергала туда-сюда».

Само это стремление к полнейшему, летальнейшему проникновению в личность героини, само намерение описать один только ее день, но досконально, явно связывает автора с толстовской традицией, которая обозначилась у него резче, чем у многих («Первоначальный материал Толстого — мир миниатюрных движений душевной жизни, рассматриваемый в микроскоп. Описание одного дня оказалось вещью, которую невозможно кончить. Отсюда пошло и его детство, и полное собрание его сочинений», — Б. Эйхенбаум).

Так центр повествования у Распутина явно передвинулся из сферы выражения сугубо авторских эмоций и размышлений в сферу доследования, достижения чего-то лежащего за пределами этого уже хорошо знакомого читателю комплекса чувств и мыслей.

Вспомним, как в каждой новой повести В. Лихоносова и даже в каждом новом издании старых вещей все громче, все раздельнее произносятся слова о причастности автора или рассказчика к тому миру, о котором стремится он рассказать читателю: «...Я вырос среди таких, и мать моя такая, и всегда я буду привязан к ним».

Какими странными кажутся эти торопливые уверения читателю повести Распутина! Его рассказчик скрыт в тени. Он никогда не говорит о своей преданности изображаемому им миру, нигде не берется специально защищать «родную основу древней жизни», а только неумоимо и самоотреченно выкладывает слово за словом, камешек за камешком картину чужой, но пережитой им жизни.

В этой самоотреченности — необычность и новизна литературной позиции автора

«Последнего срока», тот новый цвет, который окрасил художественную манеру одного из самых серьезных представителей «серьезной» прозы. Казалось бы, этот преобладающий интерес автора к герою уже знаком литературе последних лет — хотя бы по прозе Шукшина. Но есть, однако, важное отличие многочисленных его рассказов от повести В. Распутина при сближающем обоих писателей интересе к людям, все еще мало замеченным нашей литературой.

Отличие это, может быть, заметнее всего в том, что герои Шукшина всегда откровенно выставлены на обозрение читателю. Автор приглашает читателя сначала удивиться его героям, потом испытать по поводу них самые разные чувства — но так или иначе, так сказать, обойти вокруг более или менее объемной фигуры героя вместе с ним, автором. Так и слышно едва ли не в каждом рассказе В. Шукшина авторское: «А ну, поворотись-ка, сынку!..» — и герой послушно поворачивается. Эта повторяющаяся, обычная для Шукшина ситуация разглядывания не слишком плодотворна для автора. Это все же первоначальный этап — момент быстрого и нередко точного закрепления увиденного. В каждом рассказе он как бы столбит, обносит вешками облюбованный участок — и, не осваивая его, переходит к следующему.

Вот кто никогда не устает слушать своих героев, не торопится перебить их споры собственными разъяснениями!

«— А я не знаю, для чего я работаю. Ты понял? Вроде нанялся, работаю. Но спроси: «Для чего?» — не знаю. Неужели только нажраться? Ну, нажрался. А дальше что? — Иван серьезно спрашивал, ждал, что старик скажет. — Что дальше-то? Душа все одно вялая какая-то...»

«— Заелась, — пояснил старик.

«— И ты не знаешь. У вас никакого размаха не было, поэтому вам хватало... Вы дремучие были. Как вы-то жили, я так сумео. Мне чего-то больше надо.

— Налей-ка, — попросил старик. Выпил, тоже сплюнул. — Сороконожки, — вдруг зло сказал он. — Суетились на земле — туда-сюда, туда-сюда, а толку никакого. Машин понаделали, а... тьфу! Рак-то, он от чего? От бензина вашего, от угару. Скоро детей рожать разучитесь...

— Не скажи.

— И чуют ведь, что неладно живут, а вс

хорохорятся. «Разма-ах!» А чего гнусишь тогда?»

Но вот умолкают, в конце концов, герои — и мы слышим автора: «А день гихо умирал, истлевал в теплой сырости» («В профиль и анфас»). Вот так, порознь, звучат у Шукшина голоса героев и речь автора, не только не врастя друг в друга, но и не переговариваясь друг с другом.

Проза Шукшина всегда очень богата материалом; герои его, кажется, сплошным, неиссякаемым потоком бегут мимо нас, тесня, толкая друг дружку, чтобы попасть в авторский объектив. Автор набрасывает перед нами множество судеб — сложных, очень разных, литературе почти совсем не известных, — набрасывает крупными мазками. Его увлеченность, зараженность всеми этими судьбами, а не собственными декларациями, очевидна. И все же этот автор несколько подавлен своим материалом. всем виденным им и слышанным. Не ради шутки, а совершенно всерьез можно сказать, что многочисленные рассказы Шукшина вполне объединяются в некую большую книгу под названием «Что я видел» — не для детей, как у Житкова, а для взрослых. Эта воображаемая книга нашей литературе не то что нужна — просто необходима; познавательный смысл ее был бы очень велик.

И все-таки кажется, что рано или поздно сам писатель почувствует, что это слишком большое расстояние между словом героя и словом автора мешает его прозе двигаться дальше, что есть непреложная литературная необходимость в том, чтобы все то, чего автор навиделся, что живет и звучит в голосах его героев, впиталось бы в авторское слово, насытило бы это слово — непредугаданным, лишь писателю доступным способом! — интонацией, жестом, самой повадкой его героев...

Это вполне естественно, что «новой» для литературы живую речь всегда сначала начинает наполняться диалог. Здесь дело идет обычно быстро, и так же быстро становится заметным новый разрыв между «новыми» голосами, теперь уже отчетливо звучащими в диалоге, и оставшейся на старых языковых позициях речью собственно авторской.

Сближение этих двух потоков затягивается нередко на многие годы. Многим литераторам так и не удается продвинуться далее этого первого, более легкого и более «эффектного» по своим результатам этапа.

И потому особенно интересным кажется небольшой еще художественный опыт Распутина, последняя повесть которого демонстрирует серьезнейшие усилия автора, направленные сразу и к тому, чтобы дать не стилизованный, а как бы непосредственно услышанный, во многом новый для литературы последних лет диалог, и к тому, чтобы обновить состав речи непосредственно авторской — и ее лексику, и самый ее строй.

Сложность этой задачи очевидна. Стремление написать все «наново», почти не опираясь на сложившуюся в литературе языковую традицию, не воплотилось еще в безукоризненной форме. Сами разговоры старухи с ее подругой у Распутина еще недостаточно «озвучены», их воздействие не безусловно. Они рассчитаны все-таки на того, кто слышал такую речь в жизни, и не однажды, а долго, кто успел в нее вслушаться. Он первым отзовется на слово героини Распутина. Для него эта фраза, сложившаяся из слов и оборотов речи, внимательно выслушанных и без видимого отбора воспроизведенных писателем, вдруг дрогнет, налившись чьим-то живым, незабвенным голосом. И он узнает этот голос — узнает по тому складу и выговору, который все еще роднит между собой все «народные» голоса, удаленные друг от друга на тысячи верст.

Тому же, кому этот голос не слишком знаком, грозит вовсе не услышать его здесь в полную силу. И в этом вина не читателя, а автора — его забота, еще предстоящая ему задача.

Медленно, с еще большим затруднением строит Распутин авторскую речь — такую, которая и не сливалась бы, конечно, с речью старухи, и в то же время не была бы отделена от нее привычной стеной книжной литературной традиции. И в рассказе автора о том, что думает старуха, как с усилением она двигается, то и дело просверкивает не только чувство старухи, но и самое ее слово — не диалектное, местное, пересыпающее ее разговоры («тамака», «ишо», «пошто»), а то с еще большим трудом отыскиваемое вполне литературное по своей окраске слово, которое только особым своим употреблением выдает народный строй чувства и речи (глаза «чуть не оторвались... надергала...»). Оказалось, что когда внимание автора так упорно направлено, так сгущено на душевном мире мерцающего в его воображении героя, слова этого

героя как бы сами начинают прорастать в ткань сугубо авторской речи, образуя сложный, лишенный деланности узор.

«Она думала, он сосать хочет, а он на руки к ней просился, чтобы возле матери умереть, не одному. А за что, за какие грехи? Какие у него там грехи, когда он даже ходить не умел и только смотрел, как ходят другие, когда он даже говорить не умел — только есть да спать, но и этому научился не здесь и не сам, а еще раньше, когда не по своей охоте и не по своей воле выправлялся в человеческий росток.

Старухе не один раз за свою жизнь приходилось успокаивать себя: бог дал, бог взял. Но сюда эта поговорка не подходила. Как можно взять то, что, разобраться если, еще и не дал, а только посулил да показал? А больше того — как можно, едва надомив маленького, что он есть, что он, засыпая, проснется и откроет глаза, чтобы научиться и понять больше, чем он знал и умел, и подрасти больше, чем он был, — как можно после этого сорвать его с корешков, на которых он едва держался, и бросить в ночи? Грех, грех».

«Своя» речь не дается легко, она перебивается иногда, неощутимо для автора, другими, уже хорошо известными голосами.

«Ночь настала, сделалась тверже, ее ясное холодное сияние, проникая сквозь окна, ворожило на стенах. Старуха не забыла, как звенит и играет в эту пору небо, с какой призывной страстью и обещанием горят звезды и близко, царственно ходит молодой месяц. А на земле тихо, мертво, недвижно — все убрано сном, все в его глубоком колдовском оценении».

Эта возвышенная книжность и холодноватая страстность, достигшая высот своих в прозе Бунина и через несколько десятилетий еще раз явленная в прозе Ю. Казакова, — явно инородный пласт в становящейся прозе В. Распутина, пласт, к счастью, тонкий и, надо думать, тающий.

Гораздо чаще в его прозе можно увидеть, как пробивается почти не потраченное в литературе слово сквозь книжный, припороженный к пустой породе «среднелитературного» слова синтаксис: «Давным-давно уже она не трогала воспоминаний о деревне, и они окаменели, слежались в одном отринутом неподвижном комке, затолканном в дальний, пыльный угол, как узел с отслужившим свое старьем».

Везде видны у Распутина настойчивые, до крайности сосредоточенные поиски нуж-

ного слова, способного выразить нетривиальные, необычные в своей дотошности наблюдения. «Старуха не ответила, она снова смотрела на солнце на стене, к которому липли последние мухи, и во всем ее положении была такая замороженная и нечеловеческая стынь, как будто ей дано было увидеть и запомнить то, что больше никто не смог бы понять».

Не все здесь точно; есть ощущение какой-то замороженности самого автора, замороженности своими героями, «ступанием» им след в след, есть неумение скрыть слишком напряженные поиски способа говорить о сложном.

Но эта неумелость сейчас ценнее умелости. Это проза, как бы вычищающаяся заново описывать и сложные и простые вещи, забытые подробности, проза, еще не оторвавшаяся от земли, ступающая тяжело, грузно. В ней нет зато обманчивой быстроты скольжения — есть прочное сцепление с материалом.

Медлительное, не совсем уверенное повествовательное движение прозы Распутина кажется сейчас более плодотворным, чем быстро обретаемая многими (отнюдь не поверхностными, пришедшими в литературу со своим материалом) писателями вера в одно какое-то универсальное средство сделать свою авторскую речь «народной» — например, захватившая многих вера в спасительную силу инверсии или точную передачу чисто фонетических особенностей местного говора (это есть и у Распутина, но для него это дело третьестепенное и, надо думать, временное).

Среди тех, кто встал на путь поисков нового авторского слова, прямо обратясь к народной речи и просвечивающему за ней народному миропониманию, есть и писатели уже вполне определившиеся, прочно и без видимых усилий владеющие этим словом. Такова проза Василия Белова, о которой много уже писалось, и потому достаточно будет напомнить одну из первых рецензий на его повесть «Привычное дело» — и едва ли не самую удачную характеристику речевой манеры тогда еще не очень известного писателя: «Народной речью он владеет с той неподдельной свободой, которая дается не тогда, когда эту речь жадно схватывает острый, часто талантливый слух, цепкий до всего инородного, а когда этой речью не суетливо и не чудя выражает себя целый строй мышления, целое мирозерцание. Он

не играет словами, не перебирает мониста, а растворяется в этой стихии без забот о шегольстве и лихости» (И. Борисова, «Привычное дело жизнь...» — «Литературная газета», 3 декабря 1966 года). Да, и народной речью своих героев, и собственным, прочною нитью соединенным с нею словом В. Белов владеет уверенней, чем многие его современники. Но путь к народному слову не один. Насущная потребность нашей литературы в этом слове насытится только усилиями многих, с разных сторон к нему подступившихся.

Но даже обретя это слово, не так легко «удержать» его в руках. Счастливо, безошибочно найденное авторское слово, так властно влекущее нас за собою в повести Б. Васильева «А зори здесь тихие...» — от первой ее фразы и до последней. — едва родившись, уже начало пробуксовывать на гладком месте эфемерных проблем в его же повести «Самый последний день...». Неудача этой повести рядом с первой тем огорчительней, чем очевидней в них признаки одной и той же художественной манеры, в первой повести Б. Васильева «работающей» в полную силу и так много обещающей, а во второй необъяснимо сработавшейся. К особенно грустным результатам приводит сравнение фабульно близких эпизодов. Смерть Лизы Бричкиной, с такой полной авторской самоотдачей написанная в повести «А зори здесь тихие...», начисто лишена того оттенка холодного и безнравственного писательского расчета, которым веет от иных с глухотой к чужой беде и неведомо ради чего написанных сцен гибели героев в современной прозе. В повести Б. Васильева эта смерть и потрясает, и в то же время вносит в душу высокое и успокоительное ощущение правды. И каким, кажется, царапающим слух пером написана сцена смерти героя в повести «Самый последний день...!» Как нарочито надтреснуто зазвучал здесь голос автора, и пошли в ход слова неточные, приблизительные, которые автор первой повести, кажется, просто не мог бы применить к делу: «И еще он успел почувствовать чужие, грубые руки, которые почему-то лихорадочно рвали из его кобуры игрушечный пистолет...» Смерть эта точно так же разнится от гибели героинь первой повести, как этот заботливо снабженный прочувствованным многоточием пистолет отличен от много раз пушенного в ход на страницах первой повести оружия, в подлинности которого читатель, к чести

автора, ни единого раза не имел основания усомниться.

Потому так важны сейчас разнообразные — лишь бы не суетные! лишь бы художественно бескорыстные! — подступы к «новому» авторскому слову, что потребность в этом слове, вобравшем в себя какие-то не однодневными нуждами порожденные речевые пласты, становится уже не специально литературным, а общекультурным делом.

Разговорная речь (то есть не просторечие, не диалектная речь, а разговоры тех, кто владеет нормой литературного языка) сейчас так сильно отошла от литературного (письменного) языка, что лингвисты говорят уже о двух различных языковых системах, функционирующих в одной и той же среде, об особом виде двуязычия. У нее, этой речи, свой синтаксис («Дай чем отвернуть») и свой словарь. Наблюдения лингвистов засвидетельствовали свободное обращение говорящих («людей со средним и высшим образованием, владеющих нормами литературного языка») со словообразовательными моделями русского языка: «У нас целая банка геркулеса. Мы геркулесники, часто его варим.— А мы картошники», «Видишь, какая она тянульщица...», «У вас хорошая картошница...» (о женщине, продающей картошку), «Опять у нас безнянье», «Меня губит бесстолье. Я без стола не могу работать», «Какой безмагазинный кусок» (об улице), «Вася нас обесчанл».

Да, так говорят. Не все и не везде, но, пожалуй, действительно все больше и громче.

Рискнем высказать предположение, что это та свобода обращения с языком, которая идет от бедности.

Средняя городская интеллигенция обладает сейчас довольно узким запасом лексики, сосредоточенной к тому же в немногих сферах (профессия; «культурное развлечение» — кино, книги; быт — отсюда «безмагазинные» куски улицы, «безнянье» и проч.). Средства народной образности, богатейший пласт народной лексики — все это для нее в значительной степени утрачено, и не только по условиям воспитания, образа жизни, но отчасти и по вине литературы, которая всегда служит для интеллигентной части общества — для людей «книжной» культуры — едва ли не самым важным источником обогащения их речи. Оскудение словаря и синтаксиса литературы привело не только к оскудению словаря ее

читателей, но и к побочным следствиям — люди, обладающие узким и однородным запасом лексики и очень хорошо владеющие нормами грамматики, удовлетворяя неотъемлемую потребность в образности, выразительности своей разговорной речи, экспериментируют именно в области грамматики, образуя всевозможные «новые» слова взамен неизвестных им «старых». Идет довольно неуклюжее словотворчество, производятся слова «на случай», родившиеся по всем правилам грамматики, но безобразные и нежизнеспособные. Все эти «тянульщицы», «картошники», «геркулесники» — это действительно «другой язык». Отлично, что он наконец изучается, — кроме сугубо научного интереса, здесь есть и утилитарно-бытовой: мы можем наконец услышать, как мы говорим (справедливости ради стоит сказать, что не все мы, разумеется: есть еще довольно плотная среда, где не услышать подобных новообразований). Но услышав, нельзя не задать невольный вопрос: неужто это и есть тот язык, на котором мы и дальше будем говорить? Нет ли возможности увидеть в результатах этих исследований сигнал угрозы, предостережение? Свидетельство неблагополучия в главных сферах жизни литературного языка — в художественной литературе, в научно-популярных и газетных жанрах? И нет ли возможности рассчитывать на более благополучные перспективы?

Замечательный языковед-русист В. И. Чернышев, который был в точном смысле ревнителем живого родного слова, в свое время писал обеспокоенно: «Педагог, желающий добра и пользы детям, должен всеми мерами содействовать ознакомлению их с народным языком...» Он видел уже, что народное слово покидает одну за другой все сферы своего бытования, в том числе и сферу повседневного общения, через которую усваивалось оно наиболее естественно, органично. «Вы несчастны, если у вас не было бабушки или няни, которая рассказывала вам сказки в детстве! Разве это можно сравнить с образованной мамой, читающей о прыщичном домике из Гримма? Эта мама вся пропитана книгой, ее голос однообразен и скучен: она не верит рассказу, не переживает его; она исполняет долг чтения сказки с заметным принуждением. Ах, как нам рассказывали сказки наши неграмотные бабушки! С каким богатством интонаций, с каким драматизмом они их говорили; сколько радости, сколько интереса было с

обеих сторон при этом рассказе! Через десятки лет эта радость бабушкина рассказа оживает и чувствуется в нашем сердце, когда мы о ней вспоминаем».

Замена неграмотной бабушки образованной мамой (и образованной бабушкой) совершилась уже — и бесповоротно. И время думать о том, каким же иным способом «удержать» народное слово в языковой жизни общества, не дать ему вовсе выйти из употребления.

Чем больше отдаляется жизнь общества в целом от истоков устной народной речи, кровно связанной с тем языком, на котором написаны древние памятники русской словесности, и сохраняющей, стало быть, некую преемственную связь с исконными формами русского языка, теперь уже столь значительно изменившимися, тем большая «языковая ответственность» возлагается на литературу.

Литература немало способствовала утечке природных ресурсов нашего языка. Сейчас она пробует наверстать потерянное, пополнить свои запасы — часто топорно, в самом первом, грубом приближении, иногда — с большим разбором, с тонкостью, с безошибочным языковым чутьем. Все более частые откровенные стилизации под «народное слово» только отпугивают, вызывают у читателя неосознанный языковой протест против такого рода новшеств, а заодно и против тенденции в целом. Однако если бы суждено было развиваться прозе, где авторская речь глубоко укоренена в почве народной речи, где автор владеет народным словом как своим, это повлияло бы рано или поздно на языковое сознание общества, исподволь обучая новые поколения «правильно» говорить — не нормативно, не «книжно», но и не занимаясь тем доморощенным словотворчеством, которое все больше затопляет сейчас разговорную речь.

Когда мы говорим о некоем универсальном языке беллетристики — знамени определенного времени, — то речь идет о языке, базирующемся целиком на среднелитературной норме, с ограниченным ее словарем, ограниченным синтаксисом. Именно эта ограниченность и порождает поневоле сходные литературные манеры — здесь и неоткуда взяться различиям. «Народные» же словари — все разные: писателям, обратившимся к народной речи, трудно повторить друг друга — в разных местах страны в эту речь влетают разные говоры, в разной степени сохраняются старые формы... Серьезное, самоотреченное, неповерхностное, не гнушаю-

щееся и сугубо научным подходом к делу изучение этих неизведанных еще речевых пластов должно бы оградить молодых писателей от угрозы новой нивелировки. Сейчас еще рано, в сущности, вообще говорить об этой угрозе, поскольку мы говорим о «серьезной», «народной» прозе как о молодом, еще не только не исчерпавшем себя, но и не проявившемся еще с достаточной полнотой и разнообразием литературном явлении. Нельзя не заметить, однако же, что и оно уже успевает порой свернуться, уже застывает кое-где в бесформенные гипсовые ошлепки, прежде чем достигает определенной, законченной формы.

У этой прозы уже появились свои сюжетные шаблоны, ее поэтика уже начинает затвердевать в каноны.

Никого из этих прозаиков, в сущности, не назовешь эпигонами — им почти и некому подражать, они каждый порознь обратились к своему, взволновавшему их вдруг материалу, но удивительным образом повернулись они к нему на одно и то же ровно отмеренное число делений и заговорили одним и тем же голосом, на одинаковом языке.

«Старухе Арсеньевне было уже много лет, она мало спала и под утро видела всякие сны».

«Старуха Анна лежала на узкой железной кровати возле русской печки и дождалась смерти, время для которой вроде приспело: старухе было под восемьдесят».

«По мертвой Устине уже отголосили, и не полагалось больше голосить, печалить покойницу в ее последнюю ночь под родной крышей, под черным небом, сиявшим на востоке — как и при ней, живой, — серебряной ранней, вечно юной звезды».

Это начала произведений трех разных авторов — В. Лихоносова, В. Распутина, И. Лободина, — произведений, вышедших в один год.

И дальше будет много одинакового — и единственная подружка старухи, и ожидание приезда детей, и почти дословно близкие у всех трех пейзажные обрамления фавулы. И даже о вичках своих одинаково думают старухи у В. Распутина и И. Лободина: надеясь и после смерти своей принести им добро и удобство — освободить для них свои кровати...

И мужики размышляют о смерти как-то сходно, как-то слишком уж дружно.

«А охота же узнать, как они тут будут? Ведь и не жалко ничего вроде: и на сол-

нышко насмотрелся вдоволь, и погулял в празднички — ничего, весело бывало, и... Нет, не жалко. Повидал много. Но как подумаешь: нету тебя, все есть какие-то, а тебя никогда больше не будет... Как-то пусто им вроде без тебя будет. Или ничего?» (В. Шукшин).

«Вот и он, Иван Африканович, думал раньше, что что-то будет, и жил спокойно, будет что-то, и ладно. А вот умерла Катерина, и стало понятно, что ничего после смерти и не будет, одна чернота, ночь, пустое место, ничего. Да. Ну, а другие-то, живые-то люди? Гришка, Анатюшка вон? Ведь они-то будут, они-то останутся? И озеро, и этот проклятый лес останется, и косить опять побегут. Тут-то как? Выходит, жись-то все равно не остановится и пойдет, как раньше, пусть без него, без Ивана Африкановича. Выходит все-таки, что лучше было родиться, чем не родиться. Выходит...» (В. Белов).

Легко, конечно, установить, кто написал «своего мужика» раньше, кто позже, но не будем делать этого. Не будем также спешить думать об этих сходствах осуждающе. Вообще же задуматься над ними стоит. Не слишком ли развитым оказалось в современной молодой прозе «чувство локтя»? И нет ли робости даже у самых зрелых — робости перед необходимостью выработки совершенно самостоятельного художественного мироощущения и перед потребностью встать перед читателем с этим собственным своим взглядом на мир лицом к лицу?

#### 4. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Да, потребность в обновлении и обогащении — даже чисто словарном — языка прозы сделалась сейчас достаточно очевидной. Очевиден поворот к еще плохо освоенным, а вернее — надолго забытым литературой языковым пластам.

Но в последние годы ощутилось еще одно — и очень явственное — требование и ожидание.

За легким, всеми словесными ветрами колеблемым голосом автора иронической прозы, за эклектичным строем той авторской речи, которая осталась на распутье между «лирической» и «серьезной» прозой, и плотно забивающими все пространство журнального листа диалогами почти совсем исчезла проза с явным, открытым присутствием автора, с его страстным и уверенным — не

стилизированным и не пародирующим, а собственным, «всерьез» звучащим голосом.

Личность автора в прозе последних лет тает, расплывается. Однако читатель ощущает сейчас явную потребность во встрече с автором лицом к лицу, в авторском голосе, обращенном к нему непосредственно — поверх всех барьеров, — в повествовательной позиции автора, уверенного в своей нравственной и словесной компетенции. Думается, что и необычный успех с огромным опозданием пришедшей к читателю прозы Булгакова не в последнюю очередь связан с тем, что она в высокой мере наделена этим редким для современной литературы качеством.

Несколько утомительным уже стало повествование, лишенное внутренней опоры и легко переливающееся от автора к его героям. Вместо твердой почвы — нечто вроде натянутой сетки, туго натянутой, однако же везде прогибающейся под ногой.

Автор все время вроде обращается к нам, но как бы вполоборота, вполголоса, и собственное его слово погребено под теми словами, к которым он прислушивается.

На этом именно фоне и выделилась и завоевала читателей проза Фазиля Искандера. Новой и привлекательной была в ней, на наш взгляд, в первую очередь авторская повествовательная позиция.

Открытое, целиком повернутое к читателю лицо автора неожиданно глянуло на нас из этой прозы. Автор вел главным образом расчеты с собственным детством и нимало не заботился, кажется, о том, чтобы произвести впечатление на читателя. Но его самоанализ был добросовестен и подробен и выяснение всех подробностей происходило прямо на наших глазах, составляя едва ли не главное содержание этих рассказов и повестей.

Перед нами возникли очертания рассказа старого, но основательно забытого современной литературой типа, когда в отличие от сказа повествователь вполне владеет нормами литературного рассказа и «призван» автором лишь для более живого изложения событий, когда он прямо обращается к читателю, призывая его в свидетели и собеседники: «Согласитесь, как-то стыдно за человека, как-то уж слишком эгоистично, что ли, разоблачать его, защищая самого себя»; когда в разных местах рассказа он время от времени специально «рассказчицким» оборотом речи напоминает о своем присутствии, о своем уверенном владении нитью повествования: «Надо сказать, что

даже самому дяде она давалась не просто».

В полном согласии с канонами этого жанра автор завершает свои рассказы почти патетическими концовками, дает событиям и героям недвусмысленную оценку. Этот уверенный голос, этот умелый рассказ, использующий всевозможные риторические приемы, генетически свойственные именно устному рассказу, оказался действительно необходим современной литературе.

Эта авторская речь не проявляет чуткости к летучей разговорной речи, не стремится уловить ее и любым путем — в речи героев ли, автора ли — зафиксировать, как делала это ироническая проза. Еще более далек строй этой речи от тех языковых пластов, к которым обращен сегодняшний «деревенский» автор.

Главная задача этой прозы другая. быть может, не менее насущная: продемонстрировать еще отнюдь не исчерпанные возможности «книжной» речи в такой форме литературного «рассказывания», где автор выступает как бы в роли непосредственного носителя того отфильтрованного, но гибкого и богатого «интеллигентного» языка, прочно связанного со старой литературной традицией, который сейчас, кажется, вовсе утерял в нашей прозе своего носителя и вместе с ним все свои права.

Итак, этот автор много «консервативней» тех, кто ищет совсем новые для литературы слова,— он скорее стремится упорядочить уже имеющиеся в литературе, но находящиеся в небрежении ресурсы.

И все же проза Ф. Искандера не стоит совсем особняком в сегодняшнем литературном процессе, она имеет не только отличия, но и ясно различимые связи с наиболее заметными «школами» и манерами. «Когда ребята с нашей улицы начинали хвастаться своими знаменитыми родственниками, я молчал, я давал им высказаться» — это начало рассказа «Мой дядя самых честных правил...», где мальчик гордится перед ребятами своим сумасшедшим дядей, сразу устанавливает связь этой прозы с недавней традицией «иронической прозы» с ее юмором, с ее характерной позицией всё и всех, а в том числе и себя самого, оценивающего и переоценивающего автора-рассказчика.

Но юмор этот в прозе Искандера как бы побочен по отношению к главным, «серьезным» целям автора. Эта проза — как бы мост, перекинутый от иронической прозы

к прозе «серьезной». Ее автор близок к тем в этой прозе, кто мужественно стремится строить «серьезное», авторитетное, непосредственно от автора идущее повествование, не уходя ни в сказ, ни в стилизацию. Пути «серьезного» авторского слова разнообразны, возможности его по-настоящему безграничны. И в опыте одного писателя могут случиться черты, к которым стоит приглядеться другим — тем, кто идет и должен идти по пути иному, но с потерями, быть может, вовсе не неизбежными.

Один из характерных признаков прозы Искандера — тот поток точных и не имеющих никакого отношения к фабуле наблюдений, который так щедро изливается на читателя в каждом его рассказе, на каждой странице, в каждом почти абзаце. Вот тетя Соня, которая любит рассказывать давнюю историю, как она ищет среди трупов тело своего первого мужа «Здесь она обычно плакала, и вместе с нею плакали моя мама и старшая сестра». Все это пока еще имеет, можно сказать, прямое отношение к делу, но дальше непременно совершается ход в сторону: «Меня всегда поражало, как быстро после этого женщины успокаивались и могли весело и освеженно болтать о всяких пустяках».

А дальше появляется «дядя Шура» со своей черной кудлатой головой, со своей сутулостью, которая нравится рассказчику, и опять автор будто не удерживается на туго натянутой нити фабулы, опять делает шаг в сторону, с увлечением делясь с читателями своими соображениями о сугубо частной подробности, казалось бы, совсем не заслуживающей таких пространных рассуждений: «Это была не конторская, а ладная, доброкачественная сутулость, какая бывает у хороших старых рабочих, хотя он не был ни старым, ни рабочим». Рассуждение не только вроде бы излишнее, но еще и никуда не ведущее, в конце фразы упирающееся в тупик. Но странное дело! Эти вольные экскурсы автора нимало не раздражают читателя и даже таинственным образом его насыщают.

Это как бы еще один, следующий этап авторской свободы, авторской ответственности, авторской спокойной уверенности в своем праве на любое собственное суждение, на его «уместность».

Проза Искандера строится чаще всего от первого лица, и рассказчик ее нескрывая близок к автору. «Формально» в ней продолжается, казалось бы, уже слышанный



нами много лет назад разговор «о себе» Но голос этого рассказчика уже совсем по-иному окрашен. В нем нет тех бесконечных оглядок (на самого себя, и на себя, каким ты видишься другим, и на себя, каким ты был в еще недавней юности, и так далее), которыми пронизана была речь иронической прозы, нет столь характерной для этой прозы подчеркнутой неуверенности рассказчика и самого автора в «пригодности» каждого своего слова и готовности в любой момент скользнуть от него в сторону иных стилистических пластов. У Искандера даже сам синтаксис говорит об ином отношении к слову. Тот «воздух», которого так много оставалось между «коротких фраз» мастеров этого когда-то с усилием найденного художественного языка и который должен был заполняться воображением читателя, сейчас исчезает, вымещается плавным течением нигде не рвущейся литературной речи. Интонация умелого рассказка льется не осекаясь, рассказчик не делает многозначительных пауз и всякий раз спокойно и даже несколько методически досказывает свою мысль.

Эта во многом новая авторская повествовательная позиция имела свои образцы и в прозе писателей старшего поколения, чей опыт не остался, нам кажется, без влияния на процессы, совершающиеся в современной молодой прозе. В романе Ю. Домбровского «Хранитель древностей», рассказывающем об археологини, о древнем искусстве и о современности 30-х годов, повествование ведется от первого лица. Цели такой повествовательной формы могут быть самые разные, но есть нечто общее, что объединяет при этом самые различные манеры. Это общее — взгляд на рассказчика как на лицо или совсем далекое автору, обладающее иным зрением, иным словом, или как на лицо не совсем чуждое автору, но все же достаточно от него отделенное. Другими словами, чаще всего существует некая дистанция между автором и героем, которую явственно ощущает читатель.

Домбровскому такой рассказчик не нужен. Эта дистанция у него исчезает. Рассказчик становится полноправным заместителем автора. И чем они ближе, тем «литературнее» становится слово этой прозы.

Автор не пытается воспроизвести возможные оттенки стилистической манеры своего рассказчика. Он довольствуется некой «средней» нормой литературного письменного языка. Именно на ней строится эта проза,

лишенная броских, ярких стилистических примет. Автор ставит себе другие задачи.

Главная из них — дать ясное, логически четкое слово. Если считать, что язык прозы удален от языка поэзии, то такая проза будет на самой крайней точке удаления. Это не живописующее слово, но это и не слово эмоционально убеждающее. Это выясняющее, аналитическое слово.

И повествовательная позиция автора, строящаяся на этом слове, с силой захватывает читателя своей с неизменной прочностью выстроенной внутренней логикой, все глубже и глубже вовлекая его в суровый и сложный мир романа, воздухом которого совсем не легко дышать. Не только разговор героев — любая сцена, даже отвлеченный, казалось бы, от совершающихся в романе событий пейзаж — поражает жестковатой целеустремленностью своего построения. Здесь нет деталей, привлеченных для полнокровности сцены, для передачи полноты всегда изобильной «лишними» подробностями жизни. Эта проза суховата; она диктует читателю свои очень четкие условия, не давая ему отдалиться чистому созерцанию, потоку чувств. Мы слушаем каждое слово героя, разглядываем каждое движение его лица в любой разворачивающейся перед нами сцене с одним лишь мучительным желанием — понять, «кто ты?». И понять не во всей многосторонности темперамента, личности, манеры поведения — всего того, что входит в классические каноны литературного героя, — а лишь в одном, вполне определенном автором нравственном аспекте. В этой прозе идет напряженное, ни на миг не прекращающееся познание человека, его дурных и прекрасных возможностей — оно идет до последней строки романа и не кончается ею, продолжается далеко за пределы романа, надолго оставаясь материалом наших размышлений. Сам психологический анализ, производимый автором, в какой-то степени детективного свойства (в том смысле, в каком говорят о детективной природе романов Достоевского). Автор следит за лицом героя, прислушивается к его словам, к оттенкам его интонации, чтобы постепенно уяснить и себе самому и читателю, кто же этот герой — стойкий ли духовно или, напротив, готовый к преступлению человек, непременно уголовному, но преступлению против нравственности.

Незначашие, казалось бы, реплики в разговорах героев романа значат в буквальном смысле все — от жизни до смерти, —

такое в этой прозе обеспечение слов. И в этом смысле в ней преподан урок тем молодым прозаикам, кто сегодня стремится обрести свою уверенную и свободную авторскую позицию.

Современная молодая проза в значительной своей части «работает» большими массами, мыслит длинными диалогами, целыми сценами, обобщенными описаниями, потеряв интерес к подробностям, к пристальному разглядыванию вещей. Характерно, что в прозе Ф. Искандера, например, восстанавливается эта утраченная детальность — не детальность пейзажа или интерьера, а детальность душевных движений.

Рассказ «Запретный плод» построен на одном частном, «внутрисемейном» эпизоде: старшая сестра ест в доме у дяди запретную свинину, а младший брат рассказывает об этом отцу. И автором составлен как бы добросовестнейший протокол этого эпизода, анализирующий сложный, извилистый путь самообмана, совершающегося всякий раз, когда верность принципам попадает в опасное соседство со своекорыстием и завистью. И хотя эта сложная операция разложения чувства на простейшие операции всегда приправлена юмором, конечный вывод, как всегда у писателя, серьезен: «С тех пор прошло много лет. Я давно ем общедоступную свинину, хотя, кажется, не сделался от этого счастливей. Но урок не прошел даром, я на всю жизнь понял, что никакой высокий принцип не может оправдать подлости и предательства, да и всякое предательство — это волосатая гусеница маленькой зависти, какими бы принципами оно ни прикрывалось».

Эта детальность (а вместе с тем и некоторая дидактичность), эта ясность психологического анализа, когда каждый факт исследован, а не смазан, — черта, сближающая в чем-то очень существенном работу двух столь глубоко разных во всем остальном писателей, как Ф. Искандер и В. Распутин.

У обоих у них в каждой фразе что-то происходит — пусть у одного это неизменно окрашено юмором, а другой неизменно серьезен. Проза приобретает под их пером необходимую расчлененность, ясность конструкций. Рассказ и повесть отделяются от слишком широко распространенного жанра «стихотворений в прозе». Ведь эти на много страниц разлившиеся стихотворения рождаются сейчас не столько от стремления «выразить невыразимое», сколько от

утраты умения пристально взглядеться — в личность своего героя, в собственные мысли и чувства, в собственный замысел, наконец, и пути его осуществления...

Молодая проза последних лет явно не справляется с описанием событий, авторы ее не в силах удержать в руках натянутую нить напряженного действия. С некоторым даже снобизмом эта проза отдала события и в прозе детективной. (Повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие...» с ее пятью смертями, всякий раз с силой поражающими читателя, — редкое исключение на фоне «серьезной» прозы.) И эта потеря отнюдь не внешняя, не маловажная; она обусловлена.

Заметим — рассказы и повести последних лет чаще всего строятся на элементарном композиционном приеме «приехал и вижу». Автор заранее облегчает и упрощает свою задачу, с самого начала выбрана удобная точка обзора, а не отправной пункт исследования и размышления.

Позиция повествователя комфортабельна и статична; страница за страницей он фиксирует услышанное и увиденное, присоединяя, нанизывая на общий стержень еще один диалог, еще один всплеск размышлений героя. Литература становится описательной. Действие не развивается, не развертывается, как тугая пружина. Предшествующие эпизоды и сцены никак не определяют последующих. Рождается проза, которую можно читать с пропусками, в которой отдельные страницы, отдельные диалоги героев становятся чем-то вроде картинок, объединенных общей темой, но имеющих отдельный друг от друга смысл. Сами же герои в развивающемся сюжете, кажется, все время остаются в состоянии покоя. К концу рассказа или повести они не более как прокомментированы автором.

Ч. Айтматов в своем выступлении на Пятом съезде писателей как характерную черту сегодняшнего литературного развития отметил падение жанра рассказа: «Думаю, не погрешу против истины, если скажу, что рассказ 60-х годов во многом утратил свою привлекательность и былую славу. Рассказы теперь пишет кто угодно и как угодно. Жанр рассказа скудеет, мельчает, теряет присущие ему достоинства».

Причины этого в какой-то степени понятны. Рассказ требует прочной традиции, он требует определенного уровня литературной умелости, которая была в конце 50-х годов

и у тех «мастеров рассказа», кто шел за Чеховым и Буниным, и у наиболее ярких представителей «иронической школы». У многих из тех, кто сейчас вышел на передний план молодой прозы, прочной традиции пока еще, в сущности, нет. Им «легче» писать повести, чем рассказы.

Повесть легко вмещает и неотобранные диалоги героев, и авторские декларации — в рассказе им «некуда» вписаться, там жесткие границы начала, середины и слишком быстро накаляющегося конца... Жанр рассказа, столь совершенно разработанный в русской литературной традиции, с неизбежностью требует твердой авторской повествовательной позиции; за ним всегда стоит «право» повествователя вести свой рассказ, то право, которое в современной небольшой повести — излюбленном жанре молодых прозаиков — очень часто оказывается не подтвержденным, а лишь заявленным. Сами начала современных «серьезных» повестей говорят об уверенности автора в том, что читатель заранее готов принять его повествовательную позицию, готов признать за автором право на тот многозначительный речитатив, который с первой же фразы требует от читателя усилия перекодировки, перестройки своего слуха — хотя бы с привычной волны «правильной» литературной речи. Но так ли оправданы эти усилия? И так ли безоговорочно правомерен этот, так сказать, авторский «синтаксический диктат»? Вот несколько примеров.

«Холода в Умуksуне уже с октября начинали жать.

Бураны, пороши, метели — засыплет, устелет кругом. Уймутся ветра — ударит первый мороз, молодой, звонкий, натянет седую голубоватую мглу на дальние горы, заляжет туманом в низинах».

«Шел солдат с войны. Шел не главным шляхом, где еще двигались на войну люди, а проселками, лесными тропами — чтобы отдохнуть от грохота, обдумать свою дальнейшую жизнь. Родную деревню он прошел давно и задержался в ней на самое малое время...»

«И брела она по дикому полю, непаханому, нехоженому, косы не знавшему. В сандалих ее сыпались семена трав, и колочки цеплялись за пальто старомодного покроя. отделанного сереньким мехом на рукавах»

Это начала повестей В. Колыхалова, А. Ткаченко и В. Астафьева, повестей, стоящих много выше среднего уровня сегодняшней «серьезной» прозы и тем не менее на-

глядно обнаруживающих общие ее слабости. Вглядимся в первую же фразу повести Колыхалова «Зимний гость» (первый из наших примеров) — она многого требует от читателя. Во-первых, сам синтаксис ее требует принять неведомый читателю «Умуksун» как знакомый; требует принять также и индивидуальную авторскую иерархию предметов и сразу же, с первого слова начать вслушиваться в разговор о временах года в неведомом Умуksуне... Добавим еще, что на словах «начинали жать» читатель на какой-то миг задержится, чтобы перетолковать их в предусмотренном автором смысле, чтобы успеть осознать и лексический настрой автора, понять и принять ту волюность в употреблении просторечия, которую автор предполагает допускать... Эти усилия читателя к чему-то обязывают, казалось бы, и автора. Но вот когда читатель с некоторым усилием повернулся наконец к рассказчику, приготовился вслушиваться в его, может быть, несколько искусственную повествовательную интонацию, а может быть, лишь чудящуюся такой отвыкшему уху, как он слышит вдруг иной, давно ему знакомый склад речи: «Прижался Данила щекой к шершавому стволу листвянки, замурил глаза, бормочет...» Это манера Бажова — и имя героя насмешливо довершает сходство со сказом «Малахитовой шкатулки»... Писатель явно не удержался на выбранной им позиции, дал потоку литературной инерции унести свой рассказ в чужое, не ему принадлежащее, давно и глубоко размытое русло.

Но и на этой дороге он не успевает утвердить ноги своей. Его уносит уже другая интонация, берут в плен другие, не попад, кажется, сказанные слова. «Дальше из этих стихов Данила ни строчки не помнил, но в мыслях явственно встал перед ним тот приезжий поэт, залетная птаха, вспомнилась та пора здешнего лета, когда уж и лета нет, а осень — с дождем и ветрами — будто призадержалась у моря».

Строем своего речитативного рассказа автор ориентировался вроде бы на героя, на его миропонимание и слово, а герой вдруг «в мыслях» своих заговорил иначе — как по писаному. И напротив, как цитатно стало выглядеть в этих его мыслях не из народной речи будто взятое, а тут же по сходству с этой речью вылепленное словцо «призадержалась».

«Высокие» стиливые зачины, столь распространенные в современной повести,

звучат, несомненно, как некий сигнал к повышенному вниманию, как своеобразное «слушайте все!». Эпическая позиция, избранная автором (иногда, как у А. Ткаченко, она заявлена уже названием — «Сказка про маленькую женщину»), требует от него, быть может, еще больших, еще значительнейших усилий самоосознания, самоопределения и в «мыслях» и в слове, чем у тех, кто говорит сейчас от первого лица. И редко удается авторам выдержать эту высоко взятую ноту.

Если задуматься о тех отношениях, которые складываются сейчас между автором и читателем сегодняшней «серьезной» прозы, то одно из наиболее бесспорных впечатлений будет, нам кажется, следующее: читатель стал слишком снисходителен к автору и автор стал слишком уверен в благосклонности читателя, в его готовности принять все предложенные автором «условия игры». Речь идет здесь не о социально-психологическом явлении, а о таком, которое проникло, как мы только что видели, в самый строй литературного произведения, становится уже неким конструктивным фактором. Современный автор как бы заранее предполагает некий сговор между ним и читателем — сговор, существующий вне произведения, прежде того, как началось чтение; он будто уверился, что главное — это как можно скорее заявить о своих намерениях и что этим уже исчерпаны будут в значительной степени его обязательства перед читателем и дальше читатель, одобряя эти намерения, будет читать его прозу с позиций нетребовательного единомыслия.

Эта странная расслабленность и самоуверенность сближает и объединяет самых разных авторов последних лет, пишущих и о «деревне» и о «городе». Все они так или иначе сразу предлагают читателю присоединиться к чему-то не совсем ясному, неопределенному и, может быть, даже неопределимому. Автору будто заранее ясно, что его читатели думают или должны думать по этому поводу примерно одинаково с ним, и потому он сводит свою задачу к описаниям, к живой передаче диалогов и прочим иллюстрациям, освобождая себя от необходимости вести в буквальном смысле расследование жизненных ситуаций — от главной, по существу, задачи литературы.

Проза последних лет заметно игнорирует неперемное, казалось бы, условие литературной деятельности, которое заключается в том, что в каждой новой повести писатель

начинает все заново, что он снова стоит перед читателем один на один, ничем и никем не поддерживаемый, и должен завоевать его доверие и внимание, что каждый раз осознанный и воплощенный им мир предстает читателю как бы в первые, — и он, писатель, именно он должен рассказать об этом мире, объяснить его, придать своему миропониманию убедительную силу.

В современной прозе облегчена роль обоих — и автора и его читателя. Автор не тратит сил на завоевание доверия читателя, а читатель после первых усилий «перекодировки» легко и быстро «понимает» автора. В той легкости взаимопонимания, которая устанавливается часто на любой странице современной повести, есть нечто опасное для литературы. «Понятен» язык, легко узнаются приметы современной жизни; «понятна» позиция автора, потому что в декларациях вообще обычно нет ничего сложного.

В этом смысле опыт зрелых мастеров становится особенно поучительным — не как образец для прямого подражания, а как необходимое напоминание о некоторых самых общих и существеннейших свойствах «большого жанра». Как трудны, но, если можно так выразиться, добросовестны отношения между автором и читателем в романе Домбровского. Отношения эти начинаются от нуля, но приходят к взаимопониманию (в противоположность весьма не редкому обратному пути). Автор не требует быстрого согласия читателя с его исходными положениями, его постулатами; он вообще не требует ни единогласия с ним, ни даже быстрого понимания: он сам постепенно выучивает читателя языку своего миропонимания, сначала, возможно, и непонятному многим при видимой простоте и логической ясности самой словесной манеры писателя. Один его герой становится нам понятен сразу, другой — постепенно, в каждой сцене, в каждом разговоре — понемногу. Мы долгое время можем не знать того, что можно ждать от него. Не только мы — он и сам того не знает на этом этапе своего пути. Об этом догадывается автор, но он знает: есть характеры, которые не могут исчерпаться вдруг — ни одним-двумя событиями, ни первой, ни второй частью романа.

Так самоопределение стоит как насущная задача перед героями, перед самим автором и перед его читателем.

Это самоопределение не может не затронуть всех «слов» произведения — сверху

донизу или, может быть, снизу доверху, начиная от слова — «первоэлемента литературы» и кончая тем миропониманием, которое оно несет в себе.

Итак, необходимы некоторые выводы и, может быть, даже прогнозы.

За последние десять — двенадцать лет в нашей молодой прозе, в ее стилистике происходили разнообразные процессы. Мы выделили здесь две заметных языковых «волны», два стилистических направления, из которых одно сейчас вытеснило другое. Еще с трудом можно различить очертания того нового, «третьего» направления, которое готовится прийти и ему на смену.

Все еще громко, едва ли не громче всего слышатся в прозе, заглушая голос автора, голоса его героев и условных рассказчиков. Разговорная, устная речь сегодняшнего дня все еще тревожит воображение писателей «сама по себе», в ее первозданном виде, заставляя строить рассказы на «чистом» сказе, иногда довольно выразительном: «Я ее жду, а она не приходит, наверное, живет у своей матери и разные там поклепы на меня наводит, наговаривает. Женщины, они все одинаковы, да я уж об этом говорил, простите, что повторяюсь».

У меня тоже гордость своя, не буду же я за ней бегать, как собачонка какая, чего это я буду за ней бегать, с какой стати, тем более меня сумасшедшим назвала, а ее никак не обзывал».

В. Голявкину, начинавшему с детских рассказов, точнее многих, пожалуй, удалось закрепить в этом текучем, скороговорочном сказовом слове столь знакомую всем инфантильную личность человека взрослого.

Есть и совсем другой сказ, выводящий на сцену рассказчиков иного ранга — потрепанных жизнью, всякое видавших: «Ну, выпьем за ангела моего. Спасибо, благодарю покорно, и я вас уважаю. Вы мужчина вежливый, с ласковым словом. А на слезы мои не гляди. Это болезнь у меня. Теперь я выжила, а то ведь беда! Увижу, детишки по улице бегут — в слезы» (В. Сапожников, «Мариванна»), — сказ, с точностью возрождающий забытую интонацию «Тупейного художника» Лескова.

Давно уже редко слышим мы речь собственно авторскую. Гипертрофированные диалоги и стилизованные рассказы от первого лица, городское просторечие, все еще так охотно улавливаемое новыми и новыми вступающими в литературу авторами, и по-

лумещанская речь, с непривычки кажущаяся исконно народной, — все это в конце концов проникло и в авторскую речь современной прозы, проникло не обдуманно, а безвольно, так, что автор становится постепенно неким протеем. От этого протеизма ушли по-разному, в разные стороны В. Белов и Б. Васильев, Ф. Искандер, В. Распутин, но все еще слишком думаешь: а стоит ли заново проделывать эту работу, уже не однажды проделанную? Всякий ли раз есть литературная необходимость передоверить более или менее счастливо подсмотренному герою авторское право вести повествование?

Когда смотришь сейчас на страницы самых разных повестей и рассказов, целиком отданных «голым» записям живой речи, невольно думаешь: а стоит ли заново проделывать эту работу, уже не однажды проделанную? Всякий ли раз есть литературная необходимость передоверить более или менее счастливо подсмотренному герою авторское право вести повествование?

Сейчас, именно сегодня, нам кажется, время автору прямо, не опосредствованно вернуть свой суд над всем, и в том числе над употребимым или же не употребимым в литературе словом.

Ведь все дискуссии о годных или негодных, устаревших или неустаревших словах ни к чему не могут привести, пока те «народные слова», о которых идет спор, не «вправлены» в прозу, которой мы верим, за которой стоит непогрешимо авторитетный для нас автор. «Народное» слово приходит в наш обиход (если уж не суждено было ему войти в нас с детства) не из статей на эту тему, а из большой прозы — приходит как бы невольно, так что сами мы того не замечаем. Для того, чтобы «народное» слово удержалось в нашем языке, писатель должен вернуть себе право законодателя нормы речи и письма.

Оглядываясь на все, что представляет собою разнообразные замены собственного его голоса, мы видим: не пришло еще время, когда вновь покажется пресным все авторское. Потому не пришло, что уверенное авторское слово стало сейчас дефицитным, что принадлежит оно главным образом зрелым мастерам, а молодые, только вступающие или десятилетие как вступи-

шие в литературу прозаики или осторожно обходят эту возможность, или говорят «от себя» с уверенностью и напористостью, ничем не подтвержденной и потому досадной.

Нет сомнений, что в обществе существуют человеческие пласты, которые еще будут подняты, выворочены и вынесены на всеобщее рассмотрение неведомыми нам пока писателями, и в прозе нашей зазвучат новые неслыханные голоса — голоса людей, еще не бывших героями литературы. Но ускорить этот процесс невозможно.

Сейчас же мы слышим, увы, лишь те голоса, с которыми литература уже давно научилась управляться, которые отнюдь не выбиваются из авторского повествования как нечто вовсе с ним не совместимое, но, напротив, вполне могли бы вобраться им — будь то, повторим, сугубо «городские» голоса или речь народная.

Правда, вобрать все это в единый поток авторского повествования — задача гораздо более трудная, чем продержаться на сказе или вытесняющем автора диалоге.

Сейчас заметно становятся важными те линии русской прозы, которые держатся на «усыновлении» автором народной речи; они важнее любого полусырья — всегда не слишком трудной, а с магнитофоном и вообще упростившейся дословной записи чьей-

то чужой и для самого автора остающейся вполне экзотической устной речи.

Если же говорить не столько о «составе» авторской речи, сколько о самом ее тоне, так сказать, о месте самого автора в теперешней прозе, то очевиднее всего сегодня, кажется, потребность в глубоко личной, авторитетной и страстной интонации — в ничем не заслоненной «собственной» личности автора.

«Объективный» тон, имеющий столь значительную литературную традицию, сейчас (неизвестно, правда, на какое время!) кажется недостаточным, ненасыщающим.

Тем менее насыщает проза с «подставным» автором, где до подлинного автора не докопаться, и «голый» сказ, где автор вовсе отчужден от героя и голос его не слышен в слове героя.

Ожидания наши, повторим, связаны сейчас сильнее всего с автором, взявшимся непосредственно «от себя» изложить все вынесенное им в литературу, автором, не собирающим свою прозу по словечку, а прочно владеющим определенной и целостной языковой культурой — не старомодною и не пущенной на распыл ежедневным веянием, а прочной, глубоко укорененной, обретенной им раньше и основательней многих его современников.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Анна Караваева.** Замыслы и свершения Александра Фадеева.— **Н. Коржавин.** Проверка детством.— **В. Камянов.** Мера обобщения.— **М. Рудницкий.** Встреча с Рильке.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Т. Хажилова.** Огонь, а не пепел.— **П. Чернасов.** Солдат-коммунист о «странной войне».— **Г. Щетинина.** К проблемам абсолютизма.— **Ю. Суровцев.** От эмпирии подниматься к общему.— **Ф. Бреус.** «Наведение мостов» и правда современности.

## *Литература и искусство*

### ЗАМЫСЛЫ И СВЕРШЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ФАДЕЕВА

**А. Фадеев.** Собрание сочинений в семи томах.  
М. «Художественная литература». 1969—1971.

Сейчас ему исполнилось бы семьдесят. К этому времени Александр Фадеев собирался окончательно воплотить замысел «Последнего из удэге», своего любимого детища, над которым он размышлял на протяжении почти всей своей творческой деятельности. На вечере, посвященном его пятидесятилетию, Фадеев говорил: «В силу того, что этот роман приобрел исторический характер, а я еще достаточно молод, чтобы работать на современном материале, то, пожалуй, я отложу эту работу к тем годам, когда А. М. Герасимов будет поздравлять меня с семидесятилетием». Вовсе не исключено, что уже в нынешнее собрание сочинений роман мог бы войти в завершенном виде. Мог, потому что идея романа на протяжении почти всей творческой жизни автора всегда ясно представлялась ему. Вот как сам он сформулировал свой замысел: «Вопреки тому, как писали много лет художники из буржуазного и помещичьего мира,—те из них, кто чувствовал противоречия эксплуататорского общества,—выход из этих противоречий лежит не в том... чтобы возвратиться к предыдущему этапу, а в том, чтобы перейти на более высокую ступень развития, завоевать и построить

социалистическое общество». Мог, потому что «синтетический стиль» (термин Фадеева), то есть гармоническое слияние «жизнеподобной» и «условной» литературных форм, был одухотворен самим многообразием жизненных проявлений. Мог, потому что, следуя в остальных своих произведениях по горячим следам событий, Фадеев никогда не отождествлял актуальную тему с актуальностью произведения. Возвращение к теме гражданской войны в «Последнем из удэге» отнюдь не было для писателя уходом от насущных проблем. Уроки великих современников не позволяли ему сомневаться в этом. И Фадеев твердо усвоил эти уроки. С восхищением прочитав «Жизнь Клима Самгина», он писал: «Мало разложить на части, нужно взять в целом. При наличии той исторической вышки, на которой мы стоим, при том, что нам нужно изменить мир, как бы заново его воссоздать,—мы ищем больших синтетических форм». Стремление создать произведение синтетическое, общефилософского смысла и значения, было для Фадеева высшим принципом при отборе и организации материала. Выступая в январе 1940 года на вечере, посвященном пятидесятилетию создания фильма «Броне-

носец «Потемкин», он говорил: «Сила Броненосца «Потемкина»... в том, что объективный исторический факт взят в нем в свете самой большой и главной идеи нашего времени; в том, что эта идея дана как личная судьба миллионов людей; в том, что исторический эпизод превращен, таким образом, в дело всеобщего мирового значения и в то же время как бы в личное дело миллионов зрителей». Такого же синтеза, очищенного от всяческих «побочных соображений», Фадеев пытался достичь в «Последнем из удэге». Давалось это ему нелегко. «Мне приходится в этом романе изображать представителей очень различных социальных слоев, различных национальностей, — писал он. — Роман «Последний из удэге» мне дается с большим трудом, и именно потому, что и сюжет романа гораздо сложнее и тема и идея его более сложны и значительны, чем в «Разгроме». Мне приходится роман строить многопланово... События, которые я должен изложить, охватывают более продолжительный исторический отрезок времени, период дореволюционный, период гражданской войны, а в последней части мне необходимо показать, что происходит в наши дни». Но при всей самокритичности, при всей трезвости подхода к своему роману уже в период его создания, Фадеев никогда не терял уверенности в том, что сможет его написать. «Последний из удэге» обещал выявить качественно новые возможности фадеевской прозы. Многоплановое изображение в романе различных социальных слоев и групп требовало от писателя высокого мастерства перевоплощения. Недаром в период работы над «Последним из удэге» в его записных книжках мелькает фраза: «Найти свое амплуа». В романе «Разгром», обозначившем приход в советскую литературу незаурядного дарования, Фадеев придерживался совершенно иного метода. «Разгром» в этом отношении, — писал он Юрию Либединскому, — был «идеален» — там почти все соподчинено основным социально-индивидуальным характеристикам — основной идее. В «Удэге» при общем углублении я увидел много психологических излишеств. Ты не можешь себе представить, сколь стало его веселее читать, когда я их сейчас изьял» (январь 1930 года). Я не знаю другой книги, которая обладала бы такой же, как «Разгром», впечатляющей силой слияния произведения и его автора. Попробуйте разъединить в нем молодого писателя Фа-

деева и дальневосточного партизана Булыгу (подпольное имя Фадеева). Наверное, великолепное знание быта гражданской войны и дало писателю возможность так полно отобразить эту эпоху, так выразительно воспроизвести для нас трогательные и возвышающие подробности характеров и биографий борцов за молодую Советскую власть. Наверное, потому «Разгром» и был настольной книгой у моих учеников — учащихся Совпартшколы, большая часть которых воевала на фронтах гражданской войны. Да, я была свидетельницей этого: в 20-е годы «Разгром» Фадеева вошел в народную жизнь, как в широкую многоводную реку входит лодка, полная людей.

И тут я не могу не присоединиться к мнению В. М. Озерова, который в предисловии к семитомнику утверждает, что в «Разгроме» «Фадеев первым в советской литературе раскрыл пути становления нового сознания и новой морали в сложности и перспективности этого процесса». Да что там говорить, ведь и сам Фадеев указывал на то, что ему «хотелось развить в романе мысль о том, что нет отвлеченной, «общечеловеческой», вечной морали». К этой мысли он возвращался постоянно. В письме А. Бушмину от 11 октября 1948 года он писал: «Старый гуманизм говорил: «мне все равно, чем ты занимаешься, — мне важно, что ты человек». Социалистический гуманизм говорит: «если ты ничем не занимался и ничего не делаешь, я не признаю в тебе человека, как бы ты ни был умен и добр». Как видим, Фадеев понимал гуманизм достаточно конкретно. Конфликт между подлинным и ложным гуманизмом, имеющий значительное место в «Разгроме», получил дальнейшее развитие в «Последнем из удэге». Социалистический гуманизм с самого начала стал главным типологическим принципом, «синтетической» идеей творчества писателя.

Вот уж кого никогда нельзя было упрекнуть в абстрактном гуманизме! Ни в творчестве, ни в жизни. Кроме того, что Фадеев великолепно знал сегодняшний день советской литературы и, как никто, живо, что называется, в лицах представлял себе ее движение, он обладал исключительной способностью проникать в людей, собирать не только вокруг себя, но и в себе самом множество творческих индивидуальностей. Как-то я сказала ему, что он являет собой как бы живую картинную галерею советской литературы. Кажется, это пришлось



ему по душе, и он улыбнулся своей открытой, нестареющей улыбкой. Это был поистине человек для людей. Никто не мог усомниться в искренности и нелицеприятности его натуры. Общение было его постоянной потребностью. Говоря о конкретном факте литературной жизни, он естественно соотносил его с судьбой советской литературы в целом. Он думал о литературе не просто как один из талантливых, уже признанных во всей стране писателей, но как один из ее руководителей. Благодаря этому к его словам и замечаниям прислушивались не только те, кому они были непосредственно адресованы, но все, кто мог их услышать. Потому и сейчас я с особым интересом читаю последнюю книгу семитомника, составленную из избранных писем Фадеева. Кто, кроме него, мог так четко сформулировать кредо моего писательского поколения: «Мы входили в литературу волна за волной, нас было много. Мы приносили свой личный опыт жизни, свою индивидуальность. Нас соединяло ощущение нового мира как своего и любовь к нему»? Фадеев был моложе многих из нас, но по своему духовному развитию, опыту жизни и борьбы, взглядам и убеждениям он подлинно был нашим старшим братом.

Уже в своих первых произведениях—«Разлив» и «Против течения» (позже рассказ стал называться «Рождение Амгуньского полка»).— произведениях, еще не свободных от некоторых недостатков, свойственных тогдашней молодой прозе, он заявил о себе как писателе со своим мироощущением, писателе, устремленном в будущее. Заметим в скобках, что Фадеев с присущей ему взыскательностью отнюдь не склонен был переоценивать художественные достоинства этих вещей. Более того, «Разлив» последние 25 лет своей жизни он не включал ни в одно из изданий. Тем не менее они занимают вполне определенное место в его творчестве. И факт включения их вот уже во второе посмертное собрание его произведений я считаю безусловно оправданным.

И в повести «Разлив» и в рассказе «Против течения» уже налицо столь характерное для дальнейшего творчества Фадеева стремление испытать личность, ставя ее в трудные условия, благо такие условия предлагала сама действительность. «Разве вы не знаете,—говорил писатель,— что настоящий человек пробуждается в самых лучших своих сторонах, когда стоит перед большим испытанием?» Наверное, потому

Фадеева так увлекла мысль о создании произведения, посвященного героям Великой Отечественной войны— краснодонским юношам и девушкам, подхватившим из рук отцов идею защиты социалистического отечества.

Мне хорошо памятен тот вечер в Центральном доме литераторов, когда Александр Александрович читал нам, своим братьям по перу, первые главы «Молодой гвардии». Это невозможно забыть. И прежде всего— ту атмосферу всеобщей заинтересованности и взволнованности, которая захватила нас буквально с первых слов, произнесенных автором:

«—Нет, ты только посмотри, Валя, что это за чудо! Прелесть! Точно изваяние... Ведь она не мраморная, не алебастровая, а живая...»

Это был голос наших детей и голос нашей молодости. Это был символ всепобеждающей чистоты, любви и открытости жизни. Сам Фадеев был взволнован не меньше нас. Читал он просто, своим обычным громким тенором. Но оказался на его месте актер, он наверняка не смог бы с такой глубиной и проникновенностью вжиться в события, о которых шла речь. Фадеев понимал, что «Молодая гвардия» не просто роман, но одно из свидетельств суровой эпохи Великой Отечественной войны. Он понимал и то, что его юные герои «именно потому и стали Молодой гвардией, что они уже есть те люди, которые на каком-то историческом взлете проявили те черты, которые еще только завтра будут свойственны абсолютно всем и подтянут к себе остальных. С этой точки зрения,— писал он далее,— я и считаю, что «Молодая гвардия» романтична...». И действительно, в этой книге романтично все. Прежде всего герои. Юные, смелые, в чем-то обыкновенные мальчишки и девочки и в то же время необыкновенные высотой и глубиной своих чувств. Это была Молодая гвардия нового поколения, достойная Молодой гвардии огненных лет революции и гражданской войны. Это были люди, отдающие самое дорогое ради того, чтобы идти «заре навстречу».

Однако были критики, да и читатели, которые упрекали Фадеева в идеализации молодого гвардейцев. «А скажите, какие недостатки были у Татьяны Лариной?—спрашивал писатель в одной из бесед у своего оппонента.— А у Наташи Ростовоной? А у тургеневских девушек? То, что они дворян-

ского происхождения? Так это в то время не считалось недостатком!.. Какие недостатки у Геккльберри Финна или Тома Сойера? Не больше, чем у Сережи Тюленина, не правда ли?.. Значит, дело не в идеализации, а в способе изображения человека. Когда хотите изобразить человека с любовью, показать его настоящие, подлинные черты, это не значит, что вы должны замалчивать в человеке его недостатки, а это значит, что способ изображения должен быть такой, когда недостатки не мешают читателю любить этого человека».

Помнится, отвечая на чей-то вопрос, Фадеев сказал, что в работе над «Молодой гвардией» у него не было «решительно никакого запаса времени», напротив: он «не только умозрительно», а будто даже «физически» ощущал, как это суровое военное время «подталкивало» его! Поэтому он лишен был «громдного духовного удовольствия» неторопливо — «например, годами!» — изучать, накапливать материал. А взамен этого удовольствия взял на себя невольную ответственность по отношению к материалу. И материал не подавил его, не нанес ни малейшего ущерба его художнической природе, а скорее наоборот — привнес в нее новую живую струю. «Я не помню из истории литературы, — писал Константин Федин, — чтобы романист в такой близости шел следом за действительными событиями, художественно воплощая их в романе, как это сделано в «Молодой гвардии». Казалось, можно допустить подобный опыт лишь теоретически. Но «Молодая гвардия» из романа-документа выросла в роман-обобщение. И это нам, писателям, вместе с огромной читательской аудиторией романа надо признать самой большой художественной заслугой А. Фадеева».

Как часто мы, писатели, сожалеем о том, что события, о которых повествуется в наших произведениях, очень быстро становятся для наших читателей историей. Зачастую и отношение к событиям меняется по сравнению с тем, что сложилось в годы создания книги. Пока созреет замысел романа, пока его проверишь, пока соберется материал, пока осмыслишь и вживешься в задуманные тобой образы, пока пробуются многочисленные варианты, потом правка, еще и еще правка, пока роман выйдет из печати, пройдет минимум пять-шесть лет. События народной жизни и отношение к ним уже перейдут в иное качество: они превратятся в отображенное, они уже станут

историей. А само время их появления и непосредственная живость восприятия со всеми ее неповторимыми красками и впечатлениями невозвратно исчезнут.

К сожалению, многое из вышесказанного приходится с горечью отнести к «Черной металлургии» — второму незаконченному роману Фадеева, который замышлялся как «роман о великой переплавке, переделке, перевоспитании самого человека, превращении его из человека, каким он вышел из эксплуататорского общества, — и даже в современных молодых поколениях еще наследует черты этого общества, — превращение его в человека коммунистического общества». Много, но не все. Я, как читатель (хотя читатель и пристрастный), не могу сказать, что мной утеряна живая нить, связующая период создания «Черной металлургии» с нашим временем. Огромная по своей масштабности «синтетическая» идея не позволила этому роману быть заживо погребенным. Четвертый том нынешнего собрания представляет нам зачин великолепнейшего, я бы даже не побоялась сказать — эпохального произведения, обещавшего стать не только новым этапом творческой жизни Фадеева, но и жизни нашей литературы в целом. Ведь он задумал не просто «производственный» роман, «во все не только роман о металлургии — она в центре этого романа, — но это роман о советском обществе наших дней, это роман самонужнейший, архисовременный», — рассказывал он в одном из писем. А в другом письме еще более конкретизировал свой замысел: «Хочу показать наших металлургов и строителей металлургии разных поколений. Особенность этого романа еще в том, что наряду с технической интеллигенцией я отвожу большое место интеллигенции гуманитарной — врачам, учителям, журналистам, работникам просветительных учреждений, художественной интеллигенции».

У меня до сих пор на слуху фадеевские впечатления от поездки на Урал, которыми он поспешил поделиться со мной. Ведь когда-то и я, будучи корреспондентом «Правды», черпала в тех же краях материал для своей трилогии «Родина». Когда-то и я делилась с Фадеевым своими впечатлениями о людях уральских заводов, которые я выбрала объектами для своих наблюдений.

— Три завода! Ну ты и богата! — сказал мне тогда Фадеев.

И вот теперь мы поменялись ролями. Те-

перь Александр Александрович рассказывал мне об уроках, которые он излек из своих наблюдений и бесед с рабочими-уральцами. Не в том сила нашего общества, говорили ему металлурги, чтобы побольше было «благополучно-серых» людей, а в том наша сила и слава, что очень разные по характеру и способностям люди совершают общее дело с «братски одинаковым сознанием» его важности и нужности для народа. Пусть вот и показывает наша литература, как настоящие люди работают для России.

Это было лучшей проверкой и подтверждением уже сложившихся к тому времени взглядов Фадеева на реализм и романтику. Ведь если в начале своего творческого пути миссию реализма он сводил в основном к критическому изображению отрицательных явлений, а романтику считал полноправным реализму «вторым» началом прогрессивного искусства, равнозначным изображению возвышающих, положительных сторон действительности, то уже в 1934 году в речи на Первом всесоюзном съезде советских писателей Фадеев говорил, что «социалистический реализм, утверждая новую, социалистическую действительность, новых героев, в то же время является наиболее критическим из всех реализмов». В 1947 году в статье «Задачи советской литературы» он писал: «Рождение новых чувств нужно показывать в их борьбе со старым. Можно сказать, что социалистический реализм с его революционным романтизмом есть одновременно и критический реализм». А в 1956 году, перерабатывая эту статью для сборника литературно-критических работ «За тридцать лет», Фадеев еще более прояснил понятия реализма и романтики и соотнес их — на материале русской литературы — таким образом: «Русскому критическому реализму присуща традиция изображения положительного героя, освещенного сознанием, что жизнь может и должна быть лучше, и в этом смысле можно сказать, что русский реализм всегда был, в той или иной степени, романтичен». И далее дал примечание о романтике: «Под романтикой нужно понимать момент «должного». Если «должное» не отрывается от «сущего», романтика является одной из сторон всякого большого подлинного реализма».

Сколько дорогих моему сердцу воспоминаний встает за страницами фадеевского семитомника! Читаю: «Если в одном слове объединить все мои размышления и поиски на протяжении истекших... лет, то они све-

дутся, в общем, к попыткам определить роль, значение и место романтизма в социалистическом реализме и собственном творчестве». Смотрю дату: 1947 год. И вспоминаю: 1947 год, осень, санаторий «Барвиха», за окном дождь со снегом, а в большой гостиной вокруг Фадеева, как обычно, расположилась группа писателей.

— Правда ли, что вы, Александр Александрович, одинаково пристрастны к реализму и романтике? — спрашивает кто-то.

— Да, это так, вы верно заметили: реалистическое и романтическое для меня всегда пребывают вместе.

Утверждая, «что советская литература наследует решительно все передовое и прогрессивное, созданное человечеством в его прошлом развитии», Фадеев тем самым утверждал многообразие форм социалистического реализма. «Все должно быть по существу жизненно, не обязательно оно должно быть жизнеподобно, — писал он. — ...Сущность вопроса в том, что правду жизни можно выразить с помощью самых различных форм». Будь то форма «жизнеподобная», близкая к классической реалистической школе (то есть на бытовой основе), или форма романтическая, родственная лермонтовскому «Демону», или просто сказочная, или условная (та, которую Достоевский именовал фантастическим реализмом), или, наконец, «синтетическая» (Шекспир, Сервантес, Гёте) — словом, любая форма, позволяющая выразить правду. «Памятуя высказывания Маркса и Энгельса о Бальзаке и Ленина о Льве Толстом и Горьком, мы предпочитаем заниматься только Бальзаком, Толстым и Горьким, — пишет Фадеев в статье «Писатель и критик». — Достаточно, однако, сопоставить реализм такого писателя, как Свифт, и такого, как Лев Толстой, чтобы увидеть, какое богатство форм присуще было старому классическому реализму. В старые времена Свифта не считали реалистом, и зачислять его по одному ведомству с Львом Толстым показалось бы чудовишно безграмотным. А между тем Свифт — реалист». «Естественно, возникает... вопрос, — предуведомлял он эти размышления в своем докладе на собрании слушателей литературных кружков, — каким же образом художники пишут произведения утопические, фантастические, о том, чего еще не было, о том, как представляют они себе будущее, о том, что будет или не будет? Совершенно очевидно, что и в этом случае художник пишет произведение, исходя из

наблюдений над живой действительностью, изучая элементы будущего, уже имеющиеся в настоящем, видоизменяя, усиливая, развивая (а иногда искажая!) действительность».

Когда Фадеева называли теоретиком, он считал это заблуждением, говорил, что вынужден заниматься теорией «только в силу потребностей практики и из-за нетерпеливого характера». И в то же время его всегда глубоко волновала судьба советского литературоведения и критики. В частности, он никогда не мог смириться с существованием так называемой оценочной критики (как «захваливающей», так и «заушательской»), призывал давать ей решительный отпор, утверждая критику концептуальную, «воспитательную». «Мы,— говорил он от имени писателей,— как и все люди, очень разнообразно относимся к явлениям жизни и искусства и разнообразно на них реагируем. А наша критика очень однообразна по тону, за отдельными исключениями. Вопрос о тоне критики есть в значительной мере вопрос формы. Критике тоже необходимо многообразие формы. Нельзя писать статьи на один салтык». С не меньшим негодованием выступал Фадеев и против замалчивания в критике отдельных произведений, говорил, что «в этом есть что-то глубоко неправильное, здесь на версту отдает «побочными соображениями». Мысли о значении марксистско-ленинской критики в искусстве Фадеев устремлял как бы в глубины писательского труда. Он постоянно говорил о том, что развивать правдивую, принципиальную критику важно не только для углубления идейной сущности и совершенствования художественного мастерства, но и для того, чтобы приучить писателей к критической самопроверке. Даже тем писателям, которые не без основания жалуются на несправедливую критику их произведений, часто не хватает критиче-

ской самопроверки. Этому следует поучиться на примерах критического отношения к самим себе, которым в высокой степени обладали великие и вообще многие крупные писатели и художники. (Такое отношение было неотъемлемой чертой и самого Фадеева, он являл нам живой пример самокритичности.) Кроме того, необходимо «максимально развивать критику критиков. Среди наших критических кадров,— писал Фадеев в статье «Задачи литературной теории и критики»,— есть еще «обтекаемые», беспринципные критики, которые часто меняют позиции, не выполняют своего партийного долга по приятельским соображениям.

Мы должны стремиться к созданию нового типа критиков — критиков ленинского типа, бесстрашных, образованных, умеющих быть хозяевами литературного процесса и направлять его».

И как радостно было отметить, что идеи о взыскательности и такте критики, волновавшие Александра Александровича Фадеева, с новой силой прозвучали на XXIV съезде нашей партии. Как же своевременно вышло это собрание сочинений Фадеева, эти семь книг в серых тисненых обложках. Потому я и говорю о своей пристрастности, что за каждой из них для меня стоит живой человек с открытым русским лицом, обрамленным ранней сединой, с лучистым взглядом и обаятельной улыбкой. Я думаю, секрет его бессмертия и заключается в том, что, постоянно держа свою спокойную руку на пульсе современной ему эпохи, Фадеев каким-то особым чутьем угадывал при этом биение завтрашнего дня. Прислушайтесь: песня, оборванная на полуслове, звучит и продолжается сейчас, а недописанные слова ее как бы растворены в нас же самих и ждут своего неизбежного выявления.

Анна КАРАВАЕВА.

★

## ПРОВЕРКА ДЕТСТВОМ

Валентин Берестов. Зимние звезды. Стихи. М. «Детская литература», 1970. 95 стр.

О Валентине Берестове в критике говорят прежде всего как об авторе сказок и стихов для детей. У него есть серьезные успехи в этой области. Достаточно вспомнить его широко известную и неоднократно издававшуюся книжку «Про машину» («Вот

девочка Марина. А вот ее машина»). В книге «Зимние звезды» тоже есть стихи для детей. Правда, некоторые из них, представляющие интерес только для детского чтения и тем не менее не выделенные здесь в особый раздел, посылно способствуют

разрушению общей композиции книги. Но как детские стихи они вполне добротны — веселые, игровые произведения.

Впрочем, за реальными и бесспорными достижениями в этой области иногда проглядывают, не уделяют должного внимания главному в Берестове — тому, что прежде всего это талантливый, умный и, если можно так выразиться, веселый лирический поэт.

«Самый дорогой дар природы,— записал в свою книжку когда-то В. Ключевский,— веселый, насмешливый и добрый ум». Поэт Валентин Берестов, как нам кажется, этим даром наделен весьма щедро. По существу, это и есть отличительная черта его поэзии.

Разумеется, говоря об уме, мы имеем в виду не рассудочность. Тут скорей качество души. В стихах Берестова ум проявляется непосредственно — не в виде сентенций, а в естественном эмоциональном отношении к вещам.

Например, как в стихотворении «Купанье»:

Схватили, разули,  
Раздели тебя без стыда.  
Ты брошен в корыто,  
На темечко льется вода...  
О, ужас и счастье  
Таинственных этих минут,  
Когда тебя в воду бросают,  
И треплют, и мнут.  
А ты хоть не знаешь  
Причины и смысла событий,  
Но веришь в добро,  
Бултыхаясь в гремящем корыте.

Читая это стихотворение, мы улыбаемся. Это почти шутка, здесь почти все не серьезное. Но только «почти». Ведь наша улыбка, радость, которые возникают при чтении этого стихотворения и остаются в душе после него, не тем же только вызваны, что нас забавляет непонятливость ребенка. И дело тут не только в тонком проникновении в душевный мир маленького человека. Дело скорей в мотивах, из-за которых принято это проникновение. Впрочем, как всегда в художественном произведении.

Это стихи о доброте. О той доброте, которую мы не замечаем, но которой мы окружены с детства и без которой немислима жизнь и становление личности. Ребенок явился в мир, в котором должна быть доброта, и уже в младенчестве бессознательно рассчитывает на нее, доверяет ей. И не обманывается. В этих строках нет ни морали, ни вывода. Только улыбка. Но значит

она много. Улыбка относится к тому, что ребенок простых вещей не понимает, но, улыбаясь, мы лишний раз чувствуем, что мы-то понимаем всю значительность этой простоты. Иным она кажется тривиальной, абстрактной. А вот так, пропущенная сквозь призму незамутненного детского восприятия, она обретает живую ошутимость, обретает убедительность пережитого факта. Впрочем, о смысле своего обращения к теме детства поэт хорошо говорит сам:

Любили тебя без особых причин:  
За то, что ты — внук,  
За то, что ты — сын,  
За то, что малыш,  
За то, что растешь,  
За то, что на папу и маму похож.  
И эта любовь до конца твоих дней  
Останется тайной опорой твоей.

Присутствие этой тайной опоры ощущается во всех стихах Берестова. Даже в таких иронических, как «Больничный двор».

...С мокрой клумбы, как запах лекарства,  
Разносился цветов аромат.  
Как хозяин волшебного царства,  
Брел больной, запахнувши халат.  
И мечтал я вот так же одеться,  
В сад явиться, пройтись по нему...  
Человек не завидует в детстве  
Разве только себе самому.

Та же доброта, то же пристальное внимание к душевным движениям ребенка, маленького человека. Раздумье. Стихи о качестве человеческой природы, которое в детстве проявляется рельефней, чем когда-либо, а живет в нас всегда,—неумности, толкающей людей к деятельности и открытиям, ко всему таинственному или прекрасному. И еще о том, что не все недоступное обязательно прекрасно (как иногда кажется не только детям). Но это, конечно, еще и забавные стихи о ребенке, который способен завидовать даже больному в халате. Собственно, только об этом. Остальное просто неизбежно приходит в голову.

У поэта нет ни нужды, ни потребности казаться более значительным, сложным или образованным, чем он есть, и потому, что его внутренний мир на самом деле богат и сложен. И потому, что он просто занят — живет, то есть непрерывно общается с окружающим, осваивает мир, духовно ориентируется в нем. И подробности бытия, на которых останавливается его внимание, для него нечто такое, что открывает сущность, то, за что поэт любит жизнь.

Как мы уже видели, эти детали, эти подробности могут быть самыми заурядными:

Натягиваю новую матроску,  
И поправляет бабушка прическу,  
На папе брюки новые в полоску,  
На маме ненадеванный жакет.  
Братишка в настроении отличном,  
Румян и пахнет мылом земляничным,  
И ждет за послушание конфет.  
Торжественно выносим стулья в сад.  
Фотограф наставляет аппарат.  
Смех на устах. Волнение в груди.  
Молчок. Щелчок И — праздник позади.

Это живое воспоминание, наполненное воздухом, красками, детством. В десяти строках нарастает праздничное ожидание, а в последней, одиннадцатой, что-то шелкает — и праздник мгновенно оказывается в прошлом. Но щелчок этот не только обрывает праздник, он как бы подводит под ним черту, запечатлевает его. Праздником оказывается само ожидание праздника, хотя понятно это стало только потом, сейчас, когда это легкое детское разочарование вспоминается с улыбкой. Теперь-то мы знаем, что жизнь происходит в каждую данную минуту и что самой значительной необязательно оказывается та, на которую мы рассчитываем. Улыбка знания, которую вызывает у нас это стихотворение, и есть поэзия.

Не все стихи Берестова веселы. Органичны для его творчества и такие стихи, как о го́лосе отца:

Отец мой не свистел совсем,  
Совсем не напевал.  
Не то что я, не то что я,  
Когда я с ним бывал.  
Не в полный голос, просто так,  
Не цел он ничего.  
Все говорят, что голос был  
У папы моего.  
Певцом не стал: учил детей,  
В трех войнах воевал...  
Он пел для мамы, для гостей.  
Нет, он не напевал.  
А что мы просто так поем —  
Та-ра да ти-ри-ри,—  
Наверное, звучало в нем,  
Но где-то там, внутри,  
Недаром у него была  
Походка так легка,  
Как будто музыка звала  
Его издавала.

Всего двадцать строк, а перед нами судьба человека, его облик, черты эпохи и многое другое. И авторское отношение к человеку — стихотворение пронизано острым ощущением неповторимости человеческой личности и болью потери, хоть об этом не го-

ворится ни слова. И все это несет легкий, динамический стих — он четок, звонок, обладает тем качеством, которое С. Я. Маршак называл «толковостью».

«Детский» стих способен, оказывается, улавливать и передавать весьма тонкие лирические оттенки.

Надо сказать, Берестов владеет своим «детским» стихом мастерски. Моя попытка по соображениям места не процитировать, а пересказать прозой первые три четверостишия стихотворения ни к чему не привела — пересказ только увеличивал количество слов и затемнял смысл. Оказалось, что в данном случае этот стих — наиболее четкая и экономная организация речи, которая идеально передает не только поэтическую суть, но и простой смысл, сюжет. Берестов в лирической поэзии — таково свойство его индивидуальности — с успехом использует свой опыт детского поэта. Этот звонкий стих совершенно соответствует мироощущению поэта, его потребности и умению видеть все крупно и отчетливо, в разумной взаимосвязи.

Впрочем, есть в этой книге и стихи, написанные вполне «по-взрослому» — с полутонами и многозначительно. Но взглянув на даты под ними, мы понимаем — это «ранний» Берестов. Кажется, что попали они в книжку по недосмотру.

Есть и просчеты в этой книге. Вообще-то стихи Берестова одновременно взволнованы и спокойны. Это проявление чувства и отношения, внутренней работы, которая происходит непрерывно и всегда ищет способа проявиться, ищет повода кристаллизоваться в форму. Может быть, радость, которая живет в лучших его стихах, — это, кроме всего прочего, еще радость найденной формы, то есть возможности высказаться. К сожалению, иногда эта радость бывает преждевременной: форма вроде бы находится, а поэтическая суть остается невыявленной. Таких стихов у Берестова немного — «Последние цветы», «На Оке», «Гаснут звезды», «Человечек», еще несколько. Они мешают. Хотя бы тем, что компрометируют манеру. Рядом с ними (как и с чисто детскими стихами) такие вещи, как «Снегопад», тоже могут кое-кому показаться бессодержательными. Действительно:

День настал.  
И вдруг стемнело.  
Свет зажгли. Глядям в окно.  
Снег ложится белый-белый.  
Отчего же так темно?

Что в этих строчках? Почти ничего. Только какое-то первозданно-свежее ощущение одомашненной, очеловеченной, прирученной и все-таки всегда неожиданной для нас живой природы и ее обыкновенной красоты, удивительности обыкновенных явлений, в конечном счете — жизни!

Талант Берестова на редкость гармоничный. Он пишет и о теневых сторонах жизни, но органичная уверенность в превосходстве добра над злом в нем все-таки всегда сильней:

Зло без добра не сделает и шага  
Хотя бы потому,  
Что вечно выдавать себя за благо  
Приходится ему.  
Добру, пожалуй, больше повезло:  
Не нужно выдавать себя за зло.

Отчасти этой уверенности способствует, по-видимому, и его опыт археолога и историка. Валентин Берестов — участник многих археологических экспедиций, археология и быт археологов занимали и занимают большое место в его творчестве (особенно это касается прозы).

И еще о двух стихотворениях из этой книги. Оба они несколько отличны от тех, о которых уже говорилось. Одно из них относится к роду стихов, в обиходе называемых лирикой.

Полна, как в детстве, каждая минута,  
Часы опять текут неторопливо,  
И сердце переполнено твоим.  
Любовь — замена детства. Потому-то  
Насмешливо, презрительно, ревниво,  
Пугливо смотрит детство на нее.

Даже в таких стихах Берестов сохраняет свою ясность и звонкость, свою графичность, особенно подчеркнутую двумя последними строками. Здесь точное ощущение слова в контексте — качество, которое у Берестова никогда не выпирает. И вместе с тем оно очевидно.

Так вот об этом стихотворении. Все здесь опять-таки проверяется детством. Может показаться, что это не самое чувство, а рассуждение о чувстве. Но это не так. В стихотворении запечатлено состояние. Именно это состояние, эта взволнованность чувства и наталкивает на сравнение его с детством. А сравнение это, в свою очередь, подчеркивает радость и свежесть, о которых говорят первые строки. Сравнение существует для нас только потому, что мы чувствуем, как оно приходит. Между этим

состоянием и мыслью, на которую оно наталкивает, есть тонкое взаимодействие и связь. Лишний раз мы убеждаемся, что поэзия может проявляться в любой манере — будь она только органична для автора. И что она не просто чувство, а то отношение, которое может открыться (а может и не открыться) в конкретном чувстве.

Дымится на бархане костерок.  
Конфеты на расстеленном платке.  
Старик чабан весь в белом, как пророк,  
Один в песках, и пиала в руке.  
Восток, Восток... Какая мысль, мудрец,  
Тебя от одиночества спасет?  
Какая мысль? Ну, скажем, про овец,  
Про тех овец, которых он пасет.

В этом стихотворении нет никаких особых красот и страстей. Это жизнь, это человек, который умеет находить ее смысл в самом простом, почти «скучном». И еще другой человек, который чувствует в этом отношении что-то родственное своему, родственное смыслу поэзии. Такое сложное ощущение «элементарной» сущности поэзии в какой-то степени является лейтмотивом этой книги, безусловно самой значительной книги Берестова. Несмотря на то, что — об этом уже говорилось — стихи для нее могли бы быть отобраны более тщательно.

Нельзя еще не упомянуть и о ее последнем разделе — переводах из бельгийского поэта Мориса Карема. Это очень хорошие переводы и очень хорошие стихи — несколько выбивающиеся из сегодняшней европейской традиции. Карем не боится писать предельно просто. Однако его детские стихи, как не раз бывало, оказывается, имеют серьезное значение и для взрослого читателя. Во всяком случае, такие, как это:

Может быть, морю  
Еще одна капля нужна.  
Может быть, полю  
Нужна еще горстка зерна.  
Может быть, ветру  
Еще одну ласточку надо  
И одного муравья  
Не хватает соседнему саду.  
Всем чего-нибудь мало.  
Чего тебе мало, малыш,  
Когда на руках у мамы  
Ты, как остров на озере, спишь?

Думается, что от дальнейшего сотрудничества этих двух поэтов читатель может ожидать для себя большой пользы, ибо эти поэты — при всех различиях — родственны.

**Н. КОРЖАВИН.**

## МЕРА ОБОБЩЕНИЯ

Виктор Астафьев. Пастух и пастушка. Современная пастораль. «Наш современник», 1971, № 8.

Перед нами один из тех литературных сюжетов, которые, едва приняв читательское внимание на себя, тут же пропускают его дальше, к самым что ни на есть изначальным формулам бытия, в сферу людского «праопыта», где задачи и сложности сегодняшнего мира еще не вышли из стадии первичных «дано». Дан, к примеру, человек среди райских кущ. В них запретный плод. Срывай и надкусывай! Дана земля. Полей ее потом! Стада. Паси! Даны плоские камни. Высекай на них первые заповеди под диктовку самой природы! Перед тобой враждебный иноплеменник. Оборони от него свой очаг и свою женщину! Седая даль времен, детская пора цивилизации, когда исходных ценностей еще не касались ни анализ, ни сомнение... И если читатель в самом деле пройдет предписанный ему путь, а пройдя, соединит, соотнесет ближний план картины с тем, отдаленным, то насколько высок будет уровень единомыслия с художником. И как внушительно звучит авторское слово, отраженное от первичных данностей бытия!

Но пройдет ли путь читатель и отразится ли слово?..

Военные события, о которых рассказано в повести В. Астафьева «Пастух и пастушка», мы наблюдаем с необычной позиции. Впечатление такое, словно автор поместил нас на гигантские качели, то взмывающие к небу, то круто идущие к земле. Скольжение вниз — и перед нами подробности рукопашной схватки в траншее: богатырь старшина, бросающий через себя тощих немцев, «ощеренные лица», снеговая пороша в свете ракет... Мах ввысь — и взгляду открывается усеянное техникой снежное поле, «стволы пушчонок, торчащие из снега, длинные спички петээров. Густо, как невытая картошка, насыпанная на снег... солдатские головы в касках и шапках», машина, которая «болотной лягушкой расшелерилась середь дороги». Быть может, уподоблением солдатских голов картошке, а петээров — спичкам мы обязаны кому-то из персонажей, наблюдающему бой с возвышения? Нет. Участники боя здесь держатся кучно, бьют врага в траншее и ни зги не видят за снежной порошей. Причем взводный Борис Костяев, центральное лицо повести, видит

ничуть не больше других. Все оптические маневры и смещения находятся в прямом ведении автора, который, активно монтируя планы, причащает читателя к обобщенному восприятию фактов (сперва рассмотри вблизи, затем, отдалившись, абстрагируйся от единичного).

Строго говоря, живые подробности (в том числе конкретный ход Корсунь-Шевченковской операции, черты которой, пусть анонимно, присутствуют у В. Астафьева), а равно внутренние законы, так сказать, морфология боя интересуют автора, в первую очередь, как материал, как опорная база для общих построений на тему «Война». Частности, неповторимые приметы фронтового, окопного быта, которые узнаются словно бы сами, без авторских подсказок, конечно, есть на страницах повести, но остаются как бы в стороне от главной линии авторских усилий.

Автор настолько энергично уплотняет материал, что порой реальные пропорции предметов смещаются, свет меркнет и на виду остаются лишь условные обозначения «страшного»: «огромный человек», от которого веяло «лешачьей древностью», летящий на «огненных крыльях к окопу»; «адово столпотворение», «грохот», «аханье гранат», «дым, рев, визг осколков, звериное рычание людей»; «лоскутья боя», которые «проваливались в геенну огненную и во тьму»; люди, которые «сыпались... с разваленными черепами». Впрочем, автору и нужен некий суммарный, концентрированный бой. Даже не бой, а огненный знак войны. И не случайно В. Астафьев не связывает себя точным обозначением места и времени событий. Зима. Жестокие морозы. Наши войска на территории Украины уничтожают окруженную группировку противника. Этим, по существу, исчерпана авторская дань документальности. Привнести украинский колорит доверено двум эпизодическим «хохлушкам», которые, попав в сутолоку войсковых перемещений, стали мишенью соленых солдатских острот. За вычетом этого «колорита» обозначение «Украина» ничем не подкреплено.

Место действия повести по характеру своему как бы транзитно. Среди ее персонажей нет ни одного здешнего, коренного.



И пожалуй, быть не должно. Даже убитые при обстреле старик и старуха, на которых долго и со значением задерживается авторский взгляд, — люди пришлые («приехали сюда с Поволжья»). «Пастух и пастушка» — сказано о них. И судьба этих стариков — кочевая, исконная судьба пастырей и хранителей стад. Сюда, в пекло войны, их затянуло с мирных — всегдашних пастушеских путей. Что же до остальных действующих лиц, то на передний план из общей массы военных выдвинуты два сибиряка — Борис Костяев, комвзвода, и старшина Мохнаков. Первый — потомственный интеллигент, даже с примесью дворянской крови (среди его предков — декабрист Фонвизин), второй (тот самый, что немцев через себя бросал) — кряжистый таежный зверолов. К ним тесно примыкают комбат Филькин, «родом из семиреченских казаков», двое алтайцев-кумовьев, наконец, незадачливый Шкалик, ординарец, живший до войны на Урале.

Широким веером легли на карту страны «мирные адреса» самых заметных персонажей повести. Причем от большинства названных мест — тысячи километров до безымянного хутора, где идет бой. И эти тысячи километров, становясь в общий ряд с «геенной огненной», судьбой убитых стариков и т. д., активно формируют у В. Астафьева единый «образ» войны как некой огромной воронки, вбирающей несметные массы людей и «достающей» до самых дальних пределов.

На сравнительно узком пространстве двух-трех батальных эпизодов успели побыть пехота и эрэсы, танки и кавалерия, рядовые солдаты и командующий фронтом, немцы и русские, врозь и вместе, фантастически перемешавшиеся в горячке боя, даже на какое-то время перезабывшие, где свой, где чужой (когда вдоль окопов ринулся неуправляемый танк). Что это — «голая правда» войны или результат направленной воли прозаика? Пожалуй, последнее.

Как строит В. Астафьев батальный эпизод? Остановимся на одном из примеров... «Из села, что было за оврагами и полем, на плоскую высотку, изрезанную оврагами, помеченную редкими деревцами, высыпала туча народа — не стало видно снега. Из оврагов тоже вываливали и вываливали волна за волною толпы людей и бежали навстречу тем, что прибоем накатывали из села. Между ними сужалось и сужалось бе-

лое пространство. Казалось, саранчю заполнилась земля! С двух сторон, давя саранчу, на всех скоростях шли танки. И вдруг сверкнуло игрушечно, покатилося в клубах снега что-то вихреватое, неужержимое. «Кавалерия!» — ахнул Борис...» Следует несколько строк о переживаниях Бориса, и затем неожиданный «обрыв ленты»: «Закружило, завертело на поле. Снег запылел, поднялся. Дымно от танков было. Ржание коней, рокот танков, людские вопли доносило до хутора. Пехотинцы сначала кричали, ярились, даже рвались к оврагам, но унялись и они». Образные средства, которыми автор пользуется в этой картине, как бы помечены знаком «только для глаза» или «для глаза прежде всего». Что ж, «вид сверху» на поле боя получился впечатляющим. Но не слишком ли назойлива здесь подмена «эмпирического» («солдаты противника», «наша пехота») уравнительно «вечным» («туча народа», «толпы людей»)? И не слишком ли увлекся автор «изобразительностью»? Оставим в стороне беспорядочную толчею таких несовместимых представлений (у Астафьева между ними минимальный интервал), как тучи «саранчи», «клубы снега» и волны «прибоя». Задержим внимание лишь на первом образе. Не исключено, что «саранча» поможет кому-то из читателей увидеть, как же много было пехоты. Но если образ предложен прежде всего глазу, отсюда не следует, что его «работа» не выйдет из намеченных границ. Как-никак «саранча», тем более раздавленная, не только зрительный, но и оценочный знак. И видимо, от автора требовалась осмотрительность при употреблении метафор, способных уравнивать правого с виноватым; во всяком случае, ему не следовало упускать из-под контроля их побочное действие. Но... автор настолько поглощен созданием крупноформатной диорамы, что издержки на этом пути — своего рода плата за увлеченность. Как легко заметить, автор не дает сложиться внутренней логике эпизода: горячее начало, бурное нарастание и... стоп! Словно основное уже позади, нужные «кадры» отсняты, быстро закругляется чуть ли не апокалипсический сюжет, произносятся какие-то случайные, «дикторские» слова насчет пехотинцев, которые сперва «ярились, даже рвались к оврагам, но унялись и они» (кстати, совершенно непонятно «и они», потому что до них вроде никто не «унимался»). Такая поспешность легко объяснима:

главное назначение эпизода — представить в «родовой» чистоте и внятности свой предмет. Предмет — война — здесь резко укрупнен и очищен от связей, а потому вроде бы должен выкладывать сознанию свою бытийную, онтологическую первооснову.

Эту очищенную первооснову В. Астафьев как раз и стремится свести один на один с «родовой», изначальной тягой людей к братскому взаимопониманию: пусть, дескать, сама природа человека возвысит голос против зла. Пожелание понятное. Но не так-то просто различить и записать голос самой природы. С этой задачей справлялся, например, Толстой, умевший сказать все о человеке, включенном в среду, и лишь благодаря такому умению, вернее, с опорой на него открывавший в отдельном человеке и в людском скоплении самые коренные, оберегаемые родом свойства. Иными словами, автор «Пастуха и пастушки» предложил себе задачу, не допускающую сокращенных решений. И предложив, заторопился к ответу.

Выше уже шла речь о склонности В. Астафьева оперировать суммарными обозначениями «ужасного» на войне. Но уплотнению у него подвергаются не только «лоскутья боя». Подвергается пространство, принявшее на себя войска, и напитанный пороховой гарью воздух... Возникает в итоге (или должна возникнуть?) единая грозовая среда, и в самый ее центр, туда, где всего горячее, словно в кратер, погружен маленький кубик человеческого жилья, комнатка-светелка, вся уставленная цветами «в ящичках и старых горшках». Так определяются главные полярности авторского замысла: «геенна» и тьма, с одной стороны, остров тишины и мирного покоя — с другой, вернее, не со «сторон», а в недрах, в дымной утробе «гесны».

Возле Бориса появляется женщина — хозяйка дома, где его взвод определился на постой. Зовут Люсей. Нездешняя. На вопрос: «Безродная, что ли?» — отвечает утвердительно. Но когда-то училась в музыкальной школе, начитанна. Не считая такого рода подробностей, прошлое Люси — в тумане. За туманом опять различными древние пастушеские пути, с которых жаркая тяга войны срывает хранителей стал. Лицо у Люси маленькое, напоминающее при свете печного пламени «лик», «театральные, невзаправдашные глаза», прикрытые «кукольно загнутыми ресницами». «Древние

глаза» — будет сказано о них в конце (попутно отметим, что у В. Астафьева вновь возникает непредусмотренный спор красок, на сей раз «лика» с «кукольными» ресницами). Возле хозяйки, в ее светелке, преображается и Борис. Смыв с себя грязь и пороховую гарь, он предстает перед Люсей русоволосым кучерявым парнем «без единого пятнышка на лице, с безгрешным взглядом». Добавьте к сказанному адамову наготу взводного, прикрытую легким халатиком, на время заменившим казенную одежду, и вы получите второе лицо почти мистериального сюжета, обозначенного на титуле как «современная пастораль».

В одной из прежних повестей, «Звездопад», В. Астафьев рассказал историю любви раненого юноши-солдата к палатной медсестре. История просто и ненавязчиво вырастала из пестрого переплетения вполне осязаемых житейских и душевных обстоятельств, из памятных горько-трогательных реалий отошедшей военной поры. Все свои мотивировки, все смысловое обеспечение она находила поблизости, в кругу прямых и открытых определенностей, не подсаживая, тем более не навязывая читателю никаких многозначительных ассоциаций. Но в истории, как будто не выходящей за пределы «здесь» и «однажды», была та степень внутренней правды случая, когда его границы вроде бы незаметно открываются в сторону всеобщего.

Сюжет «Звездопопада» знает и помнит «про войну и любовь» гораздо больше, чем говорит. Но знание здесь — за фактом, а не впереди и не вне его. В «Пастухе и пастушке» это соотношение перевернуто. Задача рассказать на сей раз отступает перед задачей высказать, произнести емкое и веское слово против жестоких законов войны, в защиту природных прав человека, защищаемых ею. Сам по себе авторский пафос понятен. Но насколько в этом случае должны быть представительны житейские положения, подкрепляющие авторскую мысль! И для нас нет неожиданности в том, что хозяйка дома и взводный любят друг друга как бы обобщенной, собирательной любовью, подчиняющей себе прозаическую логику фактов... Когда влюбленным нужно послушать тишину или стук собственного сердца, звуки военного становища. обступившего дом, умолкают. Когда Борису хочется увидеть ее, лежащую рядом, в их незашторенной комнатке, посреди прифрон-

того хутора, вспыхивает «ослепительно яркий свет лампочки». В паузах между любовными речами над домом пролетают непонятно беспечные бомбовозы с включенными огнями. Эти огни скользят по оконному стеклу, оставляя красивые блики. Такого рода условности и световые эффекты носят откровенно целевой характер и потому лишь отвлекают от главного — человеческих отношений героя и героини. Автор настолько торопится перевести эти отношения в обобщенный план, что их собственная логика попросту не успевает сложиться.

Впрочем, упомянув об авторской воле, мы вынуждены остановиться на одном из ее критических толкований. По мнению Дм. Дажина, рецензировавшего «Пастуха и пастушку» в «Красной звезде» (1971, № 245), В. Астафьев «все свое внимание сосредоточил на бытовом, пресловутом «окопном» восприятии войны». Сказано туманно: «внимание сосредоточил на... восприятии». Чем? Собственном? Но, приняв эту версию, мы увязнем в разрешении загадки: где кончается самосозерцание автора и начинается изображение войны?.. Другой вариант: говоря о «восприятии», рецензент разумеет кругозор героев и особенности их взгляда на происходящее. Но тогда критическая стрела Дм. Дажина прошла мимо цели, ибо автор и герои не одно и то же. Впрочем, не станем распутывать эту логическую петлю и попытаемся понять рецензента в главном... Похоже, что, по мысли Дм. Дажина, Астафьев не сумел возвыситься над «окопной» правдой («все внимание сосредоточил») и скатился к эмпирическому описательству. Проверяем себя и вновь обращаемся к рецензии. Да, вот упрек в «приземлении» «героя и труженика войны», вот неодобрительные слова о чрезмерном внимании к деталям быта... Значит, перед нами случай пусть невольной, но «дегероизации»? Нет, рецензент избегает этого термина. Он говорит сдержаннее: «приземление». Но кто же, собственно, «приземлен»? Борис Костяев — «безгрешный» пастырь по тайному своему призванию? Солдат Ланцов, воспаряющий к метафизическим высям? Как раз осязаемых, земных опор остро недостает характерам «Пастуха и пастушки». Но рецензенту «Красной звезды» и те опоры, что есть, представляются досадным излишеством. Что ж, случай не из самых сложных. Следуя давно устаревшим канонам нормативной критики, рецензент

перепутал «нормы», опрометчиво подверстив «Пастуха и пастушку» к литературе «окопной» правды. Что же касается верности рецензента упомянутым канонам, дело доходит чуть ли не до мистики. Дм. Дажину известен, например, истинный облик Бориса Костяева, и он указывает прозаику на несоответствие портрета «оригиналу»: «Характер главного героя не обрел своего облика, оказался слепком с уже знакомых «молоденьких лейтенантов», лишенных жизненной прочности и достоверности». Сказано вроде красно, только опять непонятно. Если характер оказался «слепком», то как сквозь этот «слепок» рецензенту удалось разглядеть неведомый «свой облик»? И почему лейтенант сразу лишен не только прочности (свойства, которое и впрямь может отсутствовать), но и достоверности (а там, где ее нет, даже «прочность» вряд ли кого утешит)?

Но герой В. Астафьева менее всего похож на «приземленных» и «лишенных...» лейтенантов, ибо и в «окопной» среде он выполняет прежде всего метафизическое задание, груз которого оказывается ему не по силам.

Заметим, что авторское стремление «приподнять» ситуацию временами ослабевает, и тогда по нескольким точным подробностям мы узнаем прежнего, «допасторального» Астафьева. Например, поведение героини убеждает в те моменты, когда в ее отношении к Борису прорываются нотки сердечного «старшинства», материнской снисходительности. Но подробностям, которые «узнаются», сильно вредит соседство с такими, например, феноменами вулканических страстей и сердечных обмираний: «В разрезе халата начинался исток грудей. Живой ручеек катился стремительно вниз и делался потоком, далеко где-то, отдаленное округлостями, таинственно мерцало ясное женское тело. Оттуда ударяло жаром. А рядом было ее лицо с вытянутыми, смятенно бегающими глазами», «Дышать нечем. Все вешее в нем сгорело», «Обжигающий просверк света ударил его по глазам, и он обморочно упал лицом в подушку», «тела их... как бы налитые раскаленным металлом, остывали».

Поневоле спрашиваешь себя, каким образом «раскаленные», «ударяющие жаром» тела проникли в прозу серьезного писателя, до сих пор обходившего соблазны дешевого сочинительства? Простейший ответ:

В. Астафьеву изменил вкус. Но ведь в «Краже», «Звездопаде», «Последнем поклоне» не изменял? Или так не изменял? Да. Только в прежних вещах В. Астафьев шел от взятого материала, постигая и переводя в сюжетную динамику его собственный закон. В новой повести материал заметно урезан в правах. Автору приходится его искусственно «разогреть», доводя до заданной температуры с помощью несложных приемов литературной пиротехники. А в этих условиях не просто сохранить чувство меры и художественный такт.

Прежде В. Астафьев явно предпочитал сдержанность прямым «атакам» на читательское восприятие. Хотя поводов для «атак» было предостаточно. Можно для примера вспомнить эпизод группового припадка контуженных, на которых болезненно подействовало пение студентов, дававших в госпитале концерт («Звездопад»). Случай массовой истерии допускал немало вариантов эффектной драматизации. Но писатель положился на внутренний драматизм факта и лишь очень скупое передал его внешние подробности. Совсем иная картина в «Пастухе и пастушке». Человеческий жест здесь поминутно переходит в конвульсию. Испытывая волнение, конкретные причины которого далеко не всегда различимы, герои «хрипло вслаивают», «порезанно» дергают горлом, «переламываются в пояснице», «подпрыгивают», «пьяно» бегут, «срубленно» падают, «паровозно пыхтят», об одном раненом сказано, что он «кашу и хлеб заглатывал заживо».

В «Пастухе и пастушке» организующая воля автора рассредоточена по многим направлениям, которые зачастую как бы не признают друг друга. Скажем, стремление передать седую древность «пасторальной» коллизии подсказало ему аналогию с кочевьем, не знающим ни кордонов, ни временных рубежей. Совместимо ли с этим другое стремление — сплести узорный орнамент из диалектных речений?.. Однако оно реализуется здесь же. Причем с таким упорством, что строка, фраза нередко выглядят довеском к экзотическому словцу. Страницы повести пестрят архаизированными сочетаниями вроде «заря... остыла сыспотиха», «уловчивое ухо», «глаза в красных прожилках», «смела со стола объедь», «отходил от оморочи». В особый ряд выстраиваются существительные типа «заозерье», «надбровье» («разноцветье»,

«подглазья», «голоземье») и наречия, заменяющие собой сравнения с «как» («резиниво шевелились», «измученно бились», «каменно стучали»). Некогда А. Ремизов, большой любитель стилизованной словесной «вышивки», употребив, например, слово «порошье», счел нужным сопроводить его особым примечанием. И если это не было актом безусловного признания твердых речевых норм, то, по крайней мере, уважительной оглядкой на них. В «Пастухе и пастушке» не заметно даже оглядки — настолько автор увлечен раскраской повествовательной ткани. Еще одно увлечение, еще одна внешняя задача, забравшая, так сказать, вперед смысла.

Повесть «Пастух и пастушка» уже получила и восторженную оценку (см. «Литературную газету» № 37 за 1971 год): «...В. Астафьев предстает во всей зрелости писательского мастерства: удивительная емкость письма и композиционное совершенство позволяют ему на немногих страницах повести уложить материал романа...» Как ни странно, родиться этому дифирамбу не помешали ни памятная нам саранча на снегу, ни вслаивающий старшина, ни всплески знойных страстей.

Но отдельного возражения заслуживают слова рецензента о «материале романа». Растяжению до романых пределов история «пастуха и пастушки» не поддается. Ее и средний эпический формат принимает с усилием. Самой природе эпоса чужды фиксированные положения, которые чуть ли не волоком протягиваются по его путям. Дабы стать эпической, ситуация должна быть способна к саморазвитию. И бесполезно искать зерно романа там, где, строго говоря, господствует эстетика фрески, хотя и предлагающей компромисс традиционным формам эпоса.

Рассказ о событиях военных дней обрамлен у В. Астафьева величаво-скорбной картиной: постаревшая героиня повести горестно припала к могиле, куда более четверти века назад опустили тело Бориса Костяева. Впрочем, имена и обстоятельства мы подставляем сами. Женская фигура над могилой здесь почти олицетворение, немой знак памяти и скорби. И вместе как бы знак высоты авторского взгляда на единичное. Но подход к единичному с готовой меркой «всеобщности» оказался затруднен. Материал потребовал внимания к своим правам

и воспротивился волевым действиям автора.

Итак, повествование с объявленной высотой обзора людских дел и судеб... Если прежний опыт В. Астафьева едва ли обещал «Пастуха и пастушку», отсюда не следует, что у этой повести нет своего литературного ряда. За последние годы появилось немало литературных, сценических, экранных созданий, как бы приподнятых над реальностью с помощью настойчивых реминисценций из языческой, христианской мифологии или показательных переключек с ми-

ровой классикой. «Всечеловечность» и «межэпохальность» становятся чем-то вроде эстетической моды. Если «всечеловечность» брать без кавычек, то это свойство самых высоких образцов искусства. Но свойство почти всегда производное, возникающее на базе очень крепкой образной «эмпирики», питаемое поэтическим, гражданственным одушевлением художника. Специальному культивированию оно вряд ли поддается.

**В. КАМЯНОВ.**

★

## ВСТРЕЧА С РИЛЬКЕ

**Р. М. Рильке. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М. «Искусство». 1971. 455 стр.**

**В** наши представления о европейской поэзии Райнер Мария Рильке вошел с большим опозданием. Один из великих поэтов начала века, к тому же глубоко любивший Россию и почитавший ее своей родиной, Рильке, как это ни удивительно, именно в России оставался на протяжении десятилетий почти в полной неизвестности. Лишь в последние годы состоялось знакомство нашего читателя с его лирикой: вышел сборник стихов, появилось и несколько журнальных публикаций. Но знакомство это пока еще поверхностно, поскольку отдельные подборки были слишком фрагментарными, а переводы не всегда удачными. Главного же — представления о Рильке как о выдающемся, сложном и самобытном явлении европейского искусства — у нас не было. Вышедший в издательстве «Искусство» однотомник произведений Рильке — серьезная попытка приобщить наследие австрийского поэта к отечественной культуре. Попытка, обретающая в данном случае особый, символический смысл: Рильке, побывавший в России дважды — в 1899 и 1900 годах, — по прошествии более полувека вновь встречается со страной, к которой его влекло всю жизнь и которой он был столь многим обязан. Надо надеяться, что новая встреча поможет нашему читателю лучше узнать Рильке и глубже проникнуть в сложный мир его искусства.

Перед составителями сборника стояла непростая задача: в сравнительно небольшой по объему книге показать Рильке в полный рост, во всем величии и трагизме его творчества, во всей противоречивости его взаи-

моотношений со своим временем, в напряженной динамике его исканий. В основном (о некоторых досадных частностях, к сожалению, еще придется упомянуть) эта трудная задача решена благодаря счастливо найденной сквозной теме книги, прочно связывающей воедино разные по жанру произведения поэта, — теме искусства.

Конечно, и в пределах этой темы возможности выбора практически необозримы: прямо либо косвенно все творчество Рильке сопряжено с проблемами искусства. Ибо самому Рильке искусство давалось трудно. Непринужденные и естественные, будто сами собой возникшие его творения — результат ожесточенных борений с самим собой, страданий и сомнений духа, страстно жаждущего истины. Эпоха, когда поэт жил и стремился себя выразить, вторгалась в его сознание событиями слишком значительными, слишком важными, полными драматизма и властно требовавшими осмысления. Вожделенная ясность не приходила, смысл собственного призвания оставался скрытым, проблема миссии поэта в этом все усложнявшемся и выдвигавшем все новые вопросы мире оставалась нерешенной. Рильке всю жизнь провел в поисках ответа на мучительный вопрос о сущности и назначении искусства, обращаясь за помощью и советом к опыту современников и предшественников, вдумчиво вникая в произведения, подчас абсолютно несовместные. Проследить историю этих обращений, постигнуть их смысл значит во многом повторить сложный путь становления самого поэта. Очевидно, именно этой целью зада-

лись составители книги, и итоги их труда, бесспорно, заслуживают самых добрых слов.

Как уже говорилось, Рильке был восторженным почитателем России. Страна Толстого и Достоевского была воспринята им вдохновенно-односторонне — как антипод иссушающему рационализму, европейской буржуазной цивилизации, ее унизирующему «здравому смыслу», ее суетной озабоченности, бездуховности ее прогресса. В бескрайних русских даях, навсегда поразивших его воображение, в величавом спокойствии русской природы поэт как бы впервые ощутил глубинные, непреходящие силы жизни. Здесь, как казалось Рильке, он обрел истинное видение мира, истинное отношение к людям. Россия оказала на его творчество сильнейшее воздействие. От первых импрессионистических стихов, в которых поэтизируется отчужденность и одиночество, Рильке приходит к вдохновенной и волнующей лирике «Часослова» с ее страстным пафосом первооткрытия, удивительной смелостью в сочетании предметного и абстрактного, временного и вечного, быденного и возвышенного. В «Часослове» поэзия Рильке впервые звучит в полный голос, свободно и раскованно, выходя на широкие просторы философского осмысления бытия.

В рецензируемом сборнике русской теме в творчестве Рильке уделено много места: опубликована богатая фактическим материалом, отчасти ранее совершенно неизвестным, работа К. Азадовского и Л. Чертова «Русские встречи Рильке», помещены письма и многочисленные высказывания поэта, его статья о русском искусстве и даже стихи, которые Рильке пробовал слагать по-русски. Все это вполне оправданно: к становлению поэзии Рильке Россия имеет кровное касательство. Но вот для стихотворений, навеянных русскими впечатлениями, в книге, как ни странно, места не нашлось. Исключением явился лишь знаменитый «русский сонет», одно из поздних произведений поэта, да и то он только процитирован в предисловии, а в основной корпус книги не вошел. Обидное упущение: для читателя, не знакомого хотя бы фрагментарно с первыми частями «Часослова», вдохновенная восторженность Рильке в оценке России, русского человека и русского искусства может показаться ничем не оправданной.

В поэзии Рильке с ранних строк доминирует щемящее чувство одиночества челове-

ка перед лицом капиталистической цивилизации. Робкое и беззащитное поначалу, чувство это уже в «Часослове» перерастает в суровый и гневный протест. Урбанистические образы у Рильке становятся теперь почти сплошь трагичными. Европейский город вызывает у него отвращение и жалость, ему мерзостна суетная и торопливая деятельность, у которой одна только цель — обогащение и неизбежный результат которой — нравственное унижение человека, его духовное оскудение. Тема искусства занимает в его мыслях все более заметное и важное место, в искусстве, в бескорыстном акте творчества видится возражение предпринимательскому духу времени, видится надежда на гармоническое ощущение целостности, утраченное человеком XX столетия.

Отсюда проистекает и все более напряженный интерес Рильке к традициям европейской культуры, к произведениям искусства, к труду художника. Рильке не столько учился на произведениях великих мастеров, сколько искал в них себя, искал подтверждения своего отношения к искусству и действительности. Вот почему в сферу его суждений попадают иной раз величины совершенно несоизмеримые: основательно забытая группа художников «Ворпсведе» — и Рембрандт, даже в России мало известный поэт Дрожжин — и Лермонтов. Да и среди великих прозаиков, поэтов, ваятелей, живописцев — сколь разные его притягивали: Толстой и Достоевский, Бодлер и Флобер, Роден и Пикассо... Но о ком бы из художников Рильке ни писал, всегда в его размышлениях чувствуется желание соотнести чужое искусство с собственным, найти точки соприкосновения, уловить близкие самому поэту темы, мотивы и настроения.

Проникновенные суждения Рильке об искусстве объединяются одной, для поэта чрезвычайно важной, мыслью: истинный художник творит не красоту, но самую жизнь, действительность. Дело его рук, умения и таланта становится по завершении непреложным фактом бытия, зримым и осязаемым, реальностью очевидной и более подлинной, чем окружающий мир, несвободный от случайного и недолжного. Ярким подтверждением этого тезиса было для Рильке искусство Родена, влияние которого он испытывал на протяжении многих лет. Поэт, которому посчастливилось видеть, как под сильными и трудолюбивыми руками скульптора рождалась неопровержимая реальность искусства, запечатлел в книге о

Родене идеал художника — неутомимого искателя, умеющего и ждать в герпеливом созерцании, и страстно, до самоистязания работать, глубоко чувствовать и вдохновенно воплощать, властно брать от жизни и щедро ее раздаривать, умеющего обрести в своем труде не только красоту, но и истину. Экспрессия и откровенная трагичность Родена были ему и близки, и трудны, и родовенны, и непосильны.

Книга Рильке о Родене — удивительное произведение. Возникшее в страстном и драматическом столкновении двух могучих художественных натур, оно дает одновременно и глубокое истолкование творчества скульптора, и наиболее контрастно обнаруживает сущность эстетических взглядов поэта. Однако такое счастливое совпадение разных художественных миров случалось не всегда. Иной раз, как это отчетливо видно на примере писем о Сезанне, идеальный образ искажал действительность, как бы приспособляя ее к заранее заготовленной форме.

Видя задачу художника в постижении подлинного смысла бытия, Рильке, однако, все с большей горечью убеждался в том, что между высшей реальностью искусства и жестокой реальностью XX века — непреодолимый разлад. Для него не существовало вопроса, какой из миров — поэзии или действительности — считать истинным. Его стих, словно соперничая с эмпирической данностью, становится более полновесным, он теперь насыщен тяжелой вещественностью монументальных и пластичных, по сути — скульптурных роденовских образов. В «Часослове» преобладало лирическое начало, в «Новых стихотворениях» все подчинено задачам изображения, здесь все силы поэта направлены на то, чтобы в слове создать, «изваять» зримую, осязаемую реальность предмета. Однако в «Новых стихотворениях» объекты изображения важны не сами по себе, а как факты человеческого опыта, как результаты освоения мира — сознанием. Вещь, не просвеченная человеческим восприятием, не претворенная мыслью, не схваченная чувствами, не воссозданная воображением, для Рильке мертва, вернее, она вовсе не существует. Лишь познанная вещь обретает право на жизнь, становится той самой реальностью, которую и должно воплощать искусство.

Период 1902—1910 годов — самый важный в становлении Рильке. Именно этот период представлен в книге особенно удачно.

Монография о Родене в сочетании с подборкой писем Рильке хорошо дополняется переводами из «Новых стихотворений». Сущность понимания искусства у Рильке точно раскрыта и в соответствующих разделах вступительной статьи, и в интересном эссе переводчика В. Микушевича.

Этого, к сожалению, нельзя сказать о той части сборника, которая посвящена позднему творчеству поэта. Впрочем, выборочный характер книги заранее предопределил здесь неизбежность потерь. Вершинные произведения Рильке, «Дуинские элегии» и «Сонеты к Орфею», с их чрезвычайно сложной образной системой и предельно опосредствованным отношением к действительности, являют собой трагическое сочетание глубокой отчужденности от мира и тяготение к духовной общности, мучительного стремления и сознания полной невозможности преодолеть крайнюю субъективность. Эти циклы образуют настолько замкнутое единство, что нуждаются в отдельном, тщательно прокомментированном издании и в подробном специальном анализе. (Кстати говоря, отсутствие комментария — существенный недостаток книги.)

Новому сборнику произведений Рильке предпослана интересная вступительная статья И. Д. Рожанского — первое в нашей литературе столь обширное исследование творчества австрийского поэта. Высоко оценивая гуманистическое содержание искусства Рильке, прослеживая сложную историю его художественных исканий, верно характеризует основные этапы его эволюции, автор помогает понять подлинные масштабы творчества Рильке, поэзия которого наряду с поэзией Блока, Верхарна и Аполлинера являет собою один из шедевров европейского искусства начала века. Правда, не все аналогии и связи между творчеством Рильке и современным ему искусством выглядят убедительно. В частности, вызывает сомнения гипотеза о воздействии прозы Рильке на Кафку. Упрощенно толкуется и проблема отношения поэта ко всякого рода «измам». Автор, к сожалению, не всегда добивается и точности стилистических решений, из-за чего живая связь с объектом исследования порой ослабевает.

Нельзя обойти молчанием работу переводчиков нового сборника, ибо проблема перевода прозы и лирики Рильке, вставшая перед отечественной культурой еще в начале сто-

летия, решалась долго, в муках и до недавнего времени все же безуспешно. Превосходные, но, увы, немногочисленные переводы Цветаевой и Пастернака были, к сожалению, лишь счастливыми эпизодами на безрадостном общем фоне. Рецензируемая книга свидетельствует о том, что процесс освоения Рильке нашей переводческой культурой вступил наконец в новую качественную стадию. Говорить о совершенно удовлетворительном решении проблемы пока еще рано, но успехи Г. Ратгауза («Письма о Сезанне») и В. Микушевича («Огюст Роден») в переводах прозы несомненны, а переводы из «Новых стихотворений» — просто большая победа К. Богатырева, сумевшего в большинстве случаев добиться по существу адекватного воссоздания поэтических особенностей подлинника. Отдельные переводы В. Микушевича, особенно стихотворения о Франциске Ассизском и «русского сонета», тоже выполнены прекрасно, но в целом работа этого талантливого переводчика вызы-

вает противоречивые чувства. Энергичный и экспрессивный, временами чересчур резкий для Рильке стих В. Микушевича не только слишком далеко отходит порой от оригинала, но иногда (как, например, в элегии, посвященной Марине Цветаевой) весьма произвольно толкует его суть.

Книга знакомит нашего читателя в основном с прозой Рильке, стихам же в ней отведена подчиненная роль: они служат как бы иллюстрацией творческой эволюции поэта. Сейчас, когда новый сборник Рильке позволил нам приблизиться к его творчеству и по достоинству оценить его размышления об искусстве, и поныне вполне актуальные, без труда угадывается желание, которое, очевидно, возникнет у многих: взять в руки объемистый том переводов лирики Рильке и вновь углубиться в чтение. Но такой книги у нас все еще нет. А необходимость ее издания давно назрела.

**М. РУДНИЦКИЙ.**

★

### Политика и наука

## ОГОНЬ, А НЕ ПЕПЕЛ

**Генрих Волков. У колыбели науки. М. «Молодая гвардия». 1971. 224 стр.**

Генрих Волков известен советским читателям как исследователь актуальных, злободневных философских проблем современности. Мы помним работы Волкова «Эра роботов или эра человека?»<sup>1</sup>, «Наука и общество», «Социология науки», «Рождение гения». Пользуясь модной ныне на Западе терминологией, Г. Волков выступал как «социальный инженер», исследующий судьбы человечества в наш век научно-технического и социального прогресса. «Машина с большой буквы» и человек... С какой буквы писать человека? «Автоматизация», — отвечал на этот вопрос Г. Волков, — подобно языку в притче Эзопа, может быть «наилучшей и наихудшей из вещей». Все зависит от того, в чьих руках находятся средства и орудия производства, кому они принадлежат... Может быть, эта концепция покажется банальной читателям. Но не нужно забывать, что именно на этих позициях идет ожесточенная идеологическая борьба. Исследуя современные буржуазные теории

и практический опыт, автор убедительно доказал, что в условиях развитого капиталистического общества эта проблема решается достаточно просто и однозначно: «машина» пишется с маленькой буквы, «Человек» — с большой...

И вдруг исследователь современности Г. Волков обращается к античной философской мысли.

«Античная наука, — пишет Г. Волков, — не мертвая ученость, имеющая только исторический интерес; мне представлялось важным и интересным показать, как идеи древних продолжают свою жизнь — в развитой и модифицированной форме — в науке XX века, как они оживают в современных научных теориях».

Итак, античная философия и проблемы современной научно-технической революции. Какая связь между ними?

Мы стоим на пороге больших социальных и научно-технических перемен, отмечает Г. Волков, когда философия будет играть все более яркую роль в регулировании общественных отношений и совершенствовании биологической и социальной природы

<sup>1</sup> Журнальный вариант книги «Эра роботов или эра человека?» опубликован в «Новом мире», 1963, № 9. (Прим. ред.)



самого человека. «И тот факт, что начинающийся ныне этап развития науки предстает в качестве антипода предшествующему периоду, побуждает нас с особым интересом взглянуть на античную мысль, которая ведь тоже антипод технизированной науки, хотя и с другого исторического конца».

Философ Г. Волков выделяет в современной науке две особенности: с одной стороны, наука обновляет технику, помогает создавать материальные блага, с другой (это не менее важно) — обогащает человека интеллектуально, развивает его творческие способности (в равной степени это присуще и естественным и гуманитарным областям знаний).

Автор категоричен (и, вероятно, справедливо): человек не может достичь творческих успехов ни в одной конкретной области, игнорируя философию и искусство, не овладев культурой мышления.

Греческие философы, жившие за несколько веков до нашей эры, и сейчас способны помочь в этом нашим современникам...

И снова вопросы... Почему именно греки?.. Почему в древней Греции возник поистине взрывчатый каскад идей, мыслей, теорий?

На протяжении столетий «греческое чудо» волнует ученых. Проблема остается открытой, и Волков не претендует на последнее слово.

Наивны суждения греческих мудрецов, искателей истины, об основах мироздания. Вода, воздух, огонь, атомы и пустота... Но загадка Фалеса, с которого начинается философская родословная греков, — «что есть самое-самое», не решена и до сих пор. Современная физика открывает новые элементарные частицы, ведет поиски единой теории поля. И до сих пор «любимый современный учейный-естественник, особенно каждый физик-теоретик, глубоко убежден, что его работы теснейшим образом переплетаются с философией и что без серьезного знания философской литературы это будет работа впустую».

Цитата из книги Волкова «У колыбели науки». Но принадлежат эти слова не философу Генриху Волкову, а физику Максиму Борну. И еще одно высказывание Борна: «Наше поколение как раз собирает урожай, посеянный греческими атомистами».

Так тянется ниточка из древности в современность.

Картина космоса, созданная Анакси-

мандром две с половиной тысячи лет назад: «Из беспредельной природы рождаются все небеса и все миры в них... И эти миры... то разрушаются, то снова рождаются, причем каждый [из них] существует в течение возможного для него времени».

Картина эта, конечно, изменилась, «но в сущности своей», — отмечает автор, — вполне согласуется с научными взглядами на мироздание XX века».

Однако пока что все это приятная констатация фактов, достаточно уже известных. И Волков стремится уйти дальше: где тот таинственный ключ, который открыл древнейшим мыслителям ворота мудрости? И как этот ключ помогает современным философам и естествоиспытателям расширять и углублять научные представления об окружающем мире? Генрих Волков ведет свой рассказ о греческих философах на фоне современных достижений науки, ссылаясь на новейшие теории в области отечественной и зарубежной научной мысли.

Автор снисходителен к читателю. Дабы не утомить его философскими сложностями, он чередует серьезные размышления с забавными анекдотами из жизни его героев. Мы узнаем, к примеру: жена Сократа Ксантиса, «обесмертившая имя свое несравненной сварливостью, не уставала осыпать мужа бранью за то, что он пренебрегает хозяйством и заботами об увеличении достатка в семье во имя «пустословия». Когда вслед за руганью на лысину Сократа выливалось ведро помоев, он, добродушно посмеиваясь, говорил собеседникам, что этого следовало ожидать, ведь за громом обычно следует дождь».

Но позвольте: не очень приятно видеть, как интеллигентный человек от души хохочет, когда на арене цирка два коверных бутузят друг друга кулаками. Пристало ли серьезно ученому в серьезной работе вспоминать о сварливой Ксантисе, и без того обесмертившей свое имя?

Волков ироничен.

Как ироничен сам Сократ. И это помогает автору проникнуть в его мировоззрение, систему мышления, анализа наблюдений, приведших к изумительной по своей простоте и мудрости концепции: «Я знаю только то, что ничего не знаю».

Генрих Волков несколько увлекся личностью Сократа. За убийственной иронией философа стояли глубоко идеалистические концепции. отрицание возможности познать окружающий мир.

Впрочем, можно ли вообще оценивать теорию Сократа и его предшественников с помощью тех критериев, которые применяются ныне для разделения философов нового времени на школы и направления? «Не слишком ли расточительно относимся мы к материалистическому наследству, отписывая идеализму целиком школы и направления античной мысли, сыгравшие огромную роль в развитии всей последующей науки?» Вот вопрос, который волнует Генриха Волкова. Он не хочет втискивать античную философию в прокрустово ложе современной терминологии, современных представлений о духе и материи.

Интересная концепция? Несомненно. Спорная? Безусловно. Но именно этим и привлекательна книга «У колыбели науки».

Автор убедительно доказывает целесообразность и даже необходимость исследования античной философии, к которой обращались на разных этапах истории все великие мыслители, обращаются и в наши дни. Античную философию вполне справедливо называли наукой всех наук. Именно в ней, по выражению Энгельса, были заложены в зародыше все позднейшие типы мировоззрений.

Сегодня роль философии иная. Будучи наукой о наиболее общих законах природы, общества и человеческого мышления, она обрела свой предмет, свои цели и задачи. Однако античная философия неожиданно наполнилась новым, самостоятельным значением, новым смыслом. Когда мощный напор так называемой «массовой культуры» создает опасность нивелировки личности и

всеобщего конформизма, греческие мудры из глубины веков учат современного человека мыслить самостоятельно, смело, своеобразно, нестереотипно. Эпиграфом к своей работе Генрих Волков поставил слова Жана Жореса: «Взять из прошлого огонь, а не пепел». И автор не хочет ворошить идеалистический пепел философии древних, а пытается отыскать в этом учении еще живые язычки пламени.

По мнению автора, это пламя должно разгореться очень ярко на новом этапе развития науки, которая будет антиподом технической науки — вы помните? — «с другого исторического конца». Все большее обращение современных ученых к проблемам человеческой природы (гуманизация науки, как называют этот процесс некоторые теоретики), возникновение новых отраслей знаний на стыке старых, могучие созидательные и разрушительные возможности «электронного века», способного привести человечество к процветанию или обречь его на гибель, требуют от ученого любой специальности широкого философского кругозора, чувства высокой гражданской ответственности за дело своих рук.

Генрих Волков исследует древнюю греческую философию с позиций современного эрудированного специалиста, знакомого с новейшими открытиями физики и работами социологов. Автор удачно сочетает талант исследователя с талантом публициста. И потому его книга представляет интерес и для широкого читателя, и для специалистов.

Т. ХАЖИЛОВА.



## СОЛДАТ-КОММУНИСТ О «СТРАННОЙ ВОЙНЕ»

Фернан Гренье. Дневник «странной войны». Сентябрь 1939 — июль 1940.  
Перевод с французского. М. «Прогресс». 1971. 261 стр.

Когда в октябре 1939 года французский журналист Ролан Доржелес опубликовал очерк под заголовком «Странная война», вряд ли он предполагал, что названию этому суждено прочно войти в историю. И действительно, не странна ли война, в ходе которой противники (с одной стороны, Англия и Франция, с другой — гитлеровская Германия) с сентября 1939 по апрель 1940 года не сделали почти ни одного выстрела? Война, на протяжении которой «воюющие» стороны неоднократно прямо и косвенно заверяли друг друга в отсутствии

агрессивных намерений и желании урегулировать конфликт, возникший из-за Польши? Как совместить с состоянием войны хотя бы тот факт, что только в декабре 1939 года из Франции в Германию было вывезено около 20 тысяч тонн железной руды?

Что же это такое? Марксистский анализ начального этапа второй мировой войны был дан тогда же, в 1939 году, Коминтерном, который определил ее как войну, порожденную противоречиями между двумя группами империалистических держав.

«Эта война есть продолжение многолетней империалистической тяжбы в лагере капитализма... Таков подлинный смысл этой войны, войны несправедливой, реакционной, империалистической», — говорилось в воззвании исполкома Коминтерна.

С тех пор прошло уже более тридцати лет, но все эти годы реакционная буржуазная историография пытается опровергнуть этот тезис и намеренно фальсифицирует роль СССР и Коминтерна в начальный период второй мировой войны. Марксистская историческая наука постоянно разоблачает подобные попытки. Написаны десятки и десятки томов исследований на эту тему, и сейчас уже трудно найти какие-то новые неизвестные источники.

Последняя книга Фернана Гренья<sup>1</sup>, видного деятеля Французской коммунистической партии, освещающая события «странной войны», вне всякого сомнения, представляет значительное произведение марксистской историографии второй мировой войны. Речь идет не об историческом исследовании и даже не о воспоминаниях, написанных, как это часто бывает, с позиций сегодняшнего дня. Это дневник коммуниста, мобилизованного во французскую армию, где он находился с сентября 1939 по июль 1940 года. День за днем освещается в нем один из сложнейших и интереснейших периодов в истории Франции. В строгой документальности — главная ценность книги.

Начало войны застает автора книги в Советском Союзе, в составе группы французских и бельгийских туристов. Ф. Гренья описывает реакцию его компаньонов, людей самых разных политических воззрений, на заключение советско-германского договора о ненападении 23 августа 1939 года.

5 сентября Гренья уже в Париже, где он сразу же сталкивается с антисоветской и антикоммунистической истерией, поднятой правительством Даладье после 23 августа. В парижском отделении общества «Друзья СССР» он узнает от консьержа, что секретарь отделения Гастон Обер арестован за выпуск листовок, разъясняющих мотивы заключения советско-германского договора о ненападении, и приговорен к тринадцати месяцам тюрьмы. Одновременно с ним посажена в тюрьму шестидесятивосьмилетняя

женщина, у которой нашли одну из листовок ФКП.

26 сентября 1939 года правительственным декретом запрещается Французская коммунистическая партия и закрываются ее печатные органы; в октябре правительство Даладье выдает ордера на арест депутатов-коммунистов, не мобилизованных в армию, и распускает рабочие профсоюзы; в ноябре принимается «Декрет о подозрительных», давший право властям без суда и следствия направлять «неблагонадежного» в концентрационный лагерь; в январе 1940 года аннулируются мандаты депутатов-коммунистов; в марте и апреле над ними проводятся закрытые судебные процессы; 9 апреля реакция добивается введения смертной казни за «коммунистическую пропаганду».

В марте 1940 года, подводя итог антикоммунистическим репрессиям, министр внутренних дел публикует следующую «оперативную сводку»: «Мандаты коммунистических депутатов аннулированы. 300 коммунистических муниципалитетов распушены. В общей сложности 2778 коммунистических избранных лишены своих полномочий. Закрыты две ежедневные газеты — «Юманите»... и «Се суар»... а также 159 других изданий. Распушено 620 профессиональных союзов, произведено 11 тысяч обысков, отдано распоряжение о ликвидации 675 политических организаций коммунистического направления.

Организованы облавы на активистов компартии, 7 марта их было арестовано 3400. Большое число людей интернировано в концентрационных лагерях. Вынесено 8 тысяч приговоров деятелям коммунистической партии».

Коммунисты подвергались в тюрьмах пыткам и избениям. Гренья приводит ставший известным факт шестичасового избияния хлыстом из бычьих жил двадцатилетнего коммуниста Пьера Жоржа. Палачи требовали от него отречения от своей партии. Автор не скрывает, что факты отречения от ФКП имели место. Десятки и сотни людей, слабых духом или не сумевших разобраться в сложной обстановке, дезертировали из партии, а отдельные из них даже приняли участие в антикоммунистической кампании.

Сейчас Гренья склонен дифференцированно подходить к поведению некоторых своих бывших товарищей, пытается найти объяснение для каждого из известных ему фактов отступничества. Но тогда, в обстановке

<sup>1</sup> В Советском Союзе издано три книги Ф. Гренья: «Вот как это было» (1960), «Герои Штетобриана» (1962), «Советский Союз в ритме эпохи» (1968).

ожесточенной борьбы, каждый такой факт был ударом по партии, чего нельзя простить бывшим ее членам,— таково мнение автора.

Организуя травлю коммунистов, правительство проявляло поистине завидное спокойствие в отношении возможного гитлеровского наступления. «Такое впечатленье,— говорил Гренье один из товарищей по полку, весьма далекий от ФКП,— будто они (правительство.— П. Ч.) собираются воевать не против Гитлера, а против коммунистов...»

Так оно и было в действительности. Правительство соглашателей, поощрявших Гитлера на агрессию против СССР, отдавших ему на откуп Австрию и Чехословакию и вынужденное объявить Германии войну, когда та напала на Польшу, оно и после этого не переставало мечтать о сколачивании единого фронта империалистических держав против Советского Союза. Эти планы получили особенно бурное развитие в ходе советско-финской войны. Надо сказать, писал по этому поводу в своих мемуарах генерал де Голль, что некоторые круги больше были «озабочены тем, как нанести удар России — оказанием ли помощи Финляндии, бомбардировкой ли Баку или высадкой в Стамбуле, чем вопросом о том, каким образом справиться с Германией»<sup>2</sup>. К сказанному можно лишь добавить, что французское командование 16 января 1940 года завершило разработку плана высадки 150-тысячного экспедиционного корпуса союзных войск в Петсамо для оказания помощи белофинской армии. Одновременно в Сирии была сконцентрирована 150-тысячная французская армия для нападения на Советский Союз в районе Кавказа.

Французское и английское правительства предоставляли Финляндии значительную военную помощь. Согласно официальным данным, союзники предоставили Финляндии 405 самолетов, 916 артиллерийских орудий, 2300 тысяч снарядов, 5 тысяч ручных и 124 станковых пулемета, 150 противотанковых ружей, 450 тысяч гранат, 1050 морских мин, 10 тысяч противотанковых мин, 50—60 миллионов боевых патронов. А в это же самое время полк, в котором служил Ф. Гренье, был вооружен винтовками образца 1886 года с восемьюдесятью патронами на солдата.

<sup>2</sup> Шарль де Голль. Военные мемуары. Призыв 1940—1942 гг. М. Издательство иностранной литературы 1957, стр. 61.

Антисоветская подоплека столь «трагической» заботы о Финляндии еще более очевидна перед фактическим безразличием правящих кругов Третьей республики к трагической судьбе Польши, которой они практически не оказали никакой военной поддержки осенью 1939 года, хотя имели все возможности, а главное — основания для этого.

На Нюрнбергском процессе генерал Йодль, бывший начальник штаба оперативного руководства вооруженных сил гитлеровской Германии, признал, что «если мы еще в 1939 году не потерпели поражения, то это только потому, что примерно 110 французских и английских дивизий, стоявших во время нашей войны с Польшей на западе против 23 германских дивизий, оставались совершенно бездейственными». Все факты говорят о том, что руководители Франции и Англии фактически предали Польшу в 1939 году.

Эскалация политики соглашательства и умиротворения агрессора, по пути которой шли французские правящие круги вместе с руководителями других «демократических» государств, в конечном счете завершилась предательством собственной страны и своего народа в июне 1940 года.

ФКП еще в 1933 года предупреждала об опасных последствиях прихода к власти в Германии нацистов. Не радикалы и социалисты, сменявшие друг друга у руля Третьей республики, а коммунисты действительно боролись против соглашательской мюнхенской политики, в защиту национальных интересов Франции и дела мира. Ни одна политическая партия во Франции не боролась так страстно и настойчиво против подготовки второй мировой войны, как ФКП, а когда эта война все же была развязана, то компартия решительно осудила ее империалистический характер. Вместе с тем ФКП поставила задачу превращения войны империалистической в войну антифашистскую. На практике это означало прежде всего необходимость отстранения от власти министров-мюнхенцев, ответственных за развязывание войны.

Еще 25 августа 1939 года «Юманите» опубликовала заявление ФКП, в котором отмечалось, что «в подлинной борьбе против фашистского агрессора коммунистическая партия продолжает занимать место в первых рядах». Не удивительно, что буржуазные авторы предпочитают не вспоминать об этом заявлении ФКП.

Реакция, стоявшая тогда у власти, сделала все, чтобы превратить войну с Гитлером в войну с компартией. Надо ли говорить о беспримерных трудностях, с которыми сталкивалась ФКП на всем протяжении «странной войны». Особенно тяжело приходилось коммунистам, которые, подобно автору дневника, находились в армии и были лишены возможности получать правдивую информацию о происходящем. Гренье не скрывает, что и у него были минуты слабости и даже депрессии. Но непоколебимая вера в правильность тактики ФКП и в неизбежность победы над фашизмом вдохновляла тысячи солдат-коммунистов. Она помогала им выстоять в условиях жесточайших антикоммунистических репрессий, шантажа и провокаций.

Не избежал шантажа и Гренье.

20 февраля 1940 года он неожиданно был вызван к командиру полка. Там его ожидали представители полиции, потребовавшие от него осудить советско-германский договор как «союз Сталина и Гитлера». Гренье дал решительный отпор этой попытке, ответив, что «Сталин не заключал союз с Гитлером, а Советский Союз подписал договор о ненападении с Германией. Это отнюдь не одно и то же». «Мои собеседники,— записал вечером того же дня Гренье,— безусловно, ждали, что я скажу, что, мол, Советский Союз поступил правильно, или позволю себе резкости. Я же держался, как парламентарий, который, даже находясь в армии, отстаивает свое право на получение информации, необходимой для принятия решения. Я говорил спокойно, не повышая тона. Это их сперва удивило, в особенности полковника. Что касается «штатских», то они что-то записывали; я видел, как лица их все больше и больше искажаются от злобы. И я не удивился, когда господин, задавший мне вопрос, вернулся к полковнику и раздраженно сказал: «Я же вам говорил: они все упрямые как черти».

Слепая в своей классовой ненависти травля коммунистов находила все меньше сочувствия даже в армии, которая не могла не видеть полного бездействия правительства перед лицом растущей гитлеровской опасности. «Интерес к газетам,— пишет Гренье 15 ноября 1939 года,— постепенно

падает, люди все меньше и меньше верят тому, что в них пишут; в умах царит сомнение. Вслух репрессий против коммунистов уже почти никто не отстаивает». А за два дня до этой записи к Гренье зашел его командир капитан Рено, сказавший ему: «По-моему, нет никаких оснований вас преследовать, тем паче что солдат вы безупречный». Эти простые слова человека, весьма далекого от какого бы то ни было сочувствия коммунистам, объективнее всего характеризуют истинное положение вещей.

Организаторы антикоммунистической травли в правительствах Даладье и Рейно настолько увлеклись борьбой на «внутреннем фронте», что не уделяли никакого внимания серьезной подготовке страны к обороне от ежедневно возможного вторжения германских войск, численность которых к весне 1940 года на Западном фронте возросла по сравнению с сентябрем 1939 года более чем в пять раз. Буквально считанные дни оставались до гитлеровского наступления на западе, а премьер-министр Рейно требовал 11 апреля 1940 года от военного командования в двухнедельный срок завершить подготовку к агрессии против СССР со стороны Черного моря.

В этом факте еще одно из доказательств классовой, антисоветской сущности «странной войны». Однако замыслы правящих кругов Франции сорвало наступление германских войск на западе, начавшееся 10 мая, а шесть недель спустя Франция, преданная своими руководителями, капитулировала. Это был закономерный итог соглашательской, антинациональной политики правящих кругов Третьей республики, на протяжении многих лет концентрировавшей все свои усилия на борьбе против СССР и ФКП.

14 июля — последняя запись в дневнике солдата Гренье. «Для Франции,— писал он,— начинаются трудные времена. Мы боролась против политики, которая привела нашу страну к катастрофе. Мы будем бороться и против политики, которую навязывают нам сейчас. Путь укажет нам партия. Так сохраним же нашу непоколебимую веру в будущее!»

**П. ЧЕРКАСОВ,**

*кандидат исторических наук.*

## К ПРОБЛЕМАМ АБСОЛЮТИЗМА

П. А. Зайончковский. **Российское самодержавие в конце XIX столетия (Политическая реакция 80-х — начала 90-х годов)**. М. «Мысль». 1970. 444 стр.

Новая книга профессора Московского университета П. А. Зайончковского принадлежит к трудам, которые при полной конкретности исследования затрагивают много не решенных в исторической науке проблем. Тонкий знаток источников, которому принадлежит заслуга издания ценных мемуаров государственных деятелей России XIX века Д. А. Милютин, П. А. Валуева и А. А. Половцова, П. Зайончковский создал строго документированное исследование одной из сложных и малоизученных эпох.

Проблемы абсолютизма в европейских странах, в том числе и в России, стали в последнее время предметом оживленного обсуждения историков в печати, на международных встречах и конгрессах. Наиболее острые споры вызывают вопросы происхождения абсолютизма, первоначальные этапы его становления и развития из-за сложности и малоизученности их. Исследование П. Зайончковского освещает сложившийся абсолютизм, который, как явствует из заголовка, автор называет самодержавием.

В печати высказывались самые различные суждения о природе абсолютизма в России, но все участники дискуссии единодушно признали: ключ к решению проблемы — исследование соотношения феодального и буржуазного начал в политике абсолютистских государств.

Политическая реакция 80-х — начала 90-х годов проливает свет на природу и особенности российского абсолютизма, на соотношение буржуазных и феодальных элементов в политике самодержавия.

Отмена крепостного права в 1861 году под натиском экономического развития и революционной ситуации означала первый шаг по пути превращения России из феодальной монархии в буржуазную. Преобразование государственного строя России путем реформ сверху обусловило особенности этой эволюции. Реакционному крылу дворянства удалось наложить отпечаток на темпы и характер изменения государственного строя в период буржуазных реформ 60-х годов и при их пересмотре 20 лет спустя. В работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» Ленин писал: «Крепостники, не совсем

добитые реформой, так безобразно изуродованной их интересами, ожили (на час) и показали наглядно, каковы эти другие наши общественные отношения, помимо буржуазных, показали в форме такой разнузданной, невероятно бессмысленной и зверской реакции, что наши демократы струсили...»<sup>1</sup>. Поворот от реформ 60-х годов к контрреформам — в ленинском понимании не просто попятное движение от буржуазно-правового строя к деспотизму: «И в 80-х годах был «шаг назад» к дворянству, но это был шаг назад на ступени пореформенной России, далеко ушедшей от времени николаевской эпохи, когда дворянин-помещик командовал без «плутократии», без железных дорог, без растущего третьего элемента»<sup>2</sup>.

В 80-е годы, как убедительно показано в книге, ставка на укрепление дворянских привилегий, на патриархальную опеку над крестьянством, на консервацию феодально-крепостнических пережитков в аграрном и правовом строе в условиях поступательного развития капитализма оказалась битой самой жизнью. Если в целом политика правительства носила явно выраженный дворянский характер, то стихийный процесс социально-экономического развития оказался, «по существу, вне власти самодержавия». Как и в других европейских странах, буржуазия, прежде чем выйти на политическую арену, пробивала себе путь «рублем».

Большого внимания, на наш взгляд, заслуживал бы вопрос об использовании представителями дворянства и бюрократии плодов экономического прогресса для собственного обогащения, — отсюда их своеобразная заинтересованность в развитии капиталистического хозяйства. У современников на этот счет было распространено выражение «консерватизм с прогрессом».

В России, как и в других европейских странах, дворянство наряду с грабежом крестьян и государственной казны осуществляло «косвенное политическое влияние через двор, армию, церковь и высшую администрацию», а буржуазия дольствовала «покровительственными пошлинами, монополиями и относительно упо-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. т. 1, стр. 293

<sup>2</sup> Там же, т. 21, стр. 81.

рядочным управлением и судопроизводством»<sup>3</sup>.

Конкретно-историческое исследование российского самодержавия конца XIX века еще раз подтверждает мысль, уже высказанную в литературе: абсолютизм в России имел ряд бесспорных особенностей, но эволюционировал в том же направлении, что и все абсолютистские монархии в Европе, проходя, однако, этапы развития с определенным, иногда значительным разрывом во времени.

Один из переломных моментов в истории России конкретно рассмотрен автором во многих аспектах внутренней политики.

В частности, любопытно исследование социального положения русской бюрократии, представлявшей собой хорошо организованную, идейно сплоченную, традиционно замкнутую группу. Анализ имущественного положения высших чинов империи на основании «Списка гражданских чинов первых трех классов» за 1854 и 1888 годы показал преобладание в бюрократии 80-х годов разночинских элементов: около 70 процентов высших чинов не принадлежали к помещичьему дворянству и не обладали родовыми именами.

Недостаточно подробно, как мне кажется, освещен вопрос о предполагавшейся замене табели о рангах, на почве которой выросло чиновничество со времени Петра I. Проект, рассмотренный в особом секретном совещании и даже одобренный Александром III, не получил силы закона. Дело ведь даже не в кажущейся прогрессивности проекта, а в столкновении двух характерных тенденций в политике. С одной стороны, правительство склонялось к требованиям консервативного дворянства отменить получение дворянского достоинства путем службы (что сразу же прекратило бы приток в дворянское сословие разночинцев), но, с другой стороны, растущая потребность в чиновничестве не удовлетворялась потомственными дворянами. Эта проблема безуспешно обсуждалась в особых совещаниях в разные годы. Если учесть, что именно чиновничество обеспечивало на практике относительную самостоятельность абсолютизма, то становится понятным, почему кастовая конфронтация дворянства не увенчалась успехом.

Поворот к реакции явился следствием,

<sup>3</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. т. 37, стр. 125—126.

как справедливо отмечает автор, инертности либерального общества, отсутствия массового организованного движения в крестьянстве и рабочем классе. За строками книги чувствуется подчас биение общественной жизни, многие меры правительства объясняются поворотами в общественном движении, но в целом эта тема еще ждет дальнейших исследований. Изучение социальной борьбы тем более поучительно, что общественный протест не исчезал и в самые мрачные времена реакции.

1 марта 1881 года народовольцы осуществили давно задуманное убийство императора Александра II. Сбылось предсказание Г. В. Плеханова: на российском троне оказался другой Александр, «с тремя палочками» вместо двух. Убийство царя не сопровождалось политическими выступлениями ни со стороны либерального общества, ни со стороны народных масс, не было оно подкреплено и дальнейшей террористической борьбой. Длительная охота на царственного зверя обескровила «Народную волю», лишившуюся своих самых выдающихся лидеров.

1 марта 1881 года либерально настроенные современники рассматривали как один из поворотных моментов, упущенных самодержавием для мирного превращения России в парламентскую страну.

Автор анализирует состояние верхов, многочисленные проекты в области преобразования земств, суда, цензуры, просвещения, их обсуждение в правительственных сферах, проведение контрреформ: закона о земских начальниках, земского положения 12 июня 1890 года, городского положения 11 июня 1892 года. Перед читателем проходит галерея «вершителей судеб» России 80-х годов — Александр III, Д. А. Толстой, К. П. Победоносцев и другие, мысли которых пронизаны «охранительными» началами, бесплодными и в теории и на практике.

Если Александра II, непоследовательного в реакционных мерах, сковывал в какой-то мере собственный престиж «царя-освободителя», то Александру III не были знакомы сомнения в выборе «твердого курса».

Глава «Александр III и его ближайшее окружение» воссоздает атмосферу интриги и лицемерия, пронизывающих жизнь придворной камарильи, взаимоотношения членов императорской фамилии. Падение личного престижа власти в царствование Николая II представляется в свете этого

логическим следствием нравов вырождающейся династии.

Ценны выводы автора о существенных различиях итогов реакционной политики в различных областях. Наибольшего успеха реакции удается достигнуть в цензурной политике, в насаждении национализма, административного произвола, то есть в областях политики, лишь опосредованно связанных с социально-экономическим процессом.

Однако и здесь меры правительства Александра III часто обращались в свою противоположность. Завуалированная критика попыток правительства установить «единство мнений» в печати, просвещении и т. д. содержалась в неоднократно переиздававшемся курсе государственного права профессора Н. М. Коркунова: реакционное, абсолютистское «государство, как носитель принудительной власти, не может быть достаточным авторитетом в вопросах научной истины или художественной правды»<sup>4</sup>. «Торжество» официального направления в области печати в период контрреформ представляется весьма призрачным, ибо при самых строгих стеснениях печати передовые идеи, в частности марксизм, находили приверженцев во многих уголках России, а мировоззрение молодого поколения все в большей степени выходило из-под влияния официальных взглядов.

В книге со всей очевидностью раскрыто

бессилие правительства в борьбе с «косудением» дворянства, с оппозицией в земствах, суде, просвещении и печати. В связи с этим мне хотелось бы отметить несколько односторонний взгляд на политику самодержавия, имеющий место в нашей литературе. Акцент на бессилие правительства, на «утопизм» реакции, справедливое признание тщетности и обреченности реакционной политики самодержавия не должно заслонять и того огромного вреда, который она повлекла за собой в историческом развитии страны. Казни, террор, ссылки, разгул полицейского сыска и агентурной деятельности вырывали из рядов революционной интеллигенции наиболее последовательных борцов за политическую свободу. Невежество и темнота, рассматриваемые правительством как лучшая опора его владычества, не прошли бесследно. В стране, столь бедной интеллигентными силами, оказались изгнанными крупнейшие ученые — Мечников, Семевский, Ковалевский и многие другие, — исключались сотни студентов, подвергались гонениям передовые земские деятели и публицисты.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что книгу профессора Зайончковского с интересом прочтут не только специалисты-историки, но и все интересующиеся отечественной историей.

Г. ЩЕТИНИНА.

★

## ОТ ЭМПИРИИ ПОДНИМАТЬСЯ К ОБЩЕМУ

В. Н. Шубкин. Социологические опыты (Методологические вопросы социальных исследований). М. «Мысль». 1970. 287 стр.

Неспециалисту, несоциологу эту книгу читать трудно.

Она ждет от такого читателя: во-первых, прочного, внутренне-духовного, а не от «моды на социологию» возникшего интереса к проблемам, здесь исследуемым; во-вторых, осведомленности в разнообразных вопросах современной действительности, в современных общественных процессах, о которых должно и до знакомства с книгой кое-что существенное знать, то есть не эмпирически ощущать наличие этих процессов на основе лишь собственного личного опыта («А я вот с чем недавно столкнул-

ся...» и т. п.), не понаслышке и не на глазок представлять себе, что происходит сегодня в той или иной социальной среде, а знать на определенном уровне научной подготовки, иметь за душой некоторые обоснованные суждения относительно этих процессов и этих вопросов.

Да не поймут меня так, будто я хочу «запугать» читателя, который «просто» интересуется социологией. Напротив, мое вступление написано для того, чтобы привлечь его внимание к книге В. Шубкина, если угодно, даже завлечь ею тех, кто проявляет интерес к социологии. Но «завлекать» надо честно, не суля легкой жизни, приятной беглости знакомства

<sup>4</sup> Н. М. Коркунов. Русское государственное право. СПб 1909. т. I, стр. 484.



Исследования В. Шубкина (и его сотрудников — новосибирских социологов, принимавших участие в добывании материалов и итогов, вошедших в книгу) характеризуются качеством, которое я бы назвал шепетильной добросовестностью. Казалось бы, и отмечать особо это качество не стоит, поскольку оно для научной деятельности есть аксиома. Но, право же, стоит, ибо и случаи печального нарушения этой аксиомы не столь уж редки в науке (может быть, более других — в гуманитарных науках), да и воспитательный смысл, если так можно сказать, добросовестного творчества, добросовестной работы выходит за пределы чисто научного исследования какой-либо данной проблемы. Читатель, несомненно, почувствует такое воспитательное воздействие специальной книги на себя самого; он поймет, как отмечено в предисловии, что работа В. Шубкина «направлена против профанации в социологии, против легкомысленных подходов к этой важной и сложной области знания, требующей для своего развития, как и любая другая сфера науки, огромного трудолюбия и таланта»; он, серьезный и внимательный читатель, обогатится не только в познавательном, но и в нравственном, творчески-человеческом отношении, — так почему же еще и еще раз не напомнить о важности «аксиомы», не отметить и эту, э т и ч е с к у ю, сторону дела?

Научная добросовестность автора, объективность его взгляда, анализа, подсчетов и т. п. проявляются многообразно. В книге четыре главы. Три из них исследуют огромный конкретно-социологический материал: глава вторая — «Опыт социально-экономического исследования села» (материал по селу Копанка Молдавской ССР, сравнительный анализ данных 1937 года, когда село входило в буржуазную Румынию, и 60-х годов); глава третья — «Опыт социально-психологического исследования отношений коллектива и личности» (материал по одному из научных коллективов Сибирского отделения АН СССР); четвертая, самая большая в книге, глава — «Опыт социологического исследования трудоустройства и выбора профессий» (материал систематических, из года в год, с 1962-го по 1969-й, исследований путем анкетирования выпускников средних школ городов и сел Новосибирской, Ленинградской и др. областей и республик страны, изучения реального трудоустройства молодых людей после оконча-

ния школы, — тысячи человек, тысячи анкет, без преувеличения гигантская, кропотливая работа!).

Вторая глава представляет собой хороший пример целостности социологического исследования, охвата и выявления внутренней связи множества сторон социальной жизни (труд крестьян; их благосостояние; проблематика рабочего дня, свободного времени в частности; женская и мужская «загруженность» в зависимости от экономических, бытовых и прочих факторов и т. д.), и все же автор весьма осторожен в широте обобщающих выводов, он все время предупреждает нас о том, что исследуется одно село, специфические стороны его жизни не забываются ни на минуту.

Эмпирия? Ничуть не бывало. Мысль автора движется к выводам большого актуального размаха, но она движется «изнутри» конкретных фактов, а не вне их. Автор действительно доказал и показал социальный прогресс бессарабского крестьянства, ставшего частью социалистического советского крестьянства, но он далек от «радужных» иллюзий, будто нет в жизни села противоречий, уже других — не антагонистических, но противоречий материально-объективных, в свою очередь порождающих противоречия в сознании людей. В. Шубкин действительно конкретным анализом подводит нас к выводу, значение которого куда шире, чем только для села Копанка, — к выводу о том, что «сам по себе экономический рост и повышение благосостояния не могут автоматически изменить систему ценностей жизни населения, которая в свою очередь оказывает существенное обратное воздействие на процессы, происходящие в производстве. Об этом важно сказать, ибо экономические перемены не могут рассматриваться как единственный, надежный социальный результат в строительстве нового общества, если они не закреплены в системах ценностей жизни, в культуре».

Единство кропотливого сбора реальных фактов, их скрупулезного изучения, с одной стороны, и целеустремленного научного движения к обобщениям, вырастающим из конкретики данных фактов и «разрывающих» их эмпирическую оболочку, с другой, — это единство уважения к реальности и стремления преобразовать ее на основах науки составляет, если опять-таки иметь в виду нравственный эффект работы,

сильную сторону «Социологических опытов».

Я не случайно подчеркиваю слово «нравственный». Читатель, надеюсь, понимает, что, будучи литературным критиком, я не могу выступить судьей, рецензентом чисто социологических, специально-социологических сторон содержания книги В. Шубкина. О предмете марксистско-ленинской социологии, ее методологических и методических аспектах спорят ученые, представители этой профессии, и не мне, конечно, и не здесь «влезать» в эти споры (скажу лишь, что как человек, интересующийся социологией, читающий, насколько это возможно, ее книги и книги о ней, я не нашел в первой главе работы — «Методологические вопросы социологических исследований» — чего-либо такого, что было бы неубедительно, что хотелось бы оспорить). Возможно, что специалисты могут посмотреть иначе. Меня же привлекает здесь иной предмет.

«Социологи,— пишет В. Шубкин в этой главе своей книги,— занимаются изучением конкретных общественных связей, в которых, разумеется, отражаются и общие, и экономические законы и которые непосредственно определяют поведение различных социальных групп. Такая позиция, базируясь на материалистическом понимании истории, способствует углубленному исследованию общественных явлений, дополняет анализ экономических отношений изучением общественных связей, исследования общей модели общества — изучением организации и группы<sup>1</sup> и обуславливает, во-пер-

<sup>1</sup> Термины «группа», «слой», «организация» употребляются довольно часто в публицистике, литературной критике, да и в научной литературе как «бог на душу положит». В противовес этому автор «Социологических опытов» стремится к однозначному их толкованию и употреблению. Группа с социологической точки зрения характеризуется «как совокупность людей, между которыми существуют полные личные общественные связи» (например, семья, стойкий круг товарищей); цели, нормы, правила, имеющие социальный характер, здесь «предписывают определенные модели поведения членам группы, адаптируя их тем самым к выполнению определенных ролей». Организация, по В. Шубкину, это совокупность людей, строго координирующая связи между людьми, «каждый из которых специализирован на выполнении определенных функций и между которыми существуют неполные общественные связи для осуществления определенных целей», — например, завод, армия, научный институт, спортивное объединение и т. д.

вых, конкретизацию исследования, обогащение его новой информацией, своеобразное приближение к человеку, а во-вторых, психологизацию исследования. Она требует широкого использования достижений целой группы наук, связанных с изучением личностных и межличностных отношений, анализа различных форм общественной психологии, мотивов, интересов, ценностей и т. п.»

Своеобразное приближение к человеку, к его отношениям с другими людьми — вот что мне хотелось бы отметить в работе В. Шубкина и вот что дает мне право высказаться об этой книге.

Ее автор отчетливо понимает, как важно учитывать «субъективный аспект социального деления», как «важно изучать престиж, мотивы, личные планы, шансы и т. п. категории, которые являются органической частью социальной жизни и без знания которых представление об обществе будет неполным и искаженным», — отчетливо понимает и методически строит свои исследования так, чтобы этот «субъективный аспект» у него не пропал.

Такая авторская установка опирается на социологические принципы именно Маркса и Ленина, на коммунистически-партийные принципы подхода к изучению «проблемы человека», — принципы строго социального анализа, четкой общественно-исторической детерминации, враждебной как всякой абстрагирующей схематике, так и всякому «автоматизму», сбрасывающему со счетов активную человеческую субъективность. Человек обусловлен социальными обстоятельствами, но он не раб этих обстоятельств: выбор возможностей, целей, мотивов и т. п. осуществляется в координатах объективных отношений, но это человеческий, личностный выбор.

В. Шубкин не только преисполнен уважения к экономической науке, но и ратует за ее теснейшую связь с социологией, и, однако, «растворять» социологию в экономике он не собирается, полагая, на наш взгляд совершенно справедливо, что экономика есть научная основа управления развитием народного хозяйства, а вот «научной основой управления развитием общественных связей, поведением людей, идеологической работой являются социологические исследования». В. Шубкин ратует за применение кибернетики к изучению общественной жизни и на деле показывает, насколько оно бывает здесь полезно, но без социологиче-

ской целостности анализа «кибернетические упражнения мало что дают, а нередко становятся лишь формой производства новых иллюзий».

Человек живет и действует с помощью стереотипов своей среды; «процесс стереотипизации — необходимый способ человеческого мышления, который позволяет обобщенно включать прошлый социальный опыт группы в сегодняшние решения». Но изучая ту или иную среду, тот или иной тип человеческого поведения, наука не имеет права забывать, что «всякая стереотипизация связана с обеднением действительности», что «с течением времени само явление, меняясь, все дальше «уплывает» от своего образа, от стереотипа, и нужны новые исследования для проверки их адекватности»; «научный подход состоит в том, чтобы обеспечить систематическую проверку стереотипа, максимально возможно приблизиться непосредственно к явлению и тем самым минимизировать просчеты, в основе которых лежит неполная или непредставительная информация».

В конкретно-социологических исследованиях автора (особенно в главах III и IV его книги) этот процесс «приближения к явлению» (а по предмету своему оно есть и «своеобразное приближение к человеку», к человековедческой, если вспомнить выражение Горького, проблематике) осуществляется наглядно. Читатель получает много ценного материала по таким актуальным жизненным вопросам, как взаимоотношения внутри «цепочки»: руководитель — коллега — подчиненный; факторы психологической совместности, основанной на определенных оценках и самооценках членов трудового коллектива; престижность тех или иных профессий у нынешней молодежи; миграция выпускников средних школ и т. д.

Изучение существующих стереотипов, как старых, так и возникающих в динамике жизненных изменений, ведет у В. Шубкина к постановке определенных задач, прогнозов; исследователя интересует не только то, что есть, но и то, что будет, что должно быть на основе потенций внутреннего развития жизни. Его «идеальные модели» чужды прожектерству, но вполне учитывают фактор человеческой активности, ломки устаревающих стереотипов. И отделяя в этой активности то, что не нужно или вредно обществу, а тем самым и человеческому развитию, от того, что способствует даль-

нейшему их прогрессу, автор-социолог действительно учит читателя (несоциолога в том числе) ясно видеть проблемы жизни, выдвигаемые ее противоречивым ходом, и осознавать, какое решение этих проблем было бы на данный момент оптимальным, наиболее полезным для социалистического общества и человека социализма.

В. Шубкин не голословно, а фактично показал, например, что «гуманитарные и естественные профессии все более становятся уделом женского труда, в то время как юноши стремятся к профессиям, требующим физико-математической подготовки. Каковы бы ни были причины этого явления, общество вряд ли устроит такая перспектива, когда инженерами будут только мужчины, а врачами и педагогами — женщины». Могут сказать, что об этой проблеме немало написано и в журналистике, что здесь наука не открыла чего-то нового. Но социология вообще обычно имеет дело с проблемами, которые ощущает не только она одна, которые волнуют общественность и на уровне обыденного сознания. Важно не сходство словесных выводов в научном исследовании и, скажем, в газетной корреспонденции — важна степень обоснованности выводов, к которым приходит социолог. У В. Шубкина она очень высока, и потому к его суждениям о состоянии дел в гуманитарных профессиях мы относимся не как к эмоциональному «сигналу» о неблагоприятии, а как к научному предостережению большой — и еще большей завтра — важности.

Точно так же скрупулезные исследования проблемы «руководитель — коллега — подчиненный (в научном коллективе)» не только констатируют, что, скажем, руководителю необходимы, по мнению членов самого коллектива, высокие интеллектуальные качества, высокие организаторские способности, а также оптимизм и юмор (вот еще одно, «неожиданное» проявление нравственной стороны отношений между людьми в труде), но и делают эти качества социологически обоснованной, научной рекомендацией. Тут перед нами не просто субъективные пожелания, а такой анализ этих пожеланий, который из их психологической эмпирии выделяет объективно-значимое, существенное. После того как читатель освоил сам ход конкретного исследования, его увлекательную динамику, ему, читателю, становится ясным г л у б о к и й

смысл такого вроде бы очевидного вывода автора-социолога: «Поскольку поведение коллектива в значительной степени определяет сейчас поведение личности, постольку коллектив с его представлениями о различных ролях, о ступеньках служебной иерархии, творит своих реальных руководителей, коллег и подчиненных. Роль коллектива здесь не менее важна, чем роль различных ведомственных инструкций. Если в сознании коллектива руководитель должен обладать определенными чертами, то продвижение человека именно с такими чертами санкционируется коллективом. Если коллектив считает, что отсутствие таких-то черт у руководителя вполне простительно, то человек, даже обладавший ими, став руководителем, начинает относиться к ним как к чему-то несущественному»...

Не знаю, как другие читатели, но я воспринял эти суждения В. Шубкина в связи с той большой работой, которую ведет сейчас в данной тематике наша пресса, и, мало того, обоснованность газетных выступлений, посвящаемых вопросам деятельности научных коллективов, их внутреннего строения, их внутренней атмосферы и т. п., становится, так сказать, прямо пропорциональной степени социологичности журналистских очерков и статей (социология и сама вышла на страницы неспециальной прессы и стала опосредствованно влиять на нее — то и другое хорошо, если, конечно, перед нами подлинная социоло-

гия, а не «игра» в нее). Для меня, далее, то, что сказано в III главе работы В. Шубкина, раскрылось как необходимая составная часть внутренней жизни научных коллективов, той внутренней жизни, изучение которой должно быть направлено на улучшение научной деятельности. На XXIV съезде партии было подчеркнуто, что нельзя мириться с тем, чтобы в научных учреждениях еще существовала «работа на холостом ходу»: «Необходимо повысить требовательность при подборе кадров для научной работы. Важно, чтобы в каждом научном коллективе существовали подлинно творческая обстановка, атмосфера смелого поиска, плодотворных дискуссий, товарищеской взыскательности»<sup>2</sup>...

Я остановился на проблеме руководителя в научном коллективе для того, чтобы несколько очевиднее сделать неразрывную связь социологии как науки с различными областями нашей общественной жизни, «всепроникаемость» социологических исследований, их широчайшую применимость.

Эпиграфом к «Социологическим опытам» В. Шубкин выбрал такие ленинские слова: «Чтобы понять, нужно эмпирически начать понимание, изучение, от эмпирии подниматься к общему». Это мудрый совет, диалектический совет всем нам: и социологам, и литературоведам, и работникам любых других профессий. Всем содержанием своей книги В. Шубкин оправдал этот эпиграф.

Ю. СУРОВЦЕВ.

★

## «НАВЕДЕНИЕ МОСТОВ» И ПРАВДА СОВРЕМЕННОСТИ

Юрий Жуков. США на пороге 70-х годов. М. Политиздат. 1970. 288 стр.

Генрих Боровик. Один год бесполойного солнца. М. «Советский писатель». 1971. 456 стр.

Виктор Маевский. Сражения мирных дней. М. Политиздат. 1971. 255 стр.

Всеволод Овчинников. Ветна сакуры. М. «Молодая гвардия». 1971. 224 стр.

Весной 1971 года антисоветизм на глазах у всего мира потерпел крупное поражение в противоборстве с внешнеполитическим резонансом XXIV съезда, с логикой фактов, с подлинно научным анализом сложившейся обстановки.

Сейчас многочисленные кадры «советологов» застряли на распутье, повторяют зады, донашивают свои старые модели, стереотипы пропаганды. Однако мы не можем сбросить со счетов, что на каком-то отрезке 60-х годов наша публицистика не то чтобы замешкалась перед напором «тонких знатоков

социальных перемен», но в некотором роде медлила иногда со своими ответными точными выступлениями. Тот период у организаторов западной пропаганды носил саперное наименование: «наведение мостов». Что и говорить — для капитального строительства буржуазная идеология материала не имела и вряд ли когда будет иметь, но имитация по части «мостов» проводилась довольно

<sup>2</sup> Л. И. Брежнев. Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза. М. 1971, стр. 107.

напористо и при ее-то приемах сплошного «блефа» могла быть и осмеяна и разбита значительно раньше, чем оно произошло. «Нередко мы точим детали на отдельных станках, долго прилаживаем их друг к другу,— пишет Виктор Маевский в своей книге «Сражения мирных дней».— В результате может даже получиться уникальное произведение, но, что греха таить, мы часто теряем во времени, и наши противники опережают нас. А в нынешнем бурном потоке информации весьма важно, кто сказал первое слово».

Несомненно, оперативность информации— это очень важно, и наш читатель, радиослушатель и телезритель, конечно, обратил внимание, насколько оперативней, чем, скажем, несколько лет назад, работают сейчас наши журналисты. Но быстрота — это еще не все. Особенно в тех условиях, когда «первое слово» буржуазной пропаганды — не только традиционная для нее полуправда, искусно приготовленная, но и совершеннейшая ложь, провокация, пропагандистская диверсия. Наш идеологический противник, случается, только и ждет серьезного возмущения с нашей стороны, чтобы это возмущение придало хоть какую-то реальность его очередной мистификации или, точнее сказать, мистификции. И вот в этой сложнейшей обстановке, кроме необходимой для нас оперативности, громадное значение приобретает публицистика, проникающая в глубину политической, экономической, духовной жизни стран мира. Такая публицистика практически может опередить любой трюк буржуазной пропаганды. Именно в этом направлении очень интересно, с возрастающим мастерством работают наши журналисты, выступающие по проблемам международной жизни в газетах, по радио, по телевидению. Вышел и целый ряд книг такого рода, их авторы как бы подводят итоги своей повседневной напряженной работы на самых передовых позициях идеологических сражений.

Очень важно, какими глазами, с позиций какого жизненного опыта смотрит журналист на открывающуюся ему жизнь другого народа, другой страны. Поэтому для журналиста-международника необходимым считается не только знание зарубежной экономики, политики, культуры, а прежде всего — отличное знание собственной страны, ее достижений, ее проблем. Это характерно, в частности, для Юрия Жукова, который на-

чинал когда-то журналистскую работу на стройках пятилетки и до поездок за рубеж узнал и написал своего железного прораба...

У Юрия Жукова за последние годы вышло несколько крупных работ на темы международной жизни и политики. Из них, на мой взгляд, наиболее значительной, во многом итоговой, стала книга «США на пороге 70-х годов». Жуков цитирует Гэса Холла: «Так как США являются центром мирового империализма, разрешите нам проделать своего рода хирургическую операцию, чтобы обнажить их нутро». Он приводит слова губернатора Калифорнии Рейгана: «Я очень горжусь Калифорнией... Мы на пятом месте в западном мире по валовому национальному продукту. . На первом, конечно, идут Соединенные Штаты, затем Япония, Федеративная Республика Германии, Англия и Калифорния». «...для него Калифорния, в сущности, независимая держава», — комментирует автор самодовольную речь Рейгана.

Юрий Жуков любит язык фактов, он мастерски пользуется документами, цитатами из книг и речей политических и экономических хозяев Америки. Нортон Саймон, томатный король, говсриг ему: «. . . вы знаете, деньги интересны до определенного предела. Дальше возникает другой интерес: важна власть...» Герман Кан, автор беспрецедентных по своему цинизму прогнозов термоядерной войны, жалуется на... утрату популярности: «Когда в 1959—1960 годах я подготовил для Вашингтона десять вариантов возможного термоядерного конфликта, это всех там взволновало. Когда же я в дальнейшем разработал новые десять вариантов, они были встречены совершенно хладнокровно, я бы сказал даже, с каким-то безразличием». Юрий Жуков вспоминает об интересной работе американского публициста Наума Чомского «Америка и ее новые мандарины», где разоблачается новый тип интеллигента, жадно стремящегося стать частью властвующего аппарата, охотно работающего на военно-промышленный комплекс. Губерт Итон — создатель крупнейшего кладбища в идиллическим названием «Лесная лужайка» — устроивал в своем печальном предприятии некий «Двор свободы», где Лаокоон борется со змеями, снабженными табличками: «Либерализм», «Социализм», «Коммунизм». Там же был вывешен целый манифест «Как разрушается Америка», содержание его оголтело ая-

тикоммунистическое. Словом, Губерт Итон превратил созданное им кладбище не только в коммерческое предприятие, но и в пропагандистское. А вот цитата из Британской энциклопедии, которая давно уже перестала быть британской и издается в Чикаго: «Существуют сомнения относительно подлинной границы между Европой и Азией; обычно этой границей считались Уральские горы и Кавказ, хотя иногда в дальнейшем ее заменяли официальной границей СССР». Это ли не попытка утянуть за океан всю Европу?

Книгу Юрия Жукова интересно сопоставить с очерками Генриха Боровика «Один год беспокойного солнца», рассказывающими о богатом событиями 1968 года. Эта книга привлекательна тем, что дает живой репортаж с очень точным политическим прицелом. Автор обладает отличным знанием страны и умением в круговерти событий уловить проявления того главного, основного, что происходит в США. Буржуазная пресса с ее способом подачи новостей в этом деле плохой помощник, ее специальность — скрывать за сенсационностью подлинную суть событий, и советскому журналисту требуется для чисто репортерской работы очень большая зоркость и дар предвидения. Эти качества превращают работу репортера в исследование.

1968 год избран был Генрихом Боровиком не случайно — для Америки год президентских выборов всегда становится чрезвычайно беспокойным. Перед читателем проходит целая галерея американцев: ковбой, хиппи, полицейские, политики, бизнесмены, студенты, «мирники», то есть противники вьетнамской войны, журналисты... И книга, построенная на фактах одного года, предлагает советскому читателю материал для размышления о том, что представляет собой американский образ жизни.

Жизнь эта совсем не похожа на идиллические картинки из журнала «Лайф». Свобода слова, свобода демонстраций... Автор приводит выдержки из протоколов специальной комиссии, расследовавшей трагические события в Чикаго (август 1968 года) — кровавую расправу полицейских над безоружными демонстрантами, протестовавшими против войны во Вьетнаме.

«...Медик-доброволец из Северо-Восточного университета так описал сцену в Линкольн-парке в воскресенье: «Когда кто-нибудь падал, три или четыре полицейских принимались избивать упавшего. Один из

ребят был избит так сильно, что не мог подняться. Он был весь в крови. Кровь текла из головы». Свидетель увидел врача, одетого в белый халат. Его бил офицер. Когда тот закричал: «Я врач!!!» — офицер сказал: «Извините меня» — и ударил снова».

Эта расправа произошла накануне президентских выборов. И Генрих Боровик очень точно уловил определенную логическую связь между действиями распоясавшихся копов и... политической платформой «третьего кандидата» в президенты Джорджа Уоллеса. «...Полицейские восстанавливали порядок, свой порядок. И действуя так, они ни на йоту не нарушили принципы этого порядка».

Ну, а как же намерен Уоллес восстановить порядок и закон? Способ известен. И с горькой иронией Боровик пишет:

«Копы за Уоллеса. Потому что если придет Уоллес, то полицейским повысят зарплату и разрешат стрелять в городе. Все будет спокойно и хорошо, если придет Уоллес. Все будут слушать полицию. И уж полиция непременно покажет «всем этим»...»

Об американском образе жизни говорит и правдист Виктор Маевский. Однако предмет его исследования выходит далеко за рамки одной страны. Книга Маевского — воспоминания об идеологических сражениях, в которых автору довелось принимать непосредственное участие.

Много поездивший по свету журналист страница за страницей раскрывает в своей книге, каков же ныне тот глобальный антисоветский аппарат, которому поручено вести и направлять идеологическую агрессию. Маевский рассказывает, что, по сведениям, опубликованным американским журналом «Эсквайр», на службе правительства в США состоит 3000 «чиновников по связи с печатью». Таким образом, журналистика стала фактически полуофициальной отраслью правительства, а сообщаемые ею новости — существенной силой в борьбе за власть. Острыми штрихами рисует автор портреты своих политических противников. Вот обозреватель «Нью-Йорк таймс» «эксперт-советолог» Гарри Шварц. Вместе с советскими гостями он ходит по редакционному залу, где на колонках и стенах висят таблички со стрелкой и надписью: «Убежище».

«— Что это значит? — спросил я Шварца.

— Мы боимся советских ракет, — отвечал он».

И в этом ответе Шварца весь он — и лжец, и фигляр, сам себя запугивающий не-

существующей «советской угрозой», потому что в постоянном нагнетании такого страха и состоит его способ добывания заработка.

Виктор Маевский раскрывает политическое лицо еще одного «эксперта-советолога» Гэрисона Солсбери, автора клеветнической книги о ленинградской блокаде, которая получила достойный отпор в советской печати, и подстрекательского «труда» о советско-китайских отношениях, отповедь которому дала в свое время «Правда». И опять — совсем небольшой штрих, чтоб читатель воочию увидел «кто есть кто». По случаю двадцатипятилетия победы в газете, где Гэрисон Солсбери является одним из заместителей редактора, публикуется дневник его племянника Сайруса Сульцбергера, находившегося в Москве в тот великий для советского народа день. О чем же пишет племянник своего дяди? Да о том, что 9 мая 1945 года... «...прошли многие часы, прежде чем полиции удалось восстановить порядок и загнать бедных русских в их привычную колею...». «Он видел ликующую Москву,— пишет Маевский,— его подхватили и качали, а он пришел, сел за стол и написал о «полицейских», которые «загнали бедных русских в привычную колею», а через двадцать пять лет еще раз пожалел «русский народ».

Книга В. Маевского переносит читателя во многие точки планеты, рассказывает о многих политических схватках — и памятных каждому и полузабытых. И везде, как говорят журналисты, ощущается эффект присутствия — ценнейшее качество книги публициста.

Этот эффект присутствия совсем не гарантируется визами в паспорте журналиста, пересекающего множество государственных границ. За последние годы перед нами прошло немало книг, авторы которых умудрились свои туристские впечатления излить на сотнях страниц, где глазу остановиться не на чем. В то же время у многих в памяти репортаж в «Известиях» поэта Роберта Рождественского о бурных событиях в Латинском квартале Парижа. Он писал о том, что увидел как поэт и, может быть, именно это помогло ему стать пронизательным, увидеть провокации и фальшь, искусно привнесенные в молодежное движение.

Американский журналист Анатолий Шуб, о деятельности которого говорится в книге Маевского, прожил в нашей стране достаточно времени, но работал настолько «целе-

направленно» и бездарно, что фактически не знает нашего народа, нашего образа жизни. То же можно сказать и о ряде других зарубежных авторов, приехавших к нам, имевших все возможности изучить опыт первой в мире страны социализма, но в силу той «свободы», о проявлениях которой говорится у Маевского, так и не сумевших преодолеть черту заготовленных западной пропагандой стереотипов. Речь тут идет не о таких точно запрограммированных авторах, как тот же Анатолий Шуб или итальянская журналистка Ориана Фалаччи, но и об авторах, претендующих на маститость и объективность.

Советская публицистика никогда не пряталась за завесой мнимой объективности, всегда заявляла о своем классовом, партийном взгляде на действительность. И именно это помогает советскому журналисту, живущему в другой стране, проникнуться огромнейшим уважением к ее народу, к обычаям, чертам характера, традициям, нравам. Так написана книга Всеволода Овчинникова о Японии, привлекательная прежде всего серьезным, глубоким знанием этой страны. Овчинников показал не только Японию, но и «японский характер». Отклики японских читателей говорят о том, что даже они были удивлены точностью оценок автора.

В книге Всеволода Овчинникова рассказано, отчего так быстро смогла подняться экономика послевоенной Японии: сами японцы утверждают, что встать на ноги им помогла... война в Корее, когда американцам пришлось срочно организовать снабжение войск, ремонт боевой техники «Посыпались интендантские заказы. Больше двух миллиардов долларов было вприснуто в организм частного предпринимательства. Такая инъекция послужила изначальным толчком послевоенной деловой активности». Одно из трагических противоречий нашего времени, когда народ, переживший ужас Хиросимы, работает на американский империализм!

Интересен анализ «новой аграрной политики», который дает автор «Ветки сакуры». «Мучительный процесс расслоения крестьянства в Японии уже не назовешь стихийным. Он подхлестывается искусственно, он стал правительственным курсом. Суть этой политики состоит в том, чтобы сократить сельское население на две трети — с 36 до 12 миллионов человек... Курс.. взят на то, чтобы дать простор для роста кулацких

хозяйств за счет ускоренного разорения их маломощных соседей... Это, во-первых, расчет на то, чтобы окулачить село, вырастить фермерский класс, который стал бы надежной политической опорой правящих кругов,— японский вариант «стольпинской реформы». И это, во-вторых, расчет на то, что волна разорившихся выходцев из деревни разавит собой ряды пролетариата, собьет цены на городской труд и подорвет силы организованного рабочего движения...»

Книгу Всеволода Овчинникова отличает глубокий классовый анализ жизни Японии. Автор с большой симпатией относится к этой стране, к ее талантливому народу. Он смотрит на Японию глазами русского человека, сравнивает ее обычаи с русскими. Русской натуре импонирует, что японцы даже при бедности не мелочны, при организованности не педантичны, они не любят подчинять душевные порывы голосу рассудка, им присуща широта натуры и обостренное чувство собственного достоинства, чужды угодничество и подобострастие — японец замет в глубоком поклоне там, где этого требует этикет, но не станет пресмыкаться перед обладателем тугого кошелька... «Постараемся же ближе познакомиться с народом, который связывает собственные душевные черты с образом цветущей вишни» — этими словами заканчивается книга Всеволода Овчинникова. И закрывая эту книгу, понимаешь, что не только ближе познакомился с Японией, а что узнал еще и соотечественника, в публицистике которого нашел свое отражение наш советский характер, наш образ мыслей, наш интернационализм, вошедший в кровь и плоть.

Названные здесь работы видных наших журналистов-международников интересны каждая по-своему, но и все вместе они составляют весьма примечательное содружество книг. Речь идет о характере вообще нашей публицистики на международные темы. Книги авторов-международников расходятся мгновенно. Написанные живо и увлекательно, они несут в себе весомый запас информации, дают четкий марксистский анализ явлений зарубежной общественной жизни.

И еще одно существенное обстоятельство. При всем прогрессе в печатном деле, прогрессе радио и телевидения, по-прежнему читатель в буржуазных странах знает о Советском Союзе неизмеримо мало по сравнению с тем, что знаем мы о жизни за рубежом. Достаточно сказать, что ни в одном буржуазном государстве при всех свободах печати немыслим, к примеру сказать, такой журнал, как наш «За рубежом» с его регулярными публикациями всех заметных выступлений западной прессы, с его миллионным тиражом. Поэтому для западного читателя, если он ощущает необходимость разобраться в том, что же происходит в нашем беспокойном мире, особый интерес может представить книга о его стране, его народе, написанная советским журналистом. Не как рассказ для американца про Америку, а как очень конкретное, достоверное выражение нашего, советского образа мыслей и всей гуманистической миролюбивой политики нашего государства.

**Ф. БРЕУС.**





---

---

## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**МИХАИЛ ПАРХОМОВ.** Глоток воздуха. Рассказы и повесть. М. «Советский писатель». 1971. 288 стр.

Около пятнадцати лет назад вышла в свет повесть М. Пархомова «Мы расстреляны в сорок втором». Это было не первое произведение писателя, но первое значительное, обратившее внимание на его автора. Это была повесть героико-романтического характера о драматических событиях из времен недавно минувшей войны. Войне он посвятил и другие книги: «Был у меня друг», «Нелетная погода»...

За прошедшие годы М. Пархомов издал почти полтора десятка книг: повести и рассказы о бывших солдатах, о своих однополчанах, о послевоенной жизни, о спорте, о плотогонах и о многом другом. И вот перед нами его новая книга. Она написана в традиционном реалистически-бытовом плане. Писатель оглядывается на окружающую его жизнь, на самых разных людей, на соседей по дому, с которыми рассказчик играет в шахматы, иногда пропускает стаканчик, беседует при встречах. Бухгалтер и провизор, слесарь и учитель, продавщица, «инженер по труду», майор, контрабасист, калькировщица, парикмахер, портной, бывший следователь на пенсии, друзья-рабфаковцы 30-х годов, заведующий писчебумажным магазином и просто беспутная девица — кого только нет среди тех, кто населяет рассказы Пархомова. Он знает своих героев, особенности их профессий, психологии, быта, характеров, языка... Такое разнообразие свидетельствует о наблюдательности, отличной памяти писателя, о широте его интереса к людям, к жизни.

Но Пархомов не «бытовик» в обычном смысле этого слова, употребляемого зачастую с некоторым пренебрежением. Без нарочитой тенденции, без навязывания и схематизации он освещает, подчеркивает в лю-

дах главное — их сущность, их моральные качества.

И пожалуй, это всего заметнее в повести «Глоток воздуха», давшей название сборнику. Мы знакомимся с водолазом Ленькой Тюриным. внешне непритязательным, но очень цельным и, что называется, надежным человеком. Он не раздумывает, когда надо защитить оскорбленную девушку, ни минуты не колеблется в выборе между честным и недостойным поступком. Кажется, чего бы стоило пойти на самую незначительную сделку с самим собой, но зато избежать выговора и анкеты сохранить чистенькой? И в вуз тогда примут. И оправдание находится легко. Но Ленька отклоняет и совет приятеля, и просьбы любимой девушки, обеспокоенной его неуступчивостью: дескать, сверни на боковую тропку, в затишек, какое тебе дело до других? Но для Леньки это означало бы отказ от самого себя.

Совсем простая история, и все люди в повести обыкновенные, каких мы ежедневно, ежечасно видим вокруг, а ведь обыкновенное, быть может, всего труднее превратить в истинно художественное. Думается, что М. Пархомову это во многом удалось.

Ф. Левин.

★

**ТРУМЭН КЭПОТ.** Голоса травы. М. «Художественная литература». 1971. 206 стр.

Американский писатель Трумэн Кэпот известен нашему читателю своими повестями и рассказами, которые в разное время печатались в периодических изданиях. Особенное внимание привлекла документальная повесть «Обыкновенное убийство» («Иностранная литература», №№ 2—4 за 1966 год). Книга стала в Америке «бестселлером», обошла весь мир. В основе ее — история зверского убийства семьи фермера Клаттера в маленьком американском городке Холкомб. В течение шести лет Кэпот собирал матери-

алы, тщательно расследовал все обстоятельства убийства и пришел к выводу о том, что преступление стало обыденным явлением в сегодняшней Америке, что общество, где целью жизни является погоня за наживой, растит преступников, что насилие становится здесь нормой жизни. Деньги, этот «желтый дьявол», которому все поклоняются, разлагает общество, ломает человеческие жизни.

Те же идеи — в иной форме, в ином ключе — развивал Кэпот и в других своих повестях и рассказах. Почти во всех его произведениях главным является разлад между мечтой и действительностью — между мечтой о добром человеколюбивом мире и грубой действительностью современного американского общества.

В этом смысле «бутылка серебра» в одноименном рассказе сборника «Голоса травы», который мы рецензируем, выступает как своеобразный символ. Владелец аптеки, чтобы переманить клиентов от конкурента, выставил у себя в заведении бутылку, наполненную серебряными монетами. Каждый, кто делал покупку, мог назвать общую сумму денег в бутылки. Ответы записывались, а в рождественские праздники тому, кто назовет точную или близкую к ней цифру, достанется вся бутылка. Уловка имела успех. Жизнь всего маленького городка сосредоточилась на бутылки с серебром. И дело было не только в том, что люди хотели завоевать приз: они находили удовольствие в азарте погони за вожаемыми деньгами.

Конфликт между добром и злом, между мечтой и действительностью особенно ярок в повести «Голоса травы». Повествование, как это часто бывает у Кэпота, ведется от имени мальчика Коллина — одиннадцатилетнего племянника сестер Тэлбо, и события, происходящие в повести, приобретают своеобразную окраску, преломляясь через сознание ребенка.

Вирена богата, у нее цепкая хватка. Она верховодит в городке, где все ее должники, все ее боятся. Долли — как бы не от мира сего: бескорытна, равнодушна к деньгам, готова каждому прийти на помощь. Есть у нее и «свое» дело в жизни: она изготавливает лекарство из трав, рецепт которого ей в детстве открыла цыганка, и продает его по недорогой цене. Основное для нее — помочь людям, облегчить их страдания. Но когда Вирена пытается перевести изготовление снадобья на промышленную основу, хочет построить для этого целый завод, ко-

торый, по ее расчетам, принесет немалую прибыль, происходит столкновение. Долли, а вместе с ней Коллин и преданная негр-тянка Кэтрин убегают из дома. Все они на чисто лишены практической жилки и находят приют в лесном домике, сооруженном на ветвях большого платана. К ним присоединяется старый судья, честный человек, которому стало нестерпимо жить в городе, где власть захватила банда политиканов.

Общество в лице остальных жителей городка воспринимает это бегство как протест, как вызов. По наущению Вирены они готовы силой заставить беглецов вернуться домой. И хотя те вынуждены возвратиться, моральная победа остается за ними, за людьми, обладающими душой, «распахнутой для всего живого».

Симпатии писателя на стороне людей, которые живут своими мечтами, приближаются к природе, «слышат голоса ветра, песни травы».

Кэпот, продолжая гуманистические традиции лучших американских писателей, верит в силу добра, объединяющего людей.

Те же мотивы просматриваются и в других рассказах сборника. Герои рассказа «Воспоминания об одном рождестве» — старая женщина и ее семилетний друг — каждое рождество пекут десятки пирогов и рассылают людям, тем, которых совсем не знают или знают очень мало. Этим они как бы приобщаются к какому-то другому миру, отличному от того, который окружает их.

Повесть «Голоса травы» и рассказы сборника написаны в своеобразной, присущей Кэпоту манере. В них мечты переплетаются с действительностью, юмор соседствует с печалью и страхом перед жестокостью повседневной жизни. Кэпот пристально вглядывается в своих героев, стремится показать в них все то хорошее, что должно, по его мнению, обеспечить конечную победу добра над злом, порожденным самой сущностью буржуазного общества.

К. Бродер.

★

**ВСТРЕЧИ С ПРОШЛЫМ.** Сборник неопубликованных материалов Центрального государственного архива литературы и искусства СССР. Выпуск 1. М. «Советская Россия». 1970. 382 стр.

Уже не раз говорилось о том, с каким интересом встречает сегодняшний читатель книги о минувших днях, мемуары, автобиографии, дневники, письма. Приводились

примеры того, как прошлое вдруг обрело острую актуальность, воспринималось так же непосредственно, как и злободневная, свеженарисованная вещь. Сборник «Встречи с прошлым» — лучшее подтверждение мысли о том, что прошлое не уходит от нас бесследно, возвращается, как бы окликает нас живыми голосами.

Книга состоит из двух разделов. В первом — сообщения и публикации по самым разнообразным вопросам искусства. Во втором — обзоры значительных фондов ЦГАЛИ: С. С. Прокофьева, В. Э. Мейерхольда, М. А. Светлова. Открывается сборник статьей Ираклия Андроникова, рассказывающего о хранителях, хочется даже сказать «настоятелях» московских и ленинградских архивов — Отделов рукописей Ленинградской публичной библиотеки, Пушкинского Дома, Библиотеки имени Ленина и, наконец, ЦГАЛИ.

Трудно пересказать содержание первого раздела. Вы читаете неопубликованный рассказ молодого Леонида Андреева «Мебель», и вам открываются черты его писательской манеры — та реалистическая обстоятельность, которую он будет затем преодолевать. Уже здесь чувствуется второй план: автора интересует не просто описание обстановки, новой мебели, дорогих вещей, но история о том, как «мертвая» мебель вытесняет живую жизнь героев.

Воспоминания Н. В. Трухановой об Анне Павловой переносят вас совсем в другую обстановку — вы знакомитесь с игрой, жизнью, бытом знаменитой балерины, с ее неподражаемой самобытностью, бурным и тяжким романом, который прошел сквозь многие годы, с ее неожиданной смертью — к ней балерина «пошла с той же головокружительной быстротой, с которой жила и носилась по сцене».

Редкое наслаждение доставляют письма Шаляпина — в них его живые интонации, характерные обороты («Дорогой Васюк! Ты, наверное, уже слышал, что меня заломала проклятая инфлюэнца»).

В альбоме писателя А. С. Вознесенского — автографы Блока, письма Чехова, Репина, И. П. Павлова. Затем — письма к друзьям Александры Михайловны Коллонтай, стенограмма выступления Маяковского на диспуте по вопросам пола и брака в жизни и в литературе. Всего не перечислишь, это надо читать самому.

Во втором разделе, как уже сказано, — обзоры фондов. Казалось бы, сугубо специаль-

ная вещь, нескудная разве только для посвященных, что-то вроде описи имущества. Но читается с интересом, потому что за «единицами хранения» встает судьба человеческая и художническая. Это относится к обзорам фондов Прокофьева, Мейерхольда и особенно Михаила Светлова. Автор последнего обзора В. В. Кулешова построила его как своеобразное путешествие по архиву поэта. Она начинает с рассказа о первой встрече со Светловым, когда выясняется, что никакого архива он не хранит. Затем мы знакомимся с его заметками, набросками, «бумажками», которые сдал друзья после смерти поэта. Мы узнаем голос поэта, который не расставался с шуткой в самых невеселых обстоятельствах, верного сына романтики, сказавшего: «Сказка — родина первых чувств».

Завершается книга хроникой научной и литературной жизни ЦГАЛИ, где говорится о встречах с писателями, актерами, учеными.

Как видим, первый выпуск этого издания, ориентированного вроде бы на специалиста, а на самом деле интересного для каждого читателя, любящего литературу, — бесспорная удача. В чем-то по-новому предстали перед нами корифеи русского искусства, мастера нестареющего таланта, художники, закончившие свой путь и как бы продолжающие его сегодня, в нашей современности.

**Б. Брайнина.**

★

**А. ФЕВРАЛЬСКИЙ.** Первая советская пьеса. «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского. **М. «Советский писатель».** 1971. 272 стр.

**А. ФЕВРАЛЬСКИЙ.** Встречи с Маяковским. **М. «Советская Россия».** 1971. 92 стр.

Обычно под «выходными данными» книжки понимают даты ее выхода в свет — когда сдана в набор, когда подписана к печати. А если бы ввести и такие обозначения: когда книга задумана, когда писалась, — нам открылись бы примечательные подробности книжных биографий.

Два издания, о которых идет речь, весьма «долговременные», они готовились десятилетиями.

Александр Вильямович Февральский — известный маяковед, чья жизнь не раз пересекалась с Маяковским. Впервые исследователь, восемнадцатилетний молодой человек, встретил героя своих будущих работ

осенью 1919 года в РОСТА. С тех пор он не раз виделся с поэтом, бывал на его вечерах, на постановке первой советской пьесы «Мистерия-буфф», на диспутах, где выступал Маяковский, в театре Мейерхольда, где А. Февральский работал ученым секретарем, на репетициях «Клопа» и «Бани».

Обо всем этом он рассказывает в своих двух книгах, вышедших одновременно. Одна строится как научная монография, посвященная многостороннему анализу «Мистерии», вторая представляет собой личные воспоминания. Но они связаны между собой, это как бы два угла зрения на один предмет. Для Февральского вообще характерно желание сочетать опыт очевидца с трудом исследователя. Он не ограничивается тем, что говорит: «Я помню, как...» К данным своей памяти он стремится присоединить материалы музеев, архивохранилищ, в которых он никогда не заблудится, потому что чувствует себя там как дома.

«Первая советская пьеса» — очень плотная книжка. Видно, что автор не сказал всего, что помнит, знает, что разыскал. Часто он ограничивается краткими ссылками там, где мог бы дать развернутое описание неизвестных материалов.

Написана книжка спокойно, обстоятельно, чуть академично. Но внутренне она вовсе не так спокойна — читая ее, ощущаешь жар поэтического темперамента Маяковского, его одержимость, постоянную готовность ринуться в бой, отстаивая свои новаторские принципы. Сегодня «Мистерия-буфф» для нас — революционная классика. А сколько усилий, энергии, полемики задора, нервов затрачено поэтом, чтобы утвердить на сцене революционную мистерию.

Интересны разделы, говорящие о постановках пьесы в разных городах страны и за рубежом. Пьеса, впервые поведанная о мировом разливе Октября, сама побывала на всех материках земного шара. И сегодня она несет миру великие идеи революции.

Во «Встречах с Маяковским» А. Февральский старается воссоздать портрет писателя, читающего свои стихи. Возникает ощущение живого присутствия в этом «театре одного поэта». Сила голоса Маяковского, его как будто тяжеловесное звучание сочетались с удивительной легкостью и свободой переходов. Его поэзия, пишет автор о поэте, «гремела в мужественном музыкальном строе его интонаций, в мощи согласных, в

наполненности гласных. Несясь вдаль, голос Маяковского мог грохотать, как горный обвал, и мог легко взлетать в высоту. В раскатах этого голоса русская ширь множилась на грузинскую высь».

Эти две книжки писались много лет, почти в течение полувека, а звучат они сегодня свежо и молодо.

Г. Павлова.

★

**БОРИС БЕГАК.** Дети смеются. Очерки о юморе в детской литературе. М. «Детская литература». 1971. 191 стр.

До сих пор еще не изжито странное убеждение, по которому юмор в литературе для детей выступает лишь как противоядие к лобовой дидактике, как своего рода облатка для нравоучительных пилюль. Б. Бегак смотрит на вещи несравненно шире. Совершив небольшой экскурс в историю советской литературы для детей, он наглядно показывает, что литература эта, основы которой были заложены усилиями М. Горького, К. Чуковского, В. Маяковского, С. Маршака, органически включает в себя юмор как средство воспитания человечности. Ведь, строго говоря, никто из названных писателей не может быть назван юмористом, хотя, как известно, роль юмора в их произведениях необычайно велика. Просто юмор у этих писателей выполняет не развлекательную роль. «Юмор — первый признак человечности», — утверждал в свое время известный режиссер и художник и очень остроумный человек Николай Акимов.

Не удивительно, что с проблемой смешного в детской литературе автор книги рассматривает проблемы лирического, героического, философского. Он свободно переходит географические и временные границы, говорит о творчестве зарубежных и дореволюционных авторов, даже о зарубежных детских юмористических журналах (тут помогает ему огромная эрудиция и свободное владение несколькими языками). Но все его экскурсии, все отвлечения от существа темы несут ответы на вопросы сегодняшние, наши.

Среди оригинальных, по существу, никем еще не рассматриваемых тем книги Б. Бегака отметим главы о дореволюционном детском юмористическом журнале «Галчонок» — младшем брате знаменитого «Сатирикона», о французских детских журналах «Пиф», «Рудуду» и «Рикики», о подобном же американском журнале «Хэмпти-Дэмпти» (у нас этот

популярный герой английского фольклора известен под именем Шалтай-Болтай), творческую историю знаменитой некогда детской книжки Генриха Гофмана «Степка-Растрепка»... Но особо примечательна глава, подытоживающая «детские» опыты известнейших наших взрослых поэтов (Б. Пастернака, Н. Заболоцкого, О. Мандельштама, Н. Асеева, С. Городецкого и других), а также первая в нашем литературоведении специальная статья, посвященная творчеству человека трудной и грустной жизни и веселого мечтателя в литературе — Даниила Хармса.

Невероятно, но факт: опытный критик и литературовед, богатейший эрудит в области детской литературы выпускает, по существу, свою первую книгу. А ведь еще в 30-х годах имя Бориса Бегака было небезызвестно в литературном мире, оно стоит под статьями о творчестве писателей, ставших признанными авторитетами сегодняшней советской литературы. Но в то время молодой критик, видимо, не позаботился об издании своих работ отдельной книгой.

И лишь в последние годы к опытному критику, ныне уже пожилому человеку, пришло «второе дыхание», приятным следствием чего и явилась эта небольшая, любовно оформленная книга.

**С. Сивоконь.**

★

**А. ГЛУХОВ. Из глубины веков. Очерки о древних библиотеках мира. М. «Книга». 1971. 111 стр.**

Книга А. Глухова «Из глубины веков» содержит двенадцать очерков о древних библиотеках мира.

Это рассказы об истории цивилизации разных стран и народов, от шумеров, живших пятьдесят пять веков назад, от хеттов, от древних майя...

Причудлива история цивилизации. Иногда она прерывается, и Пифагор заново открывает теоремы, известные ученым Месопотамии еще во II тысячелетии до нашей эры. Но чаще это эстафета знаний, достижений культурной мысли, достижений, которые передавали будущим поколениям глиняные таблички, папирусные свитки, пальмовые листья, береста, а затем бумага. Столь похожие друг на друга «издания» собирались в книгохранилища, «аптеки для души», как именовали их древние египтяне, или храмы литературы, как говорили о них во Вьетнаме. «Памятью человечества» назвал Бер-

нард Шоу знаменитую Александрийскую библиотеку, гигант в 700 тысяч томов!

Немалое место уделяет автор и книгохранилищам древней Руси. «В лесных дебрях, за монастырскими стенами» Троице-Сергиевой лавры существовал один из самых замечательных центров книжной культуры. В его создании и развитии принимал участие Феофан Грек. Вполне вероятно предположение, что сам гениальный автор «Троицы» Андрей Рублев возглавил иконописную и книгописную мастерскую. Ему же приписывают создание рукописи с миниатюрами — «Евангелие Хитрово». В прекрасном внешнем оформлении рукописей сказались любовь наших предков к книге.

Культурные традиции нации служат источником ее гордости, их изучение раскрывает неповторимый духовный склад народа. Эта мысль в публицистически заостренной форме выступает в очерке «Храм Литературы в Ханое». Славные страницы истории, о которых поведали древние книги, помогают сегодня вьетнамскому народу в его борьбе за национальную честь, свободу и независимость.

Описывая процесс комплектования древних книгохранилищ, А. Глухов показывает, что в этой нелегкой работе наших далеких предков зримо проявляется дух культурного сотрудничества наций, каждая из которых внесла свой вклад в мировую сокровищницу знаний.

Важный вопрос истории культуры — судьбы древних библиотек, А. Глухов раскрывает с помощью богатого фактического материала. Ценность его работы увеличивается оттого, что читатель подводится к фактам, часто повторяя путь исследователей, а иногда останавливается перед еще нерешенными проблемами, которые зовут в научный поиск.

**В. Соловей.**

★

**КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ. Государственный комитет Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы. М. НИИ труда. 1971. 72 стр.**

В 1971 году впервые издан «Квалификационный справочник должностей служащих». «Целью справочника, — объясняют его авторы, — является создание необходимых условий для правильного решения вопросов разделения труда между руководителями, специалистами и техническими исполнителя-

ми, обеспечение единства в определении должностных обязанностей этой категории работников и предъявляемых к ним квалификационных требований».

Справочник делится на две части: «Должности служащих, общие для предприятий и учреждений» и «Должности руководителей и специалистов, занятых инженерно-техническими и экономическими работами на производственных предприятиях». Особенно интересна, на наш взгляд, вторая часть. В ней чувствуется дыхание времени. В перечислении должностей, в их характеристиках видно, что составители справочника руководствуются движением управленческих идей. От людей, занимающих различные должности, требуется знание экономики и организации производства и управления; основ гражданского и трудового законодательства; основ научной организации труда.

Для социолога, психолога, физиолога, художника, работающего на предприятии (каких-нибудь лет десять назад существовавших лишь в мечтах энтузиастов НОТ), предусмотрен перечень должностных обязанностей уже «с учетом сложившегося разделения и кооперации труда».

Справочник, на наш взгляд, не свободен от недостатков. Отражая в должностных характеристиках уже сложившееся разделение труда, авторы тем самым закрепляют принципиально неправильное положение, по которому разработкой проблем научной организации труда и управления в основном должны заниматься специальные лаборатории НОТ предприятий. Однако эти лаборатории на подавляющем большинстве предприятий пока еще мало содействуют выполнению плана и считаются таким неизбежным теперь приложением, вес которого ощущим только в увеличении накладных расходов. Не случайно и укомплектовывают их

часто работниками, с которыми отделы и цехи расстаются без огорчений. Иначе говоря, справочник закрепляет положение, когда организация труда и управления существует сама по себе, а научная организация труда и управления — сама по себе.

Предприятию нужен острый глаз психолога. Но допустим, на заводе работают люди ста специальностей. Психолог, согласно справочнику, должен разрабатывать их детальные психологические характеристики. Значит, сколько предприятий — столько характеристик, столько рекомендаций — изобретений одного и того же «велосипеда». Зачем так много? Не слишком ли это дорого обойдется? Ведь в изобретении ведомственных велосипедов», по мысли составителей справочника, должны принять участие, кроме психологов, физиологи, социологи, художники, инженеры по организации труда, начальники лабораторий НОТ.

Причем, судя по перечислению должностных обязанностей работников лаборатории НОТ, именно на них возлагается и обязанность разбираться в неполадках управленческой машины всего предприятия. Между тем составители справочника не могут не знать, что там, где требуется взгляд со стороны, взгляд профессиональный, строго объективный, доморощенные лаборатории вряд ли помогут. Ведь они подчинены руководству предприятия, а подчиненность и объективность, к сожалению, пока величины обратно пропорциональные.

Можно было бы назвать и другие недостатки «Квалификационного справочника должностей служащих». Их необходимо будет устранить в последующих изданиях. Однако в целом выход в свет «Справочника» не может не радовать. Думается, он окажется полезным на каждом заводе и фабрике.

Е. Дмитриева.



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** О кадрах. 359 стр. Цена 74 к.  
**В. И. Ленин.** Детская болезнь «левизны» в коммунизме. 119 стр. Цена 15 к.

**Владимир Ильич Ленин.** Наглядное пособие для изучающих биографию В. И. Ленина. 192 стр. Цена 2 р. 4 к.

**Н. Каманин.** Летчики и космонавты. 448 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Коммунист. 1972.** Календарь-справочник. 288 стр. Цена 53 к.

**Мир социализма в цифрах и фактах. 1970.** Справочник. 168 стр. Цена 20 к.

**Программа школы основ марксизма-ленинизма.** 80 стр. Цена 11 к.

**А. Славин.** Наглядный образ в структуре познания. 271 стр. Цена 27 к.

**А. Сухотин.** Наука и информация. 127 стр. Цена 16 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Айбек.** Прощание. Стихи. Поэмы. Перевод с узбекского. 174 стр. Цена 52 к.

**А. Безыменский.** Законы сердца. Стихи. 110 стр. Цена 42 к.

**Ю. Бондарев.** Горячий снег. Роман. 415 стр. Цена 79 к.

**И. Вишневская.** Алексей Арбузов. Очерк творчества. 231 стр. Цена 70 к.

**М. Ганина.** К себе возвращаюсь издалека. Очерки. 375 стр. Цена 85 к.

**День поэзии. 1971.** Главный редактор В. Цыбин. Составитель Т. Жирмунская. 224 стр. Цена 1 р. 56 к.

**Л. Плоткин.** Искусство борьбы и правды. Очерки. 462 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Поэты 1790—1810-х годов.** Вступительная статья и составление Ю. Лотмана. («Библиотека поэта») 912 стр. Цена 1 р. 78 к.

**К. Симонов.** Последнее лето. Роман. 606 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Современная литература за рубежом.** Литературно-критические статьи. Сборник третий. 527 стр. Цена 1 р. 45 к.

**Н. Чертова.** Утренний свет. Повести. 367 стр. Цена 69 к.

**С. Шляху.** Необстрелянные. Повести и рассказы. Перевод с молдавского. 368 стр. Цена 73 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**С. Али.** Враги. Рассказы. Перевод с турецкого. 223 стр. Цена 64 к.

**И. Барбарус.** Стихи. Перевод с эстонского. 207 стр. Цена 29 к.

**А. Бушмин.** Александр Фадеев. Черты творческой индивидуальности. 335 стр. Цена 81 к.

**Н. Гордиер.** Рассказы. Перевод с английского. 288 стр. Цена 85 к.

**О. Готше.** Криворожское знамя. Роман. Перевод с немецкого. 463 стр. Цена 1 р. 45 к.

**А. Г. Достоевская.** Воспоминания. 496 стр. Цена 1 р. 31 к.

**Кайно Такэси.** Японская трехгрошовая опера. Роман. 222 стр. Цена 64 к.

**Х. Кортасар.** Другое небо. Рассказы. Перевод с испанского. 271 стр. Цена 93 к.

**Леся Украинка в воспоминаниях современников.** Составление и вступительная статья А. Дейча. 511 стр. Цена 1 р. 26 к.

**В. Луговской.** Собрание сочинений. В 3-х томах. Вступительная статья И. Гринберга. Т. I. Стихотворения и поэмы. 526 стр. Цена 2 р. 50 к. Т. II. Стихотворения и поэмы. 463 стр. Цена 1 р. 70 к.

**А. Макаров.** Человеку о человеке. Избранные статьи. 511 стр. Цена 1 р. 43 к.

**М. Твен.** Приключения Тома Сойера.—Приключения Гекльберри Финна.—Рассказы. Перевод с английского. Вступительная статья М. Мендельсона. («Библиотека всемирной литературы») 736 стр. Цена 2 р. 7 к.

**Н. Тэффи.** Рассказы. 208 стр. Цена 32 к.

**Эсхил.** Трагедии. Перевод с древнегреческого С. Апта. 383 стр. Цена 1 р. 9 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**И. Акимовский.** Мир животных. 336 стр. Цена 1 р. 72 к.

**В. Бушин.** Ничего, кроме всей жизни. Страницы жизни К. Маркса и Ф. Энгельса. 304 стр. Цена 50 к.

**В. Ерашев.** На фронт мы не успели. Роман-хроника, составленный из тетрадей Дмитрия Терентьева, обыкновенного человека, которому сейчас далеко за сорок. 512 стр. Цена 1 р. 9 к.

**К. Лисовский.** Стихи. 128 стр. Цена 48 к.

**Г. Марков.** Сибирь. Роман. Кн. I. 320 стр. Цена 93 к.

**Молодые поэты Кипра.** Перевод с новогреческого. Составитель О. Дмитриев. 136 стр. Цена 74 к.

**И. Шамякин.** Первый генерал. Повести и рассказы. Перевод с белорусского. 416 стр. Цена 78 к.

## «СОВРЕМЕННОК»

**В. Гордейчев.** Вечные люди. Стихи. 143 стр. Цена 53 к.

**А. Кузнецова.** Свет-трава. Повести. 342 стр. Цена 73 к.

**В. Липатов.** Зуб мудрости. Повести. 415 стр. Цена 81 к.

**Ю. Нагибин.** Переулки моего детства. Повесть, рассказы, дневник. 414 стр. Цена 76 к.

**В. Солоухин.** Закон набата. Рассказы. 207 стр. Цена 54 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Г. Васильевская.** Рисунок на снегу. Документальная повесть. 96 стр. Цена 28 к.

**Ю. Ермолаев.** Нежданно-негаданно. Повесть. 158 стр. Цена 35 к.

**В. Инбер.** Анкета времени. Избранные стихи. 192 стр. Цена 40 к.

**Д. Кервуд.** Бродяги Севера. Повесть. Перевод с английского. 190 стр. Цена 54 к.

**В. Кернбах.** Лодка над Атлантидой. Повесть. Перевод с румынского. 334 стр. Цена 76 к.

**А. Крестинский.** Маленький Петров и капитан Колодкин. Повесть. 175 стр. Цена 43 к.

**А. Линдгрэн.** Мы — на острове Сальткрока. Повесть. Перевод со шведского. 176 стр. Цена 65 к.

**Х. Назир.** Повести и рассказы. Перевод с узбекского. 336 стр. Цена 67 к.

**Д. Олдридж.** Последний дюйм. — Мой брат Том. Рассказы и повесть. Перевод с английского. 224 стр. Цена 52 к.

**Ю. Томин.** Восемь дней в неделю. Повесть. 126 стр. Цена 34 к.

**Ф. Тютчев.** Стихотворения. 95 стр. Цена 25 к.

#### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**М. Владимов.** Триста метров на запад. Повесть. 79 стр. Цена 16 к.

**М. Жигжитов.** Самагир. Повести. 96 стр. Цена 16 к.

**Л. Карелин.** Ступени. Золотой лев. Повести. 112 стр. Цена 23 к.

**К. Куприна.** Куприн — мой отец. Воспоминания. 252 стр. Цена 78 к.

**Н. Почивалин.** В глуши. Повесть и рассказы. 318 стр. Цена 67 к.

**Г. Соколов.** Малая земля. Документальные новеллы. 382 стр. Цена 1 р. 7 к.

**И. Шульпин.** За все в ответе. Роман. 187 стр. Цена 35 к.

#### «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

**П. Володин.** Партизан Александр Фигнер. 55 стр. Цена 7 к.

**Г. Джавадов и Э. Дунаев.** Производственные объединения и хозрасчет. 116 стр. Цена 12 к.

**Л. Кабо.** Сладчайшее наше бремя. Рассказы. 112 стр. Цена 15 к.

**Л. Козлова.** К победе колхозного строя. 327 стр. Цена 71 к.

#### «ИСКУССТВО»

**В. Брабич и Г. Плетнева.** Зрелища древнего мира. 79 стр. Цена 55 к.

**Г. Кравченко.** Мозаика прошлого. Рассказывает киноактриса. 144 стр. Цена 52 к.

**Д. Сарабьянов.** Русская живопись конца 1900-х — начала 1910-х годов. Очерки. 144 стр. Цена 1 р. 54 к.

**Экран.** 1970—1971: обозрение киногода. 302 стр. Цена 1 р. 96 к.

**Эстетика сегодня.** Актуальные проблемы. Сборник. 2. 391 стр. Цена 1 р. 70 к.

#### «ПРОГРЕСС»

**Анализ конкретных ситуаций в управлении производством.** Сборник статей. Перевод с английского. 300 стр. Цена 2 р. 7 к.

**Ф. Ландберг.** Богачи и сверхбогачи. Перевод с английского. 683 стр. Цена 2 р. 88 к.

**З. Ленц.** Урок немецкого. Роман. Перевод с немецкого. 479 стр. Цена 1 р. 54 к.

**М. Стингл.** Индейцы без томагавков. Сокращенный перевод с чешского. 390 стр. Цена 3 р. 4 к.

**Трилистник.** Стихи зарубежных поэтов в переводе Н. Заболоцкого, М. Исаковского и К. Симонова. 280 стр. Цена 80 к.

**Б. Чопич.** Горький мед. Юмористические рассказы. Перевод с сербскохорватского. 336 стр. Цена 1 р.

#### «МИР»

**Ф. Бертен.** Основы квантовой электроники. Перевод с французского. 629 стр. Цена 2 р. 82 к.

**С. Карлин.** Основы теории случайных процессов. Перевод с английского. 536 стр. Цена 2 р. 52 к.

**Океан.** Сборник статей. Перевод с английского. 191 стр. Цена 1 р. 89 к.

**Д. Сквайрс.** Практическая физика. Перевод с английского. 246 стр. Цена 95 к.

**С. Толанский.** Революция в оптике. Перевод с английского. 209 стр. Цена 51 к.

#### «МЫСЛЬ»

**В. Войтов.** Морские робинзоны. 157 стр. Цена 55 к.

**Вопросы научного атеизма.** Выпуск 11. Психология и религия. 344 стр. Цена 1 р. 38 к.

**И. Дворкин, М. Волков и Ф. Шевяков.** Критика теорий современных буржуазных экономистов (Дж. Гэлбрейта, Г. Мюрдала, Л. Эрхарда). 231 стр. Цена 74 к.

**И. Ермолаев.** Законы развития общества и строительство коммунизма. 224 стр. Цена 71 к.

**Л. Костин.** Повышение эффективности труда в новых условиях хозяйствования. 284 стр. Цена 1 р. 8 к.

**Г. Нестеренко.** Проблема сознания в марксистской социологии. 277 стр. Цена 91 к.

**А. Покрытан.** Производственные отношения и экономические законы социализма. Очерки метода анализа и теории. 248 стр. Цена 1 р. 9 к.

**И. Попов.** Воспоминания. 371 стр. Цена 81 к.

**Современная философия и социология в ФРГ.** Сборник статей. 259 стр. Цена 99 к.

**Япония.** Экономико-статистический справочник. 239 стр. Цена 57 к.

#### «НАУКА»

**Американский ежегодник. 1971.** Сборник статей. 363 стр. Цена 1 р. 77 к.

**В. Андросов.** Профсоюзы США в условиях государственно-монополистического капитализма. 343 стр. Цена 1 р. 27 к.

**Вопросы языка современной русской литературы.** Сборник статей. 416 стр. Цена 1 р. 76 к.

**Исследования по славяно-германским отношениям.** Сборник статей. 372 стр. Цена 1 р. 69 к.

**В. Ли.** Стратегия и политика неокolonизма США. 400 стр. Цена 1 р. 78 к.

**К. Муратова.** М. Горький на Капри. 1911—1913. 275 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Поэт и социализм.** К эстетике В. В. Маяковского. Сборник статей. 422 стр. Цена 1 р. 88 к.

**Проблемы испанской истории.** Сборник статей. 399 стр. Цена 1 р. 78 к.

**Проблемы скифской археологии.** Материалы и исследования по археологии СССР. 220 стр. Цена 1 р. 53 к.

**Э. Савельева.** Пермь вычегодская. К вопросу о происхождении народа коми. 223 стр. Цена 88 к.

**И. Серебрянов.** Очерки древнеиндийской литературы. 392 стр. Цена 1 р. 62 к.

**Н. Смирнова.** Театр Сергея Образцова. 324 стр. Цена 2 р. 28 к.

**Л. Теплинский.** 50 лет советско-афганских отношений. 1919—1969. 237 стр. Цена 84 к.

**Н. Фридман.** Поэзия Батюшкова. 383 стр. Цена 1 р. 44 к.



## «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

**Ж. Бержье.** Промышленный шпионаж. Сокращенный перевод с французского. 176 стр. Цена 59 к.

**А. Богданов.** Власть и бессилие доллара. 167 стр. Цена 59 к.

**Е. Самотейкин.** Растоптанный нейтралитет. 258 стр. Цена 1 р. 37 к.

**И. Соколов.** Мировое хозяйство и революционный процесс. 240 стр. Цена 72 к.

## «ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Н. Ершова.** Опека и попечительство. 78 стр. Цена 12 к.

**А. Ликас.** Культура судебного процесса. 79 стр. Цена 25 к.

**Мужество.** Общественно-политический и литературно-художественный сборник. Книга 1. 448 стр. Цена 1 р. 31 к.

## «ПЕДАГОГИКА»

**Азбука нравственного воспитания.** Рабочий материал учителя для опытной проверки во II—III классах. 288 стр. Цена 49 к.

**А. Жунова.** Оранжевый лев. Заметки об эстетическом воспитании в США. 272 стр. Цена 43 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Р. Зорге.** Статьи, корреспонденции, рецензии. Перевод с немецкого. Составление и вступительная статья Ю. Орлова. Издательство Московского университета. 221 стр. Цена 71 к.

**В. Никонов.** Осенние листья. Повесть Иркутск. Восточно-Сибирское книжное издательство. 123 стр. Цена 20 к.

**Тайна всех тайн.** Сборник. Составили Е. Брандис и В. Дмитриевский. («В мире фантастики и приключений») Лениздат 695 стр. Цена 1 р. 29 к.




---

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Д. Г. Большов** (первый зам. главного редактора),  
**Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

---

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.  
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

---

Сдано в набор 28/X 1971 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 29/XII 1971 г.  
 Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)  
 А 06244. Тираж 155.000 экз. Зак. 3650

---

Типография «Известий Советов депутатов грудящихся СССР»  
 имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

**Цена 70 коп.**

**70636**